

Мой 20
век

Николай Амосов

Мой 20
век

Голоса времен
Николай Амосов

НИКОЛАЙ АМОСОВ

Май 20
60

*Мой 20
век*

**НИКОЛАЙ
АМОСОВ**

Голоса времен



ВАГРИУС

**НИКОЛАЙ
АМОСОВ**

Г О Л О С А В Р Е М Е Н

**МОСКВА • ВАГРИУС •
1999**

УДК 882-94
ББК 84.Р7
А 62

Дизайн серии Е. Вельчинского
Художник Н. Вельчинская

העמותה לקליטת עליה בחיפה

רח'י ל. פרץ 20 חיפה 33041

ספרייה

4464

מס'

5806 //

*Охраняется законом РФ
об авторском праве.*

*Воспроизведение всей книги или
любой ее части запрещается без
письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона
будут преследоваться в судебном
порядке.*

ISBN 5-7027-0836-9

© Издательство «ВАГРИУС», 1999
© Н.Амосов, автор, 1999

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

...Не будет декларации: «для чего пишу». Пишу для самовыражения, потому что уже нет более важных дел. Пишу потому, что мне восемьдесят пять лет и боюсь оторваться от якоря памяти, чтобы не потерять себя перед концом.

Не рассчитываю на внимание читателей: разве что прочтут люди, живущие прошлым. Все понимаю и никого не осуждаю. Другие времена.

Пожалуюсь: плохо остаться без дела, даже в старости. Вроде бы есть еще силы, но знаешь: конец близок, будущего нет. Значительного дела не сделаешь — нет запаса времени. На текучку замыкаться как-то не хочется. Остаются размышления и прошлое.

...Эта книга — одновременно и познание самого себя. Кем был, как менялся, что осталось? Но для познания человека нужна гипотеза: по каким качествам оценивать?

Не хочется делать научные отступления. Скажу только самую малость. Это — три компонента бытия.

Во-первых, само Время: оно непрерывно, но неравномерно.

Во-вторых, это Внешние миры: самый большой — человечество, меньше — страна, а далее — окружение: работа, быт, семья, люди. В каждом из миров — события во времени.

А еще — Человек: Я сам, мой ум, чувства, характер, поступки, действия.

Прошлая жизнь есть взаимодействие всего этого.

На этом я остановлюсь. Пока. Впереди еще ждут Разум, Истина, Красота, Добро и Зло, Бог, Душа. Без них нельзя найти точки опоры для понимания жизни...

*Николай Амосов
Март 1999 г.*

Отец нас оставил, поэтому вся семья была на маме. Не могу даже называть «мать», только мама. Звали ее Елизавета. Самый идеальный человек, без пятнышка.

Родина мамы — Север. Чорозерский район Вологодской области. Деревня Суворово, шестьдесят верст на север от города Кириллова. Теперь мода на Север, все знают этот город и еще — Ферапонтов монастырь, любители даже ездят смотреть фрески Дионисия. Автобусы ходят. Культура. (Впрочем, при «перестройке», может, уже и не ездят...)

А был медвежий угол. (Это буквально: дядя Леша, мамин брат, охотник, убил около двадцати медведей.)

Те места прожили историю без помещиков — крестьяне считались «казенными». Не знаю, что это им давало. Может быть, немножко свободы?

Суворово — маленькая деревня. По рассказам, десятка полтора домов. Глушь страшная! Совсем не так, как у нас, в Ольхове. Говор другой и люди... Я побывал там один раз, лет шести. Смутно помню. До Кириллова — на пароходе, потом — лошадьми, с ночевкой. И помнится — все лес, лес... Мелкие листочки на березах, и даже слова запомнил: «Троицын день!»

Дом у деда большой (там все такие — бревен много), что-то вроде двух этажей, на каждом — одна большая комната. Окна маленькие. За домом — бо-о-льшая лужа! Из живых существ помню собаку, а не людей. И сведения о собаке запали в память: «охотничья», добывают с ее участием очень много белок, зайцев, лис, волков и даже медведей. (Это и другое уже мама рассказывала позднее.)

Дед жил довольно зажиточно, но «наемным трудом», как говорили при коммунистах о кулаках, не пользовался. Имел даже маленькую лавочку, совсем маленькую, подспорье к охоте и очень примитивному хозяйству, на уровне XIV века: соха, деревянная борона, лошадь, две коровы, десяток овец. Хлеба свое-

го не хватало. Лен сеяли, холсты ткали, льняное масло жали. Это все, что знаю о богатстве.

Генетика теперь в моде. Поэтому о предках стоит что-нибудь сказать, хотя условия жизни и воспитание в судьбе детей, наверное, значат не меньше. Я дотошно этим интересовался, когда дочка родилась в мои сорок два года, при профессорской уже эрудиции.

Похоже, по рассказам мамы, дед был очень дельным мужем, деревенская элита, как теперь бы сказали.

В семье было пятеро сыновей и две дочери. (Смеялись: «Половина умных, половина — не очень». По карьере.) Все дети закончили трехлетнюю церковно-приходскую школу. Ребят держали в строгости, планово пороли, как описывал Горький...

Вот что из них получилось. (Троих помню сам.)

Алексей, «дядя Леша», успел как раз к началу «германской войны» (как ее называли в народе) и всю протрубил в окопах. Четыре Георгия, три ранения, дослужился до фельдфебеля. Только вернулся в Суворово, не успел даже жениться, как опять «забрали» — на гражданскую. И там тоже был герой, орден получил, ранения имел, в плену у белых побывал, истязания испытал. Отпустили по болезни. Восемь лет отдал Отечеству. Дед к тому времени умер, дядя женился и занялся — по семейной традиции — охотой, хозяйством, но уже без торговли... Народил кучу детей, не помню сколько, никогда их не видел. Но... родина его еще не отпустила: началась коллективизация, и дядю (беспартийного!) выбрали (назначили!) председателем колхоза. Так же легко в 1934 году «посадили». Удивительно — но через полгода «выпустили» (термины того времени). Машины слова: «Ни в чем не сознался, ничего не подписал, как ни мучили». Умер от рака пищевода в больших страданиях — от болей и от несчастий; оставил детей «мал мала меньше» на жену и колхозное попечение.

Второй мамин брат, дядя Коля, тоже год был в окопах, а потом поступил на курсы и стал кем-то вроде фельдшера. Примкнул к эсерам. Подробностей не помню, знаю только конец: в 19-м году решил от большевиков уехать в Америку, пробиться через Сибирь и Колчака. Там и сгинул.

Третий брат, дядя Павел, был мне близко знаком. И он начал с войны, но пробавлялся в писарях, в партию вступил еще в 17-м, а с 18-го был уже в ЧК, под началом Дзержинского. Трижды женился, каждый раз повышая «ранг» избранный: сна-

чала была девушка в деревне, разошелся перед войной, потом — горничная в Петрограде, латышка, тетя Луция, а через пару лет — поднимай выше! — уже дочь дворянина из Пскова. После гимназии она служила машинисткой в «конторе» за карточку и защиту. Хорошая женщина была. Звали ее Наталья Федоровна, тетя Наташа. Луция родила сына и дочку, мама опекала их как могла, заглаживая вину брата. От третьего брака был сын, убит на войне.

Карьера дяди в «органах» шла в гору. Он дослужился до генеральского чина, был начальником ОГПУ по Чувашской республике, потом в 37-м перевели заместителем в Горький. Там его и арестовали.

Что сказать о дяде? Был идейным коммунистом, роптал на Сталина, пытался работать гуманно. Так, во всяком случае, говорил, хотя не верю, что это было возможно. Дважды я гостил у них. Жили скромно, по теперешним стандартам, но по моим тогдашним (то есть нищим) — богато: три комнаты, ванна. Мама его службу и третий брак не одобряла, но связи не порывала... Тем более что он все-таки помогал неудачникам-братьям, а Марусю даже устроил в медицинский институт в Ленинграде.

Тетя Наташа узнала о судьбе мужа только после хрущевской реабилитации: «расстрелян в 1944 г.». Сына мобилизовали в 41-м, погиб почти сразу, под Москвой. «Бог ее наказал за развал семьи» — такие шли разговоры. Вместе с Марусей дожили они в Ярославле до девяноста лет, две одинокие женщины. Я навещал их почти каждый год.

Внук дяди Павла живет в Киеве, близкий мне человек — Сашка Бричко.

Последние два брата, Александр и Сергей, были гораздо моложе. Скромные служащие. У нас гостили пару раз. Убиты под Сталинградом. Подробиностей не знаю.

Младшую сестру мамы звали Евгенией. Добрая, но вздорная женщина. Она приехала в Ольхово в тридцатых годах и работала «сторожихой» (она же — санитарка и уборщица) на медпункте. Жила то с нами, то отдельно, когда у мамы «терпение лопалось». Тоже имела свою драму: разошлась с мужем...

Тетке остался после мамы наш домишко (5×5 м!) и весь скарб. В 1936 году деревню выселили в район Ярославля в связи с затоплением: строилась Рыбинская ГРЭС. Дома разобрали и сплавили по Шексне. На новом месте всех включили в колхоз.

Тут ее и достала советская власть: осенью 44-го забрала милиция по дороге с поля — «за колоски». «Дали» десять лет. Не отсидела срока, обманула власти: умерла в лагерной больнице от рака желудка через два года.

Вот такая хроника рода Никаноровых.

2

Мама была самая старшая, родилась в 1884 году. Наверное, она была умненькая — книжки читала, даже тайком от бабушки: «Зачем девке учиться?»

Не помню, как до меня дошла эта история, во всяком случае без подробностей, я человек стеснительный, не расспрашивал. Будто бы согрешила мама в молодости с парнем из соседней деревни. А свадьба не состоялась. Родилась девочка — моя сестра Маруся. Два года назад Маруся умерла (90 лет!), тайна ушла вместе с ней безвозвратно (свидетелей не осталось).

Жизнь мамы после родов сильно осложнилась: для северной деревни того времени «принести в подоле» — позор. Чтобы замолить грех, бабушка водила ее пешком в Соловецкий монастырь.

Дед, чтобы устроить судьбу дочки, решил ее учить дальше. Отвез в Кириллов к знакомым, нашли учителя подешевле, и стал он готовить ее к экзамену экстерном за четыре класса гимназии. Экзамен мама выдержала и поступила в школу повивальных бабок в Петербурге. Проучилась три года — стала акушеркой. В памяти мало что сохранилось из ее рассказов о жизни в столице. Жила очень бедно: отец посылал гроши; на жизнь зарабатывала дежурствами в клинике при богатых пациентах. Но все равно вспоминала свое студенчество как праздник. Было много бедных слушательниц, они всем интересовались, бегали по лекциям и собраниям, ходили в театры на галерку, читали, спорили. Наверное, там, в Питере, мама стала, скажем так, «среднеинтеллигентным» человеком. И даже — атеисткой, хотя и «не воинствующей».

В 1909 году земство предоставило ей место акушерки на фельдшерском пункте в селе Ольхово Череповецкого уезда Новгородской губернии. Тут она и закончила свою жизнь. Фельдшера менялись несколько раз, а она так и оставалась — та же «Кирилловна». Так ее звали во всей округе.

В двадцатых годах «аптека», то есть медпункт, была такой

же, как при земстве. Молодым трудно представить сельскую медицину того времени.

Собственного помещения медпункт не имел. Поначалу снимали часть дома у крестьян, а после революции размещались в реквизированных домах сельских богачей. Всегда было три комнаты: ожидальня, приемная, где фельдшер или акушерка вели прием больных, и аптека — там стояли шкафы с лекарствами (большие шкафы с массой разных банок), длинный стол с весами и всяким инвентарем для приготовления мазей, настоек, отваров, порошков — всей старомодной аптечной «кухни». Аптекой ведала мама. Помню, меня всегда интриговал шкаф с ядами под замком, с черепом и костями. Помогал маме крутить порошки, но к этому шкафу близко не подпускался, и он всегда был заперт. Впрочем, я все равно знал, где ключи...

Медпункт обслуживал деревни и села в радиусе десяти километров — вся Ольховская волость, по старому делению. В ней было примерно десять — двенадцать населенных пунктов, шесть-семь тысяч жителей. Теперь полагалась бы больница и пять врачей.

С утра шел прием больных: приходили ольховские и приезжие из других деревень. Зимой посетителей было особенно много, ведь летом крестьянину болеть недосуг. Так и вижу перед домом десяток разномастных саней и розвальней; распряженные лошади, жующие сено из передка, другие же с холщовыми торбами для овса, подвешенными к голове... К полудню набивается полная ожидальня мужиков, баб, детей — в армяках, полушубках, платках, тулупах. Стоит специфический запах мокрых овчин и онучей. (Были еще люди в лаптях, хотя и редко. Наша волость — культурная, молодые почти все грамотные и в сапогах.)

Медицина соответствовала чеховским и вересаевским описаниям, только пониже «рангом». Они наблюдали земских врачей, а здесь был фельдшер, часто — «ротный», то есть проучившийся на фронте один год. «Школьных» фельдшеров не хватало: их много погибло в войну. Ближайший врач и больница находились в Череповце — это двадцать пять километров по зимней дороге или пять часов на пароходе в летнюю пору.

Зимой приемы длились до пяти вечера, заканчивали работу уже при лампах. Фельдшер осматривал больных, выписывал рецепты, мама готовила по ним лекарства, и только тогда пациент уходил домой. Попутно мама принимала беременных и «гинеко-

логичек». Для осмотра был угол в аптеке, отгороженный ширмой. Когда фельдшера не было, акушерка управлялась сама. Так же и фельдшер. Что-то не помню, чтобы они болели и пропускали приемы. Только во время отпуска, две недели.

Главная работа акушерки — ездить к роженицам. В год она принимала от ста до ста шестидесяти родов. Две трети из них — в других деревнях, иногда за восемь — десять километров. Мама хвасталась, что полностью вытеснила «бабок» — тех старух, которые раньше помогали роженицам в селах. По ее словам, это была настоящая борьба, потому что бабки никому не хотели уступать своих клиенток.

Помню такие сцены. Ночью раздается стук в дверь или окно. Мама встает, зажигает лампу, накидывает платье, открывает дверь в сени. Слышу:

— Кирилловна! Марья родит. Поедем, Бога ради...

Мужика впускают в избу. Он входит в клубе пара, приносит запах мороза и сена. Усаживают его на кухне, начинают расспрашивать — какая Марья, давно ли «схватило», которые роды, приходила ли на осмотр?

Мама уже оделась, бабушка тоже встала, крестится на икону. Я лежу, вида не подаю, что не сплю. Прощальные поцелуи у нас не были приняты.

— На, неси ящик...

Был такой особый ящик, в котором она возила свои акушерские принадлежности. Довольно тяжелый — много всего с собой брала: в некоторых избах было очень грязно. Сам слышал, как она наказывала беременным женщинам, чтобы перед родами хорошо простирали половички для подкладывания. Простыни в деревне были в редкость, рушников тоже нелишью.

Мужик забирает ящик, мама надевает тулуп, и они отправляются в ночь. Вот скрипнула калитка — у нее был особый скрип, до сих пор не забыл. Бабушка ворчит:

— Вечно их ночью хватает...

Потом тушит лампу, забирается на печку, зевает, шепчет молитву:

— Господи, помилуй, Господи, помилуй...

Все замолкает, и я снова засыпаю.

Утром мой первый вопрос:

— Мамы нет?

— Больно скоро хочешь. Туды шесть верст, небось снегу намело... Слышь, воеет в трубе.

Я слушаю, и мне видится метель. Дороги нет, и всех — лошадь, мужика, маму, — всех занесло снегом...

Пока маму не привезут обратно с родов — в доме тревога. Как там? Что?

Обычно бабы рожали быстро и раньше времени акушерку не тревожили. Мама возвращалась через восемь — двенадцать часов. Кроме первородящих, — это слово я узнал в числе самых первых, — у тех она задерживалась на сутки, двое... Конечно, бывали и патологические роды: когда поперечное положение и требуется поворот на ножку (тоже знал давно и смутно представлял ребеночка, лежащего поперек живота. Потом, когда стал постарше, читал об этом в маминых книгах).

Но вот прошел день, наступил синий зимний вечер, а мамы нет... Я уже не отхожу от окна. Поздно ночью слышу, как бабушка становится на колени перед иконой и громким шепотом творит молитву:

— Господи, разреши от бремени рабу твою Марью... Господи, яви божескую милость к рабе божьей Елизавете, помоги ей...

Под ее говорок я засыпаю, молитва успокаивает и меня — я еще только в первом или втором классе, не состою в пионерах, мама к Богу равнодушна, в церковь не ходила с самой революции, но бабушка — верующая, и я знаю о Всемогущем... Под утро слышу скрип калитки: никогда не пропускал этот звук, даже зимой через двойные рамы. Бабушку с печи как ветром сдуло, бежит навстречу, на ходу засовывая руки в рукава...

— Слава те, Господи, услышал молитву...

Я тоже встаю. Босой, в одних подштанниках (трусики появились в деревне много позднее, когда мы стали пионерами). Открывается дверь, и с морозным воздухом входит мама. За ней мужик несет ящик. Оба веселые.

— Вот такого молодца выродили! Одиннадцать фунтов! Раздевайся, Прохор, погрейся.

— Спасибо, Кирилловна, надоть ехать... Что бы мы без тебя делали?..

В нашей семье была еще одна сельская акушерка — тетя Катя, сестра отца.

С мамой они дружили, и когда тетя приезжала, говорили о бабах и родах до утра. У мамы за двадцать четыре года работы на три с лишком тысячи родов умерла одна роженица. Примерно пятерых она возила в Череповец, там им делали операции, и, кажется, все остались живы. О смерти детей не знаю, но, по

всей видимости, они случались редко. И происходило-то все это в деревенских домах, иногда в бане, очень часто в большой бедности, когда новорожденного не во что было и завернуть. (Не раз мама отправляла роженице и свои жалкие тряпки.) Видимо, деревенские женщины были крепкие, но квалификация у мамы тоже была, несомненно.

Мы постоянно жили при чьих-то родах. Каждый третий-четвертый день мама уезжала или уходила со своим ящиком. По осени как эпидемия — в самую распутицу, в грязь, в темные ночи. Иногда с одних родов приходилось добираться прямо на другие, потом — на третьи. По неделям дома не бывала. (Детей мужики делали в самое свободное время — зимой: «ночи длинные, керосину нет...») А мы с бабушкой жили в постоянной тревоге. (Она не только молилась, но и ругалась: «Ишь, провало их, б...й!..» Грубая была старуха.)

Ходило в интеллигентской среде слово «бессребреник», тот, кто не «берет». Акушерки всюду принимали (и теперь грешат!) подношения — «на счастье дитя». Так вот, моя мама — не «брала». При крайней бедности, во все времена, никогда! Не о деньгах разговор — о десятке яиц, курице, кринке сметаны... Запомнилось, как она швырнула с крыльца корзиночку с яйцами, которую ей насильно попыталась запихнуть одна «нахалка», как кричала мама ей вслед. Яйца катились вниз, бились, оставляя желтые потеки на ступеньках.

Впрочем, одно исключение помню. У мамы были преданные почитательницы, почти подруги — те из «многорожавших» (акушерский термин!), которые были близки ей по душе. Две-три из них иногда по осени приносили бруснику.

Мама очень вспыльчивая была. И мне от нее доставалось: за пустяк, не разбираясь, схватит — и отшлепает. Потом жалеет, я видел. Не обижался.

И — веселая. Голос был такой звонкий, что разговоры слышно было с другого проулка. Говорили: «Вон Кирилловна идет...» Не помню, чтобы она сильно плакала. Когда уж совсем допечет — смахнет слезу, и все.

Не хочется говорить банальности, но работа была главным смыслом ее жизни. Кроме родов и приемов она завела что-то вроде профилактических бесед. Собирала женщин, вела беседы по гигиене, по уходу за детьми. Особенно ее беспокоила высокая детская смертность от летних поносов. Помню эти разговоры и обсуждение «мероприятий». Помню и организацию детских

летних яслей — первые появились еще до колхозов. Она жила жизнью деревни. «Мужа прозевала за этими бабами», — говорила тетя Катя уже много лет спустя. Но другого счастья у нее не было. Я как сын не причинял неприятностей. Хороший был, по-честному. Да и как быть плохим у такой матери? Никогда не видел лжи, хитрости, всегда только доброжелательность и доверие к людям... Все о ней так говорили.

3

Теперь поговорим об Амосовых. Меня воспитала мама, но вышел я — Амосовым, а не Никаноровым. Получается: гены. Впрочем, это все шатко и субъективно, за истину выдавать нельзя.

Начну со «среды обитания»: село, дом, мужики...

Село Ольхово — большое, домов двести, центр волости. История его идет с XVI века. При крепостном праве было разделено на три «края» — по фамилиям помещиков: Смирновский, Верещагинский, третьего — не помню. Мы жили в первом, а Верещагин, между прочим, был отцом художника Василия Васильевича, и усадьба их находилась в селе Петровка, в десяти верстах от нас...

Главная улица села тянулась километра на три, одним концом приближалась к реке Шексне, а другим уходила в болота и поля. От нее ветвились без всякого порядка улочки поменьше. Мостовых не было, и грязь по осени и весне была ужасная. Летом — пыль, особенно когда стадо шло с пастбища. Школа стояла на самом дальнем конце села, над рекой, а наш дом — на противоположном. Помню черемухи и рябины в палисадниках. Все исхожено...

Перед селом раскинулась широченная пойма заливного луга: «наволок». В весеннее водополье Шексна разливалась, как море, на пять верст, и в большие паводки подтопляла бани, сараи, даже дома и кладбище.

На главной улице было два заметных дома на кирпичном фундаменте, со службами, как барские: купцов Кабачиновых и Черепановых. Революция усадьбы отобрала, хозяева уехали в Питер к детям (те вышли в интеллигенты и так спаслись). Оба дома помню хорошо, поскольку в них квартировала «аптека» и мама жила по зимам, когда осталась одна.

Дом Амосовых тоже был хороший, под железной крышей.

Его построили на месте новой усадьбы в конце прошлого века, после случившегося здесь большого пожара.

Помню старые амосовские строения: «зимовка» — большая кухня и две маленькие светелки, «летний дом» — по городскому типу, кухня и три комнаты.

У задней границы двора стояли «службы»: баня, «каретник», погреб, амбар — все вплотную друг к другу, под одной крышей. Впрочем, это только названия пышные, все на самом деле было очень скромно. Баня — черная, сильно покосилась, в «каретнике» стояли телега, сани, розвальни, тут же устроен на-сест для кур; амбарчик — маленький (запирался он огромным ключом — мастер для себя делал!). Когда-то здесь стояла еще кузница, но сгорела, и я запомнил лишь наковальню и пень с тисками. Бани на Севере были у всех хозяев.

К дому — через сени — примыкал скотный двор на пять стойл, с большим «вторым этажом» — сеновалом. Там мы с бабушкой летом спали в «пологу», от комаров (тучи комаров были в Ольхове). Помню, как щебетали ласточки в гнездах на стропилах... Птиц всяких было очень много... Между сенями и скотным двором располагалась уборная с выгребной ямой, всегда чистая (теплый туалет в квартире, со сливом, я познал только в чине профессора, в сорок лет). Во дворе высился журавль над колодцем. На участке были огород и сад с пятью яблонями, малиной и смородиной. Все помню, до мелочей, но нет смысла описывать, так как еще при моем детстве все постройки были снесены... В общем, было нормальное хозяйство, называлось — «средняцкое».

Деревню при нэпе помню отлично. Жили бедно. Корова, лошадь, пара овец, куры — это живность. Свиной не держали — не умели. Посевы — три-четыре десятины, то есть гектар. Еще — покос, для сена. Общественный выгон. Кто не мог подработать на стороне или имел больше двух детей — просто бедствовал: хлеб, картошка, капуста, грибы, ягоды, постное масло, жмыхи. Молоко — в обрез, его приходилось относить в кооперативную маслодельню, чтобы заработать копейки на керосин, на лоскут ситца. Мясной приварок бывал только в сенокос и жатву.

При этом — земля общинная, каждые пять лет ее перераспределяли «по едокам». Поэтому большой заботы о плодородии не было. Коммунисты «землю — крестьянам» вроде бы и дали, но не в собственность, а во временное пользование. Урожай

были низкие, «до нового» — никогда не хватало, десять центнеров (по современному счету) — несбыточно.

Самые бедные одевались в домотканое. Те, кто побогаче, добавляли ситец и «чертову кожу» — хлопчатобумажную прочную ткань черного цвета. Обувь — сапоги, опорки, валенки — носилась до полной негодности. Лапти в Ольхове надевали только в лес и на покос. Летом ходили больше босиком. Одежду и обувь шили «швецы» — бродячие портные и сапожники.

Ольхово жило лучше других деревень: рядом строился шлюз на Шексне. Его начали еще при царе и закончили в 1926 году. Некоторые парни матросами «плавали на судах»...

Сельский кооператив с маслодельней и «лавкой» был центром, где общались мужики и бабы. Правда, изба-читальня, она же — клуб, уже влияла на жизнь: там висели красочные плакаты с толстыми «кулаками», попами и генералами. Днем там было пусто. К годовщинам революций проходили собрания, потом появился драмкружок, начались танцы. Частушки помню: о Ленине и Троцком, но без культа — с бранью и даже матом. С 1925 года стали привозить кино (мы, школьники, за билетик крутили динамо-машину).

Разнообразие в жизнь вносили престольные праздники. Они были небогатые на еду, но очень пьяные: сначала пили самогонку, а в 25-м году «сухой закон» отменили (он держался с 1914 года), и появилась «Русская горькая», она же «Рыковка» (30 градусов).

Село гудело от застолий. Днем вдоль улицы с визгливыми песнями ходили девки в ситцевых нарядах, а к вечеру собирались ребята и пьяными голосами горланили до самой ночи песни под гармонь — исключительно матерные. В такие дни на медпункте был аврал: ни один праздник не обходился без драк, случались даже убийства. Вообще, народ в Ольхове был очень груб, совсем другое дело на Украине — здесь к отцу-матери на «вы» обращаются, а у нас ничего не стоило и матом послать...

Мораль была невысока, но грубого разврата — не много. В церковь по воскресеньям и праздникам ходили больше женщины и пожилые мужики, молодежь пренебрегала. Кроме пасхальной заутрени, когда собирались все, а ребята даже стреляли из самодельной пушки. Был и крестный ход. Священник с дьяконом обходил поочередно все дома, в каждом творил краткую молитву и получал плату — яйца, кусок кулича... Село большое, в каждом доме подносили рюмочку. Потом смеялись, что к вечеру отец Павел уже лыка не вяжет.

Политических страстей не помню: было затишье между революцией и становлением колхозов. Такие слова, как «коммунист», «председатель», «ячейка», в нашем доме упоминались не часто. Однако крестьяне при нэпе были лояльны к власти.

Теперь о предках.

Удивительно, как мало у нас интереса к прошлому. Наверное, это идет от плебейства: не привили родители фамильной гордости. Нечего хранить и нечем кичиться. Почитаешь биографии дворян — знают о предках, да чуть ли не с крещения Руси. Я слышал только о прадеде. По крайней мере, два поколения Амосовых, до моего отца, были полукрестьяне-полурабочие. Будто бы когда-то предки выкупились у барина. Летом они занимались хозяйством, а зимой глава семьи со старшими сыновьями уезжал работать на железодельный завод. Отец — мастером, сыновья — работниками. Я видел чугунную плиту на его могиле: «Мастеру Амосову Ивану...» Впрочем, сыновья рано разлетелись из отцовского дома, так что дед на завод ездил уже один.

Жили Амосовы хорошо, но не богато. Наверное, могли бы жить лучше, но были две страсти в семье: к лошадям и к водке. Первая закончилась со смертью деда, а пристрастие к водке перешло к его детям и внукам.

Мама считала, что это наследственное, и боялась, чтобы я не запил.

О дедушке мама и бабушка рассказывали по-разному. Мама: «Чудный человек, добрейшей души... кабы только не пил. Но и пьяный был хороший». Бабушка отсылалась сдержанно: «Дурной... Бывало, в престольный праздник наготовлю всего — пива, пирогов, а он выпьет, затем выходит за ворота и зазывает всех подряд: «Заходите, у Амосовых хлеба-соли хватит». Или с этими лошадьми: только к одной привыкнешь, недоглядишь — уже поменял. Все цыгане его знали. Как-то меня в амбаре запер, я муку сеяла, и сменял лошадь. Уж я ему задала...»

Будто из-за лошадей и помер: ехал из города в распутицу, гнал... конь был хороший («Два часа на небеса!»); провалились под лед, едва выбрались. Стал болеть, водянка, и умер... «Бывало, в войну, уже больной, ходить не мог, везет навоз, сядет верхом, тебя на руки возьмет и скажет: “Детки выросли не хозяева, может, ты крестьянствовать станешь?”».

Зато бабушка, Марья Сергеевна, была из другого теста. Властная женщина, все хозяйство держалось на ней. Рассказывала,

что родилась крепостной, грамоты не знала. От дядей слышал: «Семья Ереминых была богатая, мало что из крепостных».

Свекровь сначала невзлюбила невестку, потому что «взяли с приплодом». А век пришлось доживать с ней. У самой было десять детей, семь выросли, все жили неплохо. Но когда отец бросил семью, бабушка осталась с нами. Не захотела идти к дочкам или к другим невесткам, мамина доброта победила и ее.

Умерла от рака мочевого пузыря, сильно страдала, но маму, уставшую после вызовов, не беспокоила. «Слышу, не спит, постанывает, но ни за что не разбудит, пока сама не проснусь...»

Думаю, что от Марьи Сергеевны мне тоже перепали кое-какие гены. Например, рациональность и даже — чуточку — прижимистость. Помню, когда шли разговоры о революции и некоторые сетовали, что деньги пропали, бабушка не признавалась. «У нас с Лизой ничего не было!» У Лизы и впрямь не было, а после смерти бабушки в ее сундуке нашли «николаевских» десятков и «четвертных» рублей на триста. Корова до войны стоила 10—20 рублей.

Дяди и тети Амосовы тоже интересные люди, для романа-хроники вполне бы годились.

Старший сын — дядя Вася, «рыбинский». Не знаю, как и когда он приехал в Рыбинск, как выбивался в люди, но еще до революции дослужился до управляющего вальцовою мельницей у купца. После революции остался в той же должности. Имел семь человек детей. Невестку («Прохоровну») бабушка не любила, считала барыней. Когда они приезжали в гости всей оравой, говорила: «Ну, налетела саранча...»

Вторым шел отец, о нем скажу погода.

Третий — дядя Саша. Его семья была нам ближе — жили рядом, а с сестрой Катей до сих пор переписываемся. Дядя Саша бросил школу, ушел из дому, побывал в Рыбинске. В Киеве женился на украинке. Родили трех дочек и сына. Осел в Питере, поступил на Обуховский завод и вышел в первоклассные мастера: проявились технические таланты Амосовых. Изобретал, патенты имел. Ему даже в 1914 году «броню» дали, как специалисту. Говорили, что получал больше ста рублей жалованья, — по тем временам деньги большие! Но половину из них пропивал.

В 1918 году, когда в Питере было голодно и заводы стояли, приехал он с семьей в Ольхово. Осели. Дядя Саша работал механиком на шлюзе, на мельнице, поэтому жили безбедно. Но не жилось ему спокойно. В 1922 году в Москве проходила Пер-

вая техническая всероссийская выставка. Дядя ездил туда посмотреть и загорелся идеей построить ветряную мельницу по типу американской. Но из дерева, поскольку железа не было. На эту мельницу и положил все средства и остаток жизни... Семья бедствовала, а он все строил. На его участке в огороде поднялась башня с пятиэтажный дом. Закончить не удалось: крылья поднимали всем селом, но закрепить не смогли. Мы даже в школу не ходили — смотрели. Под хмельком дядя Саша говорил: «Не хватило образования. Нужны расчеты».

После этого что-то надломилось в его душе. Снова запил. Нанялся к кулаку за двадцать верст поставить паровую мельницу. Зимней ночью, пьяный, шел домой, упал на дороге. Его подобрал проезжий крестьянин, положил на розвальни, а привез домой уже мертвого.

Семья осталась на руках жены, тети Ани, совершенно без средств: четверо маленьких детей, от пяти до одиннадцати лет... Трудно ей пришлось. И все-таки выучила всех дочек, получили среднее образование — медики, педагоги. Младший сын Толя учился на механика, потом храбро воевал на флоте, стал после войны моряком, потерял в плавании глаз и умер, не дожив до пятидесяти, от пьянства и инфаркта.

Младшего брата отца, дядю Ивана, помню смутно. Он закончил техническое училище в Череповце, то же, что и я спустя четырнадцать лет.

Судьба его печальна. Переехал в Питер, жил у брата, женился на студентке-медичке, родилась дочь. Был эсером, участвовал в революции. В 1918 году, когда распался союз эсеров с большевиками, дядя с товарищами ехал на автомобиле, разбрасывали листовки, попали в засаду, стреляли. То ли был убит, то ли застрелился. Насколько я помню, к эсерам в Питере примыкал и дядя Саша. Отец же был увлеченным кооператором и в партии не вступал.

4

Теперь об отце можно все говорить: никто не обидится, все умерли. (Мне даже папой его называть не хочется.) Мама его всегда хвалила: «Был прекрасный человек...» Не знаю. По дневникам — да, был. Но дневники ненадежны. (Наверное, и мои?)

Окончил двухклассное училище. В юности поработал в Ры-

бинске, у брата Васи, поднабрался культуры. Несомненно, много читал. Вместе с Иваном собрал порядочную библиотеку: классики, политика (и Маркс, и Ленин), философия, история. Эти книги и меня вывели в люди. Эсеры с их лозунгом: «В борьбе обрешь ты право свое!»

Отслужил в армии. Организовал в Ольхове потребительский кооператив и маслобойню: существовала до конца Ольхова.

Маму направили в Ольхово в 1909 году, и она поселилась с учительницей Шурой Доброхотовой, вчерашней гимназисткой. Дружба держалась до смерти. Тогда же состоялось знакомство: Миша Амосов, с претензиями на интеллигентность. Ему было лет двадцать пять. Сохранилась фотография того времени: в черной косоворотке, довольно красивый, высокий, с пышными волосами и крупным носом. Я на него похож, только ростом не вышел и волосы не те. Но фамильный нос, он будто бы от предков, присутствует. Мама говорила, что и многое другое похоже. Я не очень этому радовался: претензий к отцу имел много, а чувств — мало.

Дело быстро шло к браку, если бы не бабушка. Она наотрез отказывала, имела на примете богатую. Попа уговорила, чтобы не венчал. Пришлось родителям обращаться в другой приход.

Тяжело было маме с такой свекровью. Жизнь скрашивалась только любовью мужа. Говорила, что он очень любил ее и были они счастливы те неполных два года, которые прожили до начала войны.

В положенное время родился я. Тогда не было отпусков по беременности и родам. Мама работала очень много, а для меня взяли няньку. Бабушке это барство не нравилось, но мама не сдалась. Тем более что в связи с выездами на роды материнское молоко «пересохло» и пришлось кормить искусственно. Нянька должна была все делать по тогдашней науке: кипятить, протирать, разбавлять. Поэтому я рос хилым, переболел детскими инфекциями, возможно, и рахитом. Однако когда дорос до школы — болеть перестал.

Началась война. Мне было восемь месяцев. И тут кончилось мамино счастье. Через полгода перестали приходить письма с фронта: «пропал без вести». Но судьба была милостива: после восьми месяцев молчания пришла открытка — уже из Германии, из плена. Международный Красный Крест организовывал переписку и даже посылки через Швецию. Плен был не тот, что в Великую Отечественную. После отца остались пачки открыток

и около десятка записных книжек, где карандашом очень четко писались дневники... Работал на разных работах, больше — в сельском хозяйстве. Дважды пытался бежать, неудачно. Карцер, голодный паек, тяжелые работы в шахте. Из плена вернулся только в начале 1919 года.

Смутно помню: комната, яркий свет, надо мной стоит мужчина: он кажется огромным. И чужим. Таким и остался для меня на всю жизнь.

Сначала отец хотел заняться хозяйством, многому научился у немецких фермеров, но вскоре уехал: пригласили в Череповец на большую должность — председателем губсоюза кооператоров. Соблазнился работой и хотел обновить свое хозяйство. Оно было в полном упадке: остались одна корова да куры. Работать было некому: братья и сестры разъехались, бабушка постарела, мама — урывками, нанимать не на что.

Однако ничего из хозяйственных планов не вышло. Правда, купил сложный плуг, но его наши лошади не тянули. Потом привез жеребеночка, прозвали его Дружок, выросла хорошая лошадка. Мы росли вместе. Он продержался у нас года три, пока были надежды на возвращение отца.

Дом и имущество разделили с дядей Сашей. Он передвинул свою половину на соседний участок целиком, еще раз продемонстрировав технические способности.

Отец снес старую «зимовку» и начал строить хороший дом, но не достроил. В Ольхово сначала приезжал каждую неделю, работал по хозяйству. Мне посещения его были неприятны, они всегда заканчивались выпивками и напряжением. Видимо, я подсознательно ревновал маму к этому чужому мужчине. (Как по Фрейду!) Вскоре до меня стали доходить разговоры о какой-то женщине. Мама украдкой плакала, бабушка молилась. Она открыто приняла сторону невестки и грозила отцу проклятием. Но времена были не те, чтобы этим испугать.

Семья развалилась. Потом мама говорила, будто он требовал нашего переезда в город, а она отказывалась: «Жалко Ольхово, работу, баб».

Окончательный разрыв произошел на моих глазах. Отец уже изрядно пил, и его отправили поработать в районный центр Шексна. Пригласил нас погостить, но туда же приехала его любовница. Мама плакала. Днем мы сели в поезд и поехали в Череповец. Это был мой первый поезд. Всю дорогу я простоял у открытого окна и о родителях думал мало.

После этого отец долго не приезжал. Все знали: они расходятся. Бабушка, тетки и дяди были на стороне мамы, поддерживали как могли.

Мне не повезло с отцом. Простить ему никогда не мог, хотя лично мне он был не нужен: ушел, ну и ладно. Мама же осталась!

Судьба у него была грустная. Сестру Марусю он удочерил с момента брака, в начале двадцатых годов она жила с ним в Череповце, когда заканчивала среднюю школу, и жилось ей не просто. Характер у нее был трудный. К отцу приходила любовница, и они устраивали выпивки. Можно представить себе эту атмосферу. В 1924 году Маруся поступила в институт.

В течение нескольких лет в новой семье отца родилось два сына. (Помню, дома смеялись: одного из них называли Горацием!)

Мама периодически приезжала в Череповец за лекарствами. Останавливалась она у Шуры, которая вернулась в город и работала в школе. Я тоже стал жить у нее, когда в 1926 году приехал учиться в «школу второй ступени».

Не знаю, почему не был оформлен развод родителей. Со временем мама потребовала, чтобы отец забрал дом с участка. Новый большой дом разобрали и увезли. От имущества осталась только баня. Через год ольховские мужики помогли маме построить «особняк» в два окна. В нем она и дожила век.

Ну а отца тянуло в Ольхово. Он купил у сельсовета усадьбу на берегу Шексны, реквизированную в свое время властями. Одно время там была «аптека», я ее хорошо помню. Пару сезонов там прожила его новая жена с детьми, а сам он приезжал по воскресеньям. К нам захаживал, но всегда — выпивши. Одно время зачистил, пока мама не отшила.

В 1926 году я приехал в Череповец учиться, и отец давал мне на содержание 15 рублей в месяц. А в 1929 году, когда Маруся закончила институт, мама отказалась от отцовской помощи.

В 1930 году отец заболел — ослеп. Диагноз: атрофия зрительного нерва на почве алкоголизма. Лечился в Ленинграде, и вроде наступило некоторое просветление, снова начал работать. Дачу, естественно, продали. В 1931 году отец внезапно умер, видимо, от болезни сердца.

С сомнением начинаю я эту главу. Теснятся образы, смешиваются чувства. Хорошо помнятся поступки, особенно плохие. За всем этим стоят схемы от науки: их много накопилось в памяти от занятий психологией, социологией. Мальчика-подростка хочу вложить в них, чтобы понять: что от генов, что от среды, а что и от самоорганизации.

...Ребенок растет, как дерево: зародыш в семечке, но нужна почва, влага, солнце, чтобы выбиваться вверх, тесня, подчиняясь при этом соседним деревьям, ветрам (и ураганам!), реализуя врожденные потенции...

Вспоминая, чувствую своего маленького Амосова. И — удивительно — ничего во мне с возрастом не изменилось! Да, я перестал совершать дурные поступки. Почти перестал. Но от ума, а не от сердца. Ум расширил перевоплощение: люди стали... как бы сказать, частью меня самого, «моими» субъектами, а не только объектами действий. Поэтому обижать их неприятно. Второе — предвидение последствий. Делать что-либо плохое стало просто невыгодно...

Я не хочу себя приукрашивать... Даже с риском потерять симпатии тех, кто прочтет. Уже не работаю на публику. Нет, на царство небесное тоже не надеюсь — не верю. Да и не заслужил. Если судить по личным качествам — отметка на «3-4». Впрочем, если уж по пользе людям, то больше. Но Бог должен оценивать по личным....

Смешные рассуждения: торгуюсь с Богом!

Теперь по сути. Расскажу о своем детстве. Оно было необычным для деревни: рос замкнуто, общался, и то редко, только со своими двоюродными сестрами. Не знаю почему. Наверное, мама боялась за меня, боялась травм, инфекций. Глупо это, а может — с пользой: одиночество формировало разум. Теперь говорят о «развивающих играх», вплоть до компьютерных. У меня не было даже игрушек, разве что глиняная

свистулька от приезжих торговцев горшками, продающих с воев.

Так и в школу пошел, одинокий, до этого даже соседских детей видел лишь издали. Прямо — барчук! Читать-писать не умел. Помню только, что много рисовал, фантазировал, больше о войне. Тогда все ею жили. Гулять не любил: чуть ли не силой выгоняли «дышать воздухом», особенно зимой.

Рассказы бабушки слушал, песни няни и теперь помню.

В общем — рохля и рохля!

Зато школа стала событием. Одна учительница учила сразу два класса: первый и третий. Меня посадили со старшими, так как в первом классе места не оказалось. Тут я быстро выучил буквы и стал читать. «Робинзона Крузо» одолел за три месяца. Рисунки даже помню. Но школа сначала не нравилась: очень много шума, ребята буйные, все — незнакомые. Не было контакта. Даже на переменах я не выходил из-за парты. Освоился только к Рождеству.

В первое школьное лето барство с меня слетело: бегал босиком, дни проводил с товарищами. Но все равно остался неловким: если говорить по-ученому, то своевременно не были отработаны «двигательные программы». Не научился плавать, не дрался, плохо играл в городки, в лапту, не умел ездить на велосипеде, танцевать. Всегда ощущал свою неполноценность. Удивляюсь, как это стал хирургом: ручная все-таки работа!

Первый класс учили в избе-читальне («клубе»), а на второй год все изменилось: открыли школу на строительстве шлюза. Это в километре, через «наволоок». Много приключений: зимой — метели, сугробы, весной, в половодье, — на лодке. Веслами овладел вполне. Даже на байдарке!

Учился хорошо, но учили плохо. Условий не было — учебников, бумаги, уменья преподавать. Впрочем, нашу учительницу Серафиму Петровну вспоминаю с удовольствием.

В четвертый класс пошли учиться в школу, что на противоположном конце села. Тоже поначалу были трудности: ребята с «того края» дрались с «нашим краем». Так что домой приходилось добираться в обход — две версты по болоту. Но я уже «был в коллективе», со «своим краем».

К счастью, скоро все изменилось. Партия вмешалась в воспитание: в 1924 году организовался отряд пионеров.

Это было очень интересно, куда лучше, чем потом, когда в

пионерах ходила моя дочь. Там у меня появился первый чин — заместитель вожакого отряда.

Из пионерской жизни вспоминается многое. В частности, о семечках: пионерам грызть их почему-то не полагалось. Я и теперь их не ем. Красные галстуки привились легко, а вот с трусами было плохо — старухи протестовали: «Стыдобушка!» Случалось, ребята ножницами (или даже топором!) укорачивали подштанники, чтобы получились трусы.

В общем, ничего выдающегося в моем детстве не было. Река, лес, луг, игры. Лидером я не был, так, где-то посрединке. Уважали, что хорошо учился... А летом — работа: сенокос, жатва, молотба. У нас было тогда скромное, но полное хозяйство: жеребенок Дружок, корова Лушка, собака Арфик, кошка, куры. Даже поросенок однажды был — Хавроном звали, совсем ручной, почти друг. Но когда его резали, всем было так жалко, что больше решили не заводить. Сначала по хозяйству отец помогал, потом уже одни справлялись. С двенадцати лет я был главный работник.

Почему-то не помню, чтобы готовил дома уроки. Наверное, не задавали.

Зато общественная работа кипела: сборы отряда, «проработки» нерадивых, походы, стенгазета. Даже участвовал в клубном драмкружке. На митинге к седьмой годовщине Октября на площади стихи читал! Помню, как в 1924 году пришел дядя Саша и сказал, что Ленин умер. Но чтобы жалели — нет, не помню.

Еще одно: организовал школьный кооператив. Как-то у нас ночевал кооператор, знакомый отца, коммунист со стажем, бывший эмигрант. Он и подал такую мысль. Как раз в тот год было наводнение в Ленинграде, пострадало много товаров, в том числе и книжные склады. Он прислал нам для кооператива ящик подмоченных и уцененных книг на сто с лишним рублей. С них мы и разжились, распродали с прибылью, выплатили долг и приобрели новый основной капитал. Правда, потом торговля шла слабо, но все же тетрадки и карандаши получали из кооперативных каналов.

Читал много книг — библиотека была хорошая. Особенно запомнилось толстое издание — «Французская революция» Карлейля. Даже рисунки видятся, если закрыть глаза. Комплекты «Нивы» только листал, а Приложения за 1908—1912 годы читал позднее, в каникулы.

В четвертом классе «сидел» два года: маме казался мал, и она не решалась отпустить меня одного в Череповец. В школе все равно было интересно — шла активная общественная работа в пионерии.

Такое партийное начало — и не получило продолжения!

В последнее лето перед отъездом гостил у дяди Васи в Рыбинске. Запомнились несколько эпизодов. Впервые в жизни пил чай «внакладку». Особенно вкусным казался ситный хлеб, если его макать в такой чай. Также впервые попробовал мороженое: мороженщики тогда возили деревянную тележку на двух колесах с бочкой, в которой были колотый лед и металлический бидон с мороженым. Его накладывали ложкой в специальный выдвигающийся стаканчик с подложенной вафлей. Стоимость 5, 10, 15 копеек, в зависимости от диаметра стаканчика. Неопишное блаженство! У меня не было денег, но дети дяди угощали несколько раз. Позднее в Череповце продавали такое же, но денег не было, и роскошь за 5 копеек позволялась не чаще одного раза в неделю.

В тот год умерли бабушка и дядя Саша. Самые близкие мне двоюродные сестры осиротели. Смерть не произвела на меня особенного впечатления.

В 1926 году кончилось мое счастливое детство и началась довольно грустная жизнь. Нужно было учиться дальше... Для этого пришлось ехать в Череповец и поступать там в «школу второй ступени».

После революции на несколько лет город сделали губернским, отделив от Новгорода Великого, потом, в тридцатых годах, присоединили к Вологде. Теперь его все знают: «Северная Магнитка». 250 тысяч жителей. Но тогда было 30 тысяч — хороший уездный городок, как при царе. Лесопильный завод. Электростанция с двумя дизелями... Пристань, судоремонт... Дом профсоюзов, две средние школы, четыре техникума, театр, три кинотеатра, городской сад со сценой... Церквей всего четыре. Дома одно-двухэтажные, кунеческие, больше — деревянные. Планировка — правильная (с Екатерининских времен). Главная улица — Советский проспект. Другие получили свои названия по именам вождей — Ленина, Троцкого, Зиновьева, бульвар Луначарского... Царские имена уже были забыты. Половина улиц — булыжник, другие — немощеные. Тротуары все — дощатые, кроме главной улицы, та — выложена плитой.

Мы приехали на пароходе. Мама отвела меня в школу держать экзамен. Что-то писали, решали задачи, но я был уверен и не волновался. Познакомился с Леней Тетюевым, он стал моим другом на целых сорок лет... Когда вернулись в Ольхово, то стали ждать извещения о приеме. Помню, думалось: «Хоть бы не приняли». Но тут же: «Надо!» И так всю жизнь: «Надо!», «Надо!»

Прошла, как сон, последняя неделя перед расставанием с мамой, домом, ребятами.

Пароход «Кассир» курсировал от Череповца до Ольхова, ночевал у пристани и в четыре утра отходил обратно. Сколько на нем проделано путешествий: домой — веселых, в город — грустных. Так себе суденышко с дизельным двигателем. Даже сейчас слышу «тук-тук-тук...» над рекой.

Горько плакал, когда один вернулся в свою комнатку в Череповце. До пятнадцати лет меня охватывала лютая тоска по возвращении из Ольхова. В одиночестве, со скупыми слезами. При том, что на слезы был крепок.

Почти весь период жизни в Череповце прошел тоскливо... Не было детского счастья, кроме каникул. Полегчало лишь в последние годы, когда появились новые интересы.

Мама поселила меня у своей подруги Александры Николаевны Доброхотовой. Она учительствовала, жила одна в маленьком домике на Красноармейской улице вблизи собора. После войны его снесли — теперь тут лысая площадь.

Александра Николаевна казалась мне тогда старой, а было ей меньше сорока. В молодые годы она вышла замуж за офицера, но неудачно — был с белыми, вернулся, арестовали, расстреляли. Так больше и не нашла судьбу. Впрочем, мужчина одно время приходил поздними вечерами. Я все слышал, переборка тонкая. Не буду мусолить детскую сексуальную тему: большинство мужчин помнит свое отрочество и любопытство. Еще в Ольхове я читал Арцыбашева и рассматривал мамины учебники по акушерству.

В домике две комнатки и кухня. Я теперь прикидываю — общая площадь примерно метров двадцать, потолки низкие: доставал рукой до балки. Жалованье учителям платили такое мизерное, что по современным представлениям жила она нищенски, как и мы в Ольхове. Электричества не было — дорого. Пищу

готовили в русской печке, ее топили каждое утро. Покупка дров или новый забор оставляли в бюджете дыру, требовавшую трех месяцев экономии. Поэтому и брала на квартиру учеников.

В мои обязанности входило носить воду от колонки, колоть дрова, чистить тротуар от снега. По субботам Александра Николаевна ходила вечером в баню, и я ставил самовар к ее приходу. Домик запирался на много замков, важно было не потерять ключи. Квартира убиралась редко. («Грязнуля она, моя подружка!» — говорила мама, когда приезжала и вычищала квартиру.) А тут еще два любимых кота, они часто гадили в комнате (представьте: запах!). Один, Васька, был такой вредный, что из мести — я стрелял в него из пугача — писал на мой столик. А говорят еще, что животные не имеют разума! Потом мы с приятелем отнесли его в магазин. Хозяйке, конечно, не сказали, иначе и с квартиры могла выдворить.

Александра Николаевна была отличным человеком и прекрасной учительницей. К ней часто приходили такие же одинокие, как она, коллеги, и разговоры были только об учениках. С тех пор школьные дела остались близки моему сердцу. (Вспоминаю ее, маму, многих других — до чего все-таки люди были преданы своему делу!)

Моя материальная база составляла 15 рублей в месяц, которые давал отец (он получал 120 рублей). Пять рублей я платил за квартиру, а на десять должен был питаться. Два раза в месяц надо было ходить за деньгами к отцу в губсоюз — там он занимал хорошую должность.

До чего же тягостны были эти походы! Бывало, подойду к лестнице — надо на второй этаж, — постою, вернусь, похожу по улице... Но куда денешься? Поднимусь, войду в комнату — это контора с несколькими столами, отцовский — главный. Подойду, поздороваюсь: он всегда выглядел добрым...

— Папа, мне нужно денег...

— Сколько тебе?

Первого числа я отвечал — десять, а пятнадцатого — пять рублей. Он каждый раз задавал этот вопрос, но я ни разу не попросил больше. А он не предложил... Раза два я бывал у него на квартире. Не помню богатства, но не сравнишь с нами... Раз в год, вечером, он приходил ко мне, хорошо выпивши, и устраивал разнос: что я расту барчуком, мать избаловала, что мне нужна «суровая школа», что я не люблю отца. И не уважаю людей. Почти до слез доводил, и я с нетерпением ждал, когда

вернется Александра Николаевна. Она его выпроваживала без церемоний.

Невесело жил... Но — не скучал. Только сильно тосковал по маме и по дому. Каждые две-три недели непременно ездил в Ольхово. Осенью и весной — на пароходе (дешевые были билеты — 30 копеек за четыре часа путешествия на «Кассире»!).

Зимой ходил пешком. Чаще всего — один, иногда — с попутчиками. Много раз я вымерял эту дорогу — 25 километров, знал каждый поворот, поля, перелески, редкие деревушки.

Одно путешествие хорошо помню: шестой класс, декабрь, холодина. Под вечер прибежал Ленька:

— Коля! Корь! Карантин! На неделю распустили... Ура!

Тут же собрался, не хотел терять ни одного дня.

Шел один, ночью, дрожал, боялся, мерз. Ветер сбивал с ног. Так устал, что ложился около дороги отдохнуть. Немного не дошел, выбился из сил. Глухая ночь, деревни спят... Нашелся дом с огоньком, постучал, откликнулись:

— Чей ты, парень?

— Акушерки Елизаветы Кирилловны...

Пустили, поохали, уложили. До чего было приятно на русской печке! Рано утром хозяйка даже овсяными блинами накормила. Утром легко добежал до дома. Мама в ужас пришла, когда я заявился веселый...

Педантом был с детства. Бабушки Марьи Сергеевны гены, от кулаков. Амосовы — безалаберны.

Вот несколько примеров: раннее детство (1918—1919?). Было голодно, жалованье маме выдавали миллионами. Но хозяйство спасало. Чай из лесной мяты пили с ландринном — по одной штучке на раз. В Великий пост я решил приготовить себе к Пасхе праздник: стал пить так, а ландрин сохранял. Ни разу не соблазнился! Или еще: кусок пирога всегда ел, начиная с края, а самое вкусное — серединку — в конце.

Все закупки делал сам. Всегда хватало денег. Помню цены: хлеб ржаной — 9 копеек, крупа гречневая — 31 копейка, сахар — 68 копеек. Конфеты шоколадные — 2 рубля, но я не купил ни разу, только на этикетки смотрел. Мясо — 2 рубля, сало топленое — 1 рубль. Рынок помню: большая площадь у водонапорной башни, сплошь уставленная ларьками и магазинчиками.

Я не так уж плохо питался на 10 рублей. Суп или щи с мясом (1 кг на месяц!); на второе всегда, все пять лет — гречневая

каша, но на масло денег не выходило, поэтому ел с коровьим жиром — его в плошке растапливали в русской печке, он тут же застывал. Утром и вечером — чай с хлебом без масла, сахар вприкуску, мелкими кусочками, наколот в железной банке. Витаминов мало, поэтому по весне всегда болели глаза. Но других болезней не помню. За все годы своего учения ни разу не пропустил школу.

Когда кончился нэп, вся моя система экономии пошла на смарку. Нечего стало экономить. Сахар выдавали песком — я его тут же съедал. Плохо, но жить можно.

Два раза в месяц ходил в кино — 20 копеек, в первых рядах. Про пиратов, потом — Тарзан. Изредка покупал на лотке у старухи ириску — 1 копейка, ее хватало сосать до самой школы, четыре квартала. А моя двоюродная сестра Надя (типичная Амосова) училась в педтехникуме, получала стипендию — столько же, как я, и всегда сидела голодная.

Одевался я бедно: обшивала мама. Были две ситцевые рубашки, одинаковые, серенькие. Даже дразнили: «У Кольки одна рубашка». Обижался: «Две!» Еще была суконная курточка из старья, на холода... Спал на железной кровати. Матрац осенью набивали соломой на весь год. К весне она превращалась в труху, и я спал уже на досках. Простыня была, пододеяльника не полагалось. Одеяло — ватное, лоскутное.

В баню ходил раз в две недели: билетики были за 20 и за 30 копеек. Я, конечно, ходил подешевле. Вещички свертывались в узел, и гардеробщик укладывал их на полки. За 30 копеек полагался шкафчик.

Белье возил стирать домой... Однажды приключилась целая драма. Дядя Сергей, мамин самый младший брат, вернулся из армии и оставил на время в моей корзине свое чистое белье вместе с моим. И вдруг один мальчишка в школе обнаружил на моем воротнике вошь! Позор! Сменил белье, написал маме, она ужаснулась. Прошел месяц в тревоге, рубашки менял, пока догадались посмотреть белье дяди.... Еще долго содрогался от страха, что вошь выползет и ребята увидят!

Самолюбие — производное от лидерства. Врожденное качество на всю жизнь — стремление быть впереди. У меня оно было, но в меру. Сначала — дело, а только через него — место.

Образ жизни — название скучное. Таков был и «образ».

Педант: вставал в семь, ложился в десять. Первые четыре года в Череповце ни разу не нарушил режима...

Учиться нравилось. Все давалось легко, был первым, даже старостой класса: журнал посещений доверяли. Но «не высовывался».

Уроки не готовил. Заданий мало, все успевал делать в классе. Сочинений дома не писали. Между прочим, учителя были дореволюционной выучки, не думаю, что им нравилась такая вольница. Только когда пришел новый «немец» — Нестор Несторович Генке, то заставил зубрить, каждый день спрашивал и даже поставил «неуд.» за четверть. Запомнилась его фраза, когда учили «Интернационал»: «Если зайца много бить, он будет стрелять из пистолета». Его потом арестовали.

Было и слабое место: физкультура. Неловкий, стыдился, хотя силы было много: натренировался в хозяйстве. Поэтому хитрил, даже сбегал с уроков. Так было всю последующую учебную жизнь, включая институт. Петь тоже не мог: ни слуха, ни голоса. В хоре только рот открывал. Однажды попробовал играть на мандолине — не получилось. Музыку не слушал, радио у Александры Николаевны не было.

Любимый предмет — литература. Все читал, все знал, учительницы были умные. Только правильно писать не научили: до сих пор сомневаюсь и ошибаюсь. Такой вот академик и «член Союза писателей».

Был у нас предмет — «ручной труд». Столярничали. Получалось хорошо, но не по самому высшему классу, аккуратности не хватало.

Не помню, чтобы на переменах бесился, как полагалось мальчишке. Все потому же: «рохля». В драках не участвовал, меня не били, потому что был сильный, а сам не задирался. За всю жизнь ударили однажды — еще в Ольхове.... Помню.

Дома жил скучно до предела, хотя без дела не сидел. Придерживался распорядка: пришел из школы, хозяйственные обязанности справил, пообедал, помыл посуду — и приступал к главному делу: чтению.

Это была, как говорят, «одна, но пламенная страсть...». Даже собственную пятилинейную лампу завел и керосин, чтобы не зависеть от Александры Николаевны: она не разрешала «общую» зажигать, пока совсем не стемнеет.

Книги. Записался в три библиотеки: детскую городскую, взрослую и школьную. Кроме того, в чулане хранились приложения к «Ниве» за несколько лет, собрания Горького, Куприна, Андреева, Бунина, Сервантеса, Гарина-Михайловского...

Комплекты сочинений без переплетов (они были подешевле!), перевязанные бечевками, нечитанные, приносил и проглатывал «от» и «до». Еще были собрания сочинений Гюго, Золя... Произведения Гоголя и Пушкина прочитал в Ольхове, Толстого, Тургенева, Гончарова — уже в Череповце, в школьной библиотеке. Но до Достоевского добрался только осенью 1932 года: перед отъездом на работу целый месяц лил дождь, а я читал про страсти. До этого Федор Михайлович не нравился. Разумеется, были еще Жюль Верн, Майн Рид, Дюма, Фенимор Купер.

Читал советскую литературу, которая поступала в городскую библиотеку, — тогда еще свободно печатали «попутчиков». К примеру, Эренбурга многие вещи, которые больше никогда не переиздавались. Конечно, Есенина, кумира молодежи. Но мне больше нравился ранний Маяковский. Его «Облако в штанах» и «Флейту-позвоночник» наизусть запомнил.... До сих пор строчки в памяти вертятся...

«Бульварные книжонки» были в России до революции, к примеру, о «сыщиках» (Ник Картер и Нат Пинкертон), но в моих «фондах» они уже не значились. Так я к ним и не пристрастился. Сексуальные темы меня живо интересовали, но их просто не было в книжках того времени. Разве что у Золя чуть-чуть (помню «Нана»). Романы «Луна с левой стороны» и «Без чермухи» (авторов забыл) казались верхом свободы нравов.

В Ольхове тоже читал все время, если не был занят по хозяйству. Мама смеялась: «книжный червь». Вся моя «образованность» произросла из беллетристики, научных книг читал мало. Разве что о путешествиях и по истории.

Общение. Первые четыре года в Череповце друзей у меня совсем не было, только в школе. Пионерские дела как-то не пришились, сходил один раз, не понравилось. Комсомола даже не попробовал. Однако «мероприятия» были. Во-первых, театр. Хорошо играли, как мне казалось, хороший зал, богатая публика — все ходили группками по кругу в большом фойе. Для школьников по субботам делали скидку, последние ряды стоили 10 копеек. Выходной одежды не было, немного смущался, но — превозмогал...

Несколько раз ходил на публичные лекции. О Петре Великом говорили, что он сифилитик и в Голландии только пьянствовал. Меня возмущало: уже сложился образ из романов. Еще помню публичные «чистки партии». Председатель — этакий глыба-рабочий с плаката. Здорово драили! За взятки, кумов-

ство, за высказывания, не очень понятные для меня. Историю как предмет нам не преподавали, было «обществоведение». Ничего о политике в памяти не осталось, но я был «за революцию и социализм». Мама и Александра Николаевна в основном тоже. Верили, что власть — для народа. И — надеялись. Хотя все вспоминали, как хорошо жили «раньше», то есть при царе. Цены сравнивали... О ЧК говорили шепотом.

Самодетельность тоже была, но я не участвовал. Зато был главным по стенгазете: ее вела учительница рисования Ангелина Анатольевна. Молодая, рыжая.

Еще одно: о писательстве. Жилка к писанию была у Амосовых. Тетя Катя даже печаталась. В седьмом классе я написал роман «Цветы жизни». Ничего не помню, кроме названия. В Череповце был ЧаПП — «Череповецкая ассоциация пролетарских писателей». Я тоже ходил на заседания. Правда, больше молчал.

Вел дневник. Неблаговидное о себе тоже писал, но по-немецки.

О любви. Конечно, влюблялся, и очень рано. Под домом ходил. Сирень в окна бросал. Но писем не писал и слов не произносил. Сначала это была Шура Венчинова, потом Валя Шобырева, особенно долго. Влюбленность — чистая, в постели себя воображал с другими. Да, романтика была.

Немного хронологии. Первый этап Череповца: четыре года в «школе второй ступени». Второй этап: два года в техникуме. Формирование Амосова произошло на первом этапе — от двенадцати до шестнадцати лет. Тогда же меня настигли и страсти.

3

Где-то читал и повторял всю жизнь: «Придут страсти-мордасти, принесут с собой напасти».

Да, приходили и ко мне. Но как-то всю жизнь удавалось удерживать их «в пределах», не заносило... За исключением короткого периода в отрочестве.

С большим смущением буду о них писать, об отроческих страстях. Они лежат в душе, где-то в отдельном ящике, и никогда не забывались, никому не рассказывались, повергая в смущение и стыд: «Неужели это был я?» Судьба (или — Бог?) в те годы предоставила мне аванс, который и отрабатываю по сию пору... Но по порядку.

Началось все лет в пятнадцать-шестнадцать. Сначала — факты. Помню до мелочей.

Я воровал книги. Добрый десяток украл. Все помню: пять томов сочинений Маяковского. Англо-русский словарь. Курс фармакологии. Медицинская терминология.

Был большой книжный магазин — три комнаты с открытыми прилавками. Я приходил с папкой, рассматривал, листал и незаметно прятал необходимую книжку между своих бумаг. Заведующего помню: интеллигентное лицо с бородкой, средних лет.

И вот однажды, только я спрятал Маяковского, подходит ко мне заведующий, берет папку, вынимает из нее книжку и кладет на место. А потом говорит мне почти ласково: «Не надо этого делать, молодой человек...»

И — все. Я убежал, раздавленный стыдом и страхом.

Книжки растерялись при переездах, только словарь держался до последней квартиры и лишь недавно куда-то исчез. По нему я овладел английским: подчеркивал важнейшие слова и выучивал...

Акт второй: украл маленький учебный микроскоп и ящичек со скальпелем и пинцетами для препарирования лягушек... Кабинет природоведения располагался на нижнем этаже, имел большие окна и форточки. Через форточку я и залез в класс в белую ночь в июне. Открыл шкаф и унес. Поленица дров заслоняла окна с улицы...

Но зачем? Маяковского — потому что любил. Научные книги — хотел стать ученым-биологом. Микроскопик и ящичек — хотел препарировать лягушек.

Но и это еще не самое страшное...

Покушение на убийство. Был в нашем седьмом классе парень, старше нас. Скажу сразу: плохой парень. Ходили о нем слухи: пытался девочек совращать, даже мальчиков... На руку нечист. Врун. Учился плохо. Держался вызывающе, задирал и даже поколачивал маленьких. Меня не трогал — я был сильный. И — лидер класса.

Возненавидел я его люто и решил: не место такому в обществе. Нужно его убить. Я не мог просто взять и грубо стукнуть: не приучен к дракам. Но... у меня были другие возможности.

В тот год во время зимних каникул мы жили при медпункте, и при большом наплыве больных я помогал маме. В то время таблеток не было. Мама делала по рецептам смеси, развешивала

на аптечных весах, рассыпала на бумажные квадратики, а я их завертывал. Еще мыл посуду после приготовления настоев и отваров. В аптеке стояло несколько больших шкафов с лекарствами в фирменных флаконах, еще со времен земства. Один из шкафов — с ядами. «Список А». Он был на замке. Но, конечно, мне было известно, где лежит ключ. Лекарства я изучил по книжкам: действие, лечебные и смертельные дозы, даже пробовал на вкус...

При очередном мамином отъезде я отсыпал немного мышьяка. Сначала даже не задумывался — для чего: все мальчишки любят оружие, у меня тоже были японский штык и финский нож...

Этим мышьяком я и решил извести парня. Для этого разорился на 5 копеек, купил одну шоколадную конфету, разрезал, выскоблил из середины помадку, засыпал смертельную дозу яда и склеил по шоколадной оболочке.

Раздевалки со швейцаром в школе не было: вешалки, расписанные по классам, были привинчены на стене в коридоре. Никто ничего не крал, ребята подходили на переменах и брали из своих карманов, кому что нужно. Пальтишки друг друга знали...

Конфету я положил парню в карман. Когда выходили из школы, сам слышал, как он смеялся: «Какой-то дурак подарил мне конфетку! Вкусная!»

С тем я и домой пришел. Не помню, чтобы испытал сильные чувства, даже ночь проспал нормально. Утром думал: «Наверное, начался большой шум...» Странное спокойствие испытал: «Это ужасно, но дело сделано».

И что же? А ничего. Парень пришел как ни в чем не бывало.

И тут я испытал счастье: «Пронесло чашу сию...»

Понял: никогда больше не замахнусь на жизнь!

Нужно сказать, что я был жалостливый к животным: коробило жестокое обращение деревенских мальчишек с лягушками, кошками, собаками. Чтобы сам — никогда. Один раз в жизни голову курице отрубил, некому было, так после этого долго что-то в руке чувствовал.

Но любопытство было задето: почему не сработал яд? Прodelал эксперимент на своем вредном коте: подсыпал в пищу, он съел и даже не чихнул. Прочитал в фармакологии: есть разные соединения мышьяка, ядовитость может исчезнуть от разложения. Осторожно расспросил маму: когда появились эти лекар-

ства? Оказалось, что еще до революции. Не стал ее просвещать, что они уже испортились.

Из той же серии, но уже ближе к Фрейдю. Я уже писал, что болезненно любил маму, больше всего боялся ее потерять. Так вот, в том же злополучном году, в каникулы, наваждение какое-то нашло, что могу ее убить во сне. По вечерам прятал ножи и топор, чтобы проснуться, если стану доставать.

Много лет задавался вопросом: как могло случиться такое? После образцов высокой морали в книгах, примера мамы, других хороших людей, собственной жалости к маленьким детям и животным...

Ответ по марксизму: отрыв от коллектива. Эгоцентризм. Ницше. Смешно звучит.

Ответ другой: неверие в Бога, атеизм, который воспринял в пионерии и в школе. Исчезло понятие греха, которое внушала бабушка, а природной морали, видимо, не существует. Возникла преувеличенная оценка себя, своих критериев добра и зла, собственного права творить суд.

Посылка от биологии: жестокость подростков, особенности созревания психики.

Мне и сейчас жутко, через семьдесят лет, что могло бы быть!

Кто спас? Скажут: Бог! Уже сам не знаю. Невольно поддаешься мистике, когда слышишь — даже по телевизору — о звездных предначертаниях человеческих и даже государственных судеб...

Нет, не сдамся: игры случая. Счастливые.

Отпечаток от них остался на всю жизнь. Может быть, это совесть. Определились границы поступков. Что делать можно, чего — нельзя.

Не скажу, что никогда не грешил против людей, Бога, заповедей. Человеческая природа сильна. Грешил, но не обманывал ради результата. Делил грех только на двоих. Соблюдал тайну для третьих лиц, когда правда могла их ранить. Удивительно, что это всегда удавалось. Так что Бог, видимо, меня простил.

4

В восьмом классе, на рубеже лет пятнадцати-шестнадцати, и я сам, и жизнь моя изменились.

Даже страна... Нэп кончился, все пришло в движение. За съездами партии не следил, не читал даже «Коммуниста», жур-

нал, который выписывала Александра Николаевна. Но был в курсе дел. К примеру, в классе были «лишенцы» — дети, у которых родители относились к «нетрудовым элементам», лишенным избирательных прав. Это все «бывшие» — дворяне, купцы, кулаки, попы. Мы знали о таких детях, но «дискриминации» не проявляли: слишком абстрактно для мальчишек. Школьников просвещали по политике, знали мы и слово «вредители». Рассказывали о «Шахтинском деле», позднее упоминали инженера Рамзина, Потом появились троцкисты, зиновьевцы, бухаринцы... но их пока только ругали, не судили.

Началась индустриализация, наступление на кулака — сперва налогами, а потом откровенно — арестами. Организовывались колхозы. На рынке ломали ларьки и магазинчики частников. На окраинах города росли новые домики — крестьяне бежали от раскулачивания. Ввели талоны на сахар и хлеб. Даже нас, восьмиклассников, партия посылала в ближайшие деревни читать мужикам «Головокружение от успехов» (от ЦК). Дескать, на местах «перегнули», слишком откровенно загоняли в колхозы. Лицемеры.

Мама в колхоз не вступила, определилась как служащая и ликвидировала хозяйство. Это уже назревало: работать некому. Плакала, когда уводили корову. Дружка отдала отцу еще раньше: «Ты покупал — возьми!» Он взял. Мы уже жили в новом домике — маминой личной собственности, хотя с долгами: «бедные, но гордые». Маруся окончила институт и поехала на врачебный участок за двадцать километров от нас. Мы отказались от папиной помощи и даже смогли купить мне ботинки с калошами вместо деревенских сапог. Помню эту первую городскую покупку, ходили в универмаг выбирать с сестрой.

Между тем идея социализма уже укоренилась в умах «малой интеллигенции», и такого не было, чтобы мама или учительницы, которые собирались у Александры Николаевны, роптали на коммунистов. Конечно, мама переживала за «баб», что плакали, отводя скотину в общественные дворы. Но это относилось на счет «ошибок». ГПУ еще не свирепствовало, богатеев в наших деревнях было мало, поэтому раскулачивание шло сравнительно легко.

В школе дела тоже изменились: после седьмого класса многие ученики отсеялись. Создали один класс из двух. В средних школах ввели специализацию — «уклоны». Нам достался «лесотехнический»: инженеры из леспромхоза читали лекции. Было

ново и интересно: «таксация», «геодезия», «лесоустройство». Зачетов не устраивали, но водили «в поле» — работать с приборами.

В начале июня всем классом поехали в Вахново на геодезическую практику, в леспромхоз. По знакомой дороге, на пароходе «Кассир», весело, с песнями... (Я-то непоющий...) Руководитель — инженер, молодой и приятный, больше товарищ, чем учитель.

Разместились в школе: мальчики, девочки, в соседних классах. До рассвета бесились — бегали по коридору, пели... Нет, я мало участвовал, но и не противопоставлял себя... (Некомпанийский человек, Амосов интересен только в малом обществе.)

Утром чего-то поели и отправились в лес — нужно было с помощью астролябии снять план участка леса: дороги, холмы, поляны, ручьи... Веселая работа, интересная. Тут я был на месте: все знал и умел. Закусывали в лесу, назад шли вечером и, конечно, с песнями. Даже песню помню про эскадрон, войну и девушку, что давала напиток командиру: «...весь израненный, так жалобно стонал...» (Странно: с каждым отрезком жизни связаны песенные мотивы?)

На второй день резко похолодало и выпал снег — это 15 июня. Но все равно было хорошо. Коллектив: новое для меня ощущение. И Валя Шобырева...

Так грустно было расставаться. В июле должны были ехать на серьезную практику, маленькими группами, в разные леспромхозы. Перед тем заезжал к маме, от нее — к Марусе, в село за 20 километров, там она заведовала участковой больничкой.

На практику мы поехали вчетвером: Валя, Шура Венчинова, Коля Чернышов и я.

Помню, как собирался: сделал из фанеры чемодан, обил белой старой клеенкой... Долго он мне служил. Дневник взял: записывать события и... любовь (я тогда был влюблен в Валю Шобыреву). Глухой далекий леспромхоз: до станции Кадуй, что на дороге Вологда — Ленинград, и еще 50 километров к северу, по проселку. На станции нашли попутную подводу: погрузили вещи, да и девочки могли отдохнуть. Мужчины — герои, все, конечно, шли пешком. Устали страшно, но за один день дошли, доказали.

Маленький лесной поселок с конторой, с заводиком, службами. Встретили, как взрослых. Выдали продукты, отвели

большую комнату в новом недостроенном доме — одну на всех. Мы, мужчины, устроились в углу за печкой, девочкам — лучшие места. Молодой техник (я ревновал!) два дня водил в лес и все объяснял: нужно было отводить пробные лесные участки и пересчитывать в них деревья, чтобы по этим данным определять запасы древесины на больших участках. Дело несложное: провести границы, обозначить зарубками, потом ходить от дерева к дереву, измерять диаметры и записывать.

Вечером девочки варили суп из мясных консервов. До этого о консервах только читал в романах.

Сплошной праздник: жить в одной комнате с любимой! Как в песне от няни: «...любоваться... твоей... красотой...» Но, упаси Боже, ничего сверх того!

Через несколько дней отправились в «настоящий лес» — еще за 20 километров. Дали нам в помощь двух лесников. Поселились в лесной избушке с нарами, очагом в центре, маленьким оконцем без стекла... и тучами комаров. Спасались дымом.

Работали с утра до вечера: мужчины измеряли (инструмент «мерная вилка»), кричали цифры, девочки записывали на фанере. Уставали. Вечером лесники варили вкусный «кулеш» из консервов и крупы, чай в котелке, еще — вяленая вобла. Ее называли «карие глазки», считалась самой скудной пищей... Не знали тогда, что скоро будет деликатесом! Мужики были пожилые, рассказывали «бывальщинки» о смутных временах войны и революции... Спали на голых нарах из отесанных жердей, подстелив одежду. От постоянного продиранья по кустам у меня порвались на коленках штаны. Валя наложила на них круговые заплатки из мешка (очень стеснялся кальсон!). Так и ходил до конца практики, других не было...

Работу сделали за семь дней и вернулись на базу. Прошла одна из самых счастливых недель моей жизни...

Дальше все было плохо.

Заявились в контору — к этим молодым и красивым техникам. Два дня писали отчет. Потом нас с Колькой отправили на дальний участок, а девочек оставили. Отправились мы налегке. Вещи — чемодан и ватную куртку (тогда звалась «тужурка») — оставил на базе. И даже забыл дневник. Там он и сгинул — попал к Вале и ко мне не вернулся. Она все прочитала...

Второй заход в лес был грустный. Совершенная глушь, вырубки, пустоши, болота, кочки, комары. Кукушки тоскливо кукуют с разных сторон. Ветрено, деревья скрипят. Дожди,

крыша в землянке течет. Мужики неприятные. Работа непродуктивная — измерять и записывать.

Через неделю я затосковал. Люто затосковал! Поздним вечером сидел перед дымным очагом, смотрел на огонь и думал горькие ревнивые думы, сцепив зубы, чтобы не заплакать. А тут еще забытый дневник...

В моей жизни было мало моментов, за которые стыдно до сих пор. Один из последних случился тогда, в лесу.

Решил бежать. Домой! Отлежаться на старом деревянном диване с книжкой, около мамы. Пережить горе.

Выдумки мне всегда хватало. Решил: симулирую... сифилис. Бытовой, конечно, другому откуда взяться.

В лесу была масса перезимовавшей (подснежной) клюквы, и я ее активно поедал. Результат: стоматит, ободрало слизистую во рту. Один из мужиков был с провалившимся носом: говорил — «в драке», а я знал от мамы — от сифилиса.

И вот я стал Кольку исподволь «готовить»:

— Не сифилис ли у меня?

Он страшно напугался:

— Поезжай к доктору!

Я для вида поломался несколько дней — и рванул!

Не стал заходить на базу, попросил Кольку привезти вещички и пошел прямо на станцию. Отмахал 40 километров за один день (какая земляника была по дороге!). И вот я в Череповце. Не помню, что говорил Александре Николаевне.

Приехал домой и повторил «легенду». Мама была рада. Не думаю, что она поверила, но напрямую не пристыдила. Просто пропустила мимо ушей. Лишь Маруся потом сказала: «Все ты выдумал!»

Написал письмо Вале с тем же враньем. И стал ждать ответа, испытывая немалое чувство страха.

Письмо пришло через месяц, уже из Череповца. Очень грустное: «Я все прочла. Поняла, что сбежал. Очень жаль, что ты такой...» Обидных эпитетов не было, признаний, что любила, — тоже, но дело ясное. Конец!

Я не помню, чтобы произносил клятву, но решил твердо: никогда больше не допущу...

Чего «не допущу»? Позора перед людьми? Греха перед Богом? Ни то, ни другое. По-прежнему считал себя главным судьей своих поступков. Выше людей. И не верил в Бога.

Не допущу слабости. Нет, не буду кристаллом честности».

«Хорошо то, что я считаю хорошим». Не допущу, чтобы кто-то мог меня ткнуть носом в мое дерьмо. Отсюда: не делать «дерьма».

Что это было? Пробуждение совести? Еще нет. Была только «гордыня».

Уже позднее сформировался другой внутренний закон: уважение к чувствам других людей. Не причинять людям горя. Права не имею! Сам — слаб и грешен.

Но не устраниюсь, чтобы и не судить. Требовать от других — хотя бы минимума совести и ответственности за проступки. За очень большие преступления против жизни, к примеру — смерть за садизм при убийствах. И сейчас на том стою.

Могу ли я похвалиться, что следовал этому своему закону «не вредить людям»? Нет, не могу. Есть количественная мера «грехов», даже заповеди Моисея не все для меня священны, а уж Христовы — «подставь щеку, отдай последнее, все прощай и возлюби врага, как себя» — и вовсе подлежат измерению: «кому и сколько».

5

Грустно закончилось то лето: лежал, читал... «Илиада», Леонид Андреев, Куприн, Арцыбашев... Нашелся даже сборник футуристов. Запомнился куплет с сексуальным подтекстом:

О, Маргарет, в твоём десу
я заблудился, как в лесу...

Перед 1 сентября приехал в город, прибежал к Ленке Тетюеву и узнал потрясающую новость:

— Девятого класса не будет. Учеников распределяют: кто хочет остаться дома — в механический техникум. Другие — в Ленинград, в Ораниенбаум, учиться на лесника. Уже идет записка... Ты как?

— А ты?

— Я и почти все остаемся. Денег нет в Ленинград ехать.

И я остался, вроде бы по той же причине, знал, как тяжело досталась маме Маруся. Только-только вздохнула, и чтобы опять... Да и стыдно было: надеть нечего, тужурка из «чертовой кожи», перешитые батьковы штаны, подшитые валенки и ботинки. Правда, новые и с калошами.

Записался в техникум вместе со всеми. Из нас, школьников, создали отдельный класс, зачислили на ускоренный второй курс.

Наш механический техникум был основан еще в прошлом веке: готовили механиков для пароходов и промышленности. Назывался «Александровское техническое училище». Обучение было платное, хотя недорого. В нем даже летчик Чкалов сколько-то учился. Училище славилось по Мариинской системе, имело традиции, отличные мастерские. Остатки прежнего величия еще мы застали: дипломы со всемирных выставок, массу чертежей, приборов; преподаватели из довоенных инженеров. Но все уже ветшало...

Однако индустриализация вдохнула новую жизнь: стали готовить техников для лесной промышленности, чтобы знали лесопилки, паровые машины, котлы, турбины... До нас там уже были свои «кадровые» студенты, старше нас на два курса, очень гордые.

Занимались по восемь часов: математика, физика, химия, механика, черчение. Потом пошли специальные предметы. Учили много, но плохо. Была эпоха «бригадного метода»: пять человек вместе готовили уроки, отвечал один от всей бригады...

Зато дали стипендию — 30 рублей! Подкармливали в столовой недорого, но жидко и порции малы. Домашние обеды оскудели, все давали по карточкам, хлеб черный (400 граммов), а вместо сахара — песок, который я тут же съедал. Не голодал, но и сытым не был. Только когда пироги-помазни привозил от мамы, тогда наедался. Она тоже жила со своего огорода, но в деревне кормиться проще.

Жизнь менялась на глазах.

Рыночная площадь опустела: ларьки, магазинчики снесли, частная торговля исчезла. Город быстро расширялся за счет окраин, мужики перевозили дома из деревень — спасались. Театр хирел, зато открылся «Торгсин» — государство собирало золото и серебро на индустрию. Поскольку ни у мамы, ни у Александры Николаевны ничего этого не было, то я и не заходил в магазин. Но где он был, помню. Разговоров о «Торгсине» было много. Гэпэушный дядя Павел рассказывал маме, как бывших богачей «трясут», изымая ценности: приглашают, предлагают сдать столько-то, тот говорит — «нету». Тогда сажают в тюрьму: «Подумайте». Проходит время, просят домой: «Согласен сдать столько-то». Выпускают, но говорят: «У вас еще есть, поищите». Если не несет, делают еще заход, пока не убедятся, что

опустел. Когда просидит три месяца и ничего не сдаст, значит, все отдал. Это, однако, не спасало его от Соловков.

Шла тотальная чистка: арестовывали бывших офицеров, эсеров, меньшевиков, дворян. Так забрали отца, инженера, нашего товарища Юрки Шуклятикова. У них был приличный дом с садом, там собиралась иногда наша компания. Правда, через полгода выпустили, но потом снова забрали — и уже окончательно...

Не скажу, что нас, ребят, это сильно трогало: народ все бедный, семейных потерь не было...

Моя жизнь значительно изменилась. Валя Шобырева уехала в Ленинград, даже не дождавшись начала занятий. Я ее не видел. Тоска осталась, но как-то притупилась. На девочек поглядывал — были подружки у Ленкиной сестры, но без попыток подружиться. Отболело.

Зато мужская компания расцвела. У Ленки открылся музыкальный талант — он как-то вдруг сразу стал играть на гитаре, мандолине, на трубе в оркестре... Я на «собрания» ходил чуть ли не каждый вечер. Однако к десяти часам возвращался «как штык». Маме я писал каждую неделю, но домой стал ездить реже.

Начался новый, 1931 год, и тут нас настигла пятилетка.

Было общее собрание студентов и учителей. Директор объявил, что «Родина зовет». Лесопильные заводы области, для которых мы учимся, оказались в глубоком прорыве: не хватает рабочих, планы не выполняются. Империалисты между тем грозят блокадой, говорят, что используем рабский труд, продаем лес по бросовым ценам... Что нужно нам показать энтузиазм — всем поехать на заводы и помочь выйти из прорыва. Учеба подождет, нагоним...

Не помню, чтобы мы высказывались, но и не возражали: «Надо — значит, надо».

Впрочем, никто и не спрашивал согласия: мобилизация.

Техникуму назначили лесопильные заводы севернее Белого озера, по рекам Ковжа и Кемь. Наша бригада получила назначение на Кемский лесозавод.

Собрались за один день: надо было идти пешком, вещички — на несколько подвод, расстояние около 200 километров.

Так и отправились. Мороз 20—30 градусов, одеты кто во что, но, правда, выдали ватники, ватные штаны и рукавицы.

Всю дорогу пределали пешком — две подводы везли харчи и

вещички, у кого что. Я, конечно, взял несколько книг и даже — по технике (новое увлечение).

Поместили нас в заводском доме — две большие комнаты, нары, русская печка. Питание — в столовой, раз в день, плюс рабочая пайка хлеба — 800 граммов, сахарный песок (опять!), кипяток... В кооперативе можно еще купить конфеты. Обеды достаточные: супы из селедки, густо и много, пшенная каша с постным маслом и кипяток со своим сахаром и хлебом...

Работа была тяжелая и однообразная. Лесопильные рамы пилят бревна на доски, а наше дело — отвозить их на вагонетках на «биржу». Это большое пространство с кварталами, улицами и перекрестками, занятое сложенными особым образом досками, чтобы они проветривались и просыхали. По весне доски грузят на баржи и везут по Мариинской системе в Ленинград — на экспорт, для пятилетки.

Каждая «ходка» вагонетки — нагрузить у завода, отвезти в назначенный квартал, выгрузить и уложить — занимала примерно час. Была норма, требования, гулять некогда. Мороз, ветер, снег рельсы заметает...

К обеденному перерыву уже вымотан, а после еще четыре часа тянуть. В общежитие сначала приходил чуть живой. Потом немножко втянулся. Начал даже мудрить над проектом паровой машины. Техника уже увлекла. С ужасом представил: если так на всю жизнь? Понял, почему думающие рабочие шли в революцию. И я бы пошел. Не за богатство, за интеллигентный труд. Землю бы грыз, чтобы выбиться. С завистью смотрел на техников, которые что-то считали и чертили в конторе. Не знаю, кто меня заметил и за что (я не любил «высовываться»), но перед концом практики взяли в контору скопировать какой-то чертеж. До чего же там было хорошо!

Но в целом жизнь большой компании не тяготила. Народ подобрался хороший, не пьянствовали и не хулиганили. Вот только жестоко обовшивели — спали вповалку, мылись редко, дезкамера не работала...

Без малого четыре месяца проработали. В конце марта начало таять, впереди — бездорожье, мы все в валенках. Начальство смилостивилось и отозвало домой. Обратная дорога прошла весело... Отпуск дали на неделю. Александра Николаевна тут же меня выпроводила к маме, чтобы вши дома выжаривать...

После «прорыва» мы все как-то повзрослели. Я чуть не через день ходил к Ленке, девушки приходили, разговоры вели.

Ленька квартет собрал: скрипка, гитара, мандолина, не помню еще что. Может — баян? Танцевали. Но — не я. Так и не выучился. Комплексовал. Но меня уважали — за учение, за книги.

И опять учеба. Техника мне понравилась, читал толстые книги по паровым турбинам, котлам, дизелям. В кабинетах теплотехники стояли допотопные образцы машин, а на полках пылились толстые свитки чертежей миноносцев и гражданских пароходов. Их делали студенты до революции: отличный ватман, вычерчено в красках, нам до них как до неба.

Вскоре началась практика в мастерских: по две недели в слесарной и кузнечной. Делали настоящие вещи, для продажи, поэтому работали с удовольствием. Инструкторами были старые рабочие и спрашивали строго. Помню, как говорил один старик, принимая шлифовку деталей: «Чтобы блестело, как жидовские яйца!»

Нет, это всего лишь присказка: антисемитизма не было совершенно. Как и русского шовинизма. Да и евреев в Череповце знал всего несколько человек: красильщик, учитель, доктор Маршалкович.

В кузнице с непривычки было тяжело, особенно молотобойцам. Домой через весь город шли гордые, закопченные: рабочий класс! Начал изобретать машину для укладки досок.

Учились без каникул до июля и сразу же поехали на новую практику, на этот раз в Невскую Дубровку, на целлюлозно-бумажный комбинат, по дороге Ленинград — Шлиссельбург. Потом, в Отечественную войну, там были большие бои и все разрушили до основания. А летом 1931 года это был чудесный поселок на широкой мощной Неве.

В Ленинград мы приехали вечером и ночевали прямо на Лиговке перед вокзалом. Успели еще прокатиться на трамвае по Невскому. Тогда он назывался «25-го Октября» и еще сохранял торцовую мостовую...

Что скажешь после Череповца о Ленинграде в белые ночи? Пушкин, Гоголь, декабристы, революция — все знакомо и все ново. Так и не заснул до утра...

Приехали на завод, получили направление на работы, талоны в столовую, в общежитие. Запомнились голые топчаны на козлах и огромное количество блох, от которых я залезал в чехол для матраца. Его дала мама, чтобы набить соломой. Соломы не достали, так и проспал на досках...

Завод помню, но что его описывать? Лесопилка, бумажный комбинат и ТЭЦ на дровах. Сначала поставили меня к лесораме, отбрасывать доски. Очень тяжело! Не потянул — свалился (с поносом) после трех дней. Немного отошел и получил назначение кочегаром на ТЭЦ. Тоже не подарок, но выдержал. За смену нужно было сгрузить двадцать вагонеток толстых обрубков дерева в жерло топки, из которой дышит жар... После каждой вагонетки — мокрая рубаха, кружка воды и десять минут отдыха. Трижды рубаха стиралась и снова покрывалась коркой из соли... После окончания смены принимали душ и обтирались обрезками бумаги...

Очень хотелось повидать Валю. Ораниенбаум — вот он рядом, час езды от Ленинграда, только в другую сторону. Уже знал, что она вышла замуж, но все равно — хотя бы взгляд. О моей любви никто не знал, но повидать одноклассников согласились. Поехали в воскресенье.

Запомнился бескрайний парк, болтовня с приятелями — они будут лесничими, и короткое свидание при людях с замужней Валей.

— Все очень хорошо, муж — студент, любит, имеем комнату в общежитии...

Вот так: «Все прошло, как с белых яблонь дым...»

Нет, не сразу, года два еще болело, другие девушки не нравились...

Было у меня с ней еще две встречи. Семидесятые годы. «Наука и жизнь» уже напечатала «Мысли и сердце». Иду домой после операции.

Оклик:

— Что, не узнаешь?!

Незнакомая женщина.

— Я — Валя Шобырева.

Только тогда проступили знакомые черты. В Киеве проездом до вечера, решила увидеться, постеснялась идти в кабинет. Рассказала все это по дороге... (А я, скотина, не пригласил домой: семейные комплексы.) Закончила техникум, институт, потом преподавала, взрослые дети. «Средне-счастлива». Коммунистка. (Похоже, такой и была.) Живет в Ленинграде. Улица Марата...

— Заходи, когда будешь...

Не заходил, мешали другие дела.

Вторая встреча. Ленинград, год 84-й или 85-й. Обступил народ после публичной лекции в обществе «Знание». Узнал —

Валя. И снова что-то мешало, не получилось беседы. Спорила, как прежде. Вывод: лидер, но без глубины. Похоронено и неинтересно... Постеснялся спросить про дневник, наверняка потерян. Да и что можно добавить к прожитому? «Первая любовь». Пусть останется, какой была...

После практики — месяц отпуска: мама, диван, книги. («Книжный червь».)

В сентябре умер отец. Мы работали на разгрузке дров с барж близко от города: возили на тачках на крутой берег. В обед бригадир сказал:

— Батько у тебя умер. Поезжай хоронить.

Никаких чувств не пробудилось. Уже два года не ходил за деньгами, а он и не предлагал, хотя работал после лечения глаз. Пару раз навещал его дома: было любопытно «пощупать ум» с высоты своего. Хорошая, по моим меркам, квартира. Зинаиду и детей почему-то не помню. Вел умные разговоры, но интереса не получилось. Отец был трезвый и смущенный, а я — независимый.

И вот — умер. Сижу около гроба, смотрю на мертвое лицо, думаю о его прожитой жизни. Вначале — было счастье: учился, создавал кооператив. Любил. Затем война и плен, возвращение, мечта: построить хозяйство, как у немцев, расширять кооперацию... Потом началось пьянство, любовница, второй брак, дети. Деградация. Был ли интеллигентом? Сомневаюсь. Библиотека — от дяди Вани, отец ни разу к книжкам не обращался, даже когда часто приезжал в Ольхово.

На похороны приехали дядя Вася и тетя Катя. Было много незнакомых мужчин-сослуживцев. И собутыльников. Гроб до кладбища несли на плечах. Я тоже нес, всю дорогу. На поминках не был, да и не помню, чтобы приглашали. Зато помню (о, подлая память!), как на пути с кладбища купил красный ломоть арбуза. Помянул.

Ни разу могилу не посещал. Немного места занимал в моей жизни отец, а теперь — совсем вычеркнул... А мама плакала...

С осени меня повысили: перевели от «школьников» к «техникам»: их предполагалось выпустить досрочно. «Бригадный метод» продолжался. Что бы я знал, если бы не читал книги? Чертить, правда, научили — был такой въедливый Иван Максимович Макарович, еще из Александровского училища.

В новой группе я был самый бедный: у меня не было пиджака, его заменял Марусин джемпер. Оглядываясь, скажу: лодыр. Мог бы где-нибудь подработать, сила была и времени ва-

гон. Так нет — только треп с друзьями и книги. Выпивок не было, но все стали курить, стреляли друг у друга: «Оставь сорок», в смысле — процентов. Я не закурил до самой войны... Уроки по-прежнему не готовил. Но положение в новом классе завоевал. Увлёкся изобретением «автомата для укладки досок»: проба конструкторской мысли, хорошая практика. На девушек не глядел, хотя любопытство имел... Всю жизнь с ним прожил, с сексуальным любопытством.

Еще помню «военное дело»: маршировки под песни. Я только рот открывал, не пел. Военрук заметил и стыдил:

— Ты что, против советской власти?

Конечно, мы все были «за», никакие крамольные идеи не проникали, но в библиотеках еще были книги «попутчиков» с довольно вольными мыслями. Я их с жадностью вылавливал. К примеру: Эренбург — «Тринадцать трубок», «Жизнь Николая Курбова», «Трест Д.Е.».

Очень увлекался Маяковским. Учить стихи никогда не любил, да и память посредственная, но «Облако в штанах» запомнил от бесчисленного повторения:

Хотите —
буду от мяса бешеный
— и, как небо, меняя тона —
хотите —
буду безукоризненно нежный,
не мужчина, а — облако в штанах!

Бессмыслица, но почему-то нравилось... Впрочем, любил только ранние стихи из первого тома, другие даже не все прочел.

Читал все свежее, что печаталось. Помню названия, но скучно перечислять. Шолохов и Алексей Толстой еще не появились, но Федин («Города и годы») уже был, Серафимович, Сейфуллина, Фадеев.

Учение кончилось как-то внезапно: послали на практику на полгода, разбросали всех по разным лесопильным заводам.

Поселились в деревне, на завод ездили на лодке на другой берег.

Практику проходили «на рабочих местах», но это только так называлось. Работали — куда пошлют. Я некоторое время копировал чертежи, потом перешел в машинисты — и проработал до самого конца.

Это было интересно и не тяжело. «Командовал» двумя паровыми машинами, изготовленными лет пятьдесят назад. Дело несложное: по часам записывай показания приборов, подливай масло в масленки, шупай подшипники, чтобы не перегрелись. Еще полагалось приглядывать за котельной и давать свистки к началу смен и на перерывы. Работа чистая, спецовка синяя, ветошь есть, чтобы руки обтирать...

Но случилась авария: сгорел электрогенератор. Испугался, что посадят как вредителя, однако комиссия переложила вину на электриков, они плохо чистили коллектор... Нет, я работал очень аккуратно, в самом деле. В пример ставили и даже зарплату платили. Купил на нее тужурку из шинельного сукна и — наконец! — полушерстяной черный пиджак, самый дешевый.

Ухаживал за практиканткой из педтехникума. Сидели на крыльце за полночь, прижимались. Даже поцеловал однажды: то есть прижался губами и никакого вкуса не почувствовал.

Каждый выходной ездил на пароходе в Ольхово. Иногда бегали в город, на один вечер, повидаться с друзьями, поменять книжки. Много девушек работало на заводе, но у меня не было с ними общего языка. (Запомнилось, как они матерились! Я тоже мог, но только с близкими друзьями...)

Так прошло лето. Сразу после практики объявили, что учение кончилось. Буднично, без экзаменов и выпускного форса. Мне и Севке Милославу выписали путевку в Архангельск, на лесозавод имени Молотова. Прибыть 25 октября.

До отъезда был еще отпуск. Он прошел хорошо: путешествие с мамой по Шексне и Волге к Марусе (поселок ниже Горького). Обратно поездом с заездом в город Арзамас к дяде Павлу, начальнику НКВД. Самое главное — Москва, пробыли два дня.

Последние недели сидел дома у окна: непрерывно лил дождь, а я читал «Братья Карамазовы», потом — всего Достоевского подряд. Настроение было соответствующее.

Юность закончилась. Счастливая? Пожалуй — да.

Поздно вечером мама провожала меня на пароход. Дорога к реке через луг. Было удивительно тепло, еще летала паутина, как ранней осенью... Темно, наезженные колеи ощущаются подошвами ботинок. Не помню точных слов, но мама говорила приблизительно так:

— Провожала твоего отца на войну, так же было тепло, конец сентября в девятьсот четырнадцатом. Счастья после этого уже не было... Вот теперь ты уезжаешь...

Дышала неровно — сдерживала слезы...

На душе было смутно. Ничего не ждал хорошего. Жалко своего места у окна, где целый месяц читал Достоевского.

«Кассир» медленно зашлепал плицами. Под керосиновым фонарем на пристани растаяла во тьме женская фигура в платке. Тогда только представил, как мама побредет одна в темноте. Сжалось сердце.

Ехали с Севкой Милославовым.

Из вещей — тот самый самодельный чемоданчик, обитый белой клеенкой. В нем Маяковский, помазень, бельишко, две простыни. Узел: лоскутное одеяло, подшитые валенки, подушка. Одежда и обувь вся на мне: тужурка из шинельной ткани, брюки, перешитые из отцовских, пиджак. Старые ботинки и калоши.

Дорога: Череповец — Архангельск. В Вологде пересадка. Страшная давка на вокзале. Посадка — штурм, уборная — проблема, поспать — если захватишь третью полку, на второй — сидят. Мат и вонь. Крестьяне едут на Север, спасаются от колхозов. Часа через три все утряслось, место уже не займут. На остановке стоим с кружками у будки «Кипяток».

Архангельск. Станция на левом берегу, город — напротив. Мрачный полдень, грязный, истоптанный талый снег, широченная пустая Двина. Все деревянное — вокзал, перрон, склады, пристань. Пароход «Москва» почти морской, с высокими бортами. Длиннющая очередь на переправу в город.

Переплыли. Недалеко от пристани нашли Дом крестьянина, оставили узлы в камере хранения. Расспросили дорогу. Долго-долго ехали трамваем по главной улице Павлина Виноградова. Лозунг: «Даешь пятилетку в четыре года!» Снова переправа — через Кузнечиху, рукав Двины, в Соломбалу, по наплавному деревянному мосту.

С трудом разузнали дорогу на завод. Болото, на сваях эстакада из досок, покрытых слоем грязи. Вдали маячит труба. Снег с дождем, темнеет. Измучились. Оставили чемоданы в крайнем домике. Нет, не боялись, что украдут. Вернулись в Дом крестьянина. Эти дома тогда были везде — тепло, койки в ряд с серым бельем, столовая, кипятик. Газета на стене под стеклом.

Поели в столовой, получили койки, можно было и почитать. Комфорт.

Утром легко добрались. Пешком, пять километров от города. Весь завод и поселок — на щепе, слой два метра. Нигде ни кустика. Поселок — деревянные одинаковые двухэтажные дома и дощатые бараки. Река, огромные штабеля бревен, два низких деревянных корпуса лесозавода, внутрь по желобам из бассейна ползут бревна. Непрерывный металлический скрежет транспортеров.

Наша электростанция подчиняется не заводу, а тресту «Севэнерго», дает ток в общую сеть — на город и лесозаводы. Станция считается временной, поэтому у нее деревянный корпус в четыре этажа и железная труба. Транспортеры на столбах тянутся от корпусов завода, по ним поступает щепка на станцию.

В поселке нашли контору. Директор (из рабочих) недоверчиво оглядел: мальчишки — мне было восемнадцать, Севке — девятнадцать. Но зачислил сменными техниками.

Выдали пропуск, карточки, талоны в столовую: не шутите, для ИТР (инженерно-технических работников). Тут же отсчитали подъемные и дорожные: около 200 рублей. Таких денег я отродясь не видел. Маме в тот же день отправил полсотни.

К слову, чтобы не возвращаться: ставку нам назначили 125 рублей. Вместе с ночными и переработкой получалось 150, а с премиями иногда и все 180. Маме посылал 50 рублей. Ни разу не пропустил, и письма писал, примерный сын. 75 рублей шло на столовую, хлеб и сахар, еще и оставалось — мог что-нибудь купить.

Жили в общежитии, дом стоял на краю поселка.

Комната на первом этаже, стены неоштукатуренные, пять деревянных кроватей с досками, стол накрыт газетой. Ведро с водой, жестяной таз. Три табуретки, одежда на гвоздях, вбитых в стену. Следы клопов. Печка, дрова. Уборная во дворе.

Здесь уже живут трое механиков. Познакомились. Они рассказали, где можно набить матрацы: есть только стружка. Соорудили постели: ватное одеяло из цветных лоскутков немного смущало. Ничего, народ простит.

Потом ходили в столовую. Отличная! Еда куда лучше, чем в техникуме! Три комнаты. Питаются только «образованные» — высшие служащие, инженеры и техники. Все здесь почти по-домашнему, официантка пищу разносит, многих зовет по именам. Расписание: завтрак в двенадцать, обед — в шесть. Прейскурант: несколько блюд, за все — два, а то и два с полтиной в день. А уж готовят до чего вкусно! «Треска по-польски»: никогда не слышал... Надо же!

К работе на станции не допустили. Новеньких бросали «на прорыв» (опять!) на две недели, с багром на канал, подталкивать бревна к заводу. Бр-р-р! Дождь, снег, брызги, мостики скользкие, я — мокрый, неловкий, плавать не умею. За ночь одежда не просыхает. Ропшу: «Зачем учился?!» Техникум тогда выглядел солидным образованием. На всем заводе на две тысячи рабочих было пять дипломированных инженеров. На станции один главный — Павел Александрович.

Но пережили «прорыв», пришли на станцию.

Я вижу ее до мелочей, даже с открытыми глазами. Маленькая дверь с улицы в машинный зал, через которую мы вошли в первый раз. Сразу пахнуло влажным теплом, окутал ровный гул турбогенераторов. Говорить можно, но слышно, только если стоишь рядом... Без малого три года я прожил под этим гулом и скрежетом транспортеров. Когда станция останавливалась на ремонт, тишина казалась неправдоподобной.

В машинном зале на высоких фундаментах стоят две турбины: большая — на 5000 киловатт и малая — на 1600 (немецкие — Сименс-Шуккерт, куплены старыми). Здесь же распределительный щит. Тут царствовали шитовой монтер и машинист. Они сидели за столиками и каждые полчаса записывали показания приборов.

В котельной на бетонном полу смонтированы четыре паровых котла «Бабкок и Вилькокс» с давлением пара... аж 12 атмосфер. Высота котлов — в три высоких этажа с железными трапа-

ми и лесенками. Вверху у водомерных стекол и манометра сидели водосмотры. Они регулировали поступление воды в котел. Они же давали гудки. Точно в восемь утра, в четыре дня и в двенадцать ночи — смена. (У меня часы уже были. Отец незадолго до смерти подарил свои старые «Павел Буре», заводились ключом. Шли плохо, возраст — пятьдесят лет.)

На втором этаже стоял кочегар. Он смотрел за топкой и за своим манометром и регулировал подачу топлива. В самом низу, где вентиляторы и насосы, работали два подростка-золищика, их обязанность — выгребать золу, когда она сыпалась через колосники. Главным в котельной был старший кочегар.

Больше всего хлопот доставляла топливоподача. Станция работала на древесной щепе и опилках. Все отходы после распиловки бревен на доски пускались в дробилки и разрубались на щепки — от пяти до тридцати сантиметров. Это делалось в лесопильных цехах, и оттуда щепа подавалась по ленточным транспортерам — их называли «пассы» — на нашу станцию. Они тянулись метров до двухсот на высоких столбах. На станции щепа пересыпалась на другие транспортеры — уже скребковые, железные, они поднимали ее к котлам, пересыпали еще раз и волокля над топками по железному желобу. Каждый кочегар открывал в дне желоба дырку, чтобы щепа сыпалась в топку сколько нужно. Оставшаяся по другим транспортерам подавалась в склад, откуда ее забирали, когда завод мало пилил. Самой большой бедой на этом складе было то, что щепу из куч на транспортер приходилось подавать вилами, а если она смерзлась, то хоть «караул» кричи. Для этой работы была выделена команда, которая состояла из двенадцати девушек. Инструмент — вилы да лопаты.

Сменный техник — ответственный командир над всей бригадой: от рабочей аристократии до чернорабочих. Собственно, никаких специальных личных обязанностей у него не было: обеспечить выполнение графика нагрузок — и все.

Всего одну неделю мы постажировались и заступили на свои смены. Не было особых трудностей. Помню только первую аварию ночью. Лампочки начали ярко светиться, машинист кричит:

— Сейчас вырубит!

Это значит, что наш участок сети отключился от системы, нагрузка упала, регуляторы турбины не справляются с поддержанием оборотов и срабатывает автомат — турбина отключает-

ся. Тут начинается настоящий ад: свет гаснет, предохранительные клапаны на котлах травят пар под крышу со страшным свистом, дымососы останавливаются, пар, дым и искры заполняют всю котельную. Молодые рабочие убежали от котлов на улицу... А ты — командир, за все в ответе!

Конечно, у каждого рабочего на такой случай имелась инструкция, но нужно, чтобы они не спали, не растерялись, сделали все как положено. И чтобы, Боже упаси, не загорелось здание.

Начальнику, то есть мне, ощупью надо взобраться на котлы, посмотреть давление — достаточно ли сработали клапаны... Иначе и взорваться можно. Потом — вниз, проверить, закрыли ли топки и поддувала, чтобы воздух не поступал, горение сбавить. Срочно пустить турбонасос: котлы могут остаться без воды — и опять взрыв... И только после этого следует добираться в машинный зал и торопиться с включением малого турбогенератора для собственных нужд. От него зажжется свет, и дальше новый этап — пускать главную турбину и включаться в сеть.

В первый раз я тоже испугался, толку от меня было мало, в полутьме заблудился на лестницах, но все обошлось — ребята дело знали. Потом уже не боялся. Если сравнить с кровотечением из сердца во время операций — страх, который испытал спустя двадцать пять лет, — такая авария — детская забава.

Чаще всего отключения бывали от ворон: сети были плохие, и ворона могла замкнуть крыльями линию. Утром обходчики находили птичьи трупы...

Освоение профессии прошло успешно и довольно быстро. Изучил схемы трубопроводов, инструкции, чертежи механизмов. Смотрел, как это делают опытные рабочие, старался не подавать вида, что все внове, но и не боялся спрашивать. Через пару месяцев я уже мог заменить любого из них, исключая шитового монтера и машиниста.

Кроме нас с Севкой были еще два сменных техника: Котлов и Друкельский. Первый — из моряков, отличный товарищ, всегда готовый помочь, подменить. Второй — поляк, задиристый, с ним я дружбу не водил, но и не ссорился. Оба они практики, теорий не знали.

Моложе меня на смене были только зольщики. Все звали Колей и на «ты», но уважали.

Смена была хорошая. Бригада девушек на топливоподаче — все беглые из колхозов, с Поволжья, малограмотные, работа-

шие и веселые. Заигрывали со мной, но не поддавался — не мой «уровень», неинтересно. Старший кочегар Коля Михайлов, почти ровесник мне, культурный парень, из интеллигенции. Отец его эмигрировал, поэтому Коля находился под подозрением, боялся, что чуть что — арестуют. Щитовой монтер Захарин Григорий (забыл отчество) был намного старше. Биография у него интересная: в 1914 году не захотел воевать, поступил на корабль, сбежал в Лондоне, потом плавал на судах по всему миру. Надоело, обосновался в Штатах, переменял много профессий. В 1931 году на Западе была большая агитация за возвращение русских «помочь строить социализм». Золотые горы обещали. Соблазнился, приехал и попал на «стройку пятилетки». Горя хлебнул под завязку! Проклинал день и час, когда уехал из Штатов, а уж коммунистов поносил «от и до». Не боялся говорить, доверял мне. Выглядел очень импозантно: лицо как у профессора, комбинезон светло-голубой с массой карманов и застёжек, ботинки начищены, с широкими носками, речь плавная. На смене читал английские книжки по технике. Рассказывал нам об Америке, о разных странах и народах.

2

Только один человек на смене меня полностью игнорировал — старик машинист. Еще при Цусиме был машинистом на корабле. Лишь через год мне удалось заслужить его минимальное уважение.

Была у нас беда: плохо запускалась большая турбина. Когда число оборотов приближалось к двум тысячам, начиналась сильнейшая вибрация. Того гляди разнесет. Перейдешь через рубеж оборотов — и успокоится, как обрежет.

Этот случай я буду всю жизнь помнить — так же как удаление мною первого легкого или комиссуротомию.

Зима, холод, ночь. В городе, в конторе «Севэнерго», идет важное собрание: отчет. Наши начальники туда уехали. В семь часов, в пик нагрузки, «вырубило». Стали пускать турбину — вибрирует. Как дойдет до критического числа — задрожит, старик ударит по кнопке экстренной остановки, стрелка тахометра поползет вниз. На этих оборотах снова греет минут тридцать и начинает прибавлять пар... В центре диспетчер по сетям выходит из себя; уже отключили часть города, подбираются к заводам. Это очень опасно: час простоя стоил много золотых рублей, дос-

ки пилили на экспорт. А сделать ничего не можем: вибрация. Старик не отходит от штурвала и кнопки. Молчит.

Главный инженер звонит уже не первый раз.

— Коля, на тебя вся надежда... Мы тут выпили на радостях, что отчет сдали... Прибыть в таком виде на станцию не можем, понимаешь, да и далеко. Попытайся сам.

Я понимал: появление в пьяном виде, да при аварии — верный арест. Но если у меня разнесет турбину — мне несдобровать.

Встал рядом с машинистом. Набрался нахальства.

— Пускайте!

Он молчит, делает свое дело. Погонял на малых оборотах, открывает вентиль.

Вибрация, удар по кнопке. Все сначала. Тогда я легонько его потеснил от колеса:

— Позвольте-ка. Сам буду пускать.

Он даже не поверил.

— Не позволю! — кричит. — Я — машинист!

— А я — начальник смены. И Павел Александрович приказал.

— Ну и черт с тобой!

Взял я за штурвал и стал открывать вентиль. Вокруг собрались все, кто мог. 1800 оборотов, вибрация сильная. Дед уж и руку занес над кнопкой.

— Не трогать!

— За машину ответишь! Щенок!

— Идите вниз... К насосам...

Плюнул, выматерился и ушел. Стрелка ползет к 1900, вибрация сильнейшая — одной рукой держусь за перила. Мыслей в голове никаких, только смотрю на стрелку: 1950, 1975... И сразу стало спокойно. Ладони и лоб взмокли, все внутри дрожит. Пришлось присесть на станину турбины.

После этого старик машинист меня признал.

Мне удалось сплотить смену примерно за полгода. Потом до конца не знал забот, мог спокойно заниматься в своей конторке.

Сменная работа тяжела даже для молодого. Особенно трудно ночью — с двенадцати до восьми. Спать никому не полагалось, и это действительно опасно. Можно упустить топку: щепа прогорит, давление пара упадет. Об электричестве и говорить нечего — сплошные опасности.

Приятный момент на смене — еда. В полдень, а в вечерние смены часов в шесть-семь заявлялся зольщик и спрашивал:

— Коля, небось за обедом сходить?

Рабочим пищу не носили, буфета или столовой не было. Ели, что возьмут из дома, чаще хлеб с кипятком, иногда — картошка. Сахар или леденцы бывали, но не всегда. Перерыв не полагался, ели тут же, где работали.

...Времена года тоже вещь безразличная для станции. Летом не работа, а удовольствие. Нагрузки маленькие: светло всю ночь, освещение не включают. Топлива избыток. Склад полон. Ходишь по транспортерам, видно далеко, обдувает запахом древесины... На Севере тепло имеет особую прелесть, его все время ощущаешь как благодать. Но лето в Архангельске короткое: два месяца — и снова пасмурно, тучи, дождь, холод. Зимой нам доставалось сполна: вечерний пик нарузок и утренний пик, турбины работают почти на пределе.

Но турбины что, им бы пар, а вот котельная — в постоянной лихорадке. Требуется равномерная подача топлива и искусство ведения топки. Коля Михайлов дело знает, но топливом приходится обеспечивать мне... Вот и бегаешь вдоль пассов и транспортеров — от станции на завод:

— Почему ленты пустые?

— Видишь, простой, лесу нет.

Бежишь на склад:

— Девочки, давай, давай, пар садится.

Девочки уже платки размотали, телогрейки сняли, свежую щепу подобрали, приходится ковырять старую, она смерзлась в камень... Сам покопаешь для воодушевления и согреву — и снова на завод:

— Скоро топливо подадите?

— Да поди ты... тут план горит...

Я никогда не носил ватника, бегал в одной спецовке. Намерзнешься, чуть живой — и на котлы к водосмотрам. Постучишь по манометру, — если стрелка идет кверху, можно вздохнуть. Какая благодать! Температура двадцать пять градусов, не ниже. Счастлив, когда смену дотянешь, с графика не сползешь.

3

В комнате жили дружно, хотя без особой теплоты. Костя Квасков — электрик, москвич, интеллектуал. Знал массу анекдотов, историй, читал немецкие журналы. На нас, серую провинцию, смотрел свысока, но работник слабый, отпустили до-

мой через полгода. В январе 1933 года он первый просветил нас о Гитлере. Пашка Прокопьев — архангелогородец, модник, выпивоха, ушел весной на спиртоводочный завод механиком (ходили к нему в гости, кто любил выпить). На третьей койке люди менялись. Всех не помню. Еще был проходящий — Володька Скрозников — старше нас, женатый, с завода. Добрый, прямой, картавый, низкорослый, матерщинник.

В начале декабря вспомнили про мой день рождения (19 лет). Денег не было, Володька снял со своей книжки последние и купил вина. Первый раз в жизни попробовал — было противно, но пил и напился вдрызг. Не помнил, что было. Будто даже в кино меня водили. Утром — похмелье, рвота. Реакция осталась на тридцать лет: желудок не принимал. Этот рефлекс спас меня. Мама больше всего боялась, чтобы не спился: наследственность пугала.

Вместо выпивок в моей жизни отдушинами были работа и чтение. Образование в учебных заведениях всегда недостаточное, все приходят неподготовленные. Но одни потом научаются, а другие остаются серыми. Я научился.

Третья отдушина — любовь — уступала первым двум.

Порассуждаю о времени, обстановке. Первая пятилетка — это стройки. Вся страна строилась. Теперь модно позорить коммунистов, я — тоже участвую, но должное нужно отдавать: взнуздали коммунисты Россию! Время, сравнимое только с Петром. Все годы после техникума я читал газеты. Сопоставлял цифры: вранья было много. Не доверял. Очередной план на съезде утвердят, пятилетка пройдет — все перевыполнено. На следующем съезде Совнарком докладывает итоги: тонны, киловатты. Сравнишь с планами: оказывается на 20—30 процентов ниже. Но никто уже не вспоминает, что говорилось пять лет назад.

Образованию и здравоохранению перепадало ровно столько, чтобы обеспечить промышленность инженерами и техниками. Больницы и школы открывали только около строек. Для жилья строили бараки. Дома — только начальству и иностранным «спецам». Их тогда часто приглашали, но никогда об этом не упоминали. Население в городах выросло в несколько раз, что касается жилья, то обходились уплотнением — коммуналками. Так продолжалось аж до Хрущева.

Никто не мерил истинные затраты труда на пятилетки: они были огромны, механизмов мало, КПД — очень низкий. На

тачках заводы строили. О потерях тем более не говорили: сколько скота загубили при коллективизации, как упала урожайность. Про голод на Украине даже и не слышали в Архангельске. Но хлеб на рынке стоил 20 рублей буханка. Потерять карточку — трагедия.

Не знаю, был ли расчет у партии, чтобы голодом и страхом выжать крестьян на стройки? Или они только хотели хлеб через колхозы добыть для новостроек, а мужики сами побежали? Во всяком случае, без колхозов не собрать было бы рабочих на стройки пятилетки. Крестьяне ехали, боясь выселения и смерти: на стройках работали за пайку хлеба и место на нарах в общежитии. Только в крайности можно было уезжать из родной деревни на такую каторгу.

Хочется подытожить и сравнить «век нынешний и век минувший». У меня интерес к общественным проблемам всегда был велик, и скепсиса хватало. Информация была: работал на низшей административной должности, жил в самой гуще нового класса пролетариев — рабочие двадцати — сорока лет из крестьян, в большинстве с четырьмя классами школы.

Приведу свои впечатления, выверенные и взвешенные. Отношение к труду было честное. Просто не помню элементарных лодырей, и никто им не потворствовал. Были ленивые, не могло не быть — природа, но стыдились лениться, стеснялись товарищей. Прогуливали крайне редко, даже не опаздывали. Правда, за двадцать минут опоздания можно было получить шесть месяцев «принудработ». Но я не знаю ни одного случая, чтобы кого-нибудь на заводе судили. Не думаю, чтобы дисциплина держалась на одном законе. Действовало правило: работать — значит работать. Срабатывала простая привычка честно трудиться, из прошлого, когда еще все в Бога верили.

Не воровали на производстве. Правда, слесари и монтеры запирали свои ящики с инструментами, но в целом было спокойно.

Отношения между мужчинами и женщинами были, скажем так, сдержанные. Не развратничали. Разводов было немного. Но мужья жен поколачивали, слышал.

Пили умеренно. Хотя было что — водку продавали. У магазина не стояли, чтобы «на троих», в будние дни грешили редко, на смену пьяные не ходили и уж, конечно, не пили на работе. Правда, в день Первого мая бывало поголовное пьянство. Гул стоял над поселком.

Милиция встречалась редко, значит, дел у нее было мало.

Жили бедно. В рабочей столовой кормили плохо: перловка, пшено, рыба, картошка, супчик. Мясо — только намек. Жиры — немного постного масла, для запаха. Молока, яиц не помню. А вот винегреты были. Овощи выращивались на огородах ОРСа (отдел рабочего снабжения). Были там и свиньи, хотя не знаю, чем их можно было кормить: пищевых отходов — минимум. Тарелки в столовой оставляли чистыми.

Тем не менее не голодали, если подходить буквально. И не болели. Редко пропускали работу по болезни, несравненно реже, чем теперь.

Одевались, соответственно, плохо. Все парни мечтали о бос-тоновых широких брюках, их моряки привозили и продавали на толкучке. Стоили дорого, я не осилил. Кое-какую одежду и обувь выдавали по карточкам, голыми и босыми не ходили. В праздники все мне казалось даже нарядными. Нормальной одеждой были стеганые брюки и фуфайка: в старых работали, в новых — гуляли. Очень удобная одежда. Потом, в Отечественную, ее стали снова носить.

Такого понятия, как покупка мебели, не существовало. Деревянные некрашенные кровати на клиньях, с досками, табуретки и столы делали в столярном цехе завода и выдавали с комнатой или местом в общежитии.

Отдельные квартиры получали только большие начальники. На станции — директор и главный инженер. Женатые подолгу жили в общежитиях, отгораживаясь занавесками.

Убавила ли счастья эта скудость? Ни в коем случае. Убежденность в идее социализма была, но без фанатизма. Тогда не было телевидения, на станции даже не помню радиоточки, хотя в заводском поселке гремел репродуктор. Газеты читали, главным образом областную «Правду Севера». Общие собрания проводились по праздникам. Политинформацию слушали после смены, раз в неделю. Мы были первое поколение, не знавшее самодержавия и целиком воспитанное в советский период истории. Могу подтвердить — воспитание удалось: в социализм верили.

Первый период, в той комнате на пятерых, занял всю зиму. Это была адаптация, овладение профессией, освоение станции, человеческих отношений. Настроение было неплохое. Тосковал по одиночеству, не привык быть все время на людях. Редко удавалось подумать, в комнате всегда кто-нибудь разговаривал. Короткие письма писал маме каждую неделю, получал ответы.

По вечерам играли в преферанс — по полкопейки, редко — больше. Между кроватями ставили две табуретки: на одной — карты и «пулька», на второй — ведро с пивом. Очень любили ребята пиво, его продавали без карточек и недорого. Пьяными не напивались. После каждого круга игры выпивали по кружке. Я — нет, не полюбил пиво. И в карты играл средне, осторожно, поэтому не проигрывал. А если «очко» начиналось, отказывался с ходу. Ни в чем у меня азарта не было — рассудочный человек!

Еще ходили в кино: посмотрел тогда первую звуковую картину «Путевка в жизнь». Потом другие. Не помню, чтобы крутили западные фильмы — такие, как в Череповце в двадцатых годах: «Тарзан», Дуглас Фербенкс... Партия блюла идеологию.

Книги, конечно, читал. Библиотека на заводе была приличная. Уже вышли «Тихий Дон», «Петр Первый», «Аэлита». Благодаря чтению даже познакомился с девушкой-инженером (не помню имени). Обсуждали. Симпатия завязывалась, в театр ходили в город (это пять километров). Пока она меня не отставила: я билеты купил заранее, разговоры вел, а она сбежала к инженеру. Нет, не очень переживал, попыток к примирению не делал: «не в свои сани не садись».

Приоделся. На базаре купил морской шлем (зюйдвестку), шнурованные сапоги и полушубок, а для выхода — желтые ботинки — экспортные («Скороход!»), с тупым носком. Соседка сшила рубашку с приставными воротничками, и галстук купил... Карточка сохранилась с той поры: смешной мальчик!

В первую же зиму мне нашли хорошее дело: заниматься с рабочими, готовить их к сдаче техминимума. Сначала учил кочегаров, потом машинистов. Нужно было дать основы физики, рассказать о принципе работы машин, научить читать простые чертежи. Это особенно им нравилось: возвышало в собственных глазах. Уроки, разумеется, вел бесплатно. С кочегаров и началось мое преподавание и осталось на всю жизнь.

Так и прошла бы первая зима 1932—1933 года, если бы не случилось несчастье: заболела мама.

Маме не везло до конца. Она умерла в пятьдесят два года от рака желудка.

В марте 1933 года на станцию пришла телеграмма: «Амосову: срочно выезжай, мать больна». Растерянно смотрел на бланк. Мама казалась вечной. Никогда не болела, не пропускала роды, даже в отпуске.

Отпросился, подменился сменами, поехал. Тревога. Хотя острая сыновья любовь уже в юношеском возрасте несколько ослабела, но мама по-прежнему занимала в душе главное место.

В Череповец приехал утром. Сразу же отправился пешком в Ольхово. Солнечный день начала марта. Что-то меня ждет? Жива ли? Всякие мысли приходят на ум, когда идешь зимней дорогой. За шесть лет учения я промерил ее много раз. Двадцать пять километров. Первые годы так тосковал, что ходил каждые две недели в любую погоду и даже ночью. Вспомнил, как один раз шли с мамой — она приезжала в Череповец по делам медпункта. Мы ходили в театр, и потом дорогой она пела: «Ванька-ключник, злой разлучник, разлучил князя с женой!»

Она была веселая, любила петь (и теперь слышу ее голос). Не мог представить себя сиротой.

Неожиданно встретил их на середине пути. Издали узнал тетку Евгению. Сердце сжалось. Побежал навстречу. Мама лежала в санях, закутанная в тот самый тулуп, в котором ездила на роды. Лицо бледное, глаза закрыты. Не плакал, слезы всегда были далеко. Поцеловал, открыла глаза, оживилась: «Коленька, Коленька!»

Слабым голосом рассказала, что было желудочное кровотечение, потеряла много крови...

— Вот еду лечиться, да ты не бойся, не умру...

Даже тут она думала о моих страхах, а свои держала при себе. Поехали прямо в межрайонную больницу. Она стояла на окраине, на высоком берегу Шексны, недавно построенная.

Больную положили на носилки и внесли в вестибюль. Пришел хирург, посмотрел и велел отправить в палату. Я неумело помогал нести.

Три дня прожил в Череповце. Ходил на короткие свидания. Переливали кровь. Стало получше. Улыбалась: «Не бойся, Коленка...»

Уезжал из Череповца, не понимая опасности. Маму не оперировали, выписали примерно через месяц. Процент гемоглобина повысился немного. Самочувствие улучшилось, дома пробовала даже работать, да не смогла. Почти каждый день ходила в медпункт — он помещался совсем близко. К этому времени открыли маленький родильный дом на три кровати, там работала молодая акушерка. Сбылось то, о чем мечтала всю жизнь: принимать роды как следует. Но уже не для нее...

В 1933 году весна в Архангельске началась поздно. В середине мая деревья были еще совершенно голые. Но день уже длинный, работать стало легко. К тому времени мы с Севкой остались в комнате вдвоем — уехал в Москву Костя, не прижился, переехал в город механиком на спиртовой завод Пашка Прокопьев.

Прошел ледоход по Двине. Ледокол ломал льды и несколько дней даже перевозил людей из Соломбалы. Такой себе небольшой ледокольник, я представлял их иначе по кино и картинкам.

К лету старая мужская компания распалась и сложилась новая: из Череповца приехали наши выпускники — Ленка Тетюев и Толя Смирнов. С Ленкой я учился и дружил с пятого класса. Оба друга работали сменными механиками на лесопильном заводе, так же как мы на станции. Только работа у них была тяжелей нашей. Двенадцать лесопильных рам должны день и ночь распиливать бревна. Как правило, ребята перерабатывали по три-четыре часа, пока ремонтировали механизмы после смены. Приходили домой в грязных ватниках, в опилках и валились от усталости. Жили они в том же доме, где была наша столовая.

Еще: попробовал я завести роман, без любви, так, для секса... Однако все оказалось не просто. Не сумел. Переживал недолго, отступился, без чувств — не по мне. Но интерес к девушкам пробудился...

В июне станцию закрывали на ремонт. Севка уехал в Ленинград учиться в военную школу. Мне — на одного! — дали маленькую комнату в квартире директора станции: вот какие были времена!

В 32-м бараке жили девушки — бухгалтеры из ОРСа, Женя и Галя. Потом к ним подселили вторую Женю, счетовода. Комнатка у них была маленькая, но кровати (наши заводские деревянные) покрыты белыми покрывалами. Днем на них садиться не полагалось. Не то что мы: все свободное время проводили лежа.

Девушек я заметил в столовой ИТР с первых дней, они приехали на завод после техникума из Вологды раньше нас. Помню, как Галя стояла у столика кассирши: в кожаной куртке с меховым воротником, ножка в туфельке и шерстяном носке этак художественно отставлена. Все мужики на нее поглядывали и разговаривали преувеличенно оживленно.

Я тоже смотрел на них месяцев девять. Не решался заговорить; комплексовал, особенно после поражения у «инженерши».

Трудно писать о любви. Ни одно чувство так не изъезжено словами...

Любовь идет от биологии: в генах заложена главная программа природы — размножение. Чтобы ее реализовать, нужно общение, выбор партнера, соответствующие действия. Для действий — стимулы. Стимулы — от потребностей. Потребности выражаются чувствами. Воспитание тренирует или подавляет их. Такова простая арифметика людского поведения.

Вот цепочка: Восхищение, Идеал, Красота. Хочется смотреть и смотреть. Но надоедает: адаптация. Нужно знакомиться ближе. Разговаривать. Требуются обратные связи. Отвергнут — повздыхал, успокоился. Поддержали, поощрили, заметили — уже счастье. Сначала кажется: больше ничего не нужно. Но... опять адаптация. Нужны прикосновения. Потом ласки. Потом... все остальное. На каждой ступени возможны остановки. Короткие или длинные — зависит от характера (общительный, спокойный), от воспитания. И от обратных связей. Если все правильно, то счастье все растет и растет, прелести каждой ступени остаются и живут с тобой. Любимая все время в тебе — «эффект присутствия». Что бы ни делал, прикидываешь: как она? Все принадлежит ей, «предмету». Во всем субъективность оценок. Боже мой, какая пристрастность! Где твои глаза? Уши? Ум? Она красивая? Несомненно. Если не античная красавица, то симпатичная. Природный ум. Не развита? Ничего, выучится! Добра? Конечно, добра! Если какие-то качества далеки от идеала, то просто жизнь у нее была тяжелая — «среда». Теперь все изменится.

И так далее...

Степень и темп смены этапов: смотреть, разговаривать, касаться, ласкать, спать... И — не смотреть, не разговаривать, не ласкать, не касаться, только спать. Все от типа и воспитания обоих, от обстоятельств.

Какая грубая картина! И ложная. Автор — злой старик, все забыл или не чувствовал.

Нет, любовь прекрасна. Даже ее грубые и животные ступени, против которых восстает наша идеальная романтика, обожают человека. Но особенно хороша, когда все гармонично сочетается в обоих: красота, чувства, страсть, ум, характер... Тогда любовь устоит против адаптации, которая безжалостно расправляется с преувеличениями...

Если идти от кибернетики, то любовь развивается по закону положительных обратных связей: сначала эффект усиливает первоначальное внешнее воздействие, но когда уже достигнут предел, то даже маленькое уменьшение эффекта рушит любовь. Поток начинает иссякать. Прозрение. Нет, хуже — переоценка с обратным знаком. «Если бы молодость знала, если бы старость могла...» — так говорят старики, когда поезд ушел.

И у нас все было как по писаному: «присутствие», «принадлежность». Вопросы внутренней речи по каждому поводу: «Что она сейчас делает? Как она к этому отнесется?» У нас с Галей развивался классический вариант «чистой любви», почти как это было с Валей. Встречи в столовой, обмен книгами, кино, походы в город в театр. Катание на лыжах... Никаких поцелуев, изредка — под руку, только разговоры и разговоры. Мечтали поступить учиться. Я мечтал. Казалось, и она тоже. У женщин удивительная способность светиться отраженным светом. Так прошло лето 1933 года.

В августе я приехал в отпуск в Ольхово. Было грустно, беспокоило состояние мамы, хотя опасности не понимал. Уехал, пожалуй, с облегчением.

Возможно, платоническая канитель с Галей тянулась бы очень долго, если бы ревность не подтолкнула события. Приревновал к Володьке Скрозникову. У него уже два года была красавица жена Маша, но для разговоров она мало годилась. Поэтому он и тянулся к нам. Не знаю, далеко ли шли его намерения и ее «обратная связь», но Галя с ним вроде бы встречалась.

И вот наступило 7 февраля 1934 года. Я был на ночной смене. Толька и Ленька позвонили мне около часа ночи и сообще-

ли, что после чая, который пили у девушек, Галя и Володька вышли прогуляться и их до сих пор нет.

Это была самая «ревнивая» ночь в моей жизни. Немало уже было прочитано романов, и я видел себя как бы со стороны: «Дурак, какой же ты дурак! Не смеешь поцеловать, а тут...» Володька не стеснялся в высказываниях по поводу женского пола, включая и свою жену. «Нет, все кончить! Немедленно!» В два часа мне позвонили, что Галя пришла. Смену доработал, дома спать не мог, в одиннадцать пошел завтракать в столовую. Подруги как ни в чем не бывало сели за мой стол.

После завтрака были объяснения, совсем их не помню, но вечером друзья перенесли ко мне кровать и пожитки Гали. Женитьба состоялась. Но требовалось испытание временем: зарегистрировались только через полгода.

Брак был счастливым поначалу. Все его атрибуты присутствовали... Хотя были трудности в некоторых аспектах супружеской жизни, по моей вине, как понял позднее, когда стал настоящим мужчиной. Подозрения в адрес Володьки не оправдались. О Гале и говорить нечего... Классика: вместе теряли девственность.

Так обстояли любовные дела. Если считать, то этот «фронт» уже тогда, впрочем, как и на протяжении всей моей жизни, стоял у меня на третьем месте, исключая острые моменты. Первым делом, конечно, работа, потом страсть к выдумыванию, конструированию... Наука? Я всегда стеснялся называть себя ученым. Но всю жизнь создавал модели, рисовал схемы...

Пришло это ко мне еще на первом курсе, на «прорыве». Там в завшивленном общежитии я уже выдумывал «автомат для укладки досок». Потом весь отпуск делал чертежи, доводил их до кондиции. Когда приехал в Архангельск, снес их в «Северолес». Отказали, ну и ладно. В течение жизни было еще много разных изобретений. Довел до практики только одно из них — АИК (аппарат искусственного кровообращения), но произошло это лишь через двадцать лет...

Зиму 1934 года мама прожила у своего брата, дяди Павла, начальника НКВД Чувашии, в Чебоксарах.

Местные врачи поставили диагноз: подозрение на рак. Оперировали: опухоль удалить невозможно. Скрывали от больной, но она все равно поняла, хотя виду не подавала.

Я приезжал к ним в конце марта. Познакомился с бытом начальников: жили богато, по моим тогдашним стандартам, по

современным — скромно: три комнаты, кухня, ванна. Прислуги не было. Дядя сам выносил во двор ведро с мусором. Изредка вели с ним разговоры: признал меня взрослым. Я рассказал, как меня вызывал следователь. Он спросил прямо:

— Не предлагали сотрудничать? Не говорили: «Кругом враги, нужно чекистам помогать...»?

— Нет. А что это значит?

Тогда я еще был стерильный по этой части.

Дядя объяснил. Назвал даже термин: «шкапной сексот».

— Отказывайся наотрез. Ничего не сделают... а то попадешь к нам в лапы, так и будешь жить обосранный...

Обстановкой в стране был недоволен. Делал намеки в адрес Сталина, но не уточнял. Ругал подхалимов. Он первый зародил во мне антипатию к вождю.

К маме, конечно, относились хорошо, но все равно она там чувствовала себя в гостях и тосковала. Сидела в своей комнатке за кухней, жалкая, исхудавшая. Плакала украдкой. Даже сейчас сердце сжимается, как вспоминаю...

Прожил в Чебоксарах всего несколько дней: нужно было работать и, кроме того, ждала Галя. Женитьбу скрыл. Уехал с тяжелым сердцем...

С приходом весны мама сильно затосковала по родным местам, и Маруся привезла ее в Ольхово. Сама нашла работу в Череповце и приезжала по воскресеньям. За больной ухаживала тетка Евгения, «бабы» ее навещали, молодая акушерка приходила, рассказывала, советов спрашивала...

2

Очень хотелось учиться. По закону необходимо было отработать три года, чтобы поступить в вуз. Не хватало терпения ждать. Весной 1934-го выдержал контрольные испытания во ВЗИИ — Всесоюзный заочный индустриальный институт в Москве. Энергетический факультет. Контора его располагалась в проезде Серова, напротив Политехнического музея. И теперь, когда бываю там, заглядываю в окно, за которым сидела молодая полная дама, — она пять лет вела со мной переписку: задания, контрольные работы, проекты. После войны вывеска ВЗИИ исчезла. Но диплом с отличием храню.

По большому счету (сколько трафаретов!) меня прельщала не инженерия, а теоретическая наука с уклоном в биологию.

Изобретательство — только увлечение. Университет! Вот куда хотелось. Выбрали Ленинградский.

Галя тоже увлеклась идеей об институте и активно готовилась к экзаменам. Летом мне удалось «достать» справку с места работы, позволяющую поступить в вуз. Мы подали заявления в Ленинградский университет на биофак.

Но были сложности. Мама тяжело больна. Я обязан ей помогать. Где взять деньги? Можно для начала продать книги, а потом буду подрабатывать (читал о прежних бедных студентах, чем я хуже?). Книг за два года накопилось много — все свободные деньги тратил на них. Самые разные, но больше — техника и наука. Попытался продать в Архангельске — нет, никому не нужны. Решил отправить багажом в Ленинград; изрядный ящик — вдвоем с Ленькой едва несли. Помнится, на 500 рублей насчитали.

По дороге в Ленинград мы с Галей заехали в Ольхово. Маме не сказали, что уже полгода женаты, будто «невеста». Она делала вид, что верит. До сих пор стыдно за этот визит... Разве можно давать такую психическую нагрузку умирающей матери? Наверное, она все понимала.

В университете оставил ольховский адрес, а вызова на экзамены все нет и нет. 7 августа поехали, не дождавшись. Оказалось — недоразумение. Экзамены в разгаре, конкурс огромный. Служащих принимают в последнюю очередь... Самое главное — книги не покупают. Носился со своим списком по букинистам, магазинам, и все напрасно: «Своих много». Хоть плачь. Отправил их обратно...

Все рассыпалось. Поступать в университет не решились. Галя поехала в Архангельск и с ходу выдержала экзамены в мединститут, он открылся два года тому.

После неудачи в Ленинграде я один вернулся в Ольхово, чтобы побыть с мамой. Там и провел оставшиеся две недели отпуска.

Было очень жалко маму, когда прощался и уходил поздно вечером на пароход в ту далекую осень, после техникума... И — чувство облегчения, что отпуск закончился и работа требует ехать.

Маруся смотрела на меня с укором и неприязнью. Ее можно понять: приехал, покрутился — и долой. Милый сынок. А ей материнской любви в жизни досталось намного меньше. Как оставила ее маленькую на бабушку в Суворове, так до конца жиз-

ни прожили вместе от силы с полгода. Всегда между ними стояла незаконность ее рождения: у мамы комплекс вины, у Маруси — упрек.

Не знал, что прощаюсь навек: мама умерла через три недели...

А жизнь продолжалась, как будто и не было этой летней авантюры с Ленинградом. Принял смену и начал работать. Жена — студентка. Каждый день ездит на занятия в этакую даль: трамвай, переправа, автобус... Бывало, вечером жду, жду... А еда? Хлеб да чай. Впрочем, иногда приносил что-нибудь из столовой.

Маруся прислала телеграмму: «Мама умерла». Ничего не добавила — обида тлела, небось думала, что не приеду...

Путь не близкий, прибыл в день похорон.

День четко отпечатался в памяти: яркий, осенний, северный. Красные ягоды на наших рябинах: на одной как киноварь, на другой — слегка оранжевые. Было тепло, окна в доме открыты. Встретили заплаканные близкие. Во дворе и в комнате полно женщин, многие с детьми. Подумалось: каждого из них она первая подержала в руках.

Слез не было. Обстановка тормозила чувства. Мама лежала в гробу, почти не узнать. Не фотографировали, помню только живой.

Скоро ее понесли на кладбище. Долгим показался этот путь через деревню, через поле... Мужчины всю дорогу несли на плечах, женщины голосили...

Хоронили без священника, мама не обратилась к Богу. Музыки в Ольхове тоже не было. Председатель сельсовета сказал несколько чувствительных неумелых фраз, и под плач женщин сосновый гроб опустили в могилу рядом с могилой бабушки Марьи Сергеевны. Венков в Ольхове не делали, цветов тоже не выращивали в палисадниках. Поминок не было.

Горе охватило, когда вернулись домой с кладбища. Домик пуст. Кровать убрали, чтобы поместить гроб. Но будто еще витает дух мамы в каждой вещи. Слезы полились, долго не мог их унять.

Все! Будто исчезла некая страховочная веревочка, за которую уже не держишься, но всегда можно схватиться, если начнешь падать...

Переночевал одну ночь. Не смел прикоснуться к ее вещам, но утром наткнулся на старую клеенчатую тетрадку. Вижу, что-

то вроде дневника. Мысль: «Нарочно оставила на виду?» Нет, хитрость ей не свойственна. Возможно, перечитывала перед смертью, а спрятать уже не было сил. Не знаю.

Не стал читать, не смел касаться. Только взглянул мельком на короткие записи еще со времен войны. Резанули по сердцу: горе, тоска по мужу, придирки свекрови, пристаивания мужчин, болезни Коленьки, долги, долги от жалованья до жалованья... «Нет, пусть полежит...» (И до сих пор не могу себе простить, что не взял с собой: дневники пропали...)

Представилась (и теперь заново представляется) вся ее несчастная жизнь, не очень долгая, без ласки, без ярких событий. Что в этой жизни было хорошего? Кажется, детство в большой дружной семье. Может быть, Питер, школа повивального искусства? А потом — одно горе. Брак по любви, но война, муж пропал без вести. Нашелся, вернулся и ушел совсем. Суровая свекровь, бедность. Помню: всегда в долгах, получит жалованье — раздаст, и ничего не остается. Потом эта болезнь.

Но нет, было у нее счастье: работа, «бабы». И вообще, не вспоминается она как несчастная — всегда бодрая, если не веселая. Слез почти не видел. На нее опирались, а не она искала помощи... Думаю, что и я не прибавил ей горя, любил, старался быть хорошим, плохое тщательно скрывал. Скрытое — оно не существует для тех, от кого скрывается. И не ранит. Знаю: люди с этим не согласны. Но пути добра так сложны...

Поколение и среда моих родителей... Я попытался вспомнить, что знал об их жизни, материальных условиях, отношениях, идеалах, морали. Все это относилось уже ко времени после революции, но сами они сформировались еще до нее. Мой круг был ограничен мелкой интеллигенцией, после гимназий и училищ, вышедшей из простого народа: фельдшеры, акушерки, учителя, простые служащие — целая социальная прослойка. До Череповца я вообще не встречал людей с высшим образованием, да и потом — только преподаватели, далекие от прямого общения.

У них, маленьких интеллигентов того времени, были разные характеры, судьбы, счастье, но были и общие черты. Попытаюсь их перечислить.

Интеллигентность: среднее образование, хорошая профессиональная квалификация. Высокая духовная культура, правда, ограниченная сферой литературы, тем, что можно прочитать.

Музыку и живопись знали плохо. (Цветные репродукции были редки, граммофон примитивен и недоступен, до домашнего музицирования не дотянулись.)

Бедность: очень мало платили на государственной службе, а других источников дохода не имели. Взятки и подарков не брали, к подсобному хозяйству не тяготели и конечно же были не способны на «гешефты» — купить, перепродать, обмануть. От бедности и низкого происхождения уровень бытовой культуры был невысок. (Баня раз в неделю, постель без пододеяльников, и первое и второе ели из одной тарелки, а иногда, в Ольхове например, вообще из общей чашки ели деревянными ложками, пока Маруся не закончила институт.) Вся зарплата уходила на еду. Одежду носили до износа, сами себе шили, проблема моды не существовала. Но детей обязательно посылали учиться, выжимаясь до последнего гроша.

Политикой интересовались выборочно. Мужчины — больше, женщины — мало. Симпатии чаще на стороне эсеров. Коммунистов не знали, вплоть до революции. Шовинизмом не страдали.

Самодержавие ненавидели. Советскую власть приняли и активно работали на нее с самого начала. Не могли иначе: дети народа, они жили в самой его гуще, а вся политика — в ее декларациях — для пользы народа. Отношение к религии было в целом безразличное (Пасху и Рождество любили), к священнослужителям — отрицательное.

Жили по совести: «Никому не делай того, чего не желаешь себе». Честность сама собой разумелась. Сопереживание страждущим и доброта? Я бы сказал, что в меру, без сюсюкания. Шкала ценностей: труд на пользу людям, совесть, общение, культура, семья.

3

Вернулся с похорон и начал усиленно заниматься в заочном институте. На работе использовал каждую свободную минуту, даже начальство косо поглядывало. Но не запрещали, смена была самая лучшая...

За один семестр прошел весь курс высшей математики и сдал его в зимнюю сессию при учебном пункте в Лесотехническом институте. Не скажу, что знал блестяще, но на «четыре» — честно. Самый большой экзамен в жизни. Сдавал вместе с «нор-

мальными» студентами. Профессор задал задачи по разделу — решаю, сдаю, он ставит оценку, затем дает следующий раздел — решаю, и так по всей вузовской программе. Сдавал восемь часов. Вышел вечером, шатался от усталости и счастья. Шутка ли, всю математику за один раз. Очные студенты учат полтора года. Важно для самосознания (и перед женой).

Весной 1935 года сдал физику, термодинамику и какую-то одну из общественных дисциплин. У Гали тоже были хорошие оценки. Она оказалась толковой.

Однако заочный институт меня не устраивал. Электростанции изучил, быть главным механиком не собирался. Нужно учиться по-настоящему, чтобы для науки... Кроме того, было важное обстоятельство — призывной возраст. В армию люто не хотел!

Только университет! И не меньше.

С работы отпустили — до обязательного трехлетнего срока оставалось три месяца.

— Провалишься — возвращайся, возьмем.

На этот раз выбрал МГУ. Вызвали на экзамены, приехал, поговорил в приемной комиссии. Огорчили:

— Вы — служащий. Будут все пятерки — пройдете, нет — значит, нет.

Такое невезение с этими университетами. В моем образовании всегда было слабое место — грамматические ошибки. Не научили грамоте в школе, до сих пор не тверд, академик, писатель. Сказал честно: боюсь. Милая женщина, что со мной беседовала, рассмеялась:

— Тогда плохо дело. Это же МГУ! У нас конкурс огромный, есть выбор. И указания свыше...

Забрал я, несчастный, документы и вернулся в Архангельск. Благо, что комната еще оставалась за нами. Пришлось поступать в медицинский. Выдержал экзамены на пятерки. Приняли. Грамматические ошибки не помешали, не придирались.

Рассчитался в конторе. Проводов не было, но простились хорошо. Предлагали возвращаться. Сдали комнату и переехали в общежитие института. Галя — в женское, я — в мужское.

Так кончилась производственная работа. Впрочем, не совсем: весной и летом подрабатывал на старой должности в ночные смены, еще чертил тепловую схему станции. И на других заводах техминимумом занимался вплоть до четвертого курса (на своем не хотелось, стыдно деньги брать).

...Когда начинал вспоминать, думал, что напишу чуть-чуть, о самом важном, не для биографии (ординарная), для понимания людей, жизни и себя. Получилось много. И еще не все.

Вот, к примеру, случай, как я получил судимость.

Станция наша — временная. Металла в стране — мало, а дерева на Севере много, поэтому — деревянная. Оборудование растет из бетонного пола, а сверху накрыто деревянным каркасом, этажа в четыре. Всюду — слой древесной пыли, очень опасно. Внутри станции — полно огня. Значит, того гляди — загорится и ног не унести...

Постоянно дежурит пожарник, всюду расставлены чаны с водой, есть специальный насос. Пожарнику скучно, ходить лень, около котлов — тепло. Поэтому он чаще дремлет. Рабочий народ пожарников не любил, называл их бездельниками.

И вот как-то в зимний полдень иду я позади дымоходов и несу к себе в конторку бутылочку с чернилами. Встречаю зольщика Васю. Ему семнадцать, работает неполный день. В руках большой ковш с водой.

— Коля! Там пожарник опять заснул! Можно я его оболую?

— Конечно, облей! Среди дня спит, паразит!

И тут меня как черт дернул: плеснул я ему в ковш чернил...

Последующее мне рассказывали: облил Вася пожарника, а на нем была новая брезентовая роба. Чернила — «химические», фиолетовые, несмываемые. Бедный мужик стирал робу в чане до конца смены, ничего не помогло: намертво въелись чернила в брезент. А кочегары вокруг смеялись...

Продолжение было в милиции. Недели через две получил я повестку к следователю. Удивлен, не понимаю. А вдруг вредительство шьют?

— Гражданин Амосов (заполняет данные из паспорта)... вы обвиняетесь в злостном хулиганстве, граничащем...

Нет, не помню, чтобы следовало роковое слово...

Описывает мне случай с пожарником, все правильно.

— Начальник пожарной дружины и коллектив обратились...

И заключает:

— Казенное имущество испорчено, дисциплина нарушена, непосредственный исполнитель — несовершеннолетний. Придется отвечать... Пишите объяснение.

Что тут объяснять? Спать пожарникам на смене не полагается, приходится будить. Но зачем же чернила?

— Признаю вину... Готов заплатить за костюм.

— Нет, не так просто... Подпишитесь под распиской о невыезде. Заводим дело...

Прошло месяца три. Уже лето. Вызывают в районный суд в Соломбалу.

Встает прокурор. Речь длинная. Боже мой, что он наговорил!

Но все кончилось мирно. В постановлении суда было записано: «Злостное хулиганство, повлекшее...» Однако, «учитывая безупречную характеристику, чистосердечное признание...», «приговорить к 50 рублям штрафа с вычетом из зарплаты».

Какое было счастье! И даже деньги не вычли — порядка не было...

В анкетах о судимости в дальнейшем не упоминал. Но страх от выступления прокурора запомнил крепко: то же самое вполне могло повториться с плохим концом.

А дело о вредительстве все-таки состряпали в 1937 году. Директор Леготин построил лесопильно-целлюлозный гигант на голлом болоте, довел его «до ума» — и «загремел» на много лет. Из станционных арестовали главного механика Марченко, но через полгода выпустили. Он даже вернулся на свою должность. Очень боялись ареста мои друзья — Ленька и Толька, они работали на «скользких» местах: механизмы ломаются, завод простаивает, ущерб экспорту — вредительство запросто можно пришить. Но пронесло. Оба были членами партии, но это не спасало тогда, скорее наоборот.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

1

Что тогда представлял собою наш архангельский институт? За два года до этого его создали на голом месте. Предоставили два старых двухэтажных здания. Прислали из Москвы кандидатов для заведования теоретическими кафедрами. Теперь оглядываюсь назад: хорошие получились профессора, ничем не хуже тех, которых уже полвека встречаю в столицах. Ассистенты молодые, прямо из института или после года аспирантуры в столице, еще «не остепененные». Но полны энтузиазма. Оборудование кафедр? Понятно, что электроники не было, да и где она тогда была? Зато трупов для анатомички сколько хочешь: полно беглых крестьян наехало, помирают, хоронить некому, только возьмите... Когда мы пришли учиться, был уже первоклассный анатомический музей: попался хороший профессор и отличный препаратер из сосланных интеллигентов.

Клиническая база, как называют больницы, где учат студентов, тоже была не так уж плоха. Не те хоромы, что сейчас понастроили, но вполне можно жить. Хотя больные часто лежали в коридорах, так их и теперь видишь там же.

А вот с общежитиями было очень плохо — двухэтажный барак на улице Карла Маркса переполнен. Новое здание не достроено. Поэтому нас временно поместили в большую комнату в помещении, которое примыкало к анатомичке. Ходили через коридор, где в пол были врезаны бетонные ванны, очень глубокие, там в формалине плавали трупы. Лежали груды рук и ног. Пары формалина разъедали глаза.

Народ в комнате подобрался еще «зеленый» — все больше архангельские и вологодские сельские юноши. Знания имели слабые. Среди них я был почти профессор — физику и химию объяснял перед каждым зачетом. Мне уже исполнилось двадцать два года плюс стаж работы на «руководящей должности» (а что, разве не так?), полтора курса заочного института. Но от трупов тоже мутило.

В этом общежитии я встретил Бориса Коточигова, с которым дружил потом тридцать лет — до самой его смерти. Он был мой ровесник, и жизненный опыт похожий — девятилетка с педагогическим уклоном, учительство в начальной школе. Мать у него тоже была сельской акушеркой. Борис, как и я, любил читать и, пожалуй, образован был лучше, да и умнее меня, хотя научная карьера его всерьез не состоялась. Мы сошлись сразу, еще на экзаменах. Вечерами бродили по набережной Двины и вели всякие разговоры о литературе, о политике. Он мне многое поведал. Родство душ, как раньше говорили.

Странную вещь рассказал он о себе. Был-таки тем «шкапным», о чем предупреждал меня дядя Павел. Его завербовали на идейной почве: комсомольский активист, он свято верил в коммунизм. Вот его и попросили помогать, сказали:

— Это ваш гражданский долг!

Никаких врагов народа Борис не нашел, долг не исполнил, но люто возненавидел НКВД — понял, что попал в сети. Он был резкий человек. Поссорился с «хозяевами», не испугался угроз, дал расписку о молчании и уехал в Архангельск. Опасался, что припомнят... Меня предупредил: «Если что случится со мной, знай, достали. Но ты не беспокойся».

Потом его «доставали» несколько раз: когда был студентом — из комсомола исключили, майором после войны — из партии... Но не посадили. И даже каждый раз восстанавливали.

Я не беспокоился, что продаст. Очень любил его и уважал. Царство ему небесное...

Экзамены мы с Борисом выдержали, были зачислены в группу, его назначили старостой, меня выбрали профоргком.

Первые лекции не вызвали волнения — одну скуку. Помню, так хотелось спать, что соседа просил: «Толкни». Месяца два привыкал. Занятия казались легкими. Угнетала только зубрежка. Но ничего, освоил технологию...

Месяц прожили в той комнате, позади анатомички, потом открылось новое общежитие, и мы с Борисом попали в комнату на шесть человек — кровать к кровати. (Кровать с сеткой — первая в моей жизни, раньше на досках спал.) Компания в комнате собралась плохая, такие неинтересные ребята, без всякого понятия о такте. Вечер спят, ночь зубрят в голос, не уснуть. Уши заклеивал хлебным мякишем. Все вернулось «к истокам», к общежитию на заводе.

В октябре выяснилось, что в некоторых комнатах завелись вши. Мылись и прожаривали одежду на барже, в бане речников. Нет, у нас вшей не было, мы — опытные.

Галя жила в другом, старом общежитии, на улице Карла Маркса. Семейная жизнь в таких условиях — дело трудное и неприятное. Супружеские дела вершили в бане, там были отдельные номера и дешево. А что делать? Стыдно, банщики смотрят косо. Не будешь же свидетельство о браке показывать. Но любовь еще горела, поэтому не жалел о холостой жизни.

Самолюбие задевало, что жена учится на курс выше, но она превосходство не показывала. У меня уже были полтора курса в заочном институте. Гораздо хуже шли дела денежные. Стипендия 80 рублей: обеды в студенческой столовой, недорогие, завтраки и ужины «из тумбочки» (хлеб, кружка кипятку — титан всегда кипит: без заварки, разумеется). Я-то педант. Все продукты были рассчитаны: сколько калорий на копейку, — но и то отощал до 54 килограммов. На маргарин хватало, на масло — нет. А Галя любила одеваться. Маруся скоро стала посылать по 50 рублей в месяц, пока я не начал прирабатывать...

Проучился два месяца и заскучал. В это время случилось большое событие в жизни страны: началось стахановское движение, выполнение двух или больше планов. Как раз для меня.

— Даешь два курса за год!

Тем более что из-за нехватки помещений учились в две смены: второй курс днем, первый вечером. Пошел ходить по начальству: директор отказал, но его заместитель Седов разрешил, если профессора второго курса согласятся. Всех обошел, похвалился зачеткой из заочного института, и они согласились: анатом, физиолог, биохимик. Седов благословил, но поставил условие: без троек, практические занятия не пропускать на обоих курсах.

Так начался мой эксперимент. Занимался как проклятый, с утра и до десяти вечера — институт и библиотека.

Отличная областная библиотека была в Архангельске; стоял этот одноэтажный дом напротив театра, теперь его нет. Несчетное количество часов было там проведено. Приду после обеда, сяду за стол, немножко подремлю — и до самого закрытия. Каждый день. В общежитии не мог заниматься — мешали соседи. Только и развлечения — поболтать с Борисом. Кровать моя у печки стояла, валенки хорошо сушились... Старые, подшитые, еще из Ольхова.

На втором курсе пристроился в группу к Гале. Сначала на меня смотрели косо, потом привыкли, вел себя скромно, не высовывался и отвечал хорошо.

Первая задача в зимнюю сессию — сдать анатомию и гистологию со вторым курсом. Оставалось два месяца вместо полутора лет при нормальной учебе. Нужно вы зубрить и найти на трупе около 1500 анатомических «пунктов». Учил по атласам, а на труп приходил, когда вся картина вырисовывалась перед внутренним взором. Каждую неделю сдавал зачеты по разделам.

Днем ходил на занятия второго курса — на физиологию, биологию, политэкономия. Слушал лекции, которые были интересны, на скучных занимался своим делом, учил. Были два колоритных профессора: анатом Михаил Замятин и физиолог Денисенко; нашим ассистентом была Мария Григорьевна Седова. Она же и кружок вела, очень интересно. Красивая женщина — помню ее грустный взгляд и пепельные волосы. Много лет спустя встретил ее в Киеве — уже профессором, работала в Ярославле. Анатомичка Серафима... (отчество забыл), тоже яркая и молодая, но хромала. Они обе болели за меня на экзаменах.

Политику я, конечно, не любил, ее никто не любил. Политэкономия, диалектический, исторический материализм. Учебник Митина. Труды Сталина «Вопросы ленинизма»... Жуткая муть. Зубрить не хотелось, а логики не чувствовал. Хотя политику мы с Борисом активно обсуждали. Как раз в 1936 году шел процесс Зиновьева — Каменева. В обвинения не верили. Мы, конечно, были за социализм и даже за колхозы, только Сталина и НКВД не любили. Свободы хотелось. Чтобы вранья было поменьше, словоблудия. Возмущали репрессии. Но пропаганда против самодержавия, белого движения, помещиков-капиталистов сработала — ничего хорошего в российском прошлом мы не видели. Писатели-классики на этом фоне выглядели странно. Их так подавали, что стояли они вроде бы отдельно и от самодержавия, и даже от религии. Впрочем, Достоевского явно зажимали, не печатали. Охотились за западной литературой: Хемингуэй («Прощай, оружие!»), Ремарк («На западном фронте без перемен»).

Сессию сдал отлично. Пять экзаменов за первый и второй курсы прошли «как песня».

Во втором полугодии было уже легче. Увлёкся физиологией, стал читать и думать о всяких теориях. В начале 1936 года умер

Иван Петрович Павлов — герой моей ученой юности. Весной того же года не стало Горького — его я тоже любил. Газеты и радио трещали об отравителях, арестовали первую группу врачей — Левина и Плетнева. Мы с Борисом не верили ни одному газетному слову... Сволочи!

Отношения с Галей периодически обострялись. Сказывались раздельная жизнь и бедность.

Весной стал подрабатывать дежурствами на станции — заменял отпускников. Приятно было вернуться в прежнюю стихию. Хороши июньские ночи, когда после вечерней смены в белую полночь возвращаешься домой... Ближе к лету сделал большую работу — составил новую тепловую схему станции и вычертил ее красиво на огромном листе. Помню: заработал 250 рублей. Как раз для каникул.

Весенние экзамены хлопот не доставили — шли спокойные пятерки. По окончании года премировали именными часами. Они мне служили до середины войны. Еще сшил себе брюки, перелицевал костюм, по бедности и для интереса. Швейную машину Галя привезла «в приданое».

2

В ту первую зиму я познакомился с Вадимом Евгеньевичем Лошкаревым. Он стал заведовать кафедрой физики, когда я уже не ходил на первый курс. В Архангельск Вадима Евгеньевича сослали в 1935 году из Ленинграда. Работал он у академика Иоффе, был одним из его учеников. В ссылку загремел будто бы за спиритизм — никогда не рассказывал о суде. Возможно, так и было, за «врага народа» упекли бы в лагерь. А тут — даже на кафедру к молодому поколению допустили. И две комнаты выделили.

Пошел к нему сдавать физику без подготовки и получил четверку (стыдно для меня, просил о пересдаче). Тогда же начал мудрить с искусственным сердцем. Выдумка ерундовая, как теперь понимаю, но идея логичная. Теперь на этом принципе создали протезы сердца, некоторые модели работают по несколько месяцев, пока донора для пересадки подбирают. Чертеж я показал Вадиму Евгеньевичу, он одобрил и пятерку в зачетку написал, не спрашивая.

Сердца я не сделал, но знакомство состоялось. И след — на всю жизнь.

Какой был блестящий человек! Высокий, стройный, красивый, с черными усиками. Лекций его не слушал, а студенты жаловались: «Ничего не понимаем!» На экзаменах весной поставил 40 процентов двоек, но народ почему-то не роптал. Покоялся улыбкой — «обворожительной», как написали бы в старых романах. Борис тоже осенью пересдавал физику...

Как-то мы встретились в коридоре, и Вадим Евгеньевич пригласил зайти к нему домой. Адрес сказал... Я был поражен: это в царские времена профессора запросто приглашали студентов. Теперь у нас равенство, но между сословиями — заборы из недоверия. Да и студент не тот пошел, особенно в провинции: серость!

Пришел. Он усадил, чай организовал. Графинчик поставил: — Выпьете? Нет? Тогда я один...

Рассказал: жена уехала рожать, ему выезд запрещен. Каникулы, скучно.

Едва ли я был интересным собеседником: уровень был еще не тот. Но я не боялся высказываться о событиях и вождях, тогда это было опасно, поэтому подкупало. Вадим Евгеньевич слушал, спрашивал.

Не помню, как мы перешли на темы, для меня совершенно невероятные: о спиритизме и всяких других чудесах. Я был ортодоксальный материалист, о том, как там вертят этот стол, читал только в романах, а тут...

В то лето я ходил к нему в гости каждую неделю и даже чаще, а Вадим Евгеньевич все рассказывал и рассказывал, под водочку и чай.

Мне открылся мир необыкновенный. Старым интеллигентам он уже был известен до революции, но нам-то сделали «прививку». Я только от бабушки слышал о колдунах, порче, исцелениях... Потом в пионерии все отверг.

Нет, в Бога Вадим Евгеньевич не верил. Он говорил:

— Есть другая физика.

Впрочем, сначала он посвятил меня в основы физики атома, с принципом неопределенности, когда электрон — и частица, и волна.

— Великий Фарадей сказал: «Чтобы понять, нужно привыкнуть и уметь пользоваться».

Потом пошло черт знает что! Я узнал о телепатии, астральном теле, полтергейсте, предсказаниях Нострадамуса, левитации, телекинезе, телепортации... Не говоря уж о банальном

спиритизме, в сеансах которого Вадим Евгеньевич многократно участвовал, даже в среде физиков, с попыткой регистрации... Да, да, он сам видел материализацию духов...

— Сеансы проводились в начале двадцатых годов в Броварах, под Киевом, там жила женщина — очень сильный медиум. Нет, великих людей она не вызывала, но однажды появился недавно умерший участник сеансов. Вышел из-за портьеры, поманил одного из нас и увел в другую комнату. Когда тот вернулся один, мы стали расспрашивать: отвечал, что разговаривали о пустяках.

Нельзя сказать, что я всему сразу поверил, но когда уходил домой в три часа утра, мне было страшно.

Осенью вернулась его жена с новорожденным сыном. Вадим Евгеньевич еще приглашал меня изредка, но прежней атмосферы уже не было, и я ходил к нему без удовольствия.

На кафедре Вадим Евгеньевич изучал физику возбуждения нервного волокна. Приглашал меня участвовать, но я, дурак, был занят другими делами и упустил шанс стать настоящим ученым-физиологом. Вадим Евгеньевич написал книгу, но не напечатал, а после освобождения из ссылки вернулся в Киев, стал директором Института физики Академии наук Украинской ССР.

Позднее его приглашали к работе над бомбой, но он отказался «по моральным мотивам» и занимался полупроводниками. О наших встречах я еще напишу...

Итак, пошел второй год учения и сразу — третий курс. Как отличнику мне дали временно комнату в недостроенном крыле областной больницы. Но в самом начале зимы попросили освободить. Жить вместе нам с Галей понравилось, и мы стали ходить по городу, подыскивать комнату. К сожалению, все было нам не по карману. Поэтому нашли квартиру в деревне, по дороге на завод, за три километра, платили 50 рублей. Хорошая комната, с мебелью, с видом на реку Кузнециху. Только далеко и все равно дорого.

На саночках по льду перевезли вещички и зажили по-новому. Пищу готовили по очереди. «Суп-пюре гороховый» — был такой концентрат — и немного мяса, кастрюля на три дня. Обедали вечером.

На третьем курсе началась настоящая медицина: клиники, больные. Нагрузка пустяковая. Ходил в дирекцию, просился еще раз перепрыгнуть через курс, не стали слушать:

— Нужно видеть много больных.

Может быть, и логично, но тогда жалел.

Заскучал от недогрузки. И сделал ложный шаг: восстановился в заочном институте. (Годом раньше был исключен за невыполнение заданий.) Не стоило этого делать, увлекло тогда совсем в другую сторону и потребовало массу времени. Лучше бы занялся наукой у Вадима Евгеньевича.

Моя техническая специальность называлась «паросиловые установки для электростанций». Дело знакомое. Мог бы институт закончить без особого труда. Но... увлекла новая идея: спроектировать огромный аэроплан с паровым котлом и турбиной. Он забрал больше времени, чем сам институт или, к примеру, диссертация.

Теперь все свое время отдавал технике, а точнее — проекту. Медицина изучалась между делом. Я нормально посещал занятия, но на лекциях считал на линейке свои проекты, слушая одним ухом. Сессию сдавал досрочно, потом ехал в Москву, в заочный. Кроме того, подрабатывал. На третьем курсе ездил по заводам, учил машинистов и кочегаров, а с четвертого стал преподавать в фельдшерской школе. Читал любые дисциплины, даже глазные болезни. Научился говорить, позднее, когда стал профессором, это во многом помогло.

Но самая большая забота — это «проект». Сколько пришлось перечитать, передумать, сколько сделать ложных расчетов... Пришлось учить не только теплотехнику, но и аэродинамику, потому что рассчитывался весь самолет, а не только двигатель. Хорошо, что библиотека получала обязательный экземпляр всех советских изданий, материалов было достаточно.

Курсовые учебные проекты посвящались частям «проекта»: котел, турбина, редуктор — все шло к главной цели. Теперь, когда вспоминаю, удивляюсь, как это я потерял чувство реальности. Я же всерьез тогда рассчитывал спроектировать самолет, «который полетит». А ведь был уже неудачный опыт с машиной для укладки досок. Наверное, мои увлечения кибернетикой, моделями личности, интеллекта имеют те же корни...

Но не будем жалеть тех трудов. Они дали хорошую тренировку для мозга. Возможно, поэтому так легко сдавал экзамены в обоих институтах.

Весной 1937 года нам с Галей выделили комнату в общежитии на улице Карла Маркса. Там и прожили до самого развода в 1940 году.

Еще на третьем курсе семейная жизнь дала первую трещину. Сначала Галя вызвала ревность: в студенческом драмкружке играла героиню в пьесе А. Корнейчука «Платон Кречет». Репетиции заканчивались поздно, зимняя дорога в деревню — три километра по льду. Ребята ее провожали... Парень со второго курса (главный герой) был очень даже смазливый... До сцен я не унижался, но недовольство свое не скрывал. Даже на премьеру не пошел. Летом укатила супруга в дом отдыха по бесплатной путевке, когда я работал в поте лица... Нет, не думаю, что Галя мне изменила. Так, мелкий флирт. Но любовь явно увядала.

Старостой у нас была Леля Гром. Моего возраста, уже побывавшая замужем, из старой городской интеллигенции: родительский дом, комната, книги, чай, читающая, положительная... Приглянулась. Начал к ней похаживать для разговоров. Не отвергала, но и не поощряла. Нет, ни во что это не вылилось, разве что поцеловал разок, но важна тенденция: появился интерес к другим женщинам.

Внешне мы жили очень мирно. За все время, что были в браке, одна только большая ссора. Как всегда в таких случаях — винят партнера... Не помню даже повода. Галя замахнулась на меня утюгом, и тогда произошло ужасное: я ее ударил. Ладонью, по спине.

Стыдное ощущение в ладони чувствую даже теперь. Оно и уберегло от повторения — на всю жизнь. Никого ни разу не ударил, если не считать пару шлепков маленькой дочке, вполне осознанных.

События того времени: процессы над врагами народа (Бухарин, Рыков) и выборы в Верховный Совет.

О, как возмущали эти судебные спектакли на кремлевской сцене! Мы с Борисом не верили ни одному слову. Только спрашивали: как же это возможно? пытки? Но процессы — публичные: объяви, пожалуйста! Лион Фейхтвангер («Москва, 1937») свидетельствовал: «Отлично выглядели, никаких следов избивений...» Вера в коммунистов окончательно рухнула. Всю жизнь носил в душе эту занозу антипатии и презрения... Ни разу не словословил Сталина и коммунистов. Ничего не подписывал, когда клеймили академиков и писателей, не выступал на собраниях...

Но ведь молчал, Амосов?! Против — только на кухнях. К диссидентам не примкнул... Так что давай не будем...

Объяснение? Рассудочность: рано научился оценивать человеческую природу, рассчитывать «за» и «против». Всегда жалко

было потерять любимую работу. Польза ее для людей не вызывала сомнений. Впрочем, это оправдание не для героев.

В том же 37-м, в июне, во время экзаменов в Москве я получил телеграмму из Горького от Маруси: «Приезжай немедленно». Тут же поехал, в полном неведении. Маруся жила с дядей Павлом, которого недавно перевели на должность зам. начальника НКВД Горьковского края, куда входила и Чувашия. Считалось: повышение.

Приезжаю, ищу по адресу: центр, дом с охраной. Заплаканные Маруся и Наталья Федоровна.

— Дядю Павла арестовали. Два дня назад.

Тетка простаивает днями у окошечка в НКВД, добываясь сведений. Ничего не говорят. Вместе с ней ходит подруга — жена секретаря парткома всей «конторы», их вместе забрали...

Я прожил в Горьком два дня. В квартире беспорядок, следы обыска.

— Руки не поднимаются! Забрали ружья, именной маузер, бумаги... все перерыли...

Сколько таких картинок открылось после гласности!

Жалко было дядю, жалко тетку, сын у них Сережа, пятнадцати лет, балованный, сразу повзрослел...

И тут же мысль на задворках сознания: «За все нужно платить: то сам арестовывал, теперь — тебя...» Мне всегда казалось, что дядя — чекист гуманный, но умом-то понимаю — не было таких! Поэтому и острой жалости не было.

На семейном совете решили все бросить, немедленно уезжать, могут арестовать тетку...

— Коля, поезжай домой и найди квартиру.

Не очень-то мне хотелось хлопотать (эгоист!), но — «надо».

В Москве с ходу сдал еще один зачет — и домой. Поезд идет тридцать часов, можно отключиться. Общий вагон, третья полка, темновато, но с трудом читать можно.

Нерасторопный я человек, но пришлось развернуться: спросил служащих в институте, указали адреса. Нашел комнату на самой окраине, где город упирается в тундру.

Через три дня высадился целый десант: тетка с сыном, ее подруга с дочкой. Маруся задержалась на несколько дней — распихивала вещи по знакомым. Приехала и через неделю устроилась терапевтом в нашу заводскую больницу.

Тетка прожила в Архангельске с неделю и уехала в Ярославль. Там обосновалась ее сестра, опять же — «жертва»: муж,

крупный инженер в Ленинграде, арестован во время «кировской чистки», и всю их семью выслали. Потом говорили: «Тетка замела следы двойным переездом».

Пожалуй, так и было: подругу через несколько месяцев арестовали, а девочку отдали в детдом... Обычная картина для дней «большого террора».

Надо заметить, что Архангельск тогда дешево отделался, если сравнивать, например, с Украиной и Москвой. Интеллигенцию не тронули, посадили партийную верхушку, директоров заводов.

В том году, будто в насмешку, родилась социалистическая демократия: «царь дал манифест» — сталинскую конституцию. В декабре прошли выборы в Верховный Совет. Я даже был в театре на выдвижении кандидатов. (Борис меня свел, он был в комсомольском активе.)

То еще было зрелище!

Первым кандидатом везде называли «товарища Сталина». Хлопали стоя пятнадцать минут. Ей-богу, не вру, замечал по часам. «Ура» кричали без счета... Вторым кандидатом от «союза коммунистов и беспартийных» выдвигали первого секретаря крайкома Конторина. Аплодировали недолго. «Ура» не кричали, соблюдали дистанцию.

Выбрать его не успели. Три дня спустя я видел его жену заплаканной, она была нашей студенткой, на курс старше. Шепоток шел: «Арестовали Конторина. Враг народа».

Странно, но моя ненависть к партии каким-то образом сочеталась с верой в социализм. В то время европейские интеллектуалы тоже попадались на эту удочку: умел «втирать очки» Сталин. Достаточно было прочитать Анри Барбюса, Бернарда Шоу, Лиона Фейхтвангера, Ромена Роллана.

Бешеная пропаганда была перед первыми выборами. Из студентов создали бригады, чтобы ходить по домам. Даже я не сумел увильнуть. Дали двухэтажный дом, набитый жильцами под завязку. Приказано было познакомиться с каждым избирателем, прочитать с ними «обращение»... Брр!.. В день выборов проследить, чтобы каждый пошел. Не может — принести ящик.

Все же я наплевал на них. Один раз зашел в домовый комитет, проверил список и больше не являлся. Бригадиру врал, что хожу...

В день выборов — помню, 12 декабря — с самого утра уехал на завод к Марусе и только вечером заявился прямо на избира-

тельный участок — проголосовать. Общественные начальники на меня накинулись:

— Где ты шляется, такой-сякой, за тебя пришлось работать! Вот ужо нажалуемся, со стипендии снимем...

Нет, не сняли. Последствий не было.

Много раз я потом ходил на «всенародное голосование», сначала честно опускал бюллетени (боялся НКВД), потом осмелел и вычеркивал в кабине.

Не будем преувеличивать: «кукиш в кармане».

Запомнился эпизод из более позднего времени, когда уже Ежова арестовали. Шел пленум ЦК и был доклад Кагановича. Он назвал потрясшую меня цифру: 80 процентов членов партии киевской организации написали доносы в НКВД. Подумать только, что сделали коммунисты с народом! Надо же было так его изнасиловать...

4

Солдатская шинель меня чуть было не догнала. В последний год учения заявился к нам моряк, военврач первого ранга. Собрали мужчин двух курсов и объявили:

— В Ленинграде создается Военно-морская медицинская академия. Вы, архангелогородцы, — моряки, вам и стать на рубежи...

Далее пояснил: нужно набрать слушателей на старшие курсы, требуются срочно врачи на флот. Ждать, пока подоспеют первокурсники, нельзя. В общем, всем мужчинам пройти комиссию и потом, добровольно-принудительно, надеть шинели. Год доучимся здесь, а на выпуск — в Ленинград. Стипендия — 200 рублей, обмундирование, бесплатный проезд и т. д.

Я чуть не плакал. Прощай наука и свобода! Но народ был доволен: чем в глушь, на сельский участок, лучше в госпиталь или на корабль. Форма шикарная. Даже кортик! Уже назначен день медкомиссии... Хожу в унынии.

И тут меня партия спасла. Секретарь партбюро института Гребенникова была нашей студенткой, женщина уже в возрасте, мы ее уважали. Подошла ко мне и сказала:

— Коля, не хочешь небось?

— Да уж куда как рвусь!

— А ты не ходи на комиссию... Ничего не будет, переживут.

Я и не пошел. И пропустили. Все ребята, и мой Борис

тоже, через месяц уже ходили в черных кителях и сорили деньгами. А я спасся.

С деньгами стало лучше: выкраивая немного времени от проекта, стал преподавать, Галя поступила на работу, противную, но выгодную. Ее устроила подруга в медсанчасть тюрьмы... Я-то возражал, но что мог предложить?

Галя с подружкой Шуркой Жигиной поочередно вели приемы заключенных. Милиционер приводил и присутствовал: разговоров не допускал. Нет, не могу сказать, что ужасы рассказывала. К избитым не вызывали. Так, обычная работа.

Все свое время я тратил на «проект». Чертежная доска не снималась со стола. Получался огромный самолетище, почти такой, как современный Ил-86, но мощности моей машины были меньше. И вообще глупости — ставить паровой котел и турбину на самолет.

Практическая медицина не увлекала. Ходил на занятия, хорошо учился, но без удовольствия. К примеру, видел только одни роды. Пару раз держал крючки при простых операциях. Все внимание было обращено на технику и немного — на физиологию высшей нервной деятельности. К экзаменам готовился за два-три дня, часто — по Галиным записям.

Два раза в год ездил в Москву сдавать экзамены в заочном институте. Тоже легко получалось: просижу три дня и сдам.

Перед окончанием мединститута профессор Раппопорт (из военных врачей) предложил аспирантуру по военно-полевой хирургии на своей кафедре. Война уже витала в воздухе, все готовились. Выбора не было — согласился. Так прозаически я попал в хирургию.

Институт окончен. Получил диплом «с отличием», было всего две четверки — по диалектике и топографической анатомии. У Гали тоже был красный диплом: ее оставили работать в городе. Отношения все больше охладились.

В августе 1939 года началась моя хирургическая деятельность. Травматологическая клиника культурная, чистая, тридцать коек. Больные с переломами, лежат долго. За четыре месяца я научился лечить травмы. Первая операция была в начале августа — удалял атерому на задней поверхности шеи. Долго возился. Рана потом нагноилась. Неудачный дебют.

В один из последних дней августа, в воскресенье, был в бане. Одеваюсь и слышу по радио: «...приезжал Риббентроп. С Германией заключен Пакт о ненападении...»

Меня как обухом по голове: «Ну не сволочи ли наши вожди? Трепались, трепались про фашистов, а теперь повернули на 180 градусов. Да разве же можно верить Гитлеру?»

Перед тем в течение нескольких недель велись вялые переговоры с Англией и Францией, чтобы заключить союз. Они будто бы упирались и не хотели пропускать наши войска через Польшу. И вообще саботировали, пытались столкнуть нас с Германией, а потом прихлопнуть разом обе страны: «хитрые империалисты». Сначала японцев напустили, в Монголии, на Халхин-Голе не получилось, так пусть, дескать, с Гитлером подерутся...

Все это выглядело похожим на правду, советские граждане верили газетам, и даже я поддался... И вдруг — такая бомба!

Обсуждать события было не с кем: Бориса и всех моряков отправили в Ленинград, Ленька Тетюев уже год как служил в армии. Оставалась Галя, но она политикой мало интересовалась.

1 сентября 1939 года немцы напали на Польшу. Еще через несколько дней мы объявили о начале освобождения Западной Украины и Западной Белоруссии. В армию забрали доцента госпитальной хирургии Георгия Андреевича Николаева. Он пришел проститься, одетый в смешную мешковатую форму, в ботинках с обмотками.

Каждый день печатались репортажи: продвигаемся, встречая сопротивление. Украинцы и белорусы радостно приветствуют Красную Армию, освобождающую народ от польского ига.

Все с тревогой ждали, когда наши сомкнутся с немцами, полностью ликвидировав поляков. Беспокоились, чтобы не началась война. Ходили, правда, слухи, что столкновения были, но недоразумения быстро улаживались. Так вот, была Польша — и нет. Позади уже Чехословакия, Венгрия, Австрия...

Масса евреев устремилась из Польши на восток, к нам. Пресса об этом помалкивала, но народ говорил, будто немцы сгоняют евреев в гетто...

Вообще чудные дела совершались: месяц назад — были фашисты, творили всякие безобразия, сажали, выселяли, конфисковывали. Устраивали «хрустальную ночь». И вдруг, за один день, все изменилось: вполне добропорядочные немцы. Англичане и французы все о них врут...

Что оставалось советским гражданам?

Приветствовать правительство, «снявшее угрозу войны, не

позволившее столкнуть нас с немецким народом». Впрочем, хватило ума не устраивать митинги с нашим обычным «Одобрям!»». Понимали, что трудно переварить дружбу с фашистами.

Наша травматология работала «непыльно»: тридцать больных с переломами, лежат в гипсах и на вытяжении по несколько недель. Врачи гоняют чай в ординаторской и треплются на свободные темы. Хорошие докторши подобрались. Одна из них несколько лет назад работала с профессором Войно-Ясенецким. Он был сослан «за религию» из Ташкента, где по совместительству с хирургией был кем-то вроде епископа. В Архангельске в клинику его не пустили, так он делал довольно сложные операции амбулаторно. Я уже знал о нем по отличной книге «Очерки гнойной хирургии».

Поговаривали, будто бы он обращался к пациенту перед операционным столом со следующими словами:

— Перекрестись и ложись, сын мой!

Довольно скоро его снова забрали и отправили куда-то. Уже после войны я узнал, что дали ему Сталинскую премию: вождь с церковью замирился, пока воевали, поддержки искал у христиан, собака. Еще позднее Войно-Ясенецкий стал архиепископом Лукой в Крыму.

5

В конце 1939 года началась война с Финляндией. Конечно, устроили представление: «Финны обстреляли пограничников...» Мы — ультиматум: «отодвиньте границу». Всё врут: сами хотели отодвинуть границу от Ленинграда, пользуясь пактом с Гитлером. А финны не поддались.

Позор был, а не война. Россия знала достаточно поражений за свою историю, но это — одно из самых-самых. Двести миллионов против трех. Не помню, объявляли ли мобилизацию, нужды в этом не было — под ружьем два-три миллиона, все двадцать лет готовились воевать.

Продукты из магазинов сразу исчезли и больше уже не появлялись. Я теперь в столовой для преподавателей обедал, там жены профессоров набирали по килограмму мороженого, чтобы дома на молоко растапливать...

В ноябре подошло время выпускных экзаменов в заочном институте. Попросил отпуск на три месяца и уехал в Москву. В качестве дипломного проекта разрешили взять мой самолет.

Но консультантов предложить не могли. Специалистов по паровым установкам для авиации не было. «Делай на свой риск».

Холод в ту зиму был адский. Шла финская война. Боялся, что не успею защитить диплом, вот-вот догонит армия, призвут.

Общежитие института — в поселке Реутово; ездили туда на электричке. В комнате жили втроем. Одному из соседей, директору техникума из Калинина, пожилому, я за три дня сделал курсовой проект редуктора. Ему диплом был позарез нужен. Дал сто рублей. Я не просил, но и отказываться не стал.

В Москве тогда было голодно. За кусочком масла в двести граммов нужно было становиться в очередь с шести утра. В столовых снова только винегреты и селедка. Правда, в витринах стояли пирамиды «крабов» — наша публика до деликатесов еще не доросла.

Работали целыми днями. К середине января 1940 года проект был готов. Вместо восьми листов чертежей, что требовалось, сделал двадцать. Соответственно и текст, расчеты — целый том. Можно защищать.

И тут застопорилось. Нужны подписи консультантов, рецензентов, а их нет. Никто не смотрел чертежи и расчеты, отговаривались — не специалисты. Да я и просил не очень — самоуверенность! А теперь к защите не допускают.

Спасибо декану факультета. Он, не глядя, подписал листы за консультанта. Оставалось найти рецензента, который должен благословить к защите. Искали дней десять, нашли все-таки. Очень крупный инженер, член коллегии Наркомтяжпрома, согласился взглянуть на чудака. С трепетом отнес ему чертежи. Помню: седой, высокий, порода в очертаниях подбородка, носа, рта. Одет строго, говорит мало, очень конкретно. Квартира богатая.

— Если плохо, верну без рецензии. Позвоните через неделю.

Томительным было ожидание. В проекте уже сам разочаровался, понял, что не туда направил энергию. Вот если бы сделать с газовой турбиной...

Через неделю я позвонил. Встреча была уже теплее, но и критики много: и то плохо, и это никуда, но в целом решение оригинальное и, конечно, «инженер вы настоящий». Напоил чаем, расспросил о планах. Я ему признался, что врач. Он не одобрил:

— Нет науки, практика примитивная.

Технократы тогда на нас так смотрели. Сказал, что, если я надумаю стать конструктором, он поможет. Я был весьма польщен, весьма. (Никогда не преувеличивал своих способностей, даже в молодости. Эдисоном себя не воображал.)

После этого защита прошла отлично. Чертежами завесил всю стену. Дали лишние двадцать минут на доклад, оценили «отлично» и присудили диплом «с отличием», хотя пятерок не хватало. Это было 18 февраля 1940 года.

Все-таки «обнахалился» — отнес свой проект в Министерство авиапромышленности, правда, не питая особых надежд. Через полгода справился: «Не пригоден».

(...В 1974 году отмечали в Архангельске 35 лет окончания института. Приехала и Галя. Мы ходили с ней в дом, где раньше жили. Представьте, нашлась женщина, бывшая соседка, узнала нас, показала мою чертежную доску, она ее использует вместо стола. Очень трогательно. Если бы был романтиком, выкупил бы и увез. А вот большущий рулон чертежей «проекта», что остался, когда Галя уехала на фронт, сожгли во время войны.)

Вернулся домой, жду повестки. Но в начале марта война с финнами закончилась. Помню, как еще до моего отъезда в Москву пришел санитарный поезд и мы в клинике принимали раненых. Три четверти были с отморожениями. Нам все было вновь: расспрашивали. Узнали о знаменитых «кукушках» — снайперах-охотниках, что расстреливали наших с деревьев... Одеть солдат и то не смогли. Зло брало: опять «шапками закидаем», как при Николае. Тогда еще его звали «Кровавым». Это теперь к святым причислили. Что царь, что большевики — друг друга стоят.

Пока был в Москве, клинику травматологии вернули в состав Госпитальной хирургической клиники профессора Алферова Михаила Васильевича. Он нам читал лекции на пятом курсе.

Трудный был шеф. Мрачный, вечно всем недовольный, держал в страхе весь персонал. Но хирург отличный — лучший на архангельском горизонте. Он считался стариком: седой, коротко стриженный, усы щеточкой. Жену имел относительно молодую (Нина Антиповна, ассистент), ребенок маленький. Кесарево сечение жене делал сам, не доверил гинекологам. Оперировал все: живот, урологию, конечности, шею, голову.

(Грудь тогда никто не трогал, боялись пневмоторакса, как огня.) Практику начинал еще до революции в земской больнице. Помню его в состоянии большого стресса: при травме таза промывал мочевой пузырь через катетер раствором ртутного антисептика. Пузырь оказался порванным, яд попал в клетчатку таза, наступило отравление, почки отказали, и больной умирал на глазах всей клиники. На профессора было страшно смотреть. Это было мое первое знакомство с роковыми хирургическими ошибками...

Выдержал в этой клинике только месяц. Старик действовал на меня угнетающе. Ассистировал всего несколько раз, боялся, что обругает, а я не стерплю — отвечу. Помню, шла операция, помогала отличная операционная сестра, Даша. Профессор в своем репертуаре: зудит и зудит. Она молчит, только слезы под маску текут. Потом как взорвалась:

— Ну вас к черту!

Хвать простыню стерильную за угол — и на пол, со всеми инструментами... И кинулась вон.

Что вы думаете? Смолчал! Терпеливо ждал, пока другая сестра помылась и заново столик накрыла. Запомнилось на всю жизнь. Борьба за гражданские права.

В начале апреля выпросил перевод в клинику факультетской хирургии, к профессору Цимхесу Давиду Лазаревичу. Здесь была совсем другая жизнь. Больших операций мало, делали медленно. Резекция желудка тянулась по четыре часа, бывало, профессор от напряжения всю маску изжует. Ассистировал ему часто и даже сделал две аппендэктомии, с помощью старших, разумеется. Реферат писал с английского — учил язык на курсах аспирантов.

Но и здесь мне не нравилось. Не лежала душа к хирургии, а к такой простой — в особенности. Решил дотянуть до летних каникул и просить в Министерстве здравоохранения перевода в аспирантуру на кафедру физиологии. Хотелось настоящей науки.

В мире дела осложнялись: наши войска вошли в Прибалтику. Сопли распустили, дескать, «нас народ хочет». Понимай — от немцев спастись. Как же! Эстонцы и латыши спят и видят немцев еще со времен Петра. И даже дальше — от «псов-рыцарей», при Александре Невском. Был на кафедре доцент из Москвы — Залкинд. Обсуждали с ним политику. Не предполагал тогда, что пути пересекутся.

Освободившись от «проекта», стал много читать, были опубликованы в те годы и вошли в моду Хемингуэй и Ремарк.

Семейные дела шли плохо. Не скандалили, но разговаривали все меньше. Три месяца Галя была на курсах усовершенствования. Это еще больше отдалило. Супружескую верность не нарушил, но брак явно тяготил.

Созрело решение: разъехаться, пожить отдельно. Долгов за собой не чувствовал: Галя повзрослела и стала умнее. Найдет мужа. А может быть, снова сойдемся, если увидим, что свобода не нужна.

Обговорили все это, и 1 июля я уехал из Архангельска в отпуск, но с намерением не возвращаться. Странное было чувство, когда она провожала меня на вокзале: и воспоминания щемят, и даль манит. Все пожитки вошли в один чемодан. Взял десяток книг по хирургии и Павлова, другие оставил Гале. Даже любимого Маяковского. Гардероб скромный: несколько рубашек, остальные предметы в единичных экземплярах и главным образом надеты на мне.

Отныне моей «базой» стал Ярославль: там жили Наталья Федоровна, жена дяди Павла, с сыном Сережей и Маруся. Сестра была моей единственной близкой родней, больше ни с кем связей не поддерживал.

Пожил неделю и поехал в Москву — попытаться в Минздраве устроить перевод на кафедру физиологии. Четыре дня ходил по начальникам — не разрешили.

Надумал попытать счастья в своем родном Череповце.

Не был в городе три года, но он мало изменился. Правда, значительно прибыла вода в Шексне — плотина Рыбинского моря уже давала себя знать. Все деревни, мимо которых плавал на пароходе, были выселены, а некоторые скрылись под водой. Включая и Ольхово. В 1936 году в мои первые каникулы мы с Галей осилили (деньгами) экскурсию на пароходе — по Шексне и Волге до Чебоксар (дядя с семейством уехал в отпуск, встречала Маруся). Заезжали в Ольхово, пожили три дня в нашем старом домике. У тетки Евгении все изменилось, было грустно... (И опять я, бессовестный, не взял дневник мамы!) Ольхово казалось незыблемым, хотя много домов стояло заколоченными. На следующий год деревню срочно выселили. Бригады плотников разобрали дома, свезли на берег, собрали в плоты, погрузи-

ли на них скarb, живность, жителей... и — вниз по Волге-реке! Места для расселения определили в Ярославской области. Туда отправили и наш дом, и все имущество. По дороге тетка растеряла половину скарба и книги. От мамы не осталось ни одной вещицы...

Вот такая судьба постигла Ольхово. А стояло оно будто бы с XVI века...

В Череповце у меня были две «базы»: Александра Николаевна и Леня Тетюев, старинный друг. У его мамы, Лидии Титовны, был домик на Социалистической улице, а сам Леня как раз вернулся из армии. Но по пути заехал в Архангельск и женился на «второй Жене» из той самой комнаты. На «первой Жене» уже был женат Толя Смирнов.

А мне ну никак не хотелось возвращаться к Гале!

Денек у Ленки погостил и пошел устраиваться...

Череповецкая межрайонная больница. Построена в 1930 году, два этажа: терапия, хирургия, акушерство, гинекология, рентген, лаборатория; 150 коек.

Вхожу в приемную и вспоминаю тот день, когда семь лет назад сюда занесли из саней маму. Ничего не изменилось. Налево — комната для осмотра больных, направо — кабинет дежурного врача. Прямо — шкафчики для врачей и раздевалка для посетителей.

Давно уже умер основатель больницы — хирург Рождественский. С его дочкой я учился в седьмом классе — была единственная богатая ученица. Если бы он тогда оперировал маму, может, опухоль была еще операбельная. Ведь до операции в Чебоксарах прошло потом полтора года. Но теперь поздно упрекать.

Главный врач больницы, старый терапевт Стожков, предложил временно заменить уходящего в отпуск заведующего отделением и единственного хирурга Бориса Дмитриевича Стасова.

Наверное, я приукрасил себя, когда разговаривал со Стожковым. Даже теперь, когда вспоминаю, не по себе. В активе год аспирантуры, в трех клиниках прооперировал два аппендицита, сделал несколько обработок ран и разрезов при флегмонах. Даже ассистировал мало — только последние три месяца у Цимхеса. Правда, имел понятие о лечении переломов. А тут сразу — заведовать отделением на пятьдесят коек в межрайонной больнице. Нахальство. Думаю, так на меня и смотрели больничные врачи — все люди опытные. Но тогда была полная уве-

ренность, что справлюсь. К счастью для пациентов, она оправдалась. Не поступали сложные больные.

Меня поселили в комнате при пищеблоке — он располагался в отдельном домике. Хорошая комната, кровать с сеткой, постельное белье меняет кастелянша. Нет, питания не предложили, только когда дежуришь...

Тут же пошел знакомиться с заведующим отделением.

Не могу сказать, что он меня выучил хирургии, но, несомненно, позволил выучиться самому. Именно он, а не профессора из института.

Итак, Борис Дмитриевич Стасов. Родной племянник того самого бородатого Владимира Васильевича Стасова, что состоял — не знаю в какой должности — при публичной библиотеке в Петербурге; критик, друг великих деятелей искусства. Это — раз. Два — родной брат коммунистки Стасовой, личного секретаря В.И. Ленина. Вот такая родословная у череповецкого хирурга.

Впрочем, это ему ничего не давало... Не замечал, чтобы он пользовался большой любовью коллег, возможно потому, что был явно выше их по интеллекту. При несомненной скромности.

Ну а сам он был обыкновенным земским провинциальным хирургом, средней квалификации. Лет ему тогда было около шестидесяти пяти, по моим теперешним стандартам — совсем не старый. Стаж имел около сорока лет, был в Маньчжурии на русско-японской войне, потом сменил несколько провинциальных земских больниц. Не помню, как его нашли после смерти Рождественского, но в нашей больнице он уже работал лет шесть-семь.

Так и вижу его: высокий, сутулый, немного кривобокий старик с седым ежиком и маленькими усиками. Очень пунктуальный! Мои истории болезни проверял и ошибки правил... Типичные старые слова употреблял, вроде «батенька», как у Чехова. Между прочим, того же Чехова и других писателей, которых я читал в Приложениях к «Ниве» — Бунина, Куприна, Андреева, Горького, — встречал у дяди, когда был гимназистом и студентом.

Вот такой мне попался шеф! Я не стал хвастать, рассказал все, что имел за душой по части хирургии. Едва ли ему понравилось, что сменил три клиники и удрал из аспирантуры. Но он только смотрел с сомнением и просил ни в коем случае не проявлять излишней активности.

Хорошо еще, что про свою инженерию и самолет ему не сказал, иначе счел бы меня за авантюриста.

Больных в отделении было мало, лежали прооперированные и несколько хроников. Среди них два солдата с финской войны с незаживающими культями. Когда вышли из палаты, Борис Дмитриевич шепнул:

— Вы им давайте морфий... Они уже привыкли, еще до нас, в военном госпитале. Безнадежные.

Познакомил с сестрами. Операционная — Катенька, красивая девушка, только высоковата... Перевязочная — Ефросинья Петровна, средних лет. В палатах дежурила старуха из «бывших».

Так я стал Николаем Михайловичем, заведующим хирургическим отделением на пятьдесят коек. Правда, временным.

Потекла новая жизнь: холостой, самостоятельный молодой мужчина. Будто бы даже интересный. Несомненно — образованный.

На первом месте стояла хирургия. Впервые учебники приобрели зримый смысл. Читал и проверял сведения на больных, насколько соответствуют. Знания пополнялись быстро. К сожалению, больные не шли, не доверяли молодому, образованному. Подозревал, что коллеги в поликлинике саботировали: там работали два старых врача.

К счастью, никаких драматических случаев не произошло, вроде заворота кишок или перфоративной язвы. Мог бы оскандалиться. А может, и нет, все-таки видал кое-что в клинике и уж точно знал теорию. Оперировал несколько острых аппендицитов, одну ущемленную грыжу, накладывал гипсы на переломы лодыжек и костей предплечий. Даже приняли больного с переломом бедра, и я вполне культурно наладил скелетное вытяжение. А какую вскрыл флегмону! Такая не попадалась потом за всю хирургическую жизнь. У пожилой крестьянки из-под Белозерска гной распространялся от подмышки через грудь и живот аж до колена. Знаю, что коллеги не поверят. Делал один разрез, выпускал гной, обследовал полость пальцами и через ход под кожей попадал в другую полость, делал новый разрез и так далее — пять или шесть разрезов. Гноя было, наверное, литра два... Как она не умерла до нас с таким поражением, не знаю. Поправилась.

Но сестры после этой тетки в меня поверили.

Еще запомнились те два морфиниста. Они в буквальном смысле погибали: истощены, не ходят, раны и культы гноятся.

Ничтоже сумняшеся я запретил давать им морфий и велел поднимать на костыли.

Сколько было стонов и криков! Как меня упрашивали сестры! Не поддался. Один через две недели умер, а второй пошел на поправку и встречал Бориса Дмитриевича на ногах и с нормальной температурой. Месяца через три выписался с протезом. Теперь бы я на это не решился.

Зачислили меня временно, пока отпуск в аспирантуре. Права не имели держать дольше. Но — не уволил главврач. Ординатор давно был нужен, не могли найти, а тут сам пришел. Пренебрег Стожков законами. Впрочем, институт и министерство меня не искали...

По части быта все было в полном порядке. Сестра-хозяйка и кухня меня подкармливали, регулярно в гости к Ленке ходил. Тут же приехали в отпуск два дружка по техникуму. Один — Сережа Песков, стал художником, связь с ним поддерживал до самой его смерти в 1980 году. Акварель с видом на техникум и сейчас висит в кабинете.

Интерес к девушкам был, объекты — тоже, из числа врачей больницы. Молодые, незамужние или разведенные. Ухаживал чуть-чуть, к настойчивости был не способен, а они не проявляли податливости. После экстренных ночных операций — аппендэктомий — провожал Катеньку через весь город. Нравилась, но уж очень была... как бы сказать, «чистенькая». Только для влюбленности. А я уже навлюблялся на всю жизнь... Остались только телесные потребности, интеллектуальные интересы и требования по части минимума морали. Да-да, оглядываюсь назад — так и было...

Гале послал пару писем. Не спрашивал: довольна ли холостой жизнью? Вдруг напишет, что «нет», «возвращайся». Я-то точно знал: не хочу. Она отвечала спокойно. Но тоска проскальзывала; я делал вид, что намеков не понимаю, не уточнял.

Борис Дмитриевич приехал из отпуска в начале сентября. Сделал обход, я все рассказал, отчитался подробно-почтительно, не высовываясь со своими успехами. Он покачал головой, когда встретил в коридоре того калеку-морфиниста. Но — промолчал.

Стожков решил меня оставить: «Если не затребуют». Поэтому наметились новые дела: преподавание в фельдшерской школе. Хирургия была уже занята Борисом Дмитриевичем, но анатомия и физиология — свободны. Я их взял с удовольствием.

Во-первых, нравится учить, во-вторых, приработок. Часов оказалось очень много — почти каждый день по четыре — шесть, начало — с 12.00 или с 14.00. Директор — бывший хирург Угрюмов, он таки угрюмый и был. Принял меня хорошо и дал комнату в здании школы на первом этаже, с отдельным входом... Тоже удобство в некотором смысле. Для холостого.

Ученики, а больше — ученицы, меня полюбили. Другие преподаватели, большей частью старики, читали скучно. У меня все было в меру: строгости и приятности. Однако без панибратства. Дистанция.

Еще событие с дальними последствиями: приехал новый ординатор к нам в отделение — Лидия Яковлевна. Она только что окончила институт в Ленинграде, незамужняя, моложе меня на год. Ей отдали мою комнату при кухне. Не скажу, что очень нравилась, но язычок имела острый. Знакомство, во всяком случае, состоялось и потом долго еще продолжалось, проходя через разные фазы...

Хирургия развивалась успешно. Пошли больные на плановые операции, Борис Дмитриевич показывал достаточную активность, оперировал хуже, чем Алферов, но лучше Цимхеса. Во всяком случае, живот и урология были представлены во всех типовых операциях. В травматологии я понимал лучше, он мне ее и передоверил полностью. Головы, кроме травм, не касались, отправляли в Вологду или в Ленинград. Я ассистировал на всех операциях Бориса Дмитриевича, пока Лида не отняла свою долю. Постепенно грыжи и аппендициты отошли ко мне. Потом пришлось поделиться с Лидой, а я перешел на более сложное: экстренные лапаротомии при «остром животе», однако — при обязательном надзоре Бориса Дмитриевича. Не доверял. И правильно делал. Ответственное отношение к жизни у меня было от мамы и после того школьного случая с «отравлением», а вот знаний и умения — маловато.

Борис Дмитриевич к смертям пациентов относился спокойно. Меня это возмущало: было желание бороться до последнего... Впрочем, «незаконных» смертей от прямых ошибок не было, а погрешности в лечении осложнений после экстренных операций встречались. Из моих больных за год работы в Череповце не умер ни один, если не считать того морфиниста. Не потому, что я был очень умный, просто Борис Дмитриевич всех тяжелых брал на себя. Еще — везение, еще — хорошее знание анатомии.

В октябре военкомат забрал меня членом комиссии: чтобы осматривать военнообязанных из запаса. Это был явный признак подготовки к войне. Целый месяц комиссия ездила по сельсоветам двух районов. С утра и до вечера осматривали мужчин до пятидесяти лет. Худые, жилистые мужики с заскорузлыми руками, в грязноватых портках, стоптанных сапогах, плохо стриженные, смущенные. Нет, вши встречались очень редко: на Севере народ бани любит... Мало кто пытался прибавить себе болезней. У хирурга дело простое: руки-ноги целы, суставы подвижны, грыжи нет — готов! «Годен к строевой службе». То же и глазику: таблицу на стену, буквы покажет, если мало — стеклами прибавит: «острота зрения достаточная». У невропатолога тоже все ясно: не пропусти совершенного психа и паралитика. Много хуже терапевту: анализов никаких, рентгена нет, внутрь не влезешь, в город всех не отправишь.

Свидетельствую: симулянтов было очень мало.

На комиссии познакомился с докторшей, вдовой из Ленинграда. Она работала на врачебном участке. Приезжала потом в Череповец, заходила в гости. Симпатичная. Война прервала знакомство.

Еще одно пикантное и позорное дело было в ту зиму: я симулировал, чтобы освободиться от призыва. Это уж точно было мое последнее прегрешение по части морали... Опишу как на духу, прошло почти шестьдесят лет.

Поскольку всех военнообязанных пересчитывали, то и меня нашли. Стожков был председателем окружной комиссии. Он меня и вызвал:

— Коля, жалко тебя отпускать, но деться некуда — раскопали твое личное дело по приписке, из Архангельска. Надо пройти комиссию и служить. Полгода — солдатом, а потом — как приглянешься, может, возьмут в санчасть и даже в кадры.

Смолчал: чего скажешь? Только завыл про себя: «У... у... у... — достали-таки...»

Не было уважения к власти, не видел высшего смысла, чтобы доктор уборную чистил, топтался на плацу и честь отдавал старшине. Дурацкий порядок, почему я должен ему подчиняться? Война, что ли?

Спустя день Стожков вызвал снова:

— Давай я тебя к себе в отделение положу, пообследуем — может, найдем какую-нибудь зацепку...

Знал, что здоров, но чем черт не шутит? А у самого комбинаторика закрутилась: симулировать? При благожелательном отношении комиссии...

Положили в терапию, завели историю болезни. На рентген: «Все чисто». Взяли кровь — хорошо. Собрать мочу... Во! Если туда добавить глюкозы...

Так и сделал. Лида принесла порошок, доверился ей, подсыпал в баночку с мочой... Вспомнил, как хотел парня отравить, мудрил с мышьяком. Стыдно и горько было... Но — пересилил. По расчетам должен быть приличный процент сахара, не чрезмерный, но достаточный...

Сдал баночку. Жду результат.

Что вы думаете? Чуть не погорел: лаборатория работала плохо: в анализе нашли лишь «следы сахара».

Впрочем, Стожкову этого было достаточно — ему нужна лишь зацепка, чтобы меня оставить.

Выписали мне белый билет: «Не годен к воинской службе».

Радости не испытал, было стыдно. Какая она ни есть, Родина, — но обманул ее.

Однако и моралистов успокою: когда через полгода началась война, сразу пришел в военкомат, сдал билет и просил направить на фронт. Военком не уточнял, билет велел забрать, негодность ликвидировать. Может, он был в курсе обмана? Нет, едва ли. НКВД шуток не любил. За всю военную карьеру история с белым билетом не возникала. Позорная, темнить не буду. Даже четыре ордена за войну ее не искупают, если для себя.

Больше ничего выдающегося в тот год не произошло.

Учился оперировать. Сделал две резекции желудка, прооперировал язву и рак. Борис Дмитриевич сам предложил. Но — стоял надо мной и потребовал, чтобы оперировал по его методике. Я знал, что есть и лучшие, отработывал их на трупах, но, конечно, вылезать с этими идеями не стал.

Какой был замечательный человек этот Борис Дмитриевич! Приглашал нас с Лидией Яковлевной в гости. Жена (забыл имя!) угощала чем могла, но мы ее недолюбливали. Была она у него второй, из медсестер, хотя с некоторой культурой, моложе на двадцать лет. Очень беспокоилась, чтобы он не умер, боялась остаться одна и в бедности. У него еще были два взрослых сына от первого брака, инженеры, на хороших должностях. Гордился

ими. В углу комнаты стоял дорогой радиоприемник, не пожалел старик денег, любил музыку. Пытался нас приохотить — но что мы? Рабоче-крестьянские или из мещан... Но о литературе я мог говорить вполне на равных, а может, и выше. Только произношение некоторых слов Борис Дмитриевич поправлял: я же их не на слух, а с букв усваивал.

Борис Дмитриевич слушал западное радио на французском. Кое-что рассказывал, например, как позорят нас западные державы за союз с Гитлером. Говорят, что все равно он Сталина надует.

Другие мелкие события. Лида в январе ездила в Ленинград и вышла там замуж. Очень хвалила мужа, но как-то без убежденности... Наши отношения не изменились. В марте она уехала в Москву на специализацию по хирургии и вернулась уже после начала войны.

Приехали на практику студентки четвертого курса из Ленинграда: «столичные штучки». С одной из них, очень красивой еврейкой, закрутил роман. Нет, романчик, очень материальный. Так постепенно избавился от некоторых комплексов, что оставались еще от начала брака.

Весной ездил в гости к Вадиму Евгеньевичу в Киев. Два дня и ночь провел в интересных разговорах. Однако не таких, как были когда-то. Он избегал почему-то излюбленных тем. Забыл написать: ссылка его закончилась в 1939 году, в Ленинграде ему остаться не разрешили. По физике нервного волокна — его исследования у нас на кафедре — написал книгу, но напечатать не удалось. Я ее смотрел и ничего не понял — математика не по моим зубам. В Ленинграде встречался с Васильевым — известным исследователем телепатии. Киев был родиной Вадима Евгеньевича: отец при царе служил прокурором, в двадцатых годах был арестован, сослан, в ссылке и умер. Теперь Украинская академия его приняла с радостью и дала директорство в Институте физики. При нем он и жил, в отличной квартире, на улице Репина.

На обратном пути в Москве купил костюм, аж с жилеткой! Но — не поносил, началась война, и друзья, которым оставил вещи, проели его. Я не жалел. Хорошие были люди. В Киеве запомнил молоденькие пирамидальные тополя на бульваре Шевченко. Через десять лет встретил их уже высокими...

Весна 1941 года была холодная. Войну ожидали: без конца шли комиссии запасных, многих специалистов брали в армию.

Слышно было, что строили укрепления на новой западной границе. Народ, который побывал в Прибалтике и во Львове, очень хвалил жизнь там. Но наших без специальных документов туда не пропускали: всё бы тут же вымели! В Череповце жили скудно, но не голодали. Впрочем, я и не замечал, не избалован. Город жил ожиданием строительства гигантского металлургического комбината. Пока это выражалось огромным лагерем заключенных...

Ленька отгулял демобилизацию и устраивался на завод — создавать лесопильное производство.

Что еще? В театр ходили: местная труппа выглядела жалко, в зале холодно, народу мало, в валенках... Не то что было при нэпе! Но на несколько дней приезжал балет из Ленинграда, и праздник снова мелькнул. Я даже с дежурства сбежал (и получил выговор).

Это — все. Дальше — война.

У меня достаточно материала о войне: был ведущим хирургом полевого подвижного госпиталя № 2266 от начала и до конца. По существовавшим правилам полагалось вести «Книгу записей хирурга», в которой отмечалась вся работа за каждый активный день: операции, смерти, поступления, эвакуации. К записям — примечания. Я использовал ее как дневник. Толстая книга (около 600 страниц) хранится до сих пор. По этой книге в 1974 году я и написал повесть «ППГ-2266, или Записки военного хирурга». Все, что там написано, — правда. События, люди, раненые — все как было.

Писать воспоминания о войне заново мне не хотелось: будут хуже. Поэтому я только сделал сокращения в «Записках...» и вставил то, что выбросила цензура или что сам тогда не решился написать.

Многие фронтовики теперь говорят, что на войне было очень тяжело. Да, было. Но после войны мне было не легче, а может быть, и тяжелее с моей грудной и сердечной хирургией. Операции стали намного сложнее, потерь от них не меньше, а переживаний и того больше. Смерть уже на войну не спишешь.

Поэтому война для меня так и не закончилась, пока я оперировал и руководил клинкой.

...Через темные сени вхожу в большую комнату, совсем пустую. Жалкая мебель, комод с фотографиями, над ним на стене рупор.

Конец фразы диктора: «...Молотов».

И дальше — речь: «Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, в 4 часа утра, без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы...»

Война... Война!

Все сразу изменилось. Вспомнилось: в старой кинопередвижке остановилась пленка. Пат и Паташон в молчании застыли на экране в нелепых позах. Потом от края вдруг поползло грязно-розовое пятно, пожирая пространство и героев. Секунды тишины — и крик: «Пожар!» И нет уже больше ни фильма, ни смешных героев, ни мыслей, ни пожатий рук, теплоты плеча в полумраке... Паника. Мысль: «Спокойно! Не потерять лица...»

Я пришел в этот дом, чтобы навести справки о своих сводных братьях. Отец бросил нас с мамой и сестрой пятнадцать лет назад. Он женился снова, и было у него два мальчика. Десять лет, как он умер. Тогда была обида, теперь она забылась, осталось любопытство: «Какие они, эти ребята? Может, помочь им?» Долго собирался — и так неудачно.

Тихо в городе. Домики дремлют под липами. По деревянным тротуарам изредка простучат каблуки. Иногда из окон слышится радиомузыка...

Была ли речь-то? Была.

Обманчивая тишина. Те, кто слышал речь, уже горько думают. Но не все еще и знают о случившемся.

Мысли по инерции бегут по старым дорожкам, но натываются на острое. О больных... Вчера прооперировал старика с ущемленной грыжей. Запущенный случай, с резекцией кишки. Нужно пойти посмотреть. Возможен перитонит.

«Хирургии теперь будет сколько угодно!»

Вчера был приятный вечер. Хорошо быть молодым, холостым, сильным...

Пошел в больницу. За полчаса город изменился. Суета, тревога. Женщины спешат с кошелками. У магазинов — очереди. Мужчин не видно. Наверное, дома, последние часы. «Явиться через два часа после объявления всеобщей мобилизации по адресу...» По радио еще звучит музыка, но вот-вот местный диктор объявит:

— Приказ...

Наша межрайонная больница построена на окраине. В вестибюле много посетителей. Обычно по воскресеньям здесь довольно приятно. Выздоровливающие выходят к родственникам, радостно улыбаются, что-то говорят и тут же на скамейках закусывают. Или выходят в садик.

Сегодня только плачут.

Девушка-санитарка дает мне халат и сообщает:

— Вас вызывают в военкомат.

У военкомата, на углу Советской и Энгельса, оживленно. Толпится разный народ, мужчины в военной форме и в гражданском. Даже стоит легковая машина. Их в нашем городе всего три. Часовой. Свежий приказ на двери. Чернеют слова: «Всеобщая мобилизация». Майор распорядился:

— Пойдете во вторую школу на призывной пункт хирургом в комиссию. Сейчас.

Школа № 2 новая, четырехэтажная — украшение Череповца. Пока здесь относительно тихо. Врачи уже в сборе. Я знаю их всех: терапевт, глазник, отоларинголог, невропатолог и я, хирург. Начальник пункта, толстый подполковник, предупредил:

— Товарищи врачи, судите строго и ответственно. Я знаю ваши штучки — направлять на консультацию, обследование. Этого не нужно. Времени нет. За два дня мы должны отмобилизовать наши контингенты.

Мы рассаживаемся в двух кабинетах. С четырех часов пошли мобилизованные. Регистратура выдавала нам их карточки или просто военные билеты. Солдат вызывают из коридора по фамилиям, секретарь проверяет, когда проходил медкомиссию. Если давно — посылает к врачам, если недавно — спрашивает:

— Здоров? Служить можешь?

— Могу.

Штамп — и конец. Принят.

Вот они проходят передо мной — защитники Отечества. От двадцати до тридцати пяти. Колхозники из пригородных деревень. Рабочие лесопилки, пристаней, леспромхоза, мелкие служащие — их теперь много в районе и городе, сапожники и портные из артелей. Их лица мне знакомы — по больнице, по прошлым переосвидетельствованиям, просто по улице. Плохо одетые, но незапущенные, в чистых рубашках. В большинстве — худые. Хмурые. Слов не говорят. Собрались на тяжкую работу. Нужно. Надо идти.

Они раздеваются у входа в класс, в загородке из скамеек. Кладут на пол свои холщовые мешки или фанерные чемоданчики, снимают латаные сапоги или матерчатые туфли, брюки и пиджаки из «чертовой кожи», домотканые холщовые порты и подходят к доктору, прикрывая ладонями стыдные места.

Голый человек совсем беззащитен.

Он даже соврать боится, если, конечно, опыта не имеет.

— Ну, так что болит?

— Да так, ничего, к погоде плечо грызет, перелом был.

Ему 35 лет, трое ребят и беременная жена. Руки от работы будто покрыты дубовой корой. Он робко говорит свои жалобы, чуть-чуть надеется, что доктор найдет какой-нибудь огрех в его теле и отпустит домой.

Я смотрю на его руку, проверяю силу и объем движений в суставах. Потом слушаю его грудь — без капли жира и с четкой границей коричневого загара на шее. Слушаю больше для порядка, он здоров.

— Все у вас хорошо. Нужно служить.

— Служить так служить. Как все, так и мы.

Пошел одеваться, будто с облегчением.

Следующим подходит молодой парень, с чубом, с улыбкой — на все зубы.

— Не, не служил. Порок сердца признавали, отсрочивали. Да я здоров, доктор, здоров! На лесопильном работаю. На фронт надо, фашистов бить.

Послушал сердце и написал: «Годен к строевой службе».

Попадаются и такие, которые симулируют. Наивно, большей частью без особых надежд на успех.

Часам к семи вечера народ пошел густо. Очередь шумела в коридоре. Выпившие попадались все чаще и чаще. Совсем пьяных отсеивали в регистратуре — складывали в один класс, вповалку, чтобы проспались. Без особых придинок. Те, кто уже прошел комиссию, собирались в другом классе, а как накопится взвод, строили во дворе и — в запасной полк или прямо на вокзал.

Из открытых окон видно, как вокруг разрастается целый лагерь. На телегах и на земле сидят бабы, дети и мужики компаниями, беседуют, едят, выпивают. Это из колхозов приехали, кто подальше. Изредка песни слышатся, чаще всего из фильмов.

Когда из задних дверей школы выводят очередной взвод, все кругом подхватываются и кидаются к школе: посмотреть своих и проводить — совсем, на войну. Женщины бросаются прямо в ряды, все мешается. Старшины, которые отводят новобранцев, кричат охрипшими голосами, оттаскивают особо мешающих.

Взвод отправляется вдоль Советского проспекта... Мужчины держат за руки детей, жены виснут у них на плечах, другие идут поодаль. Шум, возгласы, рыдания. Изредка слышны выкрики:

— Смерть фашистам!

Потом женщины будут возвращаться домой, одинокие, растерянные, к новой жизни; солдатки...

Работали без перерыва вечер и ночь. Окна завесили одеялами. К двум часам рассвело, и сняли одеяла с окон, но работа остановилась. Людской поток иссяк. Вот и кончился наш первый день войны.

А что там, на фронте?

2

Сегодня мы едем на фронт! Нужно, нужно ехать, активно действовать, вмешаться, остановить... Просто невыносимо слушать эти сводки с недомолвками. Что значит — Минское направление? А город Минск? А города до него? Что с ними? Где фронт? Как там? Почему? Нет покоя от вопросов.

Спасибо этому анонимному, умному, эрудированному, опытному ленинградскому хирургу, который не приехал и дал мне шанс. Я — начальник хирургического отделения полевого подвижного госпиталя № 2266! Это — звучит. Правда, есть приписка: «На конной тяге», но это пустяки. Я не боюсь ответственности. Нет, я все сделаю как надо. Опыт? Да, очень мал. И двух лет не прошло после института, минус перерыв три месяца — писал дипломный проект в индустриальном.

Знаний у меня мало. Но есть Здравый Смысл. Это не очень часто встречается. То есть я просто не сомневаюсь, что справлюсь с этим ППГ.

Начальник неплох. Хаминов Борис Прокопьевич, военный врач третьего ранга. Одна шпала. Физиономия у него внушительная — второй подбородок наплывает на воротник, но лежит жестковато. И животик при высоком росте и осанке тоже кажется жестким. Посмотрим.

Какими тягостными были эти дни... Утром 23 июня на призывном пункте я слушал первую сводку: «Противнику удалось занять населенные пункты...»

Днем сходил в военкомат, сдал начальнику свой белый билет, сказал, что могу служить...

Он не расспрашивал. Затребовал личное дело и сделал пометки. А вчера утром все изменилось. Вызвали из больницы в военкомат. Дежурный сказал:

— Пойдете на улицу Коммунистов, пять. Там формируется полевой госпиталь. Поговорите с начальником Хаминовым.

Пришел, представился:

— Я врач Амосов.

Вижу — разочарование. Я молод, худ, невысок. Усадил и начал расспрашивать. Все рассказал честно. Выглядело, наверное, слабо.

Глаза у Хаминова карие, навывкате. Большая бородавка на щеке.

— Я беру вас начальником хирургического отделения. Не скрою, хотелось бы большего, но нет и негде взять. Должен был из Ленинграда отличный хирург приехать, но нет его. Видимо, перехватили.

Так я попал в ППГ.

Хаминов взял и второго нашего ординатора, Лидию Яковлевну. Мы с ней близко дружили. Ссорились на службе, но понимали друг друга с полуслова. Работник хороший — мне для будущей хирургии очень нужный. Вот если бы не эта дружба! Накладывает все-таки обязательства...

Нет, лучше бы она осталась дома!

Да, Лизу, знакомого терапевта, тоже взяли. Хорошая девушка!

Выдали обмундирование: гимнастерки, брюки «х/б», офицерские фуражки царского образца, с блестящим козырьком. Но вместо шинелей — бушлаты. Обувь: портянки, обмотки, ботинки. Я их взял, но купил на базаре новые хромовые сапоги.

Прошел еще один день в сборах и прощаниях, и вот уже на вокзале — первый раз все вместе — толпа уродливо одетых военных. Знакомимся, грузимся. Комиссар Медведев. Политрук Шишкин. Начальник АХЧ Тихомиров. Начпрод Хрусталеv. Операционная сестра Зоя. Все мобилизованные в Белозерске. Оттуда же санитары и лошади. Врачи — хирург Чернов и двое терапевтов, рентгенолог и аптекарша — из Ленинградской области. Другие медсестры — череповецкие. Тамара и Татьяна Ивановна — операционные, из нашей больницы, знакомые.

Потом потянулись десять дней в воинском эшелоне, в товарных вагонах, на голых нарах. По нескольку суток стоим на станциях. Извелись от безделья и неизвестности.

Было много времени для размышлений о хирургии. Перечитал «Топографическую анатомию», вспомнил все, что знал о ранах...

Война идет, а мы не работаем. Хуже: у нас даже оборудования медицинского нет. Где-то его еще должны выдать. Все это убивает. Но особенно тягостны сводки.

Речь Сталина слушали на вокзале в Ярославле. Скорбная речь:

будто даже зубы о стакан стучат. «Братья и сестры...» Подумал злорадно: «Ишь, испугался...»

Заходил проститься с сестрой и теткой: самые близкие.

9 июля кто-то «наверху» наконец определил нам место. Быстро провезли через Москву, повернули на Киев; выгрузились на лугу около станции Зикеево, не доезжая Брянска.

Тут же вечером — бомбежка. Паника была страшная, все в соседний лес убежали, только к утру очухались. Так мы получили, выражаясь высоким стилем, боевое крещение. Да, две бомбы, несомненно, были. Никого не задели, но моральный дух, к сожалению, оказался невысок. Что поделаешь — нестроевые и необстрелянные. Тем более женщины. Я, по-честному, не ощутил страха.

Начальник потребовал в штаб.

Иду к другим кустам, там Хаминов и рядом с ним незнакомый военный. Представился как инспектор санотдела армии.

И дальше — деловой разговор.

— Я привез вам очень важную книжечку: «Указания по военно-полевой хирургии». В ней изложена единая доктрина. Следующее: назначаетесь ведущим хирургом ППГ. Вам предоставляется вся полнота власти в решении хирургических вопросов и расстановки медицинских кадров.

Вижу, что Хаминову это не нравится.

— А что же тогда начальнику остается?

— Общее руководство и организация.

Я вежливо молчу. Хаминов был гинекологом и главврачом в городе Великий Устюг. Привык оперировать, руководить, а тут — мальчишка будет главным по хирургии. Отыгрался — приказал:

— Вы свободны, товарищ военврач.

Займемся вплотную «Указаниями». Со всей ответственностью. (Все-таки это здорово звучит — ведущий хирург!)

— Эй-й, товарищи! Грузиться!

Оказывается, переезжаем. Передислокация. Этот военврач дал указания перебазироваться (тоже новое слово) в пустующую сельскохозяйственную школу, что в лесу с другой стороны станции Зикеево.

Разместили нас как и в вагонах: командиров, женщин отдельно, «рядовой состав» отдельно...

Я забрался за дом, на бревна, и изучаю «Указания». Сказали: завтра будем проводить учения.

Очень интересное понятие «Единая доктрина военно-полевой хирургии». Это значит: все хирурги на всех фронтах должны лечить раненых одинаково, по этим самым «Указаниям». И тут регламентация... Значит, никакой творческой инициативы?

Нет. Дальше читаю разумное объяснение. Оказывается, регламентация нужна потому, что во время большой войны хирургией занимаются в основном не хирурги, знаний у них нет, и от инициативы — одни потери. Может быть.

«Указания» изучал несколько дней. Примеривал к своим знаниям. Решил: «В курсе дела».

...После этого был еще один переезд — в Жиздру, где мы получили палатки и медицинское имущество. Развернулись в летнем пионерском лагере. Раненых не было, но хорошо прорепетировали и подучились: повязки, шины накладывали, «Указания» прорабатывал с врачами.

Теперь мы — настоящий полевой госпиталь: штаты, оснащение, транспорт. Все — кроме опыта.

Наш транспорт: двадцать две пароконных подводы, лошади из колхозов Белозерского района. Были тощие, но за десять дней в вагонах при полных нормах овса — отъелись. Только очень пугливые: от машин, утыканных ветками для маскировки, бросаются в разные стороны, не разбирая дороги.

...А где-то шла большая война...

3

4 августа мы вплотную подходим к фронту.

Вечереет. Впереди нас то ли туча, то ли сплошной густой дым. Непрерывный гул артиллерийской стрельбы. Уже целые сутки мы его слышим.

ППГ-2266 шагает на запад. «4 августа к 18.00 развернуться в районе г. Рославль и принять раненых от МСБ». Этот приказ лежит в кармане у начальника.

Обоз уже движется из Жиздры шестой день. Спешим, боимся опоздать — осталось несколько часов до срока.

Штабная подвода впереди, рядом с нею шагает Хаминов в крагах. Я знаю, что у него расширение вен и он страдает, но впереди стрельба, и он должен идти первым. Комиссар сегодня сзади — подстегивает, чтобы не растягивались, не отставали. Кони шагают споро, хотя позади 180 километров за шесть дней и телеги нагружены тяжело...

Мы идем пешком. Лишь несколько женщин, которые стерли ноги, стыдливо примостились на повозках. У некоторых туфли порвались, идут босиком — маленьких сапог так и не получили.

Моя база — телега операционной. Здесь же приписаны Лена, Лиза, Татьяна, Тамара, Зоя. Хороший народ в нашей компании. Побаиваются канонады, но молчат.

Всю дорогу мы едем проселками: избегаем бомбежек и чтобы машины нам не мешали... Правда, кони уже привыкли и не шарахаются в сторону, как вначале. В глуши перелесков мы не чувствовали войны, пока не слышали стрельбу... Даже сводок не знаем, радио у нас нет.

Уже привыкли к походной жизни. Спим на земле — с вечера валимся как подкошенные, а ночью просыпаемся от холода. Чертовски холодные ночи на Смоленщине. Но шинель хороша! И теплые портянки тожегодились — на ночь я разуваюсь и ноги в них заворачиваю. Пилотку тоже не снимаю — уши мерзнут.

В Жиздре кипятильник приобрели, поэтому кипяток есть два раза в день, а вечером — еще суп, если сон не сморит, пока Чеплюк варит, прислушиваясь к ночному небу, не летят ли там самолеты. Еда хорошая, только кормят нерегулярно. Но сейчас не до желудка и не до ног. Впереди дым, стрельба явно усиливается. Ропот на Хаминова:

— Куда он нас ведет? Сусанин нашелся! Прямо в пекло!

Мы уже выехали на шоссе, выстроили обоз на обочине. Стоим в нерешительности. Военные машины и тракторы идут непрерывно к Рославию.

Наконец к нам подошел какой-то важный чин и скомандовал двигаться по шоссе обратно, прочь от Рославля. Начальник и комиссар засомневались:

— А как же приказ?

— Я вам приказываю. Полковник Тихонов из тыла армии... Можете сослаться в санотделе. Ясно? Выполняйте!

— Слушаюсь.

Хаминов дал команду и сел в первую повозку.

— Ну, поехали!

И мы поехали. Да как! По асфальту, легко, все забрались на телеги, повозочные взмахнули вожжами и — бегом, рысью, а где и в галоп!

Отмахали километров двадцать. Ни разу не остановились, лошади не хромали, колеса не ломались, возы не развязывались.

Наконец, переехав реку Остер, мы свалились вправо от шоссе

в реденький лесок. Не греем кипяток, не раздаем даже хлеб и сахар — сразу спать.

Наши войска отступают. Все дальше и дальше на восток. Сегодняшняя сводка: оставили Смоленск... Бои, надо думать, под Киевом. Умань и Белая Церковь уже упоминались.

Мы, ППГ-2266, тоже отступаем со всеми. Дневали в бывшем сельхозтехникуме. Рославль, между прочим, был у немцев уже — его сдавали как раз в те часы, когда мы вышли на шоссе.

Отступили в Сухиничи. Имеем приказ санотдела развернуться. Даже машину дали для переезда. Едем вдоль железной дороги мимо станции, нефтебазы, обсаженной тополями, и поднимаемся в гору. Там бараки. Начальник вылез из кабины.

— Посмотри, Николай Михайлович, неплохое место для нас.

И вдруг: з-з-з... Б-бах! И сразу еще ближе: з-з-з-з-з... Б-бах!

Все ссыпались с машины, попадали, притаились...

Однако больше ничего не последовало. Только гул улетающего самолета и несколько запоздалых выстрелов зениток.

Тишина и солнце. Мир.

Вылезли, возбужденные и смущенные. Две воронки обнаружили метрах в ста, ближе к нефтебазе. Далеко от нас... Зря испугались.

Пропал интерес к осмотру места. Хотя, впрочем, неплохое. Два ряда пустых одноэтажных бараков, коридорная система, большие комнаты. Можно разместить хоть тысячу. Если бы не соседи: станция, нефтебаза.

Начальник вытащил свою карту. Километрах в трех деревня Алнеры — дорога прямо отсюда, от бараков. Поехали.

Деревня в широкой балке с зеленым лугом, речкой, два ряда домиков по обоим косограм. Просторно, вольно...

В конце, на холме — начальная школа в большом яблоневом саду. Остатки фундамента, несколько старых сараев, низенький дом. Все обсажено двумя рядами старых тополей.

Школа пуста — каникулы. Четыре классные комнаты, учительская. Трогательные маленькие парты для первоклассников. На доске нарисована рожица.

Распланировали: для тяжелых раненых — классы, легких — в палатки под липами. Там же устроить перевязочную. Баня, кухня — на улице. Штаб — в домике рядом. Персонал разместим в деревне.

Разгрузили машину. Ожидаем обоз. Палатки поставим сейчас же.

Итак, мы приняли раненых. Мы работаем, мы воюем. Боже, как это, оказывается, трудно! А что мы? Всего лишь госпиталь для легкораненых. Мечты о сложнейших операциях на животе, на сосудах, к которым готовился, обдумывал, — все рассыпалось.

Виноват я. Хаминов сказал: «Молод ты, начхир!» Мы вошли в ПЭП — полевой эвакуопункт. Состав: ЭП — эвакуоприемник и три ППГ. Все в Сухиничах. ЭП — на станции, ППГ — в разных местах, в школах преимущественно. Раненых привозят из дивизии на «санлетучках», разгружает ЭП, сортирует. Тяжелых, главным образом нетранспортабельных, развозят по госпиталям, где лечат и готовят к эвакуации.

Ну а нам — особая роль.

До войны ГЛР — госпиталя для легкораненых — не было в штатах. Детище первых месяцев. Потери очень большие, пополнение затруднено, а солдаты с пустяковыми ранениями отправляются на Урал в общем потоке эвакуации и неразберихи...

Строевые генералы на медицину в обиде: «Что вы смотрите?» Вот и придумали ГЛР.

«Категорически запрещается эвакуировать легкораненых за пределы тыла армии...», «Создавать специальные госпитали...», «Лечить легкораненых в условиях, максимально приближенных к полевым...». Это значит — никаких пижам, постельного белья: свое обмундирование, нары или на полу, на соломе... «Проводить военное обучение...» Для этого приставили строевых командиров и политработников.

Вот что такое ГЛР. То есть пока мы просто ППГ на конной тяге, со своими штатами на двести коек. Пока только приказ: «Развернуть ППГ-2266 на тысячу легкораненых».

Развернули. Думали, какие мы умные, опытные вояки! Сортировка — в широком школьном коридоре. Тут же регистрация, введение противостолбнячной сыворотки. Потом поведут к речке, где баню оборудовали и там же выкопали дезкамеру (чтобы к воде поближе). Потом кормиться — навес из палаточных полов под липами. Кухня тут же, рядом, котлы, вкопанные в землю. Перевязочная — в палатке ДМП (три стола). Угол отгородили для операционной. Должны же быть какие-нибудь операции!

Начальство нас инспектировало после развертывания. Приехал начальник ПЭП и инспектор-хирург, очень штатский док-

тор. Мы уже матрацы набили соломой, застелили простынями — как в лучших домах. Но начальник распорядился по-своему:

— Не баловать солдат! Но вшей чтобы не было — ответите!

Инспектор вежливо заметил, чтобы предперевязочную поставили, а то у нас был вход прямо с улицы — без раздевания.

С утра сидим в ординаторской, ждем. Вот-вот приедут! Чуть ли махальщиков не выставили.

Врывается сестра:

— Привезли!

Три санитарные полуторки с крестами на зеленом брезенте полным-полны, раненые сидят на скамейках. Команда Рябова из приемного отделения помогает им вылезти, ведут в школу, рассаживают.

Вот они, солдаты, уже попробовавшие лиха. Щеки ввалились, небритые, грязные, большинство — в одних гимнастерках, шинелей нет. Некоторые с противогазными сумками, но без противогазов. Разрезанные рукава, штанины. Повязки у большинства свежие, потому что в ЭП смотрели раны, чтобы не заслать к нам «непрофильных».

Многие тут же засыпают, привалившись к стене или прямо на полу. Хмурые, недовольные. Объясняем:

— Здесь будете долечиваться.

— Какое же тут лечение? Под самым фронтом...

— Самолеты небось бомбят? Отправляйте!

В углу коридора стол для регистрации. Документы передала сопровождающая — в пачках, по машинам.

Много мороки с регистрацией: взять карточку, вызвать по фамилии, в книгу записать, история болезни в ППГ положена — заполнить нужно ее паспортную часть.

Набирается десяток. Всех ведут в баню. Иду и я посмотреть, что там делается.

Банька маловата, но используется предбанник, и скамейки поставлены прямо на лугу, рядом. Воды много — горячей, холодной. Мочалок только мало.

Тут настроение уже получше. Улыбки и даже шуточки:

— Спасибо, товарищ военврач, за баньку! С запасного полка не мылся...

С дезкамерой, к сожалению, заминка: очередь. Повели на обед без штанов.

Сидит очередь мужиков в белых рубахах и подштанниках — надбело им ждать, поругиваются...

— Есть охота! Веди нас прямо так, в портках...

Так и пришлось сделать. Благо хоть тепло. Куча обмундирования накопилась около камеры — как разобраться потом? На многих бирках от пара расплылись карандашные надписи.

В столовой, под навесом, солдаты сидят уже другие — повеслее, в свежем белье.

— Как в субботу, после покоса... Спиртику бы поднесли, медицина!

Но водка не положена.

Перевязочная работает вовсю. На столы класть некого — все перевязываются сидя. Истории болезней тут же заполняем. Очередь. Очень низкая пропускная способность, хотя все свободные врачи здесь.

По правилам военной хирургии раненых не нужно перевязывать без нужды. Мы старались, но не получалось — у кого повязки намокли, кто сам просил...

Простые ранения... Какая уж тут хирургия! Подождать, не трогать — и заживет. Но я впервые видел раненых — было интересно.

Наш профиль — сквозные и касательные пулевые ранения мягких тканей конечностей, маленькие ранки под корочкой. Мелкоосколочные множественные, непроникающие слепые — областей туловища: груди, живота. В «Указании» пишут: мелкие осколки до пяти миллиметров не нужно торопиться доставать. Если больше размер — лучше удалить или рану рассечь.

Я делаю вид, что такой волк в своем деле. И шпала у меня выглядывает на воротнике из-под халата — не без умысла, верхняя завязка не туго завязана. Тщеславие!

Вот один попался со слепым осколочным ранением бедра. Мягкие ткани, конечно. Сказал, чтобы сделали наклейку, а солдат и говорит:

— Доктор! А у меня осколок-то вроде бы вот тут, под кожей, катается... Может, вырезать его надо?

Потрогал, убедился, согласился, просил подождать.

Через час мы закончили перевязки. Уже дело к вечеру.

— Теперь давайте оперировать! Тамара, наркоз! Татьяна Ивановна, накройте стерильный столик, чтобы по всем правилам.

Татьяна вымыла руки в тазике, надела стерильный халат. Я тоже.

Сняли штаны с солдата. Он трясется мелкой дрожью, зубами стучит. Побледнел...

— Уж пожалуйста... Усыпите покрепче, боюсь я...

Сплошной конфуз вышел из-за этой операции: целый час не могли усыпить, разные наркозы пробовали, парень чуть со стола не сбежал, боролись, привязывали...

Закончилось нормально: осколок удалили. Но стыда натерпелся.

5

Конец сентября. Осень подошла. Мы уже больше месяца работаем в Сухиничах.

Взяли Ельню. Маленькая станция и поселок Ельня, но это символ: «Наши тоже могут». Две недели почти постоянно была слышна канонада, и все раненые прибывали оттуда. В день победного штурма они поступали такие возбужденные, довольные — совсем не те люди, которые отступали. Что значит — победа...

Немцы подошли к Киеву. Пришлось и его отдать. Все переживали утрату. Казалось, остановили! Но нет, пока нет... Обороняется Одесса... Ленинград, видимо, окружен, но крепко держится... Может быть, здесь остановят? Сводки как будто спокойнее... Намечается союз с Англией и даже Америкой...

Мы живем с начальником в чистеньком домике. Он хороший человек, Хаминов. Доктор хороший. Любит, однако, порисоваться, власть любит, подхалимаж. Но все в меру. Если сопротивляться, то уступает. Меня не притесняет, по крайней мере.

Мы сильно разрослись. Сегодня на пятиминутке доложили — 1150 раненых! Правда, здесь, в Алнерах, их 420, остальные — в батальоне выздоравливающих, в тех самых бараках, к которым мы поначалу подъехали и где бомб испугались. Кроме школы, клуба, палаток использовали еще четыре заново построенные землянки, на пятьдесят человек каждая.

Вчера приезжал генерал — начальник тыла фронта, — отругал нас за эти землянки, за то, что раненые на полу, без матрацев. Приказал ликвидировать Алнеры и организовать ГЛР в бараках. Все правильно, только мы не виноваты: нам так приказывали раньше. Но разве генералы разбираются?

Итак, мы почти переехали в бараки. Многих выписали в часть, и в Алнерах осталось человек сто раненых — только в школе и в клубе. На матрацах, на простынях, в стиранных штанах и гимнастерках...

Госпиталь будет как игрушка. Бараки построены два года назад для ФЗУ. Есть баня и прачечная, столовая. ГЛР на тысячу человек и даже больше. Сейчас у нас семьсот пятьдесят. Оди барак я выторговал под перевязочные, физиотерапию, паразфин, ванны, физкультурный кабинет, лабораторию. Операционную хорошую сделали — будем раны иссекать для вторичных швов, асептика нужна...

Едем с начальником на двуколке. Он правит. Он любит это — править лошадей:

— У меня такая же таратайка в Устюге была...

Обсуждаем сводку: «Бои по всему фронту». Примеры героических подвигов... В газетах — декларация СССР, США, Англии о координации усилий... Очень важно — не одни.

Заехали на хоздвор. Хаминов отдал лошадь, занялся хозяйством. Я иду в перевязочный барак. Нужно посмотреть, как Коля Канский автоклав устанавливает. Не дошел до автоклавной

— Самолеты! Самолеты!

Замер: слышен мощный гул, такого еще не было. Двор уже полон народу — солдаты, сестры, санитары. Доктор-терапевт истошно кричит:

— Уйдите, уйдите в халатах! В щели!

Вот оно, настоящее. С запада правильным строем движется на нас целая эскадрилья самолетов. Хорошо, что щели отрыты и бараки стоят не густо. Кричу:

— Врачи, сестры! Не прятаться, пока раненые не укрыты! Вывести всех из барачков!

Впрочем, едва ли кто меня слышит. Самолеты почти подходят к краю нашего барачного поселка.

За ним стоят зенитки.

Вот они ударили — залп сразу из всех трех орудий...

Зенитки медленно поднимают стволы, стреляют почти непрерывно. Вот три передних самолета странно повернулись на крыло, застыли на долю секунды и вдруг ринулись вниз — прямо на батарею.

— Пикируют!

И одновременно ударили звуки: визг пикировщиков, визг бомб, грохот взрывов... Вспомнил слово «ад».

Фонтаны земли осели. Храбрые ребята, эти зенитчики. Задрали свои зенитки почти вертикально и стреляют прямо навстречу следующей тройке пикировщиков. Опять визг, грохот, фонтаны...

Уже не пикируют, к нам подходят — путь к станции через нас. Вот сейчас дадут... Взглянул: двор как вымело. С крыльца видно — в щелях лежат друг на друге, лицами вниз. Хочу спрятаться, исчезнуть. Колька Канский смотрит на меня: испугаюсь? Нет. Но глупо стоять открыто.

— Присядем, Коля, за крыльцо. Оно кирпичное.

Успели. Выглядываем: «Пронесло?» Вот отделились бомбы.

3-3-3-3-3... Б-бах!

Нет, не на нас. Мы не интересны. Станция...

Вылезли. Уже не опасно — последние самолеты над нами, значит, бомбы лягут впереди. Но сердце все-таки бьется. Держать фасон!

Поселок пустой. Окна все выбиты. Пыль еще чувствуется в воздухе. Воронок не видно — наверное, за следующим бараком. Только бы не в щель... Но тихо, не кричали.

Обходим барак вокруг, чтобы взглянуть на станцию и город. Расстояние до вокзала — около километра, станция под горой, видно все как на ладони. Много путей — они забиты составами. Вот там действительно ад! Зенитки бьют, как сумасшедшие.

Самолеты идут в правильном строю, по три. Подлетая, сваливаются на бок и пикируют, выходят из пике и летят дальше — на город. Сразу же за ними — следующая тройка. Над станцией сплошная стена пыли и дыма. Какие-то взрывы, судя по звуку, не бомбы. В дыму не видно.

— Снаряды рвутся. Боеприпасы, — догадывается Коля.

Сбросили десяток бомб на город и уходят к горизонту. Городок маленький, зеленый... Фонтаны земли вырастали, как черные деревья... Звук взрывов доходил слабо и поздно — картина почти нереальная.

Все затихло. Только видно, как горят вагоны на путях, изредка взрывается снаряд — удар короткий и нестрашный.

Пошли смотреть потери. Три большие воронки. Бомбы упали удивительно счастливо: разворотило угол барака, но там никого не было.

Обходим ближние щели. Они еще заполнены, но уже слышны разговоры, некоторые стоят в рост. Даже смех слышен, но какой-то неестественный.

Спрашиваю нарочито бодро:

— Как, солдаты? Получили гостинцы? Есть потери?

Замечаю взгляды — одобряют. Нарочно халат не снимал.

Троих все-таки ранило, не тяжело. Отправил в перевязочную.

Вдруг снова ударили зенитки. Крики:

— Возвращаются! Они возвращаются!

— По-о ще-ля-ам!

И так — четыре раза.

После второго захода началась паника. Раненые побежали в сторону Алнер, и остановить их не удалось.

После третьего мы начали судорожно свертываться, грузить узлы на телеги и гнать в деревню. Два барака были сильно повреждены, пять человек ранены... За три часа управились: что значит страх!

...Наш сад в Алнерах гудит, как пчелиный рой. Разговоры — о немцах и окружении. Если верить солдатам, то нужно уносить ноги. Я не верю. Приказ был бы.

Однако в пять часов на грузовике приехал незнакомый капитан и привез приказ эвакуироваться на Козельск, Перемышль, Калугу: немцы прорвали фронт в районе Кирова и уже перерезали дорогу. «Из раненых сформировать пешие команды. Тех, кто не может идти, везти на подводах. Никого не оставлять...»

6

Только закрутилась машина сборов, — «Фамилия? Рота? Идти можешь?» — прибегают запыхавшийся мальчишка:

— Эшелон с ранеными у разъезда разбомбил немец! Страшное дело!

Спросил начальника: можно ехать? Взял четырех санитаров, Канского и Тамару, несколько пар носилок, санитарную сумку. Мальчишку посадили в кабину.

Через четверть часа автомобиль встал. Я огляделся. Поле нежатой низкой ржи. Редкий кустарник, невысокая насыпь железнодорожного полотна. На пути пять обгорелых классных вагонов с красными крестами на стенах. Еще несколько свалились под откос... Чернеют ямы от бомб. Остро пахнет горелой краской. Стелется редкий дым. Слабые крики:

— Ой! Ой! Ой! Пи-ить! Пи-и-ить!

— Помогите... Помогите...

По всему полю — лежащие люди. Сначала кажется, что трупы, но потом, приглядевшись, вижу: некоторые ворочаются, поднимают головы...

Ага, увидели нашу машину — зашевелились, приподнимаются, встают.

Сколько здесь людей? Сто, двести? Сколько живых? Что мы можем сделать — горстка медиков? Стоп! Работать. Напоить нужно... Нечем. Не догадались. Помощь вызвать. Шоферу:

— Поезжай в госпиталь, вези бидоны с водой, вези санитаров, сестер, носилки, перевязку, шины... Да, сначала прямо к начальнику — расскажешь, что видел.

Машина уехала, а мы пошли к путям. Прежде всего туда, к вагонам... Эти, что расплзлись по полю, могут еще подождать, а там...

В искореженных, обгорелых и тлеющих вагонах среди железных балок и перекладин зажаты люди... Нет, уже трупы... Даже трудно проверить — до некоторых нельзя добраться. Нужно резать железо. Изувеченные тела, кровь, почерневшая от огня, остатки повязок и металлических шин. Смерд от горелого мяса и краски...

Насыпь невысокая, к счастью. Некоторые вагоны только сошли с рельсов, другие свалились на бок тут же рядом. Видимо, скорость перед крушением была невелика. Паровоз неподвижно застыл метрах в трехстах. Там его накрыли при попытке уйти, уже после крушения.

Рядом с вагонами на лугу лежит десяток неподвижных фигур. Это те, что выбрались, но потеряли сознание... да так и остались лежать. Некоторые умерли за эти часы...

Подальше, среди редких кустов полосы отчуждения и зеленого барьера, — раненые, которые еще пытаются двигаться, ожившие при виде нас, кричащие и стонущие. Еще дальше, во ржи, — лежащие и сидячие фигуры. Они тоже кричат, не разбирать слов, далеко.

Что делать? Кому помогать? Как? Быстро нужно прикинуть. Время позднее — скоро сумерки... Самолеты-разведчики летают, и со стороны станции слышны взрывы.

Дым на горизонте всюду.

Первое — нужно собирать в одно место, чтобы вывозить... Выбрать такое место, чтобы было укрытие... И дорога. Осматриваемся — вон там, недалеко от головных вагонов, лощинка, кусты уходят между полосами ржи в сторону от насыпи. От дороги недалеко — по полю можно проехать.

Послал двух санитаров — помогать тем, кто еще может двигаться. Канского, Тамару и двух носильщиков взял с собой оказывать помощь.

Парень с разбитой головой. Видимо, просто выпал из ваго-

на. Пульса нет, дыхания нет. Мертв. Еще один «черепник» — без сознания, но дышит. Унесли. Чуть дальше — раненый с шиной Дитерихса, странно подвернутой под себя, сломанной. Черное пятно под ним — кровь впиталась в песок, не растеклась. Глаза открыты. Живой. Пульса почти нет. Шок. Помню наизусть слова Пирогова: «С оторванной ногой или рукой лежит окоченелый на перевязочном пункте неподвижно; но не кричит, не жалуется, не принимает ни в чем участия; тело холодное, лицо бледное, как у трупа; взгляд неподвижен и обращен вдаль, пульс, как нитка, едва заметен под пальцами, с частыми пережками...»

— Тамара, введи кубик морфия. Коля, укладывай с ребятами на носилки и несите на место сбора... Осторожнее!

Иду дальше, к следующей фигуре. Лежит, скорчившись, на боку. Обе ноги — в шинах Крамера, до колена. Тоже живой. Двинуться не может, нет сил.

— Доктор, в живот меня ранило... когда бомбили... силы потерял... выполз, а дальше — нет.

Скомандовал: и этого нести. («Придется оперировать живот, лапаротомию делать... если доживет».) А когда ее делать? Вон их сколько... Законы военной хирургии: объем помощи — от обстановки. Так, чтобы максимум общей пользы. Это значит: если много раненых — не делать сложных и длительных операций. Помогать тем, кому помощь возможна и эффективна... Жесткие законы. А как иначе? Еще несколько живых, шоковых, несколько уже умерших... Вижу, как к месту сбора сползаются те, кто может передвигаться. Коля с Тамарой вводят морфий, укладывают на носилки, подбинтовывают повязки, накладывают новые... Бинты уже к концу подходят... Не рассчитали. Нужно еще сносить к месту сбора тех, кого мы обработали.

— Николай Михайлович! Смотрите — машины идут.

Выпрямляюсь. Да, замечательно! Идут три санитарные полуторки и «эмка». Видимо, начальство из ПЭП едет. И помощь!

Побежал им навстречу, машу рукой — сюда подъезжать...

Из «эмки» вышли главный хирург Бочаров и незнакомые врачи со шпалами. В «санитарках» — медицина, носилки. Докладываю. Слушает внимательно, не торопит... Похвалил скупое:

— Правильно делаете. Здесь товарищи из других ППГ... Они возьмут на себя самых тяжелых...

Потом дал инструкции, кому, что и где делать. Четкие, исчерпывающие. Молодец, настоящий хирург!

Поразительно, что может сделать страх. Вот лежит сержант с двумя шинами Дитерихса... Он совершенно без сил, голова в песке повернута в сторону — только чтобы дышать... Руки выброшены вперед, судорожно вцепились в жиденький кустик ивы... Пульс приличный, только частит. Повернули его на спину. Глаза вытаращенные, дикие. Хрипит:

— Везите скорее... скорее. Он опять прилетит... всех уничтожит... три раза... три раза заходил...

Успокаиваю. Морфий ввели прямо в вену. Размяк. Глаза закрыл.

— Как же ты уполз так далеко?

— Уползешь... смерть-то, она... страшная...

Примерно каждый пятый ранен вторично, при бомбежке. Одни перевязали себе раны чем попало, другие не смогли — не умели или нечем. Большинство в одних гимнастерках и брюках с разрезанными штанинами... Многие без обуви. Документы не у всех.

Наша машина вернулась быстро. Приехали Чернов, Зоя, литрук Шишкин. Женщин-врачей, говорят, начальник не пустил: «Здесь обрабатывайте — больше пользы». Привезли все необходимое: воду, перевязочные пакеты, шины. Из других госпиталей тоже машины приехали.

Большинство раненых — тяжелые. Были, говорят, и ходячие, но они поплелись вдоль полотна в сторону Сухиничей.

Мы возвращаемся в госпиталь с последней машиной. Совсем стемнело. Везем последних раненых. Кажется, обшарили всю территорию, по обе стороны полотна. Некоторые уползли почти за километр от дороги.

Мертвых не собирали. Тяжело на душе из-за этого, но что же делать? Нужно думать о живых. Если бы сносить трупы или даже документы собирать — не хватило бы времени дотемна живых увезти. Утешаем себя тем, что завтра жители из соседних деревень похоронят или, может быть, боевые части...

7

В школе работа на полном ходу. Всех легкораненых вывели на улицу и разместили в землянках, на носилках разложили и усадили вновь прибывших, более тяжелых. Оказалось, что привезли почти сто человек.

Наше положение в связи с этими ранеными очень осложнилось. Хаминов даже проворчал, когда я пришел:

— Не мог еще больше привезти? Есть другие, машинные госпитали... Ладно, ладно, не задирайся... Я должен заняться ранеными. Некоторых придется оперировать... Так что ты на меня не надейся при формировании рот и команд. Возьми Чернова за главного над ходячими...

Началась работа. Примерно так я ее представлял по «Указаниям». Сначала полагается сортировка. Мы с Любовью Владимировной прошлись по палатам, бегло осмотрели и опросили раненых. Жетонов, правда, не раздали, но списки очередности составили — набралось около сорока человек, которых следовало обязательно посмотреть...

Теперь — в перевязочную. Перевязывают три врача — Лидия Яковлевна, Лиза, Ковальская. Я оперирую, если нужно. Тамара обеспечивает наркоз.

Вот положили на стол солдата с огнестрельным переломом плеча и повреждением артерии. Много крови потерял — переливание бы нужно, а у нас нет.

— Придется отнимать руку, товарищ. Главные жилы перебиты.

— Что вы, доктор! Куда я без руки?! На бабины хлеба?

С трудом уговорил.

— Режь, черт с тобой!

Делаю свою первую военную ампутацию. «Усечение по месту ранения». Осколок прошел в средней трети. Жгут, циркулярный разрез до кости большим ампутационным ножом. После этого рука отвалилась по перелому. Щипцами держит ассистент торчащий неровный конец плечевой кости, и я отпиливаю его пилой. Перевязываю главные сосуды, усекаю нерв...

— Ослабьте жгут!

Ослабили под простыней, брызнула кровь из мелких артерий. Наложил зажимы, перевязал... Все. Повязка. Снимаю перчатки, пишу в карточке... Он еще спит. Натягивают на него, сонного, гимнастерку.

— Повязку не закрывай рукавом! Если закровенит, чтобы видно было...

Карточку засовываем в карман гимнастерки, застегиваем его на пуговицу. Решили, что лучше, если документы при них будут... мало ли что может случиться...

Уносят его. Первого калеку моего «производства»...

Лидия Яковлевна делает обработку только тех ран, которые особенно плохи. Тех, которые чаще всего газовую гангрену дают. Обработки самые необходимые — только рассечения.

— На стол! Привязать! Тамара, морфий внутривенно и хлорэтил! Татьяна Ивановна, столик для обработки!

С двух часов ночи начальник стал нас торопить:

— Давай, начхир, кончай. Все уже готово к отправке пеших. Лежачих нам все равно не на чем везти...

Я поражен:

— А как же... оставлять здесь? А наши лошади?

— Делаем все, что можно. Медведев и Шишкин уехали по колхозам — подводы мобилизовывать... Ты же понимаешь, что на двадцати подводах нам не увезти и госпиталь, и раненых...

— Ты скажи честно: есть надежда на эти колхозные?

Обнадежил.

Выхожу на крыльцо посмотреть на отправку ходячих. Ночь теплая и довольно светлая. Площадка перед школой шевелится, как муравейник. Разговоры негромкие. Изредка блеснет огонек, и сразу крики:

— Эй, ты! Погаси! Жизнь надоела!

У выхода из школьного двора — пять подвод, нагруженных мешками и ящиками. На первой сидит медсестра Нина с двумя санитарными сумками, дремлет. Устала. Чернов о чем-то хлопочет... Ему нелегкая миссия выпала — этакая орава... А если немцы налетят? Проверяю, взяли ли носилки, запасной материал, костыли...

Начальник вышел на крыльцо.

— Команда! Строиться! По четыре! Общее командование возлагаю на политрука Шишкина!

Серая масса зашевелилась. Странная это процессия... Разношерстные, в шинелях, фуфайках, в гимнастерках с разрезанными рукавами, с палками, с костылями, с повязками на руках, на голове, некоторые — в опорках, если ботинок не лезет... Построены по четыре.

Отправилось около шестисот человек. 38 километров до Козельска, а посадят ли их там в поезд? Как они дойдут, хромые, слабые, сколько их дойдет?

В шесть утра закончили перевязки и операции. Осталось у нас пятьдесят три раненых, половина лежачих. Прооперировали семнадцать человек. Коридор опустел. Из палат слышны стоны, бред...

Начинаем укладываться. Так или иначе, надо уезжать... Раненые смотрят на наши хлопоты с опаской: не оставим ли их?

Не оставим. У нас машина и еще шестнадцать подвод. Если имущество бросить, можно всех взять.

Смотрю, как девушки пакуют ящики.

Хорошо пакуйте. Где и когда еще будем развертываться? Немцы бросали листовки: «Сдавайтесь, через неделю Москва будет взята. Война проиграна!» Глупые листовки...

В семь часов комиссар привел подводы. Много мужиков приехало.

Началась суতোлка погрузки. Я смотрю оперированных, как будто все в порядке. Никто не жалуется. У кого, может быть, и болит, но терпят. Боятся, как бы не оставили...

Накладываем сена в телеги. Лежачих — по двое, к ним еще по трое сидячих. Мужики ворчат — тяжело. Ничего, не галопом поедете.

На свои крепкие, проверенные телеги грузим имущество. Страшно много имущества появилось: одеял, белья, подушек, продуктов. Обросли. Готовились зимовать на тысяче коек. Физиотерапию, ванны готовили... Все это к черту теперь...

В девять часов обоз тронулся.

8

Уехали. Еще слышен скрип телег и говорок... Мы немного задерживаемся. У нас машина, мы еще должны подождать подводы, чтобы погрузить остатки имущества.

Утро ясное и свежее. Мы с начальником сидим в саду на сене под яблоней. Падают желтые листья. Осень. Странная пустота в голове. Будто кончилось что-то в жизни.

Восемь бомбардировщиков летят на восток. Не быстро, не высоко, спокойно. Безразлично летят — просто долбить станции, дороги. Может быть, и санитарные поезда...

И тут — наш, родной «ястребок», И-16. Он один и мчится прямо на этих... Один! Стреляет — видны трассирующие пули. Пролетел между ними... Хоть бы один фашист задымился, упал... Нет, летят. «Ястребок» повернулся, сделал петлю. Слышна стрельба. И опять ничего...

— Ну, улетай, что ты сделаешь один, улетай!

Это мы кричим, как будто он может услышать.

Но вот он снова делает заход и прямо сверху пикирует на нем-

цев. Снова короткая сильная стрельба — все они стреляют в него, в одного...

«Ястребок» не вышел из пике. Загорелся... черный дым — и упал где-то за холмами. Парашют не появился.

Они пролетели над нами, как утюги, не нарушив строя... Будьте вы прокляты!

Нет, никто не поднимал кулаков и не сказал этих слов; мы все не любим слов... Но каждый подумал, уверен.

Уезжаем вечером, когда уже начинается темнота. Начальник садится в кабину, мы все залезаем в кузов, под зеленый брезент с красным крестом на белом круге. Никого он не защищает, этот крест.

Всё ли мы сделали правильно? (Ты — всё ли?) Мне полагалось ехать с ранеными: с тем угрюмым солдатом без руки, с другими, у которых газовая возможна, а я согласился остаться с начальником. Плохо. Вон что сделал тот парень, летчик... Один на восьмерых. Пять заходов.

Под брезентом темно, тоскливо. Призраки людей, лошадей, машин остаются позади. Так бы ехать и ехать, не думать ни о чем...

К Козельску подъезжаем часов в одиннадцать вечера. Темный, тихий городок, одноэтажные домишки...

Вокзал вяло дымится, под ногами обломки кирпича, щепки... Все призрачно, замерло...

Разыскали коменданта. Совершенно измученный человек, черный, охрипший, еле отвечает на наши расспросы.

— Все. Нарботались... Два часа назад отправили последний эшелон... Нет, всех не погрузили... Пошли пешком...

Обоз догнали в большом селе Каменка... Он расположился на ночевку, съехал с дороги, и мы чуть не промахнулись дальше.

— Ну как? Ну что?

— В Козельске бомбили, санитарных поездов нет, собирали порожняк... Грузили только лежачих раненых. Легкораненых не брали, те отправились в Калугу пешком.

Утро 6 октября. Погода плохая. Выхожу на двор — снег везде. Вот тебе на! Вчера еще было сухо и довольно тепло.

По деревне движение: выдают сухой паек, кухня сготовила баланду. Поэтому все тянутся с котелками, с противогазными сумками к большому двору, где посередине возвышается походная кухня.

Часов в десять на улице прокричали посыльные:

— Выезжать! По коням!

Легкораненых собрали впереди. О строе уже и не поминали, могут и «послать», все злые, усталые... Даже считать не стали.

Обоз растянулся на километр. Подводы перегружены, медицина идет пешком. Даже толстая аптекарша.

Только вечером добрались до Калуги, сдали раненых в городе. Двести двадцать человек. Из Козельска отправили человек сто. Выходит, что больше трехсот «растаяло» по дороге... Где они?

— Сбежали... кто пошел вперед мелкими группами, но те, кто уже под немцами, домой подались.

Третий день движемся по старой Калужской дороге — к Москве... Екатерининский тракт, обсаженный березами. Мощные деревья состарились, но еще крепкие... Листья не все опали, солнце подсвечивает.

Ночевали в деревнях, спали вповалку. Иная хозяйка соломы принесет, рядом застелет. Но лучше бы мы на земле спали, только бы не слышать упреков:

— Неужто немцы придут? Как же это вы допустили...

В первую же ночь после Калуги арестовали Татьяну Ивановну, старшую операционную сестру. Она из Череповца, работала в отделении гинекологии.

Хаминов комментировал скупой: «За язык».

Так и было: много разговоров вели во время переездов. Она высказывалась резко о Сталине, НКВД. Мне это импонировало, но помнил о дяде Павле и сам осторожничал. И вот пожалуйста. Теперь обнаружилось, что представитель «особого отдела» периодически появляется в госпитале. За нами следят. Кто-то Татьяну продал...

Да, забыл написать: еще в августе зачитывали приказ Сталина о предателях из штаба армии, включая и командующего. Всех — к расстрелу!

Утром 16 октября через Калужскую заставу въезжаем в Москву.

При входе в город встретили батальон ополчения, шли защищать Москву. Длинная колонна по четыре в новых, еще не обмятых шинелях. Пожилые мужчины (иные — просто старые), с очень разными лицами, идут не в ногу. Без вещей. Наверное, еще и не ходили вместе. Интеллигенция, рабочие, освобожденные от военной службы по разным причинам — язва желудка, болезни глаз, туберкулез легких. Винтовки как-то странно торчат за плечами. После каждой роты — интервал. В последнем

ряду справа шагают сестрички с санитарными сумками, в таких же новых шинелях и пилотках.

Это был самый страшный день для Москвы. Накануне разнесся слух: город сдают. Началась паника: закрылись заводы, учреждения, прекратилась торговля. Все, кто мог, стали собираться бежать от немцев, а многие и побежали.

Народ суетится около домов. Связывают пожитки, укладывают на тачки, на детские коляски. Кое-где грузятся машины — выносят из квартир разный скарб, кто-то даже рояль вытащил.

Мы едем по узеньким, кривым улицам южной окраины, мимо одно- и двухэтажных домиков, кирпичных и деревянных.

В одиннадцать часов из всех рупоров раздались позывные. Было объявлено о речи секретаря ЦК, МК и МГК партии А.С. Щербакова. Мы выслушали ее на ходу.

Щербаков объяснил сложность обстановки на подступах к Москве. Опроверг ложные слухи: «...за Москву будем драться упорно, ожесточенно, до последней капли крови. Прекратить панику, начинать работать, открыть магазины. Паникеров привлекать к суровой...»

Проехали по Рязанскому шоссе и потянулись на восток, на Люберцы. Там будем ночевать.

На шоссе грязь и большое движение — из Москвы. Едут машины, идут люди с узлами и котомками за плечами, ведут закутаных в шали детишек, тянут импровизированные повозки...

«Правда» от 16 октября: «Враг угрожает Москве», «Положение на Западном направлении ухудшилось», «Враг продолжает наступать — все силы на отпор врагу!»

9

Мы в Егорьевске, почти за 100 километров от Москвы. Время безделья прошло, и от этого немного легче. Оказывается, мы, ППГ-2266, вышли из отступления с честью, имущество почти все вывезли, раненых эвакуировали. Что много раненых разбежалось, об этом не упоминаем.

ПЭП наш перешел во фронтовое подчинение, потому что 28-я армия перестала существовать. Где находится сейчас главный хирург Николаев и весь санотдел, пока неизвестно.

Учитывая наши заслуги, нас повысили: будем выполнять функции госпиталя для раненых средней тяжести.

В Егорьевск приехали вчера вечером на машинах. Обоз еще будет тащиться дня два. Выгрузились и обосновались в общежитии техникума. Я получил отдельную крохотную комнату. Кровать с сеткой и даже радиоточка. Все, что передают, кажется таким родным, что слушал бы и слушал... А песня «Идет война народная...» просто за душу берет. Рядом, по коридору, живут все медики. Эвакогоспиталь разместился в здании трехэтажной школы и был рассчитан на триста коек. Все сделано по высшему классу: огромная столовая, операционная, перевязочная, санпропускник с душевой, смотровой, раздевалкой. Даже отравленных газами можно принимать... Мы развернули еще и сортировку на сто лежачих мест — теперь сам черт нам не брат. Уже шоктовую палату спланировали и палату для газовой инфекции.

Егорьевск стоит на отшибе. Раненых, видимо, будет не так много. «Бросили клич» — и к нам пришло много женщин-дружинниц.

Под Москвой идут тяжелые бои. Дерутся на подступах к Москве. Городов не называют, но уже сданы Можайск, Калинин и Волоколамск.

Сегодня мы принимаем раненых. Их привезут на санлечулке, и мы ночь напролет ждем. Беспokoимся — не разбомбили ли? Говорят, задержка в пути.

Рябов до блеска выдраил баню, выстроил «полк» пожилых дружинниц с мочалками. Приготовлены клеенки под ноги, под шины, чтобы повязки не намочить, — все Бочаров насоветовал.

Любовь Владимировну Быкову назначили старшей сестрой в хирургическое отделение вместо Сони, которая добилась перевода в полк. Любочка, как мы зовем Быкову за глаза, любит все делать по-своему, но порядок видит насквозь, энергии — море, командовать — генерал. При этом знания как у врача. С двадцатилетним стажем фельдшера «Скорой помощи». За ней я — как за каменной стеной. И еще — интеллигентка, большой опыт жизни, говорить с ней интересно.

Старшая операционная сестра — Зоя Родионова. Немножко нервная белозерская девушка, но в работе быстрая, и руки хорошие. Тамара у нее — главный помощник. Есть и еще одна — маленькая худенькая белянка, пришла в Сухиничах с Любочкой — Маша Полетова. Бригада отличная. У них тоже все готово. Лампа над операционным столом в 500 ватт! Перевязочная, правда, маловата.

Начальник ходит в новом халате, щеки надул, важный. Не то

что на дороге, под дождем. Хотя, впрочем, он и там был важный. Умеет.

В пять утра наконец загудели огромные санитарные автобусы, и все выскочили на мороз. Быстро разнеслось в сортировке, на кухне, даже, наверное, на конюшне:

— Привезли!

Все сразу пошло как по писаному. Разгрузка, горячий чай, сортировка, раздевание.

Вот они, раненые из-под Москвы. Они устали и измучились в летучке, хотя прибыли к нам из армейских ППГ — из настоящих полевых. Ранены два — пять дней назад. По карточкам — ранения средней тяжести и просто легкие.

Раздевание оказалось сложным. На каждом бойце шинель, шапка, подшлемник, ботинки с двумя портянками — байковой и суконной, рукавицы теплые. Ниже — ватный костюм: фуфайка и штаны. Еще слой — теплое белье. У некоторых под теплым еще и простое белье. И шарфы, неформенные, домашние, — «из подарков», говорят. Женщины-раздевальщицы похохатывают:

— Ну, прямо кочаны капусты!

— Как на фронте дела?

Спрашивать этого не следует. Раненые — всегда пессимисты. Мы уже имеем опыт. Но, оказывается, и у раненых психология изменилась. Немец жмет, но надеются устоять.

За два захода привезли сто тридцать пять человек.

Все раненые были обработаны, и большой хирургии от нас не требовалось. Но все же оперируем: рассекаем раны, удаляем осколки и пули, когда их удастся нащупать... Пунктируем грудь — чтобы отсосать гемоторакс.

Как жаль, что нет рентгена!

Заканчиваем перевязки около десяти вечера. Не быстро, но терпимо. Все довольны. Поработали для обороны столицы.

Прошли Октябрьские праздники. Продолжаются жестокие бои под Москвой. Сталин замечательную речь произнес, провел парад. Даже я потеплел к нему.

Только бы выстояли! Как это у него здорово сказано: «Враг не так силен, как его изображают... Еще полгода, может быть, годик, и гитлеровская Германия лопнет под тяжестью своих преступлений... Пусть вдохновляют вас в этой войне мужественные образы наших великих предков...» Всех русских героев перечислил, от Невского до Кутузова. Хватилась Настя, когда... настужь.

Столько лет позорили, а как приспичило, так даже церковь вспомнили. Но Сталин сумел вдохнуть уверенность в победе.

Похоже, что наступление немцев остановлено. Каждый вечер слушаю «Идет война народная...». На всю жизнь запомнится.

Мы учимся лечить огнестрельные переломы. Аркадий Алексеевич Бочаров показывает вторичную обработку ран и, главное, гипс.

Началось это 6 ноября, днем, когда он зашел в перевязочную, где мы с Канским налаживали сооружение из гипса и металла — мостовидную повязку при переломе голени.

— Бросьте вы это, Николай Михайлович! Давайте я сделаю как нужно. По-современному.

И сделал. Рана была хорошо обработана, он наложил гипсовую повязку прямо на рану, как на закрытый перелом. Не боясь инфекции!

И как наложил — с блеском! Сам сделал гипсовые лонгеты, сам загипсовал, отмоделировал — получилась легкая, красивая повязка. Написал на ней дату чернильным карандашом, нарисовал рану и перелом, полюбовался секунду и сказал:

— Вот как надо!

Мы приступили к нему с детскими вопросами, с примитивными сомнениями — он начал объяснять, как маленьким.

Глухая гипсовая повязка — вот метод, который совершил переворот в лечении переломов на войне. Проводники его в Советском Союзе — учитель Бочарова Сергей Сергеевич Юдин и юдинцы. Мы имеем возможность черпать опыт из первоисточников.

У меня всего два года стажа — нет собственных хирургических убеждений, нет даже настоящей книжной эрудиции. Оказывается, — до чего же я неграмотен! — писали в хирургических журналах после финской о глухом гипсе. История у него давняя и источники русские! От Пирогова, с Кавказской войны.

Преимущества для лечения переломов очевидны: обломки не могут сместиться, правильно и быстро срастаются, раненый может ходить, наступая на ногу, нет атрофии мышц. Но недостатки у этого метода тоже есть. Нужна отличная первичная обработка раны. А кто, где и когда будет ее делать на войне? Нет времени, нет хирургов, нет условий. Еще: трудно наблюдать раненого под гипсом. Раны не видны. А вдруг флегмона, гнойные затеки, газовая, сепсис? Нужны квалифицированные хирурги и опыт.

Из резерва прислали группу медиков — все они вышли из окружения. Нам дали операционную сестру, а она сразу заболела. Подумалось: «То-то будет работник».

Это Лида Денисенко. Высокая, худая, белокурая... довольно красивая. Очень скромная... Стыдно ей, что голова кружится и ходить не может. Из Смоленска, студентка третьего курса пединститута. Закончила курсы медсестер во время финской, но тогда на войну не успела, а сейчас — как раз.

Вот ее история.

Медсанбат. Лес. Подвижная оборона. Больше ездили, но несколько раз оперировали сутками, раненые умирали. Знаменитая Соловьева переправа через Днепр в сентябре. Потеряли все машины, погибли люди. Дали новое имущество, дивизию пополнили. Снова работа. В октябре — прорыв немцев на Вязьму. Приказали: «Из окружения выходить мелкими группами». Оказалась в лесу с подругой, немцы рядом, слышна их речь. Их подобрали наши солдаты. Очень хорошие ребята, с ними и выходили тридцать дней. Страх, голод, холод. Немцы, обстрелы, предатели в деревнях. Потеряли двух человек убитыми. Обносились, обессилели. Наконец попали к партизанам, и те перевели через фронт.

Досталось девке. Героизма не проявила, но комсомольский билет в поясе вынесла. И в гимнастерке пришла с треугольничками. Спросил Лиду, кем у нее отец работал в Смоленске. Она засмеялась, потом сказала:

— Первым секретарем обкома... Пока на курсы не послали перед войной. Теперь даже не знаю где. Сказали, на Ленинградском фронте.

Вчера «В последний час»: наши взяли Ростов! Однако сегодня оставили Тихвин — к Череповцу близко... Но почему-то нет ощущения тревоги.

У нас что-то вроде хирургического праздника: обработали и загипсовали «бедро», то есть перелом бедра. Фамилия раненого — Смагин, кадровый старшина, артиллерист, воюет от самого Бреста. На подступах к Москве осколком фугасной бомбы оторвало левую руку и раздробило правое бедро.

Аркадий Алексеевич посмотрел и посоветовал наложить глухую гипсовую повязку. Мне стало не по себе. У парня септическое состояние, а мы его замуруем. Но авторитет Бочарова ве-

лик. Он послал за ЦУГ-аппаратом в другой госпиталь, его принесли через полчаса. Приготовили набор гипсовых лонгет, все, что полагается. Дали эфирный наркоз, взгромоздили на ЦУГ-аппарат — я его тоже в первый раз вижу. Бочаров сделал разрез на задней поверхности бедра для стока гноя и наложил высокий гипс.

Парень проснулся и, несмотря на озноб, все равно шутил.

13 декабря. Ура! Ура! Ура! «В последний час»: «Поражение немецких войск на подступах к Москве!»

Наши остановили немцев и перешли в контрнаступление. Освободили Солнечногорск, Истру, десятки других населенных пунктов. Уничтожена масса техники, разбито много дивизий.

С утра хожу по палатам и поздравляю раненых. Они уже знают и тоже ликуют.

— По сто грамм надо, товарищ военврач!

Надо бы, верно... Но есть строгие приказы.

Смагин лежит с высокой температурой, но веселый, даже торжественный.

— Не зря! Главное, не зря я без руки остался. Теперь бы скорее поправиться, скорее!

Думаю: «Еще и без ноги можешь остаться, да и вообще умереть». Мы лечим его «по Юдину».

Сводка опять отличная. Взяли Клин и Ясную Поляну! Наступают на нескольких фронтах сразу: на Таганрог, на Калинин, на запад от Ельца и, главное, под Москвой. В газетах портреты Жукова и других генералов.

Япония разгромила военную базу США в Перл-Харборе. Потери у американцев большие. Рузвельт объявил войну. Говорят, что это выгодно для нас, что теперь мы будем союзниками.

...Кретин и дурак я. И не мне руководить хирургией в госпитале.

«Плохо, Николай Михайлович, очень плохо» — так сказал Бочаров, больше ничего не прибавил.

Только что пришел со вскрытия: умер раненый от газовой гангрены. Лежу на кровати, перебираю все в памяти. Где я ошибся? Почему?

Первое: раненый долго ждал перевязки в сортировочном отделении, несмотря на температуру 38,2 градуса.

При перевязке рана казалась безобидной. Только очень бодела, и голень была отечная. Отправили в палату.

Дальше — ошибка. Палатная сестра пришла часа через три и

попросила Лизу зайти посмотреть: «Георгиев беспокоен, срывает повязку, кричит!» Я услышал, сказал: «Сделать ему морфий. Он просто невропат...» Именно я виноват, потому что иначе докторша сходила бы, может, что-нибудь и нашла бы...

Это было в шестом часу. В восемь сестра снова пришла — не помог укол. «Кричит, что повязка давит! Постоянно воду пьет, мечется...»

Взяли в перевязочную и обнаружили газовую флегмону, уже распространившуюся выше колена. Ампутировали бедро, но спасти не смогли — умер через несколько часов. Грубая ошибка: поздняя ампутация.

11

Чуть ли не неделю ехали на машинах из Егорьевска, через Москву, сюда, в Подольск. При том, что идут бои и хирурги нужны позарез...

Вчера, 7 января, мы наконец приступили к работе.

И какая работа! Нам отвели три верхних этажа госпиталя, что в школьном здании. Профиль — «средняя тяжесть». На первом этаже расположился эвакуопункт — он сортирует всех поступающих.

За неделю многое изменилось. Уже нет терапевтического отделения, избавились от ненужных врачей, вместо этого — второе хирургическое отделение с новым начальником. Кандидат медицинских наук Залкинд, мой старый знакомый по Архангельску. Был ассистентом у Цимхеса. Ученик Бурденко, нейрохирург. Интересный человек, книголюб, эрудит. Курит трубку и оттопыривает нижнюю губу. Увы, он назначен ведущим хирургом.

Бочаров сказал:

— Иначе нельзя. Он кандидат, а вы еще молоды. Но он не будет вами командовать, вы будете совсем самостоятельны, со своим профилем... Обещаю вам.

Бог с ним. Дело не в звании — так я себя утешаю. Важно, чтобы работать самостоятельно.

Залкинд и я руководим бригадами, каждая обслуживает по сто пятьдесят раненых. Работаем по двенадцать часов. Живем в бывшем роддоме. Сплю на высокой родильной кровати.

Сегодня наша смена. Торопимся утром в госпиталь с Лидией Яковлевной и Лизой — они, естественно, в моей бригаде, так же как и Зоя, и Тамара. А Канского у меня забрали.

Холод адский. Пускай, фрицев нужно морозить. Раньше в нашей северной деревне так морозили тараканов. Около госпиталя стоят две открытые полуторки и автобус. Санитары снимают с них носилки.

Слышу монотонные слова-стоны:

— Ой, скорее, скорее! Ой, холодно!

Главный приемник — физкультурный зал («вокзал») — вмещает до двухсот человек. Середина заставлена носилками. Вдоль стен и в проходах сидят. Справа у входа регистрация — стол, фельдшер в окровавленном халате. Все заполнено под завязку. Очумелый, заросший, опухший военврач ходит между рядами и сортирует. С ним сестра, еще несколько санитаров разносят питье, еду, судна. Гул голосов, дым махры, света мало — окна заделаны фанерой, горит лампочка под потолком. Я бодренько спрашиваю:

— Ну, как обстановка, доктор?

— Что, не видишь? Если к полудню «летучка» не придет — друг на друга ставить будем. Ты на смену? Забирай вот этих, правый ряд. Свеженькие, из армии...

Ординаторская еще свободна от носилок, и там собрались наша и ночная бригады. Залкинд сидит со своей трубкой, важный, прямой, как гусь.

— Устал, знаешь... Человек пятьдесят перевязали... Ты посмотри, пожалуйста, новых.

Пятьдесят — это мало, я знаю, но не положено спрашивать и советовать. Мы все-таки мужчины.

— Пошли, девчата!

Машина закрутилась. Лидия Яковлевна и Лиза пошли в перевязочную — обрабатывать новых, я — на обход, сортировать. Первое — отобрать на эвакуацию. Отправлять в хорошем состоянии, с хорошими повязками. Отмечать: «лежа», «сидя». Второе — на перевязку, не пропустить газовую, кому надо — гипс. Да, Бочаров уже требует гипс, хотя нам совсем не до него, мы барахтаемся в потоке раненых, в постоянном цейтноте, кризисе мест. «Вы — госпиталь! И сейчас не русско-японская война». Все понимаю, но как охватить?

У нас вид приличный. Кровати, белье, халаты. К сожалению, это внешне. Моем только тех, кто задерживается, потому что пропускник забит ранеными.

Полегчает — разберемся. «Когда полегчает, уедем — так сказал Бочаров. — Наступать».

Раненые не тяжелые, но большинство лежачих. Ранения мягких тканей и переломы голени, стопы.

Обмороженных нет. Это при таком-то морозе, при наступлении, когда нет блиндажей и окопов, когда села сожжены.

А вот вши есть. Не так много, сам не вижу, но сестры говорят, что есть. Вещи прожариваем. Того и гляди, сыпной тиф, как в гражданскую.

Перевязки. Принести раненого на носилках, положить на стол — двое санитаров-носильщиков. Развязать бинт, шину, салфетки — обнажить рану. Если перевязка первая после операции или обработки раны, марля приклеилась — больно. Можно перекисью смочить и медленно-медленно отдирать от кожи. Хорошо, но очень долго. Времени нет. Можно рывком — без предупреждения.

— Что ты делаешь, холера! Что ты рвешь! Отмочить нужно...

Тамара — та мастер уговаривать, взывать к мужскому терпению:

— Ты потерпи, родной, потерпи... Я сразу сниму, немножко больно будет, но зато быстро... А так, если отмачивать, — и больно, и долго. Хорошо? Ты же солдат, потерпи.

Все операции я делаю сам — это быстрее.

— Санитары! Стол пустует! Живее!

— Варя, лонгету на голень!

— Зоя, все для иссечения, под местной!

— Тамара, наркоз!

— Лиза, запиши...

Диктую: фамилия, диагноз, рана, операция, обработка, шина, эвакуация: «лежа». Перед эвакуацией посмотреть.

— Все. Следующий!

Периодически в перевязочной появляется кипящая Любовь Владимировна:

— Николай Михайлович! ЭП требует принять еще восемь лежачих. Положить некуда. Говорят, все равно принесут. Что делать?

— Что делать?! Почему я знаю что! Кладите по двое!

— Но это ужасно!

И так часов до четырех, пока обед не принесут. К восьми вечера приходит другая бригада. После ужина и уборки перевязочной, часов в девять, уже они вступают на главную линию, а мы отправляемся на вечерний обход и начинаем несрочные повторные перевязки. Возвращаемся в свой роддом в час или два ночи.

Неужели я такой тупой, что никогда не научусь разбираться в раненых? Сколько самонадеянности, бахвальства, пока на пустяках сижу, а как до дела доходит, так ляпсусы.

Привезли раненого из-под бомбежки в самом Подольске. Диагноз: перелом бедра, большая рваная рана. Шок.

Двое санитаров несут его на носилках, а он бьется, кричит: «Пустите!» Ворочает раздробленной ногой, прямо страшно смотреть, как она прогибается посредине бедра.

Пока раздевали и перекладывали жгут на голое тело, он потихоньку затих, уже не так рвался и кричал, наполнение пульса начало падать, а частота возрастала. Я думал, что он просто возбужден от бомбежки.

Сразу — морфий, сердечные, согреть. Через полчаса — вся картина шока: совсем затих, только дрожит и жалуется на холод, несмотря на грелки. Заторопились с вливаниями. Пол-литра крови, литр физраствора с глюкозой и спиртом перелили в вену в течение часа. Кровяное давление если не очень повысилось, то, во всяком случае, стабилизировалось на цифрах 80—90. Нужно что-то решать. Жгут лежит.

Вот тут-то мне и нужно было остановиться. Тут! Но где там! Я же такой опытный, такой юдинец, начитался книжечек о чудесах глухого гипса, решил, что самое время проверить эти чудеса.

— Обработаем и загипсуем! Давайте наркоз.

Нет, я не остановился на простом рассечении. Стал делать идеальную обработку бедра по Юдину. Иссек массу разрушенной мышечной ткани, удалил свободные отломки кости. Раненого уложили на подставку и быстро наложили идеальный гипс из готовых лонгет и бинтов.

Когда приступали к гипсованию, был приличный пульс, давление около 100, ровное, глубокое дыхание — он вышел из шока. Я торжествовал: «Вот как надо обрабатывать бедра!»

Наконец все сделано. Маска снята.

Тут началось нечто странное и... ужасное. Раненый открыл глаза, дико посмотрел кругом и вдруг стал с силой вырываться. Молотил руками, пинался здоровой ногой, пытался сесть... И самое страшное, он начал яростно двигать сломанным бедром. Три санитаров и все мы держали его руки, грудь, ноги... Вытащили подставку, прижали к столу... Не помогало. Мягкий мокрый гипс — не опора. Я обхватил сломанное бедро, старал-

ся удержать его центральный отломок. Где там... И сейчас чувствую в руках, как ходит под гипсом конец кости, гипс уже смят, как тряпка...

Такой пароксизм продолжался минут пять, потом он начал затихать... Уже можно отпустить... Я щупаю пульс — нет! Сразу же начали колоть сердечные, переливать кровь, но уже не помогло. Еще через десять минут сердце остановилось.

Умер.

Лежит на столе в измочаленной гипсовой повязке, через которую просачивается кровь... Молодой человек, красивое лицо, отличная мускулатура плеч и груди...

А ладони еще чувствуют, как под мягкой гипсовой повязкой ходит острая сломанная кость, и невозможно ее остановить...

Мы стоим вокруг и молчим. Ничего не думаю, никаких мыслей нет...

— Уносите.

На первом этаже есть темная комнатка, куда выносят покойников. Унесли. Санитар Игумнов посмотрел на меня с укором и сожалением.

— Приберите грязь и давайте на перевязки...

Тут позвали в палату за чем-то, и все пошло по заведенному кругу. Автоматически.

Перевязки. Рассечение ран. Гипсы. Эвакуировать: «лежа», «сидя»; «Задержать на два дня», «Смотреть за отеком бедра...»

А в мозгу идет своя, независимая работа.

«Шок! Вот он — шок. Сначала эрективный, как его называют... Потом настоящий. Вторичный. Под наркозом он как будто прошел. Потом... Что же потом? Возбуждение от шока или шок от посленаркозного возбуждения?»

Думаю. Нельзя не думать.

«Вот тут надо было остановиться, когда положили его на стол, наладили все вливания. Нужно было снять жгут, наложить зажимы только на кровоточащие сосуды и так оставить. Только переливать кровь и греть, греть. И ждать, пока он совсем отойдет, оправится. Потом, может быть, и обработку. Или еще лучше простую ампутацию-усечение. Ведь знал, что чрезмерная активность при шоке опасна».

Знал, но думал: разбитые ткани и жгут — сами источник шока...

...Капитана привезли сегодня прямо с передовой, в открытой машине. Солдаты, видимо, торопились скорее доставить своего

командира к хирургам в госпиталь, в теплый дом. «Они тебя спасут!» — небось говорили. Правильно делали. Зачем оставлять в медсанбате, когда там — очередь, холод, а тут лишние полчаса — и Подольск. Все правильно. И мы вроде тоже все правильно делали на этот раз...

А результат такой же, как у того парня. Ни черта не стоит эта наша наука!

Их двоих привезли с ранениями живота. Один умер в сортировке через пятнадцать минут: там мы ничего уже не могли сделать — последние редкие вздохи.

Второй слабо стонал, просил: «Пи-ить, пи-ить», двигал беспокойно руками. Пульс — еле-еле. Сразу же принесли в перевязочную. Морфий, камфару, грелки. В верхней части живота — рана сантиметра два. Ощупывание бесполезно. Ясно — ранение, проникающее в брюшную полость, с повреждением органов, может, даже с кровотечением.

Совершенно холодный, весь дрожит — 30 градусов мороза на дворе.

— Нет, так мы не согреем. Давайте в ванную — к железной печке!

Снесли, отогревали полчаса, продолжали капельно вливать глюкозу со спиртом. Не помогает. Давление — 70. Но успокоился, лежит, почти безучастный... Шок. Опять — шок! Запустили всю программу противошокового лечения.

Девушки разговаривали с ним. Слабым голосом объяснял, кому сообщить, если умрет...

Мы ждали три часа. Он забывался, потом опять начинал говорить, рассказывал о семье: двое детей, был учителем, жена тоже учительница. Попросил принести документы с фотографией семьи...

Я решил: «Нет, больше ждать нельзя». Идут часы, уже кончается контрольный срок для живота — шесть часов. Дальше катастрофически растет опасность перитонита. Уже четыре часа ждем — не лучше. Рана почти над печенью, возможно кровотечение... Все уже готово для операции.

— Начинай, Тамара, наркоз.

Обычная, нетрудная, довольно быстрая лапаротомия. Ранение желудка, кровь и пища в брюшной полости, даже осколок нашли. Все дырки зашили, осушили тампонами содержимое. Стрептоцид засыпали. Швы наглухо.

— Пульса нет!

Это Тамара сказала мне, когда кончили зашивать. Щупаю сам — нет. Только на шее бьется артерия. Дыхание редкое, поверхностное.

Умирает капитан. Командир роты. Учитель. Отец и муж... А так хотелось его спасти!

Еще 500 кубиков крови в вену. Еще глюкозу...

Ну, очнись же, очнись! Ведь все сделано, как надо, по науке... Нет, не помогает... Может быть, лучше, что не просыпается...

Обнажил артерию, вкачали в нее три ампулы крови, быстро, с давлением.

Все напрасно, как в песок... Еще час были редкие вздохи, можно было выслушать отдельные сердечные удары.

Уже не молил о чуде. Чудес не бывает... На следующее утро приехали лейтенант и три солдата забирать капитана. Сухо выслушали мои виноватые объяснения. Нет, не поверили, что нельзя было. Наверное, решили: «Не к тому хирургу привезли...»

Между тем наши войска ушли вперед, и работа схлынула. Стало далеко возить раненых. Наш ПЭП переезжает в Калугу. Бочаров заходил проститься и пообещал большую работу:

— Будете там спецгоспиталем... Коек шестьсот понадобится, не меньше.

Все отсыпаются. Бригады ликвидировали, работаем только днем. Ночью дежурный хирург с сестрой обрабатывают срочных, если поступают.

Я съездил в Москву, в медицинскую библиотеку, почитал кое-что по шоку. Думаю о нем постоянно.

13

23 января в полдень принесли приказ: немедленно переезжать в Калугу.

С начальником в последнюю неделю случилась беда: он запил, поэтому собирались без него. Комиссар и Тихомиров командовали погрузкой.

Автобусы большие, но на тяжелый груз не рассчитаны. В первую очередь взяли хозяйство операционной. Кажется, еще погрузили белье, одеяла. Все остальное — в обоз. Продукты обещали в Калуге дать. Развертываться в зданиях, как в Подольске. Город уже три недели наш, небось все есть. Так мы рассуждали в автобусе.

Приехали в Калугу утром 24-го, совершенно замерзшие.

Длинная вокзальная улица. Все каменные дома сожжены или взорваны. Людей мало. На перекрестках черные дощечки с названиями улиц по-немецки, а ниже — по-русски.

В стороне от проезжей части — немецкая техника. Не так густо, как на снимках в газетах, но попадаются пушки, «разутые» грузовики и огромные гусеничные и многоколесные вездеходы с несколькими рядами сидений для солдат. Я видел в довоенных хрониках, как на них немцы восседали, когда Европу завоевывали.

Поближе к центру стали попадаться уцелевшие дома. В некоторых уже живут — окна заделаны фанерой и досками, выставлены дымящие железные трубы.

Трупы фашистов еще не все убраны — валяются в подворотнях, в легких френчах, очень белые лица, и волосы развеваются на ветру. Ищу внутри себя чувства: нет, не жалко.

В центре много целых, но вымороженных домов без стекол.

Нам понравилось здание педагогического института. Начали ремонтировать, пытались отогреть.

Мы — четверо врачей — обосновались неподалеку, в деревянном домике. Чуждые русские люди попались. Первые, пережившие немцев. Старый учитель естествознания. «В Дерпте вместе с Бурденко кончал». Его жена — помоложе, тоже учительница. Приняли нас как родных. В захлавленной интеллигентской квартире было холодно, но терпимо. Вскипятили чай, принесли картофельных лепешек.

Но приехал начальник ПЭП, сказал, что здание пединститута малое. Приказал сейчас же принять помещение ЭП вместе с ранеными. Мрачное трехэтажное здание бывшей духовной семинарии. Высокие полукруглые окна заделаны фанерой и досками, во многих торчат трубы, из которых валит дым. Солидный подъезд, большие двери и ряд машин с ранеными. Разгружают. Знакомая по Подольску картина: носилки, торчащие из-под шинелей шины Дитерихса, согнутые сидячие фигуры с разрезанными рукавами шинелей и белыми бинтами. Сосульки на бровях и ресницах. Стоны, чертыханья, просьбы.

Заходим. Двери с тугой пружиной оглушительно хлопают. Вестибюль со сводчатыми потолками. Темно. Едкий дым, влажный туман. Чуть виднеется свет нескольких коптилок. Из вестибюля — вправо и влево — широченные коридоры, тоже со сводами. В два ряда на полу стоят носилки с ранеными,

посередине проход, едва можно разойтись. Холодно. В конце коридора бочка, в которой тлеют сырые дрова, и дым валит через дыру. По обе стороны коридора — классы. Окна в них забиты почти полностью, оставлено по одному квадратику стекла. В каждом — бочка с сырыми дровами, труба торчит в окно. В некоторых стоят кровати без матрацев, на них носилки. В других — носилки прямо на полу. В третьих — голый пол.

В палатах и коридоре мечутся фигуры в белых халатах поверх шинелей, в шапках.

— Санитар! Дай каску!

Каску... Немецкие каски вместо подкладных суден... Вон несет санитар сразу две к двери, на улицу. Разыскали перевязочную. Очень большая комната.

Такой же дым, туман, холод. Посередине стоит бочка, правда, огонь в ней поярче, труба тянется далеко в окно. Вокруг печки кучи дров, две скамейки. Сидят раненые. Три стола, на них перевязывают одетых. Две сестры устало передвигаются, халаты поверх шинелей, в шапках. Врач в такой же одежде сидит за столиком и заполняет карточки. Двое санитаров обматывают шины справа от входа. Слева стоит автоклав, отгороженный вешалками, на них висят шинели.

Санпропускник есть, но забит ранеными. Второй этаж еще почти пуст. Окна заделаны, печки поставлены, кое-где топят. На третьем этаже потолок ниже, печек нет, окна заделывают солдаты из саперного батальона.

Пошли искать начальство ЭП. Нашли начмеда. Пожилой, измученный, небритый доктор.

— Мне приказано к двенадцати часам передать раненых. После полудня начинаем работать на новом месте. Начальник уже там.

Передача состоялась. Доктор просто сказал, что в здании лежит около двухсот раненых, ежедневно они — ЭП — будут давать нам еще примерно сто.

Эвакуации пока нет, потому что возят на Алексин, а мост взорван и раненых перевозят по льду... Дрова можно брать где-то около лесопилки, а воду возить в бочках из реки.

— Засим будьте здоровы! Раненые говорят, что бои тяжелые...

Упрашиваю:

— Вы хотя бы сегодня нам не направляйте новых. Только сегодня.

— Не обещаю. Там у нас, на новом месте, наверное, еще хуже. Так что... сами понимаете.

Через час они свернули перевязочную и уехали.

Что делать? Ответ ясен: напоить, согреть. Убирать кал и мочу. Накормить. Только потом — не дать умереть от кровотечения, заметить газовую, чтобы ампутировать, выловить шоковых и попытаться помочь. В последнюю очередь — перевязки и обработка ран для профилактики инфекции.

Начальника нет. Комиссар не знает, не может. Залкинд — тоже.

Пришлось мне командовать. Вызвал хозяйственников, старших сестер и аптекаршу.

Оказалось еще хуже, чем думал. Простыни есть, а подушек нет. Миски есть, ложек нет. Крупы тоже нет. Аптека, оказывается, в обозе.

Начпроду приказал накормить. Рябову — организовать прием.

После этого началась работа. То есть ничего радикального и быстрого не совершилось, но дружинниц из соседних домов на вербовали, привели, поставили на каждую палату по два человека и обязали обслуживать круглые сутки.

Таким образом освободили мужчин для заготовки дров, чтобы воду подвезти, за продуктами съездить, чтобы новые палаты осваивать — раненые не переставали прибывать. Воды привезли, котел в прачечной затопили, начали варить гречневый суп. Пришлось идти по дворам просить посуду — ведра, ложки...

Самое трудное было наладить отопление. Дрова сырые, тяга в бочках плохая, дым просто жить не дает. Промерзшие стены сразу покрылись влагой и дали туман. Пришлось разломать пару сараев в соседних домах.

Наконец, осталось мое собственное дело — хирургия.

С Залкиндом договорились сохранить старые бригады, как в Подольске, а он уже выйдет на ночь.

14

Перевязочную развернули пока в том же виде, как была. Только дрова подобрали посуше. Расставили сразу семь столов. Мы уже знали, как важны лишние столы в перевязочной для лежачих раненых!

К трем часам перевязочная начала работать.

Я пошел с беглым обходом, чтобы начать хирургию.

Тягостная картина. Почти неделю лежащих раненых собирали в Сухиничах, Мосальске, Мещерске. Они лежали там по хатам. Только три дня назад их начали перевозить в Калугу. Много дней их не перевязывали, повязки промокли. Кроме того, они очень измучены. Полтора месяца идет изнурительное наступление по морозу, обозы отстают, питание плохое, больше на сухарях, на сале. Горячее редко.

С виду все раненые кажутся старыми, все заросли бородами, госпиталям не до парикмахеров. Но и по карточкам — сорок, даже сорок пять лет. Молодежи мало. Их уже выбили в первые месяцы. Укрыты шинелями, под головами ватники, разрезанные ватные брюки.

Мне необходимо было познакомиться с ранеными, «выловить» срочных и выбрать первоочередных. Нужно выделить раненых в голову, которые без сознания. Выделить челюстно-лицевые ранения. Я впервые увидел этих несчастных. Они, кроме всего прочего, еще и голодны: их нужно специально кормить и поить...

Первый вопрос в каждой палате:

— Доктор, будете лечить или опять кому-нибудь передавать?

Только потом — частные вопросы о еде, о перевязках, о постелях, о тепле. Не обещаю ничего несбыточного, но говорю твердо: всем окажем помощь и до эвакуации никуда не будем передавать.

Самые тяжелые раненые не те, что кричат. Они тихо лежат, потому что уже нет сил, им все как будто безразлично. В дальнем углу коридора обнаружили такого солдата. Лицо бледное и безучастное, губы сухие, потрескались. Шина Дитерихса, стопа замотана грязной портянкой, повязка вся промокла от сукровицы. Пульс нитевидный. В карточке указано: «Осколочное ранение правого бедра с повреждением кости». Ранен 21-го, еще не оперирован.

— Болит нога, солдат?

— Н-нет... уже не болит... отболела. Пить хотя бы дали...

— В перевязочную.

Газовая. И, наверное, уже поздно... Иду дальше, смотрю, раскладываю марки для срочных и первоочередных перевязок. Увы, их уже набирается несколько десятков, а я не прошел еще и половины нижнего этажа. «Брать только срочных».

Позвали в перевязочную: «Уже развязан, идите».

Да, газовая настоящая, классическая, с гангреной. Если бы не эта портянка на стопе, увидели бы раньше... пальцы синие.

Сделали высокую ампутацию. Живой пока. Может, чудо? Бывают же чудеса... Нет, не бывают.

На столах в перевязочной уже лежат обработанные раненые. Вещи их складывают на скамейку, шинели — на вешалку. Асептика — ниже всякой критики. А что делать? Раздевать до белья? Холодно и долго... И все же... Печка уже горит лучше. Но дым, дым, что делать с ним? Глаза у всех слезятся, а работа только началась. Форточки нет, но есть дыра, заткнутая грязным ватником. Открыть? Дует, говорят, холод на дворе — ниже 20 градусов.

Только вышел в коридор — навстречу спешит Рябов, Рябчик.

— Николай Михайлович! Привезли пять машин лежачих. Человек двадцать. Куда?

— Как куда? Тебе же освободили одну комнату в приемной?

— Ее уже заняли... Это уже не первые машины. Есть на втором этаже одна палата... свободная и с бочкой.

Вот тебе и сортировка! Большой дом, а ткнуть некуда. Не в перевязочную же вносить. Нужно скорее бежать наверх, подгонять с освоением новых палат... Как там с печками, с дровами, с дружинницами?

Обхожу еще одну, другую, третью палату. Выбираю уже только срочных, первую очередь даю редко. Все равно сегодня не успеть. С трудом пробираюсь между носилками, чтобы пощупать пульс, посмотреть ногу — нет ли газа.

Что делать? Что делать? Наши силы так ничтожно малы...

Но вот опять бегут из перевязочной, страшно что-нибудь...

— Николай Михайлович! Кровотечение, скорее!

Кровотечение! Именно этого я боялся все полгода войны. К этому готовился, читал про сосуды... Но еще в жизни не перевязал ни одной артерии — рисунки с этими артериями мелькают в голове...

Посреди перевязочной на столе сидит раненый, его держат под мышки, как ребенка, санитар Иван Иванович Игумнов. Голова в уродливой повязке, виден только один глаз, бинты грязные, намочены слюной и кровью, что течет из отверстия, где раньше был рот... Из-под бинтов стекает яркая алая кровь, почти струйкой, и капает частыми каплями на пол...

Тамара разрезает ножницами слипшиеся бинты, а я думаю, что делать. Два способа: зажать кровоточащий сосуд в ране или

перевязать магистральную артерию вне раны, через особый разрез. Первый лучше, но — говорят авторитеты — трудно выполним... Второй — как на рисунке.

Повязка спала... На месте правой щеки сплошная грязная рана — от глаза до шеи. Видны кости — верхняя челюсть, отломок нижней, рана заполнена кровавыми сгустками, из которых пробивается струйка свежей артериальной крови... Правый глаз не закрывается, нижнее веко отвисло, не имеет костной опоры. Левый глаз заплыл отеком. Страшен, непереносим взгляд этого правого незакрывающегося глаза... Отчаяние, и мольба, и безнадежность... Стараюсь не смотреть в него... что-то бормочу:

— Сейчас, дорогой, сейчас...

Сняли повязку — и потекло сильнее. Надо положить, иначе я не справлюсь...

Положили на левый бок, голову еще повернули влево, так, чтобы кровь стекала, не заливалась в дыхательные пути...

— Йод! Перчатки! Новокаин! Белье! Будет больно, ты, парень, потерпи. Сейчас все сделаем.

Верхнее веко страшного глаза благодарно замигало. Обложили стерильной простыней, чтобы соблюсти минимальную чистоту. Темно, лампа светит тускло, дым. «За что мне такое наказание? Лучше бы воевать...»

— Светите лучше! Добудьте еще лампу! Скорее, черти, те-чет...

Боюсь, что в любой момент может хлынуть, и тут же наступит конец...

Нашупал пульс на шее — на участке шеи, оставшемся от раны. Новокаин, разрез. Зажимы. Нужно, чтобы сухо, анатомично... не спешить... только не спешить. Как темно! Вот фасция... кивательная мышца... отодвинуть наружу... или вовнутрь? Так, кажется, на рисунке было? Да, вот сосудистый пучок. Ура! Тут рядом бьется артерия. Рассечь соединительно-тканевые оболочки, вот они лежат — артерия, вена, еще нерв позади должен быть...

Я уже почти успокоился, руки не дрожат больше. Подвел лигатуру под наружную сонную артерию. Вот она! Теперь можно переждать... посмотрим, что будет. Наложил мягкий зажим.

— Тамара, убирай осторожно сгустки из раны.

Это тоже не просто, но убрали, промыли кипяченой водой. Обнажилась страшная зияющая рана. Дефект нижней челюсти, отломки зубов, пораненный язык, щеки нет совсем, верхняя че-

люсть разбита. Все это покрыто грязным налетом — инфекция. Но кровотечения нет.

— Операция окончена. Не бойся, солдат, больше не будет кровотечения.

Взгляд страшного глаза потеплел, затуманился слезой. Да, о глазе этом нужно подумать — наложить наводящий шов на угол раны, чтобы он закрывался, иначе высохнет роговица, потемнеет. Теперь напоить и накормить его.

Ввели через рану резиновый зонд в пищевод и через воронку налили гречневого супа с маслом, потом — почти литр чаю сладкого. Накормили парня — под завязку! На завтра отложили шинирование — очень уж темно с лампами.

В одиннадцать часов вечера пришла вторая бригада, и мы продолжали работать вместе до двух ночи. Очень устали, но пришлось тащиться «домой», потому что в госпитале негде было приткнуться, во всех отапливаемых помещениях лежали раненые.

Так кончился наш первый день работы в Калуге. Парень с ампутированной ногой был пока жив. Но очень слабая надежда, что выживет.

15

27 января мы сменили ночную бригаду в семь утра. Завтрака, конечно, еще не было. Но Чеплюк энергично действовал и обещал накормить раненых к девяти. За ночь привезли сорок человек лежачих. Тихомиров сумел отопить две палаты на втором этаже, и их туда сгрузили. У всех медиков и дружинниц болят глаза от дыма — придется закапывать новокаин. Хотя бы сами не вышли из строя...

В десять утра в перевязочную явился Хаминов. Вид виноватый, обещал все сделать... Он такой, он все может, если опять не запьет...

Снова работали до двух часов ночи. Нет, не работали, а барахтались, пытались что-то организовать, пересортировать, но новые машины с замерзшими, стонущими ранеными все сметали...

Шинировал своего «челюстника». Снова накормили. Научил сестру Шуру Маташкову вводить зонд через рану.

Вечером пришел обоз со всем имуществом. Аптеку еще утром Хаминов привез на машине: «Я из-за нее задержался...» Вот подлец, пытался оправдываться!

За два дня удалось всех раненых поднять с пола — достали кровати, набили соломой матрацы, выдали подушки, одеяла, простыни... Однако раздеть не смогли — холодно. Очень жаль, потому что сразу завшивели постели. Теперь придется все прожаривать, когда разденем.

Активизировались работы по отоплению. Все-таки начальник умеет руководить. Дал зарок не пить...

Кормим уже три раза в день, хотя блюдо одно. Со снабжением плохо — тылы отстали. Начали восстанавливать кухню.

Отопление позволило быстрее освоить новые площади. 3 февраля удалось наконец освободить санпропускник, помыть и переодеть раненых, поступающих из палат. Начали с самых тяжелых. Дело это затянется на несколько дней — очень трудно с лежащими, так как их необходимо перевязывать, а рук не хватает. Идет интенсивный ремонт операционной и перевязочной на втором этаже. Красят масляной краской и остекляют все рамы. Там будут серьезные операции на мозге. Мне немножко завидно.

4 февраля произошло «великое переселение народов»: полная пересортировка раненых по отделениям. «Наших» (с ранеными конечностями) снесли вниз, «грудь, живот и голова» — на второй и третий этажи. Не знаю, где будет легче... «Черепники» лежат без сознания или буйствуют — припадки, судороги, ругань... Впрочем, все ругаются, наши тоже. Удивляюсь, еще мало ругаются.

5 февраля Залкинд торжественно пригласил меня на открытие своей операционной и перевязочной. За старшую у него — Лида Денисенко. Она совсем поправилась и носится как угорелая.

6 февраля железнодорожники наладили прямое сообщение и в очередную «летучку» взяли лежащих раненых. Это очень хорошо, у нас ведь совсем забито — свыше семисот человек тяжелейших лежащих раненых! Только на моем этаже лежит двести восемьдесят шесть человек.

Великий был аврал! На улице холод, нужно всех одеть, закутать, натянуть брюки на шины Дитерихса, подрезая штанины. У многих не оказалось теплых вещей, их где-то добывали на складах — правда, «б/у». Любовь Владимировна, когда отправила последнюю машину, села без сил и чуть не плакала от усталости и... облегчения.

8 февраля дали электрический ток.

— Теперь с вас будет полный спрос! Водопровод, канализация, отопление, электричество, завтра-послезавтра передвиж-

ной рентген получите, — это Аркадий Алексеевич Бочаров сказал, когда увидел наши лампочки.

Спрос спросом, а работа идет по-прежнему тяжело. С восьми утра и до двух часов ночи мы непрерывно перевязываем, оперируем, теперь еще и гипсуем — пока немного...

И эффект от всего этого небольшой. Раненые отяжелевают буквально на глазах. У каждого второго высокая температура, и их уже нельзя отправлять. Их нужно лечить...

Инфекция нас погубит... Раненые ослабленные и замученные, никакой сопротивляемости нет. И мы не можем ее повысить, потому что крови для переливания мало, времени не хватает, и даже накормить толком не можем. Гречневый суп с салом для первого дня был отличным, но витаминов и белков он не заменит...

Крутим эти шины Дитерихса, из ран льет гной, анализы крови плохие... Нужно что-то делать. Но уже работает лаборатория, и Галя — отличный лаборант, очень быстрая.

Газовой инфекции не очень много (если в процентах, если учесть тяжесть), но для нас — вполне достаточно. А тут Аркадий Алексеевич решил, что мы специалисты по этой части (научились на горьком опыте), и приказал развернуть анаэробное отделение на двадцать коек с отдельной перевязочной. Каждый день — три-четыре случая.

Сегодня с Иваном Ивановичем, Канским и нашим кузнецом мудрили над самодельным ЦУГ-аппаратом. На подставке гипсовать плохо, а на весь ПЭП — единственный ЦУГ. Сделали сооружение — на вид неказистое, но удобное.

Уже три недели работаем как проклятые. Каждый день с восьми утра до двух ночи. Если бы раньше сказали, не поверил бы, что такое можно выдержать. И так все. Сестры — те, вообще не знаю, спят ли? Еще создали челюстное отделение. Теперь нам всем легче стало. Кстати, того парня, прооперированного в первый день, они шинировали по-настоящему, не так, как я, и он уже сам научился себе зонд вставлять. Отек спал, левый глаз открылся, он даже пытается что-то говорить, только понять трудно. Одна Шура Маташкова его понимает... Приятно, операция удалась.

18 февраля испытывали новый ЦУГ-аппарат с рентгеном и наложили первый гипс. Ивана Ивановича придется целиком перевести на гипсование.

Плохие результаты при газовой. Половина умирает. Когда прихожу в то отделение, такая тоска нападает...

И в основном отделении — на нижнем этаже — тоже хлопот хватает. Около ста тяжелейших, нетранспортабельных больных с переломами бедра, ранениями коленного сустава.

23 февраля. День Красной Армии — наш военный праздник. Утром сводка хорошая была, поздравления, приказы.

В одиннадцать часов в перевязочную заявилось начальство. Комиссар ПЭП, Хаминов, Медведев. Я в фартуке, руки в гипсе.

— Товарищ военврач третьего ранга! Командование ПЭП награждает вас именными часами за отличную работу во время зимнего наступления.

Вот уж никак не ожидал! Да за что? Что половина газовых умирает, что лежали иногда по три дня без перевязки?

Я сказал: «Спасибо». Меня поправили:

— «Служу Советскому Союзу!» нужно говорить... Ну, мы пошли, работайте... До свидания!

После этого все разглядывали новые часы. Хорошие карманные часы. Первого часового завода, на шестнадцати камнях, с надписью... И кстати: прежние мои уже совсем плохо ходят.

Приятно... Если бы еще раненые не умирали да фронт сдвигался, совсем жить можно было бы...

16

В двенадцать в перевязочную привезли высокого парня, белокурого, широколицего, курносого. Фанерная шина на левом предплечье. Усадили. Развязали. Он морщился от боли и упрашивал делать осторожно.

Смотрю. Есть причина болеть. Слепое осколочное ранение предплечья с повреждением кости. Сильный отек, кожа лоснится, даже пузырь в одном месте. Газовая. Несомненно. Но процесс еще не пошел выше локтя. Значит, это пока не очень опасно. Разрезы должны помочь, а уж ампутация — наверняка спасет.

Расспросили: ветеринарный фельдшер, ранен два дня назад, обработку раны не сделали из-за загрузки медсанбата. Потом эвакуация подвернулась, упросил. Ехали почти сутки из-за заносов.

Подумалось: «Хороший парень... Эйфория у него, возбужден, говорит много...» Посмотрел температуру на карточке — 39,7°! Пульс очень частый, но хорошего наполнения.

— Сейчас сделаем тебе операцию... Не бойся, пока разрезы, не ампутацию... Тамара! Наркоз.

— Тамара за кровью уехала на станцию, сейчас Аня освободится.

Аня не очень опытна. Здесь нужно хорошо распрепарировать мышцы предплечья. А что, если сделать проводниковую анестезию — новокаин в нервы плечевого сплетения? Полное обезболивание на час или больше, делай что угодно с рукой — и никаких осложнений. Пробовал ведь эту анестезию в Череповце раз пять.

Усадил его, как полагается по методике, с оттянутой вниз и назад рукой, повернул голову вправо и попросил Аню постоять около, зафиксировать положение. Шприц готов. Перчатки, йод, длинная игла... Вколол ее в надключичной ямке. Немного новокаина, иглу глубже, дотянул поршень обратно — нет ни воздуха, ни крови, значит, ни в сосуд, ни в легкое не попал. Все три наши врача стоят вокруг: интересно — новая методика.

Ввожу два кубика. Еще раз проверяем на воздух и кровь. Подождал секунд двадцать.

— Еще три кубика... нужно осторожно...

И вдруг вижу, парень начинает валиться.

— Держите его!

Вынул иглу, подхватил уже совсем расслабленного. Лида — руку на пульс.

— Пульса нет!

— Кладите на стол скорее! Иван Иванович!

Иван Иванович подбежал, схватил, как маленького, и положил на стол... Я тоже за пульс — нет! Дыхание — редкие отдельные вздохи.

— Кофеин! Искусственное дыхание! Да я сам...

Начал делать искусственное дыхание: руки — за голову, на живот, снова за голову, на живот...

— Обнажайте вену в паховой области. Скорее, Лида, без асептики... скорее, он же умирает!

На секунду приник ухом к груди. Не слышу, ничего не слышу...

В этот момент вошел Бочаров. С ходу включился, быстро обнажил артерию на бедре; начали нагнетать кровь, одну ампулу, другую... Потом Бочаров послушал трубкой сердце и выпрямился.

— Прекратите. Он мертв.

Все замерли. Стало совершенно тихо. Бочаров пошел к двери, бросил на ходу:

— Потом расскажете... не сейчас...

Вот и все. Лежит мертвый человек на столе, руки вяло свесились. Уже не нужно операции, не нужно анестезии. Убил человека...

Но я же... хотел спасти. «Мало ли что хотел... Под другим наркозом — был бы жив». Если бы не умер от газовой... «От такой ограниченной — не умер бы, ты знаешь». Знаю. «И вообще: каков твой актив? Раны заживают сами собой. Природа. А ты только суетишься около. Многих ли ты реально спас?»

— Я, наверное, пойду пройдуся. Вы начинайте перевязки.

В коридоре стоит шкаф с нашей одеждой. Пойду надену валенки.

«Нужно с этим кончать. Нельзя убивать людей. Защитников... нет, вообще людей».

Около стола — большая коробочка с ампулами морфия. Она открыта, потому что часто используем. И шприцы в антисептическом растворе тут же. Заслонился спиной от всех, взял горсть ампул, сунул в карман, взял шприц. Боюсь, что кто-нибудь заметил. Хотя они все отводят от меня глаза, им неловко на меня смотреть, как на преступника...

Вышел в коридор, переобулся в валенки. Лида вышла за мной.

— Только не утешать!

— Ты что-то взял. Покажи!

— Ничего не брал. Отстань от меня...

Перепрятать ампулы. Суну их в валенок, там портянки, не провалятся. И шприц.

— Ничего у меня нет.

Вот она, оказывается, какая улица днем! Я, кажется, ее не видел очень давно. На работу — темно, с работы — ночь, обедать — спустился в подвал, там окна заделаны фанерой в рост человека.

Чудный день... Мороз, а солнце уже весеннее. Ребятишки на санках катаются, как и раньше. Давно не видел ребятишек, с Егорьевска... Когда приехали в Калугу, их не было.

Хватит умиляться!

Зашел в ближайший двор. Пусто. Снял валенок...

Все-таки часть ампул провалилась за портянки и разбилась. Осталось... раз, два, три... всего восемь... Мало! Вернуться?

Взять еще? Боюсь, что уже и так Лида сейчас у начальника... Задержат. Введу эти... «Мало, не умрешь. Струсил!» Жалобно оправдываюсь: нет, не струсил, но видишь, невозможно больше достать... А отложить — потом не смогу. «Вводи!» По крайней мере, хоть усну... Высплюсь...

Отламываю кончики у ампул одну за другой, набираю через иголку в шприц. Семь с половиной кубиков. Нет, не умру... «Обрадовался, жалкий трус!»

Укол... Ввел под кожу, желвак растер. Теперь скорее бежать домой, пока морфий не успел подействовать. Свалюсь дорогой... А так дома — спит, мол, устал...

...Как интересно выглядит этот немецкий вездеход днем, при солнце. Масса железа. Смотри, труб из окон уже гораздо меньше. Людей много ходит. Сейчас тепло, около нуля. Женщины сняли свои шали. Но самое главное — ребятишки. Школы уже работают, где-нибудь ютятся в бывших конторах.

Вот наш дом. Хозяйка открыла, удивилась:

— Что-нибудь случилось, Николай Михайлович?

— Нет, ничего.

Действительно ничего. Ничего пока не чувствую. Даже спать не хочется. Видится все та же картина. Вот он выходит. Усаживается. Развязывает бинты, фанерку сняли. Салфетки пропитались кровью и присохли... Сняли и салфетки. Рана, отек. «Тамара, наркоз...» Если бы ты не ушла, Тамара. Чувствую под пальцами левой руки его ключицу, выбираю место для укола иголкой. Чувствую, как давлю на поршень шприца пальцами правой руки... Вот... вот ослабел, валится...

Снимаю валенки и ложусь, не раздеваясь. Только воротник расстегнуть. Ноги прикрыть той самой старой шалью, что в первый день дала Александра Степановна. Возможно, кто придет, — нелепо торчат босые ноги... Да еще не очень чистые... В бане не был неделю... Или больше? «Уже представляешь: приходят, утешают... Позёр!» Но что же мне делать?

Закрываю глаза. Снова крутится этот фильм... Ага, все начинает мешаться... Уснуть, просто уснуть, не надо снов... Хватит мне всего этого, хватит!

Просыпаюсь: уже темные окна. В соседней комнате горит слабый свет. На кровати кто-то сидит...

Кто это?

— Это я, успокойся, я, Бочаров.

— А мне показалось... Простите.

— Молод ты, Никола, горяч. Это хорошо. Не терплю прохладных людей. Нет, не рассказывай, не говори... Всё уже рассказали... Не знаю, отчего умер. Только одно: бывает же паразитальная непереносимость новокаина... И смерти такие вот... ужасные... бывают у каждого хирурга. Ты должен быть готов к этому... И еще будут, не спастись.

Он говорил тихо, как убаюкивал. Голова была тяжелая, но все ясно воспринималось. И как-то равнодушно... как чужое. Он рассказывал о всяких ужасных случаях. И у него были. Ни в одной профессии не бывает такой очевидной виноватости врача в смерти пациента, как у хирургов.

— Одна крупная артистка располнела. Для нее это было ужасно... Представляешь, на сцене — толстая Джильда или Татьяна? Кроме того, мужа сменила, очень нужна фигура... Пришли они к Сергею Сергеевичу Юдину. Он любит артистов... «Пожалуйста, можно жир с живота удалить? Незаметный поперечный рубчик в складке кожи». Назначил день — пришла прямо в операционный корпус. Поразговаривал, посмеялся. На стол. Спинномозговая анестезия. Укол сидя. Только ввел иглу — повалилась, вот как у тебя сегодня... И все. Муж внизу ждет, цветы уже принес для нее. Сколько Юдин сделал таких анестезий до этого? Тысячи! Причину не нашли... Он уехал на охоту. Всегда уезжает на охоту, когда больные умирают... «Не полосит», — говорит он в таких случаях.

— А мне сплошь «не полосит»... Куда же деться?

— Ничего. Ты хорошо работаешь, поверь, я знаю. Я много хирургов вижу. Просто ты вымотался за этот месяц. Нервы сдали. Нужно немножко побольше спать. На часок хотя бы.

Меня стало тошнить. Что-то обеспокоило Аркадия Алексеевича.

— Поедем ко мне... у меня переночуешь...

И увез к себе. На дрожжах, они у крыльца ожидали... Зачем-то промывал мне желудок. Я давился от толстого зонда, не мог проглотить.

Уснул на его кровати. Спокойно уснул, как праведник.

На следующее утро мы пошли с Бочаровым на вскрытие. Патологоанатом Туров был серьезен и аккуратен.

— Да, газовая. На сосудах — артерии и вене — нет следов прокола. Значит, в кровь не попало. Плевра тоже цела. Значит, только повышенная чувствительность к новокаину. Но слишком уж быстро умер...

Залкинд заболел, и я временно руковожу обоими отделениями. Приходится заниматься нейрохирургией, с которой я был совершенно не знаком. Аркадий Алексеевич приходит каждый день, смотрит больных и даже оперирует. Я ассистировал ему три раза и теперь тоже «делаю черепа». Все раненые проходят рентген, их смотрит глазник и невропатолог Вайнштейн. Тоже есть свои проблемы, но мне они кажутся намного проще наших — «бедер» и «коленок»... Взгляд на «черепников» другой: повреждение мозга, человек без сознания, умер — значит, было тяжелое ранение, можно списать на войну. А у нас: подумаешь, в ногу ранен — почему бы ему умирать? В действительности совсем не так: мозг удивительно устойчивый орган. Даже инфекция не бывает такой злой, как в животе, груди или суставах. Есть, разумеется, менингиты и энцефалиты, но не так уж фатально часто...

А в нашем отделении умирают...

Идет март.

Да, у нас электричество и водопровод работают бесперебойно, да, рентген, да, лаборатория, лечебная гимнастика, физиотерапия. Вши — уже чепе. Кормят отлично. Истории болезни с дневниками и эпикризом.

А кризис нарастает. Поток раненых не только не ослаб, усилился. Хотя фронт, кажется, стоит. Мы работаем планомерно и упорно. Рабочий день покороче февральского — от восьми до полуночи, продуктивность — много выше. Делаем перевязки, операции и гипсуем. Всех гипсуем. Хотя я совсем не в восторге от этого чуда военной хирургии...

«Коленки», ранения коленного сустава — вот что мучает нас неимоверно. Установка юдинцев: при появлении гноя вскрыть сустав, наложить гипс — и порядок!

Черта с два! Раненого продолжает лихорадить, он худеет, истощается, развивается сепсис. Тяжелейший сепсис через две — четыре недели. Если ногу не успеть ампутировать — смерть.

— Разве так можно, Аркадий Алексеевич?! Где же хваленый эффект? Нет этого эффекта. Миф!

Он молчит. Конечно, раненые тяжелые, измученные холодами и бессонными ночами... Но нельзя же так!

Сказал ему, что буду искать свой метод. Он промолчал, но в отделение к нам перестал ходить. Обиделся.

Неотступно думаю о «коленках». Гнойный процесс в суставе не может остановиться до тех пор, пока есть полость сустава. А она не зарастет, пока инфекция не разрушит хрящи и внутреннюю оболочку. До этого разовьется сепсис. Гипс не может помочь. Нужно удалить полость сустава. Хрящи и оболочки.

Так была поставлена задача.

А Бочаров не приходит. Деликатный. Мог бы прийти и выругать меня — по старшинству, по дружбе, наконец... Считаю его не только учителем, но и другом. После того дня...

Я придумал новую операцию — вариант экономной резекции коленного сустава с сохранением связок. Пошел к Турову в морг и прорепетировал на трупе. 22 марта сделал эту операцию. Может, она совсем не новая — слишком очевидное дело, но мне наплевать на приоритет — лишь бы был толк! Теперь наблюдаем за парнем. Если этот Сашка помрет, уйду из госпиталя. Куда угодно. Уйду в медсанбат или в полк.

Аркадий Алексеевич пришел через два дня после операции. Сашка Билибин уже явно не умирает, но температура высокая, радоваться еще рано. Конечно, я рассказал все, что было за две недели его отсутствия. Он был смущен, и я чувствую, хотелось ему меня отругать и запретить... Но тем-то он и прелесть, что выше этих чувств. Мы пошли в палату, он осмотрел Сашку, потом вернулись, снова перетрясли цифры по «коленкам»... И лишь потом Аркадий Алексеевич сказал:

— Ну, что же... Продолжайте.

Закончился март.

Сашка еще продолжает температурить, гипс сильно промок, но состояние — тьфу-тьфу, вполне удовлетворительное. Ест хорошо, это главное.

Сделал еще девять таких резекций. Одну из них наблюдал Бочаров — и все одобрил.

Я уже торжествовал — проблема колена решена! Но вот пожалуйста: смерть. Прооперировали очень слабого, и он умер в первую ночь. Не перенес. Значит, для таких тяжело. Только ампутация может спасти.

А над старыми, загипсованными ранеными сепсис висит страшной угрозой. Бесконечно спорим с Аркадием Алексеевичем на эту тему. Раз нет уверенности — перекладываем гипсовые повязки, вырезаем окна, ревизуем раны...

Основная работа лежит на Иване Ивановиче Игумнове, главном гипсовальщике и главном санитаре. Золотой человек!

Мы остановились на отдых. Пришел приказ эвакуировать всех транспортабельных и не загружать госпиталь. Что это означает, никто не знает. Думаем, что наступление.

За несколько дней отправили почти всю свою «старую гвардию». У нас есть успехи — выздоравливающие после резекций суставов. Некоторые уже ходят...

«Бедра» — хуже. Уверенности в них нет. Не поручусь, что останутся с ногами, если в тылу не найдутся более умные доктора, чем мы...

Ампутантов провожали — из газовой палаты и других, после сепсиса. Многие уже ходят на костылях... Оделись в свое обмундирование, но штанины подколоты булавками.

Вывели вечером раненых в эвакуотделение — там они должны ожидать в полной готовности на постелях, уже одетые. И тихого мужчину, Семена С., двадцати девяти лет, с ампутированной из-за сепсиса ногой, тоже вынесли. Он говорил сестре в палате: «Не поминай меня плохо, Саша». С врачом простился, благодарил за операцию. Только странно как-то прощался, как потом вспоминали. Вечером поздно, когда потушили свет, закрылся одеялом и полоснул себя ножом по горлу... Соседи по кровати услышали странное клокотание, не поняли сначала. Пока свет зажгли, пока кричали, вызывали врача — в перевязочную уже бесполезно было нести...

Письмо нашли от жены: «...Прости меня, не могу с безногим...»

Это мы виноваты, я виноват в такой смерти. Неужели нельзя спасти конечности раненым в бедро и колено, кроме тех, что с газовой?

Просто мы не умеем. И не нужно прятаться за авторитеты, нужно думать самому...

«В последний час»: «Три дня назад наши войска прорвали оборону в районе Волчанска и Краснограда. Продвинулись от 20 до 50 километров. Действуют массы танков, большие трофеи...»

Занимаюсь подведением итогов зимней боевой операции.

18 июня была научная конференция врачей ПЭП, и мне поручили доклад о лечении ранений коленного сустава. Первый научный доклад в моей жизни! Были представлены все данные — статистика, графики, рентгенограммы, рисунки моей операции. Говорил два часа, горячо говорил и... не уложился. Но

выдержали все, не разбежались. Потом были прения, и мне изрядно всыпали. Больше всего попало за незнание авторитетов.

В ту зиму я сделал попытку вступить в «ряды ВКП(б)». Когда зимой погнали немцев и даже забрезжила победа, я зауважал партию. Это-таки сила, если из такого положения сумела повернуть вспять. Даже Сталину можно простить грехи... Кто не грешен?

Комиссар Медведев с восторгом принял мою инициативу и быстро провел через ячейку. После этого раза два меня приглашали на собрания. Потом, слышу, объявлено, а мне не говорят. Я жду... Так и прошло несколько месяцев. Сижу, не напоминаю — зачем проявлять нетерпение? Если они — партия — передумали, значит, и я без них обойдусь.

Но в мае Медведев пригласил. Объяснил задержку: не утвердили в высших инстанциях, потому что поручители должны знать новенького шесть месяцев, когда часть стоит в тылу. Теперь время подошло, и мне следовало снова подать заявление...

Я отказался: «Передумал». Действительно — так и было. Восторг от победы прошел: фронт остановился. Плюс к этому узнал, что «особый отдел» шпионит за ранеными. Снова вспомнил грехи коммунистов и вождя. «Пошли вы к черту».

Так и остался в беспартийных на всю жизнь.

19

ППГ-2266 лихорадит.

Комиссара и Тихомирова снимают, отправляют в резерв фронта. Хаминава отдали под суд. Перед отъездом Медведев зашел ко мне.

— Ну, будь здоров, Николай Михайлович! Едва ли теперь увидимся. Если что не так было, извини... Всегда хотел как лучше. Только о деле беспокоился. Хоть и недосмотрел за начальником... Выполню свой долг перед Родиной. Там я, может, нужнее...

Я твердо знаю: выполнит.

Хаминава судили военным судом, хотя не арестовали. Рассказывают, что обвинили в растрате, вспомнили и пьянство во время переезда в Калугу. Приговор был суровый: десять лет... Но потом заменили отправкой в полк.

Уезжал он на вокзал вечером. Пьяный, со слезами лез ко всем целоваться. С трудом забрался в пролетку, а там вдруг вы-

прямылся и снова стал важным и значительным, каким мы его знали в походе.

Лиза уехала в Череповец, домой. Ее комиссовали из-за обострения ревматизма. Зоя выходит замуж за какого-то командира и уезжает к нему в часть. И когда она сумела при такой работе? Но факт... Тамару тоже демобилизуют по состоянию здоровья — надорвалась за зиму... Интенданты сменились. Повозочные — раньше всех. Скоро из старожилов останутся только Чеплюк, Канский, я, Лидия Яковлевна да, пожалуй, белозерские лошади. Все другие пришли позднее.

В начале марта — пополнение, много новых сестер из Москвы, сразу после курсов. Хорошие девушки, хотя ничего толком не умели делать. Быстро научились. Особенно отличились Катя Яковлева, Аня Сучкова, Тася.

У аптекарши новый заместитель — Зинаида Николаевна Фурсова, Зиночка. Москвичка, низенькая, толстовата, очень принципиальная и нам нравится. В нашем отделении новый врач — Нина Николаевна. И самое главное, все начальство новое. Комиссар — майор Казаков, высокий, плотный, лет сорока пяти. Раньше был политруком в одном крупном московском госпитале и оттуда хочет перенести все порядки. Будет налегать на дисциплину, на занятия и всякую формалистику.

Ох уж эти занятия... Понятно, что они нужны, для дисциплины нужны, но разве легче от этого? Особенно противна СХЗ — санхимзащита. Газы, иприты висят над нашими головами с начала войны. Еще установили строевую подготовку для сестер и санитаров. Девчонки просто возненавидели майора. И больше всего за вечерние проверки. Когда было работы много, никто не проверял. Да и какая в том нужда была — работали ведь почти по двадцать часов. А сейчас дело другое. Во-первых, появилось кое-какое свободное время. Во-вторых, офицеров в Калуге немало. А девчонки — всегда девчонки, даже на войне.

С новым начальником госпиталя дело проще. Конечно, он не Хаминов. Но зато мягкий, интеллигентный. Военврач третьего ранга Леонов — прекрасный глазник, москвич. Должностью тяготится, но отказаться, по слабости, не смог.

Еще у нас и новый начальник АХЧ — вместо Тихомирова. Молодой техник-строитель Макеев.

...Я чувствую, что вчерне мы сладили с коленными суставами. На очереди — «бедра». Ампутация среди тех, кого мы лечи-

ли гипсами зимой и весной, 12 процентов, смертность — 8 процентов.

По этому поводу снова состоялся разговор с Бочаровым. Сказал ему:

— Гипс — это миф. Годится только для транспорта. Нужно лечить вытяжением, как в мирное время, если раненый все равно нетранспортабелен.

Бочаров рассердился. Ссылался на Юдина, долго спорили, но я получил разрешение попробовать лечить переломы бедра вытяжением.

Приготовились: достали шины, спицы, дрели, скобы... Я ведь был пару месяцев в травматологии, правда, еще аспирантом. Механика эта нехитрая, вытяжения. Случай предоставился скоро.

В июле привезли партию раненых. Среди них было несколько человек с высокими переломами бедра, очень тяжелые. По старым представлениям, не миновать ампутации... Мы наладили пятерым скелетное вытяжение на шинах Бэлера. Солдаты сразу прозвали их «зенитками» — вверх и в сторону торчали выступы шины с грузом.

Через пять-семь дней раненые были неузнаваемы. Температура снизилась, самочувствие стало просто хорошим, хотя раны гноились.

Аркадий Алексеевич все внимательно просмотрел и сказал:

— Да. Убедительно. Но пока — мало. Продолжайте.

Я торжествовал. Нет, ликовал!

Не потому, что я придумал новое. Все это давно известно. Просто почувствовал, что теперь можем лечить «бедра», раненые не будут больше умирать. Не стыдно будет смотреть им в глаза!

Наконец пришла зрелость в лечении ранений конечностей. Теперь мы готовы к наступлению.

Но наступления не было. Хуже того: на юге наши войска отступали... Немцы подошли к Воронежу, форсировали Дон и двинулись к Волге и на Кавказ.

Комиссар приказал собрать всех командиров: читали приказ Сталина. Приказ № 227.

Ничего подобного мы никогда не слышали. Текст не запомнился, но содержание осталось в памяти навсегда: объявить решительную борьбу трусам, паникерам, нарушителям дисциплины. Осудить настроения тех, кто считает, что наша страна велика, что можно еще отступить. Командный и политический со-

став обязан обеспечить резкий перелом в военных действиях. «Ни шагу назад!»

Все расходились потрясенные и подавленные. Про себя я думал: все правильно. Уже доказали, что можем воевать, значит, должны! Кто-то не умеет делать свое дело, так же как мы не умели лечить коленные суставы и бедра. Нас бы тоже стоило взгреть — за беспорядки, за результаты...

18 августа меня срочно вызвали в госпиталь: новый поток раненых.

У нас было все готово. Два огромных ящика гипсовых бинтов заготовил Иван Иванович. Сестры накрутили несколько мешков шариков и салфеток. Мы не боялись никакой работы.

«И грянул бой...» В сводках что-то скупое сообщалось о сражениях под Ржевом.

Раненых — масса. 19 августа в Калугу пришло девятнадцать «летучек», свыше четырех тысяч раненых, к нам в госпиталь — больше четырехсот.

Но мы работали как часы. Всех раненых мыли, переодевали в чистое, все лежали на матрацах с простынями, три раза в день горячая пища... Всех перевязывали и оперировали в день поступления. Причем работали только до полуночи. Конечно, всех раненых эвакуировали в гипсах.

Так продолжалось дней десять. Потом еще недели две поступало по десять — пятнадцать человек в день.

К концу массового наступления раненых у нас было почти триста человек: сорок пять — на вытяжении, сорок шесть — в высоких гипсовых повязках, главным образом с ранениями суставов. Еще человек пятнадцать ампутантов — самые разные — ожидали эвакуации. Задерживать транспортабельных по-прежнему не разрешают. Мы их скоро и отправили. Оставили человек сто раненых, которых должны были серьезно лечить.

20

В Москве проходила фронтовая конференция хирургов. Бочаров взял меня с собой. Доклады впечатления не произвели, но зато мы побывали в Институте Склифосовского и даже у самого Сергея Сергеевича Юдина! Попили чаю, он подарил мне книгу и надписал: «Доктору Н. М. Амосову, с приветом. Юдин».

Видел целый ряд раненых в бедро, все в гипсах. Внушительно, но не убедили, потому что всех раненых подолгу лихорадило...

Аркадия Алексеевича назначили главным хирургом 5-й армии.
— Хочу поработать в войсковом районе, Никола. От них, от медсанбата зависит все дальнейшее.

— Меня возьмите...

— Уже пробовал — не удается...

Очень жаль. Я не могу сказать, что он мой учитель. Нет ученического поклонения, «потолок» его, чувствую, не такой уж недосыгаемый, можем и осилить... Я люблю его как старшего брата, который всегда готов подумать с тобой вместе, дать совет, если может, погоревать и порадоваться...

Жалко расставаться...

Решил написать диссертацию. Чем я хуже других? Не стал бы об этом думать, если бы немцев не остановили. Но, похоже, они накрепко завязли в Сталинграде и не могут перелезть за Волгу.

Вот только не знаю, как писать. Ни одной не видел и некого спросить. Тема: «коленки», то есть «Хирургическое лечение эмпием коленного сустава после ранений». Результаты последнего периода — считаем с августа — отличные. Кроме того, своя методика операции. Уже приглядел переплетенную конторскую книгу, страниц на двести...

23 ноября! Победа! Грандиозное наступление наших войск под Сталинградом. Ударили с севера и юга, прорвали оборону, гонят немцев, соединились, окружили. Такого еще не было: окружено свыше трехсот тысяч немцев.

Лида сделала статистику по «бедрам». Выделили два периода: январь — июль, когда были только гипсы, и август — ноябрь, когда стали использовать вытяжения. Вот результаты: за первый период смертность составила 8 процентов, а за второй — только полпроцента. Ни одной смерти от сепсиса! Написал письмо Бочарову.

Пришел приказ: свернуть ППГ-2266, ввести в штатные нормативы и приготовить к отправке на фронт.

Снова новый начальник. Военврач третьего ранга Сафонов. Высок, толст, лицо бесформенное. Кадровый, но ни малейшего военного доска.

Зато с нами остается майор, наш комиссар.

А вот Ивана Ивановича Игумнова забрали, это хуже. Ходил в ПЭП, просил, умолял — не дали. Сказали: вам там нечего будет гипсовать, а здесь он нужен. Дали другого — инвалида Бессонова.

Канский — с нами. И Быкова, и Лида Денисенко, и Маша

Полетова, и Зиночка. Залкинд формально числится ведущим хирургом. С ним — одна врачиха Надя, помощница.

Нам дали машину — «ЗИС-5». Конную тягу тоже сохранили, все двадцать две повозки. Все штатное имущество погрузили и сверх того еще многое сумели захватить: белье, медикаменты.

Встретили Новый год. Второй военный год... Устроили маленькую вечеринку с патефоном для медицинского и командного состава.

Ездил в Москву: сдал кандидатские экзамены и представил диссертацию к защите... Да-да, в 1-й Московский медицинский институт, не куда-нибудь. Секретарша поморщилась, увидев мою конторскую книгу, исписанную фиолетовыми чернилами: «Я еще не видела такой диссертации... Неужели нельзя на машинке?» Упросил: «С фронта!» В Москве слышал по радио: наши прорвали блокаду Ленинграда.

21

ППГ-2266 снова едет на фронт в воинском эшелоне. Уже добрались до Мичуринска, думали, едем в Харьков. И вдруг — крутой поворот на запад, на Орел.

Весь наш путь идет по освобожденной территории. Сутками стоим на разрушенных замерзших станциях со взорванными водонапорными башнями и сожженными вокзальчиками. Где-нибудь в землянке или в заиндевевшем вагоне сидит небритый телеграфист, к которому бегаем узнавать сводку.

О завершении Сталинградской битвы узнали морозным утром, когда остановились в поле перед Ельцом. Ждали, надоело, вылезли из вагонов. Очень красивое утро. Рядом по шоссейной дороге ехали машины. Одна остановилась, из кабины выглянул молоденький командир и прокричал:

— Под Сталинградом порядок! Немцы разгромлены! Паулюс в плену!

Все закричали:

— Ура! Ура!

Утром 6 февраля наконец остановились. Станция — Русский Брод.

— Выгрузаться!

Мороз 20 градусов. Прямо на земле вдоль путей разложено добро: ящики со снарядами, бочки с селедкой и солониной, мешки с пшеницей. Дальше поселок: на голых холмах жалкие

кучки обшарпанных домиков, между ними машины и снова штабеля грузов. Гражданских лиц не видно. Население эвакуировано. В отдалении — зенитки.

С полчаса толкали наши вагоны, пока нашли местечко, где выгрузиться. Прибежал комендант:

— Сбрасывайте, сбрасывайте как попало! Потом разберетесь, пути нужны!

На санитарной машине подъехал командир в белом полушубке, представился:

— Начальник армейского ПЭП — Хитеев.

Потом оглядел критически наши вещи и начал хохотать:

— А пианино вы не привезли?

На снегу нелепо торчали два больших платяных шкафа, письменный стол, на нем настольная лампа.

Майор защищался:

— Все нужные вещи, товарищ начальник.

— Ну-ну. Дело ваше. Слушайте приказ. Наступление началось. Потери большие. Сегодня же развернуться и принять раненых. Сегодня же! Все. Выполняйте.

Сел в кабину и уехал.

Скоро приехали из санотдела четыре санитарные полуторки, с ними — капитан.

— Складывайте все быстро! Я повезу вас в только что освобожденную деревню, надо сменить медсанбат.

Побросали в машины, что поближе лежало, сестры и врачи забрались наверх, поехали. Капитан успокоил:

— Всего восемнадцать километров. Мигом домчим — и обратно. Все заберем.

Мигом не домчали, потому что дороги товарищ не знал. Начал смеркаться, когда подъехали к назначенному пункту — в село Покровское...

Тут мы увидели передовую. Нет, тыл, конечно, но — дивизии. Передовая для солдата — это его окопчик. Для госпиталя — пятнадцать километров от него. Такова психология.

Покровское было полностью сожжено немцами, остались полуразрушенная церковь и школа. В них ютился медсанбат, мы видели, как подходят машины с ранеными, их выгружают и ставят носилки прямо на снег.

Затурканный начальник медсанбата сказал, что километрах в трех есть деревня Угольная, сплошь забитая ранеными их дивизии, они лежат там совсем без помощи...

Подъезжали к Угольной уже при свете луны. Видны домишки, разбросанные в беспорядке между голыми огромными деревьями. Много разрушенных, остались лишь печки, припорошенные снегом, и черные трубы.

Машины стали у крайних домов. Холодно, накурено и тесно. На полу, на лавках, на печке лежат раненые...

Около полупустой хаты выгрузились. Улеглись прямо на полу, не поев. Было одиннадцать часов вечера...

Встал, когда чуть обозначилось серое окно. Растолкал начальника АХЧ, и пошли на разведку.

В деревне домов сто, разбросанных в радиусе полутора-двух километров. Третья часть их разрушена или сожжена. Между домами — окопы, наполовину засыпанные снегом. Здесь был передний край нашей обороны. В центре деревни школа, но от нее остались только стены и крыша.

Почти все надворные постройки в домах уже разобраны на топливо, и дрова станут большой проблемой. Пустых домов, пригодных для жилья, нет. Большая часть занята ранеными, в других — разные службы тылов дивизии.

Но раненых нужно принимать, и наше первое дело — развернуть перевязочную. Наконец нашли избу, из которой только что уехали постояльцы. На себе приволокли минимум вещей и поставили два стола — стерильный, для инструментов, и операционный. Канский установил в сенцах автоклав, и часам к трем операционная-перевязочная была готова.

Мы с Залкиндою поделили деревню на две части, поделили персонал и к полудню уже приняли раненых. Приняли — это значит, что старшие и младшие сестры обошли «свои» территории и сосчитали «по головам». Триста двадцать человек в двадцати восьми хатах. Прежде всего их нужно накормить. Чеплюк установил котел, разобрал сарай и сварил кашу, но как ее раздать? Посуда была еще на станции... Начали разносить в котелках, ведрах.

Как здесь не хватает людей... В Калуге мы мобилизовали дружинниц, а здесь население было эвакуировано. Санитаров у нас всего восемнадцать, половина еще не пришла с обозом, остальные заняты на заготовке дров.

К полудню поднялась метель и замела проселок, который сворачивал к Угольной с наезженного большака. Машина пройти уже не могла, только лошади. Обоз долго искал дорогу и подошел лишь ночью.

До темноты я сумел заглянуть в соседние с перевязочной дома — картина была невеселая. Всех раненых нужно было оперировать, потому что они лежали в первичных повязках, которые им наложили в полковых пунктах.

В первый день мы оперировали четверых. В полночь работу закончили, потому что дальше упорствовать было бессмысленно — в темноте выбрать нуждающихся в срочных операциях невозможно.

Все врачи и перевязочные сестры улеглись прямо на полу в закутке. Было очень холодно.

Мы с Залкиндом договорились так: один работает в перевязочной, другой занимается организацией и обходами.

С самого утра начали поступать новые раненые. Тяжелых везли на лошадях прямо из полков, а ходячие шли пешком. Я пытался организовать что-то вроде сортировки — освободили одну большую избу. Но... через час она была полна.

Важнейшая задача — перевязочная. Ни одного подходящего дома. Нужна большая палатка с бочкой вместо печки. С трудом натянули ее: колья не шли в замерзшую землю, пришлось вмораживать в лед.

Только вечером растопили печь в новой перевязочной и вернули семь столов.

Кроме перевязочной организовали «летучку»: Лидия Яковлевна с Машей и с санитаром, нагруженные биксами, шинами и бинтами, ходили из дома в дом и перевязывали раненых на месте.

Хозяйственники уже сумели обеспечить водой, три раза готовили горячее, в каждый дом завезли немного дров. Печь топили сами раненые. Страшно, вдруг где-нибудь вспыхнет пожар. Но другого выхода не было, один санитар на три — пять домов. Конечно, он дежурил бессменно и спал с ранеными. Только палатные сестры имели «базу» — одну небольшую хату. Но некоторые так и сваливались на своих «объектах».

22

10 февраля — мой день работы в палатах и руководства «летучкой».

Вхожу в хату прямо с улицы, так как сени разрушены. Клубы морозного воздуха, полумрак после яркого дня. Окрик:

— Двери закрывай!

Закрываю. Рассеивается туман, привыкают глаза. Оконце маленькое, наполовину закрыто снаружи для тепла соломой. Народ настроен сердито, но быстро смягчаются, когда посмотришь, поговоришь. Просят перевязки, эвакуации и только потом — еды.

Смотрю каждого: проверяю карточку, обработку раны, повязку, ощупываю ткани, нет ли отека или газа. Сестра измеряет температуру, поправляет повязки.

Не успел обойти и трех хат, как вбегает Бессонич из перевязочной:

— Николай Михайлович! Начальство требует...

Всех застаю в перевязочной. Начальник, майор, Залкинд и новый военврач второго ранга. Инспектор-хирург ПЭП Лысак — невысок, плотен, круглолиц, усищи как у Буденного. Шумит:

— Что вы тут устроили?! Разве это госпиталь? Почему нет сортировки? Что это за перевязки по хатам? Почему раненые лежат на полу? Почему в шинелях в перевязочной?

В общем, он прав. Только, если по-честному, я не вижу возможности что-то быстро исправить... И все-таки чем-то усач мне нравится. Поругался и быстро остыл.

— Давайте планировать... Ничего не обещаю... Самим нужно выкручиваться... Вам нужны два отделения. Одно — приемно-сортировочное, там будете лечить тех, кто легко ранен. Другое — главное, госпитальное. Перевязки по хатам запрещая! Асептику наладить! Раздевать... Нары... Об эвакуации в Русский Брод беспокойтесь сами. Машины к вам не дойдут.

Пауза. Плохо дело, чувствую.

— Ну, кто из вас будет заведовать сортировочным отделением? Вы, наверное, доктор? Как более молодой...

Так и знал. Возразить нечего. Но работа эта не по мне. Я тут же попросил перевести меня в медсанбат, но он отказал.

Ушли. Я продолжал обход. Нужно думать о новой организации. Планирую: поставим большую палатку для сортировки и к ней — «тамбур в тамбур» — маленькую: для перевязочной. Если бы еще баню к ним... Но нет, пока нереально.

Начальство планы утвердило, и вечером поставили палатку с надписью: «Приемно-сортировочная».

Теперь есть некоторый порядок: всех прибывающих раненых принимаем в большую палатку, записываем в книгу поступлений. Я или Лида смотрим их. Заведомо тяжелых — отправляем

к Залкинду без перевязки, других, полегче, перевязываем и даже раны рассекаем.

К 15 февраля в госпитале было восемьсот раненых. На скорую руку восстановили школу. Больше расширяться некуда. А эвакуации все нет и пока не предвидится.

После 16 февраля поступление раненых сократилось. Армия продвигается, а везти далеко, дорога ведь к нам только санная, машины не проходят. Лежачих почти совсем перестали привозить. Но ходячих приходило много, до ста человек в день. Правда, мы научились с ними управляться: принимали в сортировочной, кормили, перевязывали, даже оперировали некоторых, давали сухой паек на сутки, подбирали группу и отправляли в Русский Брод, в ЭП.

Каждое утро собирается около нашей палатки команда «пилигримов» — пешком в Русский Брод, те, что малость поправились... Хромые, у многих руки в больших шинах, головы перевязаны, у кого-то вместо сапог на ногах опорки или разрезанные и перевязанные бинтами валенки... Вытягиваются длинной цепочкой и идут. Восемнадцать километров — не малый путь. Правда, на большаке некоторым удается пристроиться на попутные машины...

В нашем отделении положение постепенно улучшилось. Самое главное в госпитале — преодолеть кризис рабочей силы. Для этого существует команда выздоравливающих, а попросту — легкораненых. Она уже достигла пятидесяти человек: хотя работают неумело, но стараются.

В госпитале — девятьсот человек.

Все хаты забиты. Мы пока не можем наладить госпитальный режим. Но самой острой остается проблема эвакуации. Ходячие-то уходили, а вот лежачие становились ходячими очень медленно. Машин нет. До большака всего три километра, но таких трудных.

Выход придумал начальник. Предложил поставить на большаке палатку с сестрой и держать там раненых, подлежащих эвакуации, чтобы грузить на проходящие с передовой порожние машины. По мере освобождения палатки подвозить новых раненых. Преодолеть три километра мы можем и на своих санях. Останавливать машины должен был brave сержант из выздоравливающих, с повязкой и автоматом. Так мы отправляли до полусотни раненых ежедневно.

День Красной Армии встретили в своем отделении, встретили

весело. Были на то причины: раненых осталось человек сто — не работа, а отдых. Женщины приготовили сладкий пирог, кто-то раздобыл пол-литра красного вина. Читали стихи Симонова из тонкой книжечки: «Жди меня, и я вернусь...»

После этого маленького застолья я раздумал переходить в первое отделение к Залкинду.

С Залкиндом контакты у нас слабые, ненормально слабые. Даже трудно сказать, по чьей вине. Нет, мы не ссорились, но видеться стали один-два раза в неделю. Он мне не доверяет, чем-то обижен. Работа у него не ладится, как говорил Канский, который заходит к нам по старой дружбе. Много раненых умирает... Я представляю, когда умирают — нет жизни и для хирурга. Но я в этом не виноват. Залкинд мог бы пригласить, посоветоваться... Уже неделя, как у меня для этого появилось время. «Пошел бы и предложил». Да, все правильно... И все же это самолюбие. Боюсь: вдруг откажется от помощи. Не могу пересилить себя...

Однако события ускорились сами собой.

28 февраля вызвал начальник и приказал принять первое отделение. Залкинд и Надя откомандировываются в распоряжение санотдела армии. Начальник сам их откомандировал, без запроса свыше. Формулировка: «По состоянию здоровья».

Мне бы, может, следовало отказаться? Но я согласился, быстро согласился, только спросил:

— Почему?

Стандартный ответ:

— Развалил работу, не справляется. Станный он.

Может, сходить к нему, к Залкинду, объяснить свою позицию? И что я ему скажу? Все равно подумает: «Карьерист. Выживает...» На душе было тяжело.

23

Итак, я снова ведущий хирург ППГ-2266.

С утра 29 февраля захожу в перевязочную. Девушки собрались и ждут. Они уже все знают. Их всего четыре — Лида Денисенко, Маша Полетова, Шура Филина и Вера Тарасенко. Кроме того, Коля Канский да два санитар-носильщика. За старшего — Бессоныч.

Бессонычу в феврале 1942 года сделали трепанацию черепа: ранение головы с повреждением кости. Все быстро зажило, его

комиссовали и ввели в штат. Он очень хороший, хотя и несколько нерасторопный!

— Девушки! Отныне всех раненых раздевать в предперевязочной палатке до белья. Для больших операций отгородите простынями угол палатки, и чтобы там был отдельный стерильный стол.

Вид «домиков» изменился в лучшую сторону по сравнению с первыми днями. Все лежат на нарах, у всех — одеяла, подушки... Но пока в своем обмундировании. Всего около двухсот человек в двадцати двух домах. Чтобы продезинфицировать помещения, нужно всех их вымыть, перевязать и перевести в новые палаты. А они такие тяжелые, что даже страшно подумать о такой перетряске. И... я не решился на это.

Раненые встречают мой обход настороженно. Те, что выздоравливают, смотрят с сомнением, слабые — с надеждой. Особенно тяжелые — с ранениями в конечности. Тактика ясна — нужно делать ампутации. Вернуться к пироговским временам.

До обеда я обошел всех. Часть «спокойных» перевязок сделали во время обхода. После двух часов начали оперировать.

В одиннадцать часов в перевязочную вбежала доктор Надя, без халата, бледная:

— Скорее! С Залкиндом плохо... Повязку надо...

Мы с Лидой делали резекцию колена. Бросить чью-то жизнь, что и так висит на волоске?

— Нина, беги взгляни... Я скоро освобожусь.

Продолжаю оперировать. Минут через пять Нина вернулась довольно спокойная.

— Ничего опасного. Вены на предплечье перерезал...

— Лида, дай стерильные салфетки. Пойду завяжу.

— Там Надя держит рану. Он совсем не в себе.

— Сделай ему морфий! Пусть успокоится и уснет.

Взяла все необходимое и ушла. А я вспомнил прошлый год, День Красной Армии... Так и у него сейчас... Представляю его состояние: полное поражение на работе, крайнее переутомление... Да еще личные конфликты. Впрочем, если строго, все это «телячьи нежности» и «интеллигентские штучки». И у меня, и у него. Миллионы людей находятся сейчас в более тяжких условиях. Так что делай свое дело, и без сантиментов.

...1 марта начальник получил приказ: передислоцироваться своим транспортом в деревню Кубань. Развернуться 2 марта. Раненых эвакуировать в Русский Брод. Я вспыхнул:

— Пошлите их к черту! Совершенно нереально! Масса нетранспортабельных...

Но приказ выполнять не пришлось. На следующий день разразилась страшная метель. Получили сигнал со «стрелки», что машины по большаку не ходят, целые колонны стоят на дорогах, заметенные снегом.

Только на пятый день «студебеккеры» пробили дорогу на «стрелку», и мы приступили к эвакуации особенно тяжелых раненых. Каждое утро снаряжали обоз из десятка саней, набивали соломой, укладывали в спальные мешки, в одеяла... Сопровождала их медсестра.

7 марта отправили Залкинда с Надей в санотдел армии. Для меня он как укор совести. Нужно было все-таки пойти, поговорить... Играл в самолюбие... Неблагодарно поступил.

8-го утром получили еще один приказ: «Передислоцироваться в деревню Кубань, развернуться и 9-го принять раненых». Опять: «своим транспортом». А лошадей только семь...

С помощью запасного полка и через «стрелку» вывезли двести раненых. Осталось еще около ста, но только восемнадцать из них были совершенно нетранспортабельны. Их поможет отправить запасный полк — он приходит на наше место.

10 марта началось «великое переселение народов». Отличное морозное утро. У штаба выстроилась колонна: пешая команда и четверо саней, запряженных клячами, на которые погружен наш «первый эшелон» — имущество. Все сестры и санитары, кого можно было высвободить, снарядились идти пешком. Вещмешок, сухой паек на два дня — и с Богом! Майор, Быкова, я, Чеплюк и еще трое человек из команды должны выехать завтра утром на машине — в нее мы погрузили кухню и продукты. Погода такая, что снабжение может прерваться в любой момент. Без перевязок можно прожить, без еды — никак.

24

Наступление приостановилось, и медсанбат, который мы должны были сменить, из Кубани не ушел.

Стояли хорошие весенние дни. Проталины появились на сопорах, уже грачи загалдели... Типичная орловская деревня: домишки маленькие, в два оконца, крыши крыты соломой. Взяли деревню 6 марта, целенькую. Фронт остановился в пяти километрах. Слышны пулеметные очереди, артобстрел.

По улице снуют солдаты в валенках, несмотря на сырость, ездят подводы — иные на полозьях, как зимой, другие — уже по-летнему, на колесах. Офицеры всех рангов: здесь стоят тылы дивизии.

21 марта наши друзья-медсанбатовцы собрались вдруг уезжать и ночью передали нам сто пятьдесят раненых, в том числе тридцать нетранспортабельных, тех, что после операций. Передача была простая: перенесли раненых из своих палаток в хаты, старшие сестры сосчитали простыни и носилки под нетранспортабельными — и до свидания!

На этот раз мы развернулись отлично. Были соблюдены все элементы организации потока и гигиены, хотя мы еще находились далеко не в полном составе. В Угольной по-прежнему оставалась большая группа людей, часть имущества. Но главное, у нас было время на развертывание и рабочая сила — команда выдвигавшихся.

Мы открыли «Кубанский университет». Решили провести серию серьезных занятий с сестрами, изложить им основы военной хирургии. Наши девушки заканчивали только трехмесячные курсы и ничего толком не знали. Занимались каждый день по три часа. Кстати, к явному удовольствию майора...

Раненых поступало мало. Бои затихли, сведения с других фронтов неутешительные. Оставлены Харьков и Белгород.

Зато Западный фронт перешел в наступление, освободили Ржев, Гжатск и Вязьму. У Бочарова хватало работы!

Приезжало начальство. Сначала хирург ПЭП, тот самый усатый Вася Лысак, потом начальник ПЭП — Хитеев. Вспоминал: — Где ваша настольная лампа?

Всем остался доволен. Посидел в перевязочной, познакомился с девушками. Особенно понравилась ему Лида Денисенко.

Лида Денисенко и впрямь замечательная. Такой работницы я еще не видел. Притом очень милая. Я тоже «положил глаз». Хотя и отягощен отношениями с Лидией Яковлевной. Мужская природа и на войне берет свое...

После Угольной отлично живем и работаем. Перегрузки нет, в госпитале порядок. Стреляют? Ну так что же, фронт ведь рядом...

Введено слово «офицер», погоны и новая форма. Медики приравнены по званиям к строевым. Теперь у нас тоже будут медицинские лейтенанты, майоры, полковники, генералы. Интересно, какое звание получу я? До сих пор был военврач третьего

ранга, на петлице «шпала». Она теперь соответствует званию майора. Не прочь бы... для престижа.

Переживаем новый этап деятельности — медсанбатовский. Другие заботы и тревоги: святая святых медсанбата — «грудь» и «живот».

Бочаров преподавал мне истины брюшной хирургии: оперировать быстро, но тщательно. Иначе у 50 процентов после лапаротомии — осложнения, перитониты, межкишечные абсцессы, расхождения раны и т. п.

Вторая проблема — «грудники». Три вида ранений в грудь: первый — непроникающие в плевральную полость. Это самые легкие, никто не умирает, контингент госпиталя для легкораненых. Следующий — проникающие без открытого пневмоторакса: и эти протекают легко. Наконец, третий — раны с открытым пневмотораксом. Раны такие большие, что воздух входит и выходит в плевральную полость. Легкие, как правило, повреждены. Опасностей много: в раннем периоде шок, позднее — гнойный плеврит, эмпиема плевры, потом сепсис с расхождением раны и повторным «открыванием» пневмоторакса. Установка медсанбату: зашить рану грудной стенки, не обращая внимания на раненое легкое, и затем эвакуировать, до развития последующих осложнений. Наши — не отправили.

Три дня было терпимо. На восьмой день раны открылись, легкое обнажено, страшно смотреть. Но шок не развился, человек привык дышать одним легким. А состояние раненых ухудшилось: прогрессировал сепсис. Он развивался куда быстрее, чем при ранениях конечностей...

Естественно, пробовали ушивать разошедшиеся раны. Бесмысленно... Швы держались не более трех-четырёх дней, потом все повторялось.

Значит, нужно попытаться сделать операцию более радикально. Мы разработали методику, проделали на трупах, а вскоре попробовали ее на случайном раненом: неумело бросал гранату. Суть операции: широкое иссечение раны и швы всех слоев, включая кожу. Да, кожу зашивать на войне запрещалось категорически.

Раненый поправился. Потом — еще один. Мы торжествовали.

Но если бы только так! Когда имеется большая рана легкого, то никакое ушивание груди не даст эффекта. Нужно вмешиваться внутри, на легком! На это я еще не решался...

А между тем на Орловщине весна. Середина апреля, садики около хат покрылись легчайшим зеленым пушком — распускались почки. Солнце светит, даже пригревает. Пахать надо. Но никто не пашет в деревне с названием Кубань, хотя возвращаются хозяева, собираются восстанавливать колхоз.

Грязь. Страшная грязьща. Проселочные дороги совершенно непроезжие. Только «студебеккеры» медленно плывут в море грязи. Солдаты носят мины на передовую на спине.

«Кубанский университет» закончил работу. Я принял у сестер экзамен. Доволен: квалификация, несомненно, повысилась.

Прислали двух врачей — мужчин. Один — «холодный уролог» из Москвы, другой — не поймешь кто. Скорее всего, временный персонаж... Уролог Гамбург, лет сорока, до этого был в полку. Так там намерзся за зиму, что даже около печки не растает с меховым жилетом. «Холодный» — потому что не оперировал, только лечил промываниями...

Иногда выпадает свободная минута, хочется почитать, но книг взять негде. Приходит «Красноармеец» с «Василием Теркиным», ждем его с нетерпением. Газеты достаются редко. Сводки поступают тоже нерегулярно.

Раненых — человек сорок, транспортабельных понемногу эвакуировали. Теперь полный штиль.

С 20 апреля целый месяц провел на курсах ведущих хирургов в Ельце при фронтовой госпитальной базе.

Назад — уже на новое место, в деревню Ворова, — возвращался на санитарном самолете. Впервые в жизни. Понравилось. Лежал в ящике, где раненых возят.

Добрался в полночь. Сухо, тепло, сады... Только домов не видно — деревня разрушена во время зимнего наступления. С трудом нашел в этой странной пустыне наш госпиталь — палатки увидел. Сердце билось, будто домой возвращался после долгой отлучки.

Тут же ночью все осмотрел... Разбудил перевязочную команду — они спят в маленькой лагерной палатке. Выскочили в рубашках, обцеловали меня. И сразу показывать. Как же, без меня развертывались, сами.

Среди ветвистых яблонь три палатки, друг за другом: предперевязочная — маленькая, потом перевязочная — большая, еще дальше — снова маленькая — операционная. «Колбаса». Мы

так еще в Кубани спланировали, и теперь всегда так будет. Отличный блок. Рядом — госпитальные палатки.

Похвалил и пошел спать в дом. Дом — это только название. Крыша покрыта ветками и при каждом дожде течет, как решето. Поэтому внутри еще натянута лагерная палатка. В доме живем троим: Лидия Яковлевна, Нина и я — за простыней.

Развернулись на двести коек, по всем правилам. Но раненых приказано держать минимум.

Хирургия у нас теперь первоклассная. Сделал операцию аневризмы правой подключичной артерии — раненый был на грани гибели. Без меня его смотрели Вася Лысак и армейский хирург, профессор Д. Отказались оперировать: «Отправляйте самолетом». А какая отправка, если у него из ранки постоянно сочится кровь и температура 39! Мальчишка еще — боец Егоров, 19 лет. Все прилично сделал, трудно было очень и страшно.

Проверяли свои установки по ранениям в грудь, продуманные в Кубани. Все правильно. Четверым раненым ушил пневмоторакс — удачно.

Ну, а «бедрa»? «Коленки»? Самое время показать, что может сделать в войсковом районе опытный хирург. Ведь в любое время возможен переезд. Все же мы наложили восемь высоких гипсов на бедра и на суставы. Осложнений не было.

Надежды оправдались. Самых тяжелых раненых можно хорошо лечить, если рано и правильно. Для этого нужно или много полевых госпиталей, или отличный транспорт. Транспорт даже лучше.

Всю весну ходили слухи, что немцы готовят наступление. Мы теперь, конечно, не те, но все же...

Большак от нас за два километра, и хорошо слышно, как идут наши танки и тракторы на позиции. Ждали грозы.

И она пришла.

В ночь на 5 июля услышали канонаду: глухой постоянный гул. Остаток ночи не спали: «Началось!» Утром привезли первых раненых... Они и сказали: немцы наступают на Курск. Потом пришли более подробные сведения: главный удар пришелся на наших соседей, на 13-ю армию. Из нашей в зону ожесточенных боев попали только две дивизии.

Мы ждали большого потока, а получили всего семьдесят человек. Все они были обработаны в медсанбате, поэтому никаких проблем не возникло.

Пять дней мы работали и слушали артиллерию, расспрашива-

ли раненых: «Как там?» Был страх — вдруг наши не удержатся. Но нет, все хорошо. Канонада стала стихать, поступления раненых почти прекратились... УСТОЯЛИ!

10 июля узнали, что некоторые ППГ, которые летом были свернуты, пошли вперед. Значит, нужно и нам готовиться. Все возбуждены. Наступать! Вперед!

Впрочем, память об Угольной еще свежа. Все приготовлено для переезда. Первая очередь — перевязочная и отделение на пятьдесят коек с минимальным запасом медикаментов и еды. Это у нас вмещается в машину.

13 июля мы снова услышали канонаду и почувствовали: пришел наш черед наступать.

26

В ночь на 25 июля получили приказ: «Передислоцироваться в деревню Каменка и 26-го в 10.00 принять раненых». Поглядели по карте — пятьдесят километров, от большака проселок километров на восемь. К счастью, у нас раненых сейчас мало. Прилетал самолет и всех, кого можно, вывез. Оставшихся ночью перевезли в ближайший госпиталь, за семь километров. К семи утра свернулись и погрузились. Шофер Федя ходит около рессор и охает: «Засядем...»

В восемь утра отбыли на своем «ЗИСе». Начальник в кабине, мы все наверху, почти под небом, — перевязочная и часть сортировки. ППГ-2266 выбрасывает десант. Лошади, к сожалению, придут не раньше, чем через два дня. Наступление ждать не станет.

Погода переменчивая... Со страхом смотрим в небо: нет, не самолетов боимся — дождя. Если польет, забуксуем, засядем, хоть караул кричи.

В полдень приехали.

Каменка... Высокий холм, наверху — десяток ободранных яблонь, два домишка. Большая палатка. Дальше глубочайший овраг, и за ним еще десятка два орловских маленьких хат.

Весь косогор усыпан ранеными. Одни лежат прямо на земле, распластанные, неподвижные, другие сидят, некоторые бродят. Сколько их? Человек двести...

Идем с начальником к палатке. Оттуда доктор вышел, маска на шее. Хирург. Представляемся. Спрашиваем.

— Да, здесь человек двести... Ходячих отправили пешком.

Наш санбат уже впереди. Двух врачей оставили, трех сестер и часть кухни...

— Много обработанных?

— Много ли обработаешь такими силами? Десятка два перевязаны, остальные — из полков, прибыли сегодня и вчера. Хорошо, что дождя нет.

Мы ведем переговоры:

— Перевязочную развернем сейчас... Но кормить столько не можем. Оставьте, пожалуйста, свою кухню, пока наша машина сделает еще один рейс, до конца дня хотя бы.

Доктор соглашается.

Идем с ним в «госпитальный взвод» — в те две хаты, что на краю сада.

После солнца темно, окошечки крохотные, заткнуты тряпками... Тепло, но зато тучи мух сразу облепили нас, лезут в рот. Кажется, я никогда не видел столько.

На полу, на скомканной реденькой соломе, лежат раненые, человек тридцать. Некоторые прикрыты шинелями, другие почти совсем голые. Бредит «черепник» без сознания, пощупал — пульс едва слышен. Рядом — оперированный «живот», губы сухие: «Пи-ить... пи-ить...» Солдат с перевязанной кистью поит из большой кружки всех подряд.

— Санитары только в операционной. Этот вчера ранен, в команду взяли...

Доктора отпустил: говорит, у него на столе больной. Вызвал Нину, сестру, чтобы помогла. Просмотрел карточки — они были не у всех. Сделал «назначение»: запретил поить раненых в живот.

Наконец подошли две «санитарки» — привезли сестер, две палатки и имущество на сорок коек. Это уже хорошо: сможем оперированных устроить...

К трем часам операционно-перевязочный блок был готов. Наша «колбаса» из трех палаток стоит между яблонями, Нина в стерильном халате ожидает у стола. Лида с девушками «доводят» операционную, предперевязочную... Можно начинать! Медсанбатовцы свою операционную уже свернули и грузят на телегу. Доктор — без халата, заросший, усталый — усаживается на передок.

— Теперь поеду к своим... Спасибо.

Уже развернули госпитальную палатку, на носилках, но с матрацами и бельем. Можно переносить оперированных.

Но Бог против нас. Небо совсем затянуло тучами, и дождь вот-вот хлынет... Не до перевязок: нужно спасти раненых (этого им еще не хватало — промокнуть!).

Дождь по-настоящему хлынул в шесть часов. Мы успели укрыть всех, забили ранеными каждую щелку.

В семь вечера начали оперировать. Дождь барабанит в крышу, словно по голове. Все наши планы на сортировку и культурную работу рухнули. А тут еще проклятый движок, который летом майор достал, не заводится, хоть плачь, и опять приходится оперировать при керосиновых лампах... Канский возится около него. Ругаю его через стенку палатки.

Наконец около полуночи включилось электричество. Асептику соблюдаем — всех раздеваем и полостные операции делаем в операционной. Но мухи уже «заселили» нашу перевязочную, тоже прячутся от дождя.

В три часа ночи скомандовал отбой, и все улеглись прямо на полу перевязочной. Другого места все равно не было, да и сил не было.

Следующий день начался с грандиозного разноса, который нам учинил полковник из санотдела армии. Начальник стоял по стойке «смирно», а он кричал: «Где сортировка? Где шоковая?» Правильный разнос... А что сделаешь, когда льет дождь?

Дождь то переставал, то снова начинался. Целый день все были в напряжении.

«Освоение площадей» продолжалось, а справиться с поступающими не могли из-за дождя. Только к обеду сумели наконец освободить одну палатку и развернуть там послеоперационное отделение.

Хотя сортировочная отсутствовала, но мы не «потонули». Всех поступающих регистрировали, бегло осматривали. Приняли пятьсот тридцать человек.

На третий день наконец создали сортировочное отделение с баней, а число «госпитальных» коек довели до ста.

Дождь кончился, но ночи стояли очень холодные. Раненые в сараях и хлебах жестоко мерзли. Большинство было одето перед боем совсем по-летнему — в одних гимнастерках.

С четвертого дня пошла газовая, очень много. Неудивительно — раны обработаны поздно, плохо, а многие совсем не перевязывались с момента ранения... Каждую ночь мы с Лидой и Канским оперировали.

Мухи не давали житья. Днем дважды делали перерывы и рас-

пыляли порошок дуста. Но проходил какой-то час, и все было как прежде. Проклятые, садились на газовые раны, а потом на чистые...

На четвертый же день появились черви. Снимаем повязку — под ней ползают личинки. Раненых это очень пугало: «заражение». Я-то знал, что личинки безобидны: они пожирают мертвый материал с поверхности ран. Раны под личинками удивительно быстро очищались и начинали гранулировать.

Организовали три поста — ловить машины. Они работали не столь эффективно, как зимой, но все вместе давали до двадцати машин в день. Заготовили соломы, чтобы подстилать в кузов, потому что и для лежачих не хватало «санитарок». Эвакуация началась. Только 1 августа мы вошли в норму.

Большая радость: освободили Орел и Белгород!

После этого дня поступления прекратились. Бои ослабли, другие госпитали выдвинулись вперед. Мы начали «подчищать хвосты».

У нас семьдесят человек нетранспортабельных. До госпитальной базы армии — восемьдесят километров, они не смогут перенести такой путь даже на санитарных машинах.

Доктрина строго требует: «Не отправляйте ненадежного!» Правильно требует. Эта эвакуационная горячка — страшная зараза. Все начальники госпиталей, медсанбатов жмут на хирургов: эвакуируй. Хирурги должны сопротивляться. Они представляют «медицинский гуманизм».

Но кому хотелось оставаться нетранспортабельным, когда фронт движется! Лучше бы я перетерпел транспорт, пошел на риск умереть, только бы довезли до надежного места.

Практика такова: войска продвигаются, санитарные учреждения должны идти за ними. Приказы: «Эвакуировать... передислоцироваться... развернуться... нетранспортабельных раненых оставить для долечивания».

Будь я начальником, я бы все изменил. Отправлять нетранспортабельных при стабильном фронте, когда есть условия лечить, — преступление, нужно наказывать. Но когда наступают — да, эвакуировать обязательно, даже с риском для жизни.

Поэтому мы стараемся теперь лечить наших раненых что есть сил.

— Николай Михайлович! Прилетел самолет! В поле сел...

— Беги немедленно к нему... Тащи летчика прямо к Чеплюку. Слышишь? Да захвати немножко спирту... Попроси у Лиды.

Санитарный самолет — это ангел-спаситель, особенно при наступлении. На нем можно отправлять кого угодно — кроме тех, кто уже без пульса. Но летчики капризны, их иногда нужно даже ублажать...

За два последующих дня все нетранспортабельные раненые были вывезены в Елец.

Вот и Каменка позади. Можно подводить итоги. Итак, приняли 1700 раненых. Большинство — лежачих. Два процента газовой. Смертность при газовой — одна треть. Не очень много... Но и не мало. Сестры стали опытнее — «Кубанский университет» помог. Когда столько раненых, только они могут выловить срочных. У нас всего четыре врача.

Впрочем, теперь уже пять. Прибыла новая докторша — Маляхова Анна Васильевна. Пришла в гражданском платье, в белых туфельках, очень скромная девушка с гривой темных волос. У Зиночки поселили. Та смеется: «Я все говорю, а она — молчит».

27

13 августа нам приказали переезжать аж в район Дмитрова-Львовского, за 12 километров, вместе с армией.

Опять погрузили перевязочную и сортировку на «ЗИС», опять Федя пинал колеса: «Сдадут покрышки! Пропадем...» Опять мы забирались на верхотуру, на палатки и мешки с марлей. Там совсем неплохо, если без дождя. Нам все видно, и нас видно. Солдаты, сержанты и лейтенанты при встрече кричат:

— Госпиталь! Смотрите, сколько девок насажали!

А где-то далеко позади тянется обоз. Пока он не приедет, мы не в своей тарелке: того нет, другого нет...

Когда ехали, всю местность оценивали с точки зрения развертывания. Большой сарай — для сортировки, другой — для ходячих раненых, домики — резерв для палат... А если школа — да еще двухэтажная, да со стеклами, — так это вообще мечта, там все можно развернуть! Офицеры мне рассказывают, что они так же на местность смотрят: где удобно обороняться и как бы они атаковали эту деревню...

Не спеша развернулись в деревне Лубашево. Не успели оглядеться, как опять махнули на 70 километров. Деревня Олешек большая, целая и богатая. Немцы так стремительно удирали, что сжечь не успели. И у нас было два дня на развертывание.

Поэтому мы спокойно принимали и обрабатывали до двухсот раненых в день. Эвакуировали попутными машинами.

Майор влюбился в Тасю. Это было очень заметно, и все в госпитале подтрунивали... Как Тася поглядит на какого-нибудь офицера или на нее кто-нибудь поглядит — все: строгости, проверки, отбой, дежурный по части покоя не знает... Сам майор в любое время ночи может проверить дежурного... Поговорит Тася ласково с майором — он расцветает, строгости смягчаются.

Девчонки просят:

— Таська, ну будь ты поласковее... Чуть-чуть, хотя бы на недельку, пока раненых нет. А там, как поток пойдет, отшивай его сколько хочешь...

Но Тасе не нравится майор, хотя она от природы кокетка и ей льстит поклонение. Разве что чуть-чуть пофлиртует, для пользы общества.

В Угольной и даже в Кубани некогда было думать о романах. Потенциальным кавалерам тоже было не до того. В Ворове, пока фронт стоял, яблони цвели да пели соловьи, все изменилось. Стали приезжать на машинах офицеры и сержанты из частей, свидания, прогулки по вечерам после отбоя. Любовь... Даже на войне, среди смертей...

Был такой термин: полевая походная жена. Это когда живут вместе, как муж с женой, но брак не оформляют, поскольку муж уже женат. Или не хочет. В нашем госпитале таких не было. То есть романы были, но на уровне «случайных связей» и всегда — с офицерами извне. Наши мужчины не котировались. За всю войну только три женщины уехали по беременности. Это — мало. До сотни девушек прошло через госпиталь, с учетом Калуги, когда было 600 штатных коек и много персонала. Так что разговоры о развратности девушек-фронтовичек, скажем так, «сильно преувеличены».

Вынужден признаться: сам испытываю трудности. Нравится Лида Денисенко.

...Десять дней после Олешка мы сидели в резерве: ждали, пока наши части форсируют Десну и возьмут Новгород-Северский. Жили в деревне Вовна. Наконец Десну перешли, и мы получили новое назначение — местечко Семеновка, районный центр Сумской области.

Приехали ночью. Тут же все осмотрели, спланировали. Отлично можно работать. Старая земская больница, все есть.

У немцев здесь был госпиталь, и они оставили двухэтажные

деревянные кровати. Нашли также много на матрасников из какой-то синтетической дряни.

Работать начали с ходу, потому что из ближайшего медсанбата перевезли триста раненых, а потом и дальше пошло...

Поток раненых прошумел и стих в несколько дней. Фронт подвинулся, возить далеко — санотдел выбросил вперед новый госпиталь. Это называется у нас — санитарная тактика...

7 октября переезжаем. Раненые уже не поступают, большинство эвакуировано. Остальных тоже отправляем на попутных, но со своим персоналом.

Прощай, Семеновка! Хорошо поработали, подлечили чуть ли не две тысячи раненых.

Белые березы останутся в памяти, тихие улочки с аккуратными домиками, земская больничка...

Поехали на запад. Пока без определенного назначения, без спешки. Едем на машине, все время останавливаемся, ожидаем обоз.

Стоит сухая осень, тепло. Поля, перелески. Белоруссия... Следы боев — окопы, воронки от снарядов и бомб. Нет, немного следов, видно, что немцы отступали быстро. Но деревни сожжены, каждая вторая.

Деревни бедные. Еле-еле сыты здесь люди: картошку собирают, молотят во дворах рожь с частных делянок, с огородов. Голодная зима предстоит. Местами пашут. На коровах, на жалких клячах, женщины сами впрягаются в плуг. Хотят посеять немного озимых...

Чем дальше продвигаемся по Белоруссии, тем больше пепелищ: и свежие, и старые — это за партизан. Северная Украина и Белоруссия — партизанские земли. Немцам страшно здесь было, в деревнях боялись останавливаться. Ездили главным образом по большим дорогам, которые охранялись.

Когда видишь женщин и детишек в лохмотьях, копающихся на пепелищах, смотрящих голодными глазами, в груди глухо поднимается ненависть к фашистам...

Нет, наш народ все-таки не такой! У русских не было пренебрежения к другим народностям. Недавно привезли к нам в Семеновку группу раненых немцев. Раненые не тяжелые, ходячие. Выгрузили их вместе с нашими. Было тепло, сортировочная переполнена, и все, кто мог, сидели прямо на земле около бани. Немцы имели жалкий вид. Сбились в кучку, говорили мало и шепотом, оглядывались по сторонам со страхом. Наши солдаты

веселы: наступление идет удачно, раны нетяжелые, предстоят баня и еда. Они громко разговаривали и делились махоркой, кто-нибудь сосредоточенно выбивал огонь кресалом, все закуривали.

Постепенно завязался разговор: «Капут Гитлер? Германия капут?» Проходит время... и уже махоркой делятся.

— Пусть покурят, затянутся... Хрен с ними! Тоже люди...

Любопытство толкает на беседу. Наши знают, что немцы — неплохие солдаты, но со своими не сравнивают. «Нет, немцу против русского не выстоять!» Видна гордость: вот всех, мол, они, немцы, побили, а мы остановили их и гоним.

...Мы едем к Гомелю. В дороге нам сказали: «Возьмут Гомель — там работать будете». Все довольны. Надеемся, там развернутся получше.

Но остановились в 12 километрах от Гомеля — в деревне Ларишево. Фронт, кажется, стоит. Слышны редкие артиллерийские выстрелы. Над передовой летают самолеты, но бомбежек нет, видимо, разведчики.

Госпиталь отдыхает. Ребята ходят на речку Ипуть, даже рыбу ловят, угощали меня как-то ухой. Я же частенько заглядываю в гости к своим перевязочным сестрам. Даже слишком часто. С Лидой гулять ходим. Окрестности очень красивы — лес еще не оголился и блистает желтым, красным, оранжевым.

Да, кто-то получил известие о Хаминове: он прибыл в полк в самый разгар боев летом 42-го, отличился при эвакуации раненых, был помилован, потом попал под Сталинград и там погиб.

28

На новое место приехали 4 ноября под вечер. Село Хоробичи огромное — четыреста пятьдесят домов, почти совсем целое. Рядом — станция Хоробичи, через которую снабжается наша армия.

Будем работать в составе ГБА. Это только название громкое — госпитальная база армии, а всего-то маломощный ЭП и мы, ППГ.

Все раненые будут поступать на попутных машинах к нам. Мы должны тут же на машинах их сортировать, снимать тяжелых для себя, а ходячих и сидячих отправлять теми же машинами в соседнее село Городно.

Но сейчас мы думаем не о том. Опять негде развертываться. Все занято. Стоит летная часть, их генерал и разговаривать не стал с нашим начальником. Где там!

Ездили в соседние деревни — тоже нет места. Придется развертывать палатки посреди площади.

Но существует, однако же, высшая справедливость! 6 ноября летчики получили приказ уезжать, и генерал охотно передал нам все свои помещения.

И еще: Киев наш! Это тоже генерал сказал. Я даже не знаю, чему мы больше радуемся.

Теперь мы обладатели школы, клуба и еще около двадцати домиков под службы и квартиры для личного состава.

В праздник развернулись.

...А с 10-го началась работа. Нам привезли всех нетранспортабельных из ППГ первой линии и специализированного ППГ («голова»). Заняли почти все койки в школе.

16-го числа, в полночь, когда шел ледяной дождь со снегом, за мной прибежал Бессоньч:

— Николай Михайлович! Привезли... Страшное дело!

Слышу мощный гул машин, как будто идет эскадра самолетов, и в окне мелькают отблески фар. Одеваюсь, как по тревоге. Бегу...

Вся огромная площадь перед школой заполнена медленно ворочающимися и ворчащими «студебеккерами» со вспыхивающими и гаснущими фарами, сильными, как прожекторы. Падает снег.

У сортировки ругань. Шоферы обступили Любовь Владимировну, кричат, матерятся...

— Стружай немедленно, старая карга! Замерзли! Слышишь, стонут?!

Вот он, критический момент. Вот сейчас их нужно матом, как я умел раньше, когда был сменным механиком... Но тут Любочка. Нельзя.

— А ну, тише! Старшего сюда!

Старшим был капитан, но он молчал. У него был приказ, и он знал порядок, но ехать по грязи в Городню совсем не хотелось. А тут еще дождь со снегом...

Я веду переговоры:

— Сколько машин?

— Сорок три.

— Сколько раненых?

Не знает, возможно — пятьсот...

— Не смей сгружать! Здесь снимаем только лежачих и тяжелых. Знаете приказ? Остальных — в Горюдию.

В кузове, на соломе или прямо на железном полу, лежали раненные — без одеял, только в шинелях. Между лежачими — согнутые фигуры с завязанными головами и шеями, с разрезанными рукавами, штанинами, запорошенные тающим снегом, мокрые... Куда тут их еще везти! Но если мы примем всех, значит, сразу заполнимся до отказа. А завтра?

Санитары с носилками следуют за мной и Быковой. Залезаю в машину и отбираю.

Лежачих быстро стаскивают с машин. Тех, кто сидит, проверяю. В других машинах командуют Быкова и Аня Сучкова. Укладывают подряд, потеснее. Там раненные сразу замолкают, потому что бочка уже шумит от пламени, дрова сухие заготовлены.

В иных машинах шоферы командуют ходячим:

— Слезай, чего ждешь? Не выгонят!

Но мы неумолимы и отправляем из приемной снова в машину. Майор тут же, помогает объясняться с шоферами и капитаном. Это очень важно, потому что у меня плохо получается...

По мере разгрузки машины ворчат моторами, зажигают фары и начинают маневрировать к выезду с площади. Она постепенно пустеет. Разгрузка заняла всего полчаса.

В сортировке всю идет работа. Прежде всего согреть, напоить. Бочка пылает, бак с кипятком и даже чайник с заваркой стоят на бочке. Настроение уже совсем другое:

— Спасибо, сестрица... Так замерзли, так замерзли, что и сказать нельзя. А кормить будут?

Только потом спрашивают о перевязках.

Приняли 152 человека. Все три палатки загрузили до отказа, некоторым даже лечь негде. В палатках сделаны нары, застланы соломой и покрыты брезентом. Низкие, это важно, чтобы санитар мог с ногами забираться, перекладывать на носилки. Оставлять раненных на носилках мы не можем — носилки неудобные и много места занимают.

Теперь нужно выбрать срочных и назначить очередности перевязок на завтра. С начальником решили, что ночью плановых перевязок не будет. Без сна долго не вытянем, а работа на ГБА — это месяцы.

Каждый вечер приходила теперь автоколонна и привозила нам по несколько сот раненых. В первые дни управлялись за сутки: разгрузить сортировочную, вымыть и перевязать всех поступивших. Каждое утро делали внутригоспитальную пересортировку, но все помещения были заполнены за три дня. Начали выводить в ближайшие хаты.

Не все живыми доезжают... Чуть ли не каждый день снимаем с машин покойника. Полагается писать рапорты, но я этого избегаю, знаю, как там впереди все забито, а новые поступают... Очень трудно отбирать на автоколонну, чтобы максимум отправить, да и нетранспортабельного не пропустить. Поэтому вхожу в положение, и иногда списываем покойника на себя — дескать, умер в сортировочной...

На пятый день, когда число раненых достигло тысячи, нас захлестнуло. Сортировка забита, вынести некуда, перевязывать всех не успеваем. С трудом освободили два десятка мест в приемной палатке, чтобы иметь возможность снять самых тяжелых.

Ночью пришла колонна, и мы не смогли ее разгрузить. Сняли только самых тяжелых, остальных начальник с санитарями лично повез разгружать прямо в хаты. Планировали занимать подряд все дома целыми улицами. Дома, разумеется, были заняты военными, но мы уже не церемонились. Машина подъезжала, начальник стучал в дверь, а если нужно, то и рукояткой пистолета.

Санитары заносили раненых в хату и складывали на пол, на кровати, на лавки, на печку. Квартиранта не выселяли — живи вместе с ранеными.

Цифра перевалила за тысячу, поползла за полторы...

И все-таки Угольная не повторилась. Первое дело — уход и питание. Быстро создали большую команду выздоравливающих — человек до ста, а потом и больше. Но, конечно, они не могли обслужить всех раненых, ведь 90 процентов — лежачие, которые передвигаться по комнате могли лишь с чьей-то помощью.

Обслуживание строилось так: на каждую улицу или две выделялась сестра и в помощь ей — ответственный санитар, «старшина». Кроме того, улица прикреплялась к врачу, который, разумеется, вел еще и основных больных в госпитальном отделении. Врачей ведь всего пять. За ранеными ухаживали хозяйки домов.

Кухня могла прокормить только полторы тысячи. Женщины приходили со своей посудой и по талончикам, выданным «старшиной», получали обеды. Для остальных выдавали продукты на дом — по таким же бумажкам с печатью. Хозяйки варили сами. Говорят, что они кормили даже лучше, ведь Чеплюку было не до разносолов.

Чтобы перевозить раненых внутри госпиталя, мобилизовали колхозников с лошадьми. Свои подводы едва успевали снабжать нас продуктами. Бывали дни, когда одного хлеба уходило до двух тонн! Пекарни не было, пекли хлеб сами. Для этого пригласили нескольких колхозниц, которые славились умением и имели печки. Женщины работали очень хорошо, и мы им были благодарны несказанно. А мужики работали плохо. Только недогляди — уже исчезла подвода вместе с хозяином. Ох, испортили они крови... Раненого нужно везти с перевязки, а подвода исчезла! Прости меня, Господи, но не раз пришлось матюкнуться, а однажды даже потрясти такого «куркуля».

К 23 ноября число раненых достигло 2350. Из них полтораста — в команде выздоравливающих, но это почти единственные ходячие.

Мы не «потонули» в плане хирургии только благодаря отличным сестрам и правильной сортировке. Не зря восемь колхозных подвод целый день перевозили раненых с места на место. Нам удавалось вылавливать всех «отяжелевших» и собирать их в основных помещениях, где был постоянный врачебный надзор. За все время в домах умерли двое и был один пропущенный случай газовой флегмоны: раненого доставили в перевязочную уже без пульса.

...Главная медицинская забота — не пропустить кровотечения. У многих через две недели после ранения развивается инфекция, самое время для так называемых «вторичных» кровотечений от разрушения стенок артерий. Как выловить такого раненого за один-два километра, в страшную грязь и темень? Помощь нужна немедленная. Первое — нужно зажать кровоточащее место и держать. Потом жгут, и только тогда — операция.

Это совсем непросто — зажать. И мы проводим обучение хозяек: пока они стоят в очереди за питанием, им рассказывают, как нужно прижать рану ладонью через повязку, если из нее потекла кровь. То же самое сестры рассказывают самим раненым при обходах. Жгутами мы не можем снабдить каждую хату, да и не так легко его наложить. Зато около перевязочной круглосу-

точно дежурит наша повозка, а в предперевязочной — отличные санитары.

Ночью прибегает в перевязочную запыхавшийся бледный паренек:

— Дяденька, скорее! Кровь идет... Mamka послала, раненый помирает...

Бессонныч просыпается моментально. Хватает паренька в телегу, сам стоит во весь рост и, размахивая вместо кнута жгутом, гонит по грязи, куда укажет пацан. Тут он застаёт страшную панику, уже горит коптилка, все возбуждены. Хозяйка держит рану, из-под рук течет кровь, потому что это тоже надо уметь — держать. Пострадавший чуть жив.

Бессонныч быстро наложил жгут, уложил раненого в телегу и опять галопом к перевязочной.

А тут другой санитар прибежал ко мне, разбудил Машу Полетову, и она уже надела перчатки, ждёт. В предперевязочной стаскивают одежду — и на стол. Канский режет ножницами бинты, мажет раны йодом и медленно ослабляет жгут. Вторичные кровотечения коварны: они временно останавливаются под жгутом, чтобы возобновиться снова через день-два, а то и через час или пять минут. А иногда и жгут снять нельзя, сразу струя крови бьет вверх. Обычно тут же оперируем вдвоем с сестрой под местной анестезией. Коля переливает кровь и глюкозу.

Мы здорово насобачились на сосудах. Но полночи все-таки проходит, пока найдешь и перевяжешь артерию. А иногда откладывали, если после жгута не кровенит... Тогда этого раненого оставляют тут же, в предперевязочной, спать рядом с санитарам. Тут уж не дадут умереть.

Наконец 25 ноября пришла «летучка». Для нашего госпиталя выделили пятнадцать вагонов, но мы сумели загрузить больше. Страшный был аврал! Непросто вывезти на станцию и погрузить семьсот лежащих раненых... Расстояние хотя и небольшое — всего три километра, но нужно каждого проверить, кое-кого подбинтовать, одеть, положить в телегу, привезти, перенести в вагон, там уложить. Все плановые перевязки были приостановлены, хорошо, что накануне не было новых поступлений. Мобилизован транспорт, люди. Женщины упрасивают за своих квартирантов, но мы строго придерживаемся принципа: в тыл только обработанных. Вывозили дотемна и справились.

На следующий день сообщили, что в «летучке» умерло несколько наших раненых. Оказывается, поезд не ушел... Я по-

скакал на вокзал верхом, прямо в халате. Умер только один раненый, его из хаты хозяйка привезла самовольно.

Обещают наказать меня. Наверное, правильно, заслужил...

А сегодня утром узнал, что меня наградили орденом Красной Звезды.

26 ноября наши взяли Речицу.

После этого дня поступление раненых пошло на убыль. Везти стало очень далеко — до Речицы 120 километров. Начались холода. Раненых привозили совершенно замерзших, потому что при эвакуации на попутных машинах практически невозможно обеспечить одеялами и спальными конвертами.

После второй «летучки» у нас осталось только 1500 раненых, и мы смогли навести некоторый порядок. Освободили дальние улицы, провели планомерную санобработку и перевязки тех, которых вынуждены были сразу развозить по домам.

29 ноября ЭП свернулся и ушел вперед. Теперь мы принимали всех, отсортировывая только для ГЛР.

Стало немножко меньше работы. Это значит, что можно встретиться за обедом, поболтать, справиться о сводке и выслушать комментарии... Даже отпраздновали мое тридцатилетие.

Была и «личная жизнь». Мы с Лидой все больше сближались... Боялся, что становится заметным. Отношения с Лидией Яковлевной ухудшились.

16 декабря отправили последнюю «летучку» и тут же получили приказ переезжать. А у нас 87 нетранспортабельных раненых.

Оставили Гамбурга, перевязочную и палатных сестер, повара, двадцать выздоравливающих. Снарядили их как на зимовку — все хотелось предусмотреть: медикаменты, перевязку, питание... Да разве можно оставить главное — опыт, умение?

Сижу на верху машины, надел массу всякой одежды. Тепло, хотя ветер злой, мороз около двадцати.

Странное состояние — и тяжело, и легко. Тяжело, что оставили раненых. Легко, что уже не нужно думать, напрягаться: при переездах все равно решают без тебя и за тебя.

Выпал снег и закрыл израненную землю, пепелища. В сожженных деревнях люди живут, как кроты в норах: видны сугробы, из которых торчат железные трубы с лентами жидкого дыма...

Дорога накатана военными машинами. Едем довольно быстро. Вот уже Сож, временный мост. Гомель. Что от него осталось! Вся длинная улица, что ведет на север, разрушена, одни

остовы сгоревших кирпичных домов со слепыми черными глазницами окон да пустыри с горами кирпича. Что сделали с городом! Еще осенью мы видели с другого берега целые дома среди сожженных, а теперь, кажется, нет ни одного.

Но уже заделывают досками окна, уже выставлены из некоторых окон трубы, как было в Калуге. Сколько таких городов уже оставила война, сколько еще разрушит? Велики успехи, но сколько еще нужно освободить.

Потом начинаю думать о близком — кровных медицинских делах... О только что прошедшей работе в Хоробичах. С 10 ноября по 18 декабря средняя загрузка составила 1080 человек, 90 процентов из них — лежачие. Свыше восьми тысяч человек прошло через госпиталь за это время, больше трех процентов умерло. Даже страшно назвать цифру смертности, если сложить все этапы: и медсанбат, и ППГ первой линии, и ГБА, и дальше — фронтową базу, как в Ельце. Я могу сосчитать, сколько останется в живых, сколько без ног...

Кто виноват? Сколько здесь моей вины?

Все это я передумал уже раз сто за этот год...

30

Приехали вечером. Остановились у взорванного вокзала. Начальник пошел к коменданту. Холодно и тоскливо — разожгли костер. Федя сделал шоферскую разведку: «Плохо!» Станция снабжает две армии. Все забито тылами.

Наконец идет начальник. Грустный. «Ничего нет». Ночевали в хате, занятой ЭП. Спали на нарах, приготовленных для раненых.

Следующий день проискали в окрестностях... Безнадежно. Автобазы, склады — все, кроме мест для раненых...

Вечером, когда возвращались совсем замерзшие, увидели двухэтажную школу без окон и дверей...

В сорок первом году в этой школе немцы собирали всех евреев перед тем, как расстрелять...

Посмотрели. Окна и двери выломаны, некоторые даже с косяками, печки полуразрушены. Но полы и потолки почти везде целы. И крыша.

— Неплохой бы мог быть госпиталь... а?

— Отличный. Но как осилить?

Решились. Утром начался ремонт. Имеем сто человек выздо-

равливающих — есть мастера, но нет материалов. Пошли искать по домам. Обнаружили вывороченные вьюшки и часть дверей... Мужики не зевали. Но и мы не церемонились.

Трудно со стеклами... Нашлись хорошие люди, отдали часть своих зимних рам — можно хоть маленькие окошечки вставить. Кирпича много на станции — взорваны вокзал и башня. Но не просто было его выламывать.

Каждое подразделение само ремонтировало для себя помещения. Закладывали окна кирпичом до размеров имеющихся рам, вставляли в печки вьюшки и дверки, ладили двери.

Полностью воспроизвели схему Хоробичей, только в лучшем варианте — в одном здании двести пятьдесят коек, баня и перевязочная. Вместе с палатками снова имели шестьсот мест.

26 декабря ремонт еще не окончился, а работа уже началась. Госпитали первой линии «накопили» раненых, пока мы переезжали, и теперь везли по пятьдесят — шестьдесят человек в день.

Началось наступление, и поток увеличился. Такого сумасшествия, как в Хоробичах, не было — поступало самое большее двести — триста человек. Скоро пошли «летучки», поэтому больше семисот раненых у нас не собиралось. Занимали две соседние улицы.

Наша армия вела наступление до 20 февраля. Куда наступали, мы толком не знали. Бывают такие бои, которые в сводки не попадают...

Произошло важное событие в моей жизни: я женился. В первых числах января Лида Денисенко переехала ко мне...

Кончилась моя свобода. Я попользовался ею сколько мог, пожил свободно. Три с половиной года был холостым после Гали... А первый раз женился в двадцать... Теперь мне уже тридцать. Пора!

Нам нашли комнату рядом с госпиталем. Хорошая комната, есть даже радио. Хозяева живут в другой половине, и нам никто не мешает. Настоящие молодожены.

Было несколько бомбежек. Дважды вылетали стекла в перевязочной. Один раз бомбили днем, все столы в перевязочной были заняты. Не слышали, когда прилетели самолеты, и вдруг — взрывы совсем рядом, полетели стекла. Наших лежачих, тяжелых раненых, как ветром сдуло со столов — сразу оказались на полу. В палатах тоже попрятались под топчаны. Паника была изрядная. Но сестры все оставались на местах и успокаивали своих пациентов.

Второй раз бомбили целый вечер. После первого налета привезли раненного в живот лейтенанта. Он оказался приятелем нашей сестры Веры. Поступил в шоке, вывели, срочно оперировали. Только вскрыли живот — бомбы! Одна, другая, совсем рядом. Посыпались стекла. Все наши держались мужественно, никто не нарушил асептику. Лида боится самолетов, но и она только присела, выставив стерильные руки вверх. Лейтенант умер спустя пять дней после операции. Развился перитонит, и не смогли спасти...

Еще одно событие: в Буде судили полицаев и предателей. Двоих приговорили к повешению. Была публичная казнь — на пригорке под высокими соснами, почти рядом с госпиталем. Масса народу собралась. Многие наши ходили. Рассказывали потом: приговоренных поставили на машину, петли приладили на ветку сосны, зачитали приговор, и машина пошла. Они повисли... Висели дня три, и я боялся подходить к тем окнам... Почему-то было очень противно на душе, пока не сняли. Я за наказание предателей. За смертную казнь для злостных. Но надо ли публично? Зачем разжигать жестокость в людях, допускать, чтобы это видели дети... Не могу понять.

Началась весна. Третья военная весна... В первых числах апреля госпиталь свернули, нетранспортабельных раненых передали эвакуогоспиталю, который приехал на наше место.

Итак, межбоевой период. Время переездов, инспекций, учебы и конференций. В апреле ездили с начальником и Канским в Речицу на армейскую конференцию. На выставке мы похвалились гипсом: повязки были наложены на санитаря Степу Кравченко, срезаны, заглажены и высушены. Получились — как античные скульптуры. Очень всем понравились. Думаем под них получить профиль спецгоспиталя «бедро — суставы».

В президиуме сидели строевые генералы. Армейский хирург сделал обзорный доклад — пересказал «Указания». Ни слова о трудностях, будто и не было Угольных и Хоробичей. Научные доклады очень слабые. Я тоже выступал, даже дважды. Повторил калужские материалы о «коленках» и рассказал новое о пневмотораксах.

Но самым утешительным для нас было сообщение: «Одессу освободили!»

Со смешанным чувством еду в Буду. Приятно, что доклады прошли хорошо. Приятно сравнить себя с другими и убедиться: да, на уровне. Вот и ящик с гипсами едет обратно, жалко было

выбросить. Приятно завести знакомство с хорошими людьми — хирургами. Но противно слушать фальшивые речи, хвастовство и славословия. До Берлина еще ох как далеко!

Идет дождь. Дорога размокла. Как свернули с шоссе, так и застряли. Я не стал ожидать, пока будет трактор или «студер», пошел пешком. Восемнадцать километров по глубокой грязи... Пришел поздно, устал до полусмерти. Лида ужин взяла для меня. Попили чаю, рассказал... Стало легче. Брак — неплохо придумано.

На следующее утро пришло письмо из 1-го Московского медицинского института, — профессор Силищев дал на мою диссертацию отрицательный отзыв, и поэтому она не может быть рекомендована к защите... Горько стало. Хотя и не особенно рассчитывал, но надеялся.

Кончится война — кому будут интересны «бедрa» и «коленки», пневмотораксы? И станешь ты, Амосов, опять ординатором с двухлетним стажем. В районной больнице.

20 мая переехали в Речицу. Имуущество привезли «летучкой». В самой Речице не остановились, поехали в Озерцину — большее село на Днепре, километров десять от города. Совсем целое, дома просторные, окна с цветными ставнями. Немцы его не тронули, не успели.

Скорее бы наступление...

Мы с Лидой — законные муж и жена. Ездили в Речицу — там уже восстановлена советская власть, есть загс. Я не двоеженец: от Гали весной пришло письмо, что вышла замуж и уже ждет сына. Адрес узнала от подруги Лидии Яковлевны, которая оказалась с Галей в одной части. Я ее поздравил.

В первых числах июня сообщили, что началось вторжение союзников на континент. Долгожданный второй фронт открыт... Скоро и у нас начнется летнее наступление. Сшибить бы Гитлера до осени, а?

Наконец мы получили назначение: развертываться. Поселок Пиревичи — это близко от Буды. Стоило ездить взад-вперед. Пути начальства неисповедимы. Впрочем, наверное, трудно командовать армией. Тут с хирургией толком не управиться... Едем опять старой дорогой через Гомель. Отцветают яблони. Масса зелени, она закрывает пепелища деревянных домиков на окраине. Странно торчат черные трубы среди цветущих деревьев. Трава еще не растет на пепелищах, и черные фундаменты домов врезаются в зеленые рамы дворики. Но всюду уже копаются люди.

Не погорельцы, а горожане. Уже живой *наш* город. Висят лозунги: «Возродим наш родной Гомель!»

31

Сообщение о втором фронте довольно сдержанное, дескать: «Наконец-то родили!» Информация к нам доходит плохо. Надемся, что будут воевать получше, чем в Африке и Италии.

Мы приехали в Пиревичи на четырех машинах. Уже издали увидели длинные строения — все в порядке! Главное дело — сараи. На лето нам ничего больше не нужно. Мы вычистим и хлеба — было бы время. Команда выздоравливающих растаяла... Никуда не денешься: почти четыре месяца не работаем, многие поправились, осталось человек пятнадцать.

Конечно, все занято! Как может быть иначе? Стоит саперный батальон со своей техникой... Начальники пошли в их штаб. Откажут, конечно.

Но возвращаются довольные, и с ними чужой подполковник интеллигентного вида... На погонах — инженерные знаки.

— Да, мы вам освободим все, что необходимо. У нас люди здоровые. И поможем устроиться.

Не верю ушам своим! Вот это человек! Распланировали, «вошли в контакт» с подчиненными этого подполковника... уже на низшем уровне: старшие и младшие сестры — с капитанами, лейтенантами.

В Пиревичах был деревообрабатывающий завод. Он пострадал, но уцелел длинный сарай — пойдет под сортировку, а большой цех — для эвакуотделения.

Перевязочная получила домик, саперы вставили окна. Девушки выбелили стены. Лида работала кистью на козлах, как заправский маляр. Мы решили показать, что можем гипсовать не только для выставки. Летом получили «стол Юдина» — передвижной ортопедический стол, чрезвычайно удобный.

Никогда у нас не было таких приятных соседей. Неудивительно: все инженеры-техники, много ленинградцев. Вечерами они собираются на нашем широком дворе, приносят радиолу, начинаются танцы. Один парень чудно играет на гитаре и поет: «Шаланды, полные кефали, в Одессу Костя привозил...»

Еще: прочитал главы из новой книжки Шолохова «Они сражались за Родину». Отлично. Сцена в перевязочной медсанбата будто с нас написана.

Песни трогают не только меня — трогают и наших девушек. Даже скромницы завели себе кавалеров и тем повергли майора в страшную тревогу. И вот начались у нас строгости. Подъемы, отбои, проверки, патрули. Уже организована ловля опоздавших... Уже их сажают на гауптвахту.

Ребята возмущаются, и отношения между нашими и саперными начальниками сильно охладелись.

22 июня, в третью годовщину войны, саперы ушли на передовую «мосты через Днепр наводить».

«Летучка» уже на станции стоит и ждет раненых. Вот как нынче!

Напряжение ожидания нарастает с каждым днем. Наши самолеты-разведчики летают постоянно, немецкие — редко.

Наконец началось! 24 июня утром проснулись от страшной канонады. Стрельба не прекращается целый день, хотя стала и потише. Ходим и слушаем: не дальше ли? Не глуше ли? Нет, пока так же.

Вечером уже привезли на нескольких «санитарках» первых раненых. Прямо из медсанбата — с ранениями конечностей. Говорят: «Не продвинулись. Бьет. Подняться не дает».

Завтра нужно ждать большого поступления. Прорыв, видимо, дается нелегко.

Два дня работаем интенсивно. Раненых везут небольшими партиями почти все время. Сразу видно, что фронт близко и транспорта прибавилось. Приемная такая большая, что вмещает всех. Некоторых сразу переводим в эвакуотделение. 27-го услышали страшный гул. Бомбили. Вечером шоферы с машин сообщили: «Прорвались!» Дай-то Бог!

У нас уже скопилось человек пятьсот раненых. Гипсуем немного — не успеваем. Раненые идут хорошие. Сказался летний отдых, питание, солнышко. Настроение — побеждать. Многие жалеют, что их ранило, когда подошло самое время — вперед.

30 июня вдруг рывок: все время везли из-под Бобруйска, а тут сразу — Осиповичи и даже дальше. Посмотрели на карте — это километров шестьдесят западнее. Теперь пойдут! Рассказывают, что под Бобруйском немцев окружили, что авиация сработала отлично, что машин валяется — несколько тысяч... Немцы бродят по лесам, сдаются.

После 1 июля поток раненых резко спал. А 6-го нас предупредили, что скоро нужно будет ехать. Пока мы собирались, войска успели уйти далеко, даже толком не знаем, где идут бои.

Каждый вечер по несколько раз передают приказы Верховного Главнокомандующего. Вся страна живет наступлением.

9 июля получили приказ ехать в район Бобруйска.

В Рогачеве переправились через Днепр. От самого города ничего не осталось — его уничтожили еще зимой. Пепелища заросли травой, даже трубы сожженных домов обвалились.

Наконец мы покатали по настоящему шоссе. К полудню уже были недалеко от Бобруйска. И тут мы увидели то, что осталось после окружения.

Поле и редкий лесок, сколько видит глаз с машины, усыпаны техникой. Усыпаны буквально — почти вплотную друг к другу, в разных положениях, стоят и лежат перевернутые и целые автомашины всех марок, тягачи, орудия. Между машинами — воронки взрывов, покалеченные деревья, тряпье, масса разбросанных бумаг... Трупов уже не было, их убрали. Можно себе представить, что здесь делалось, когда 27-го наши самолеты бомбили немцев, густо сбившихся в кучу.

Разумеется, мы остановились... Все останавливались. Просто невозможно проехать мимо этого богатства техники... А вдруг там окажутся целые грузовики? Федя кинулся, как пес в стаю куропаток...

Каких только марок тут не было! «Мерседес», «фиат», «ситроен», «опель», «хорх». Огромные дизельные грузовики «МАН», «школа»... Германия, Италия, Бельгия, Франция, Чехословакия, Венгрия. Непостижимо, как мы могли противостоять такому обилию первоклассной техники со всей Европы, противостоять силами молодых заводов, разбомбленных в спешке отступления и снова собранных в такой же спешке руками женщин и подростков где-то в Сибири и на Урале. Это больше, чем героизм. Это — упорство, жизненная сила народа, партии. Да — и партии, несомненно. Но вступать в нее я все равно не собирался!

В связи с этим «особист», который «курирует» наш госпиталь, вел со мной доверительную беседу: о врагах народа, шпионах. Я выражал удивление: «Неужели? В самом деле? Вот сволочи!» Отлично знал, куда клонит...

— Не хотите ли помочь нашему общему делу? — И предложил сообщать.

Не буду восстанавливать разговор. Ответил вежливо:

— Я бы с дорогой душой... Но — не могу. Убеждения не позволяют, моральные установки...

Он был разочарован. Но подписку о неразглашении разгово-

ра взял. В этом я не отказал. Побоялся. Так что «заседание продолжается, господа присяжные заседатели». Вот с войной покончат и начнут новый заход...

Бобруйск более или менее цел. Приятно посмотреть на приличный город после сожженных деревень... Получили указание ехать дальше — Осиповичи, Марьина Горка — по дороге к Минску.

Дорога — асфальт. Мы и не видели такой после Рославля.

Трудно было немцам поддерживать эту дорогу. Леса вырублены по обе стороны метров на сто, чтобы был обзор. Через каждые три — пять километров построены деревянные форты, в которых держали гарнизоны. Это после трех лет оккупации. Нет, не завоевали!

Мостики все взорваны. По обочинам валяются вздувшиеся трупы лошадей с задранными ногами, запах от них — за полкилометра.

Теперь мы вдоволь насмотрелись на немцев. Их вылавливают в лесах — попрятались во время окружения. Впрочем, они сами выходят и сдаются, партизан боятся. Жалкий вид имеют пленные из окружения. Вот ведут группу человек в пятьдесят. Не ведут, а сопровождают в плен, дорогу показывают и от населения охраняют. Один пожилой солдат нестроевого вида идет впереди колонны — устал, ему жарко, винтовка сзади через плечо... Он не беспокоится, что пленные разбегутся.

По дорогам идет бесконечный поток обозов и машин. Много трофейных, некоторые даже раскрашены в желтый цвет, говорят, что немцы привезли их из Африки. Забавно они выглядят среди других, камуфлированных зеленым с коричневыми полосами. До 1943 года не раскрашивали своих машин, не маскировали свет, а после Сталинграда надломились — стали бояться наших самолетов.

Войска идут вперед так быстро, что нам со своим обозом не догнать. Получили приказ ехать до деревни Бобовня, что находится где-то около старой границы.

Длинное и скучное сидение в Бобовне. Где-то далеко позади «чапает» наш обоз, сведений о нем нет.

Я лежу в сарае и читаю книжки, которые прихватил в Пиревичах. Думаю о медицине и о жизни.

18 июля пришел обоз. Наконец наш ППГ воссоединился и может работать. Но здесь мы никому не нужны. Получили приказ двигаться по дороге на Белосток.

Мы догнали фронт в начале августа за Белостоком. Остановились в совсем целом маленьком городке.

Развернулись в хорошей больничке типа земской. Скоро и раненные подоспели — их везли прямо из полков. Мы вышли на линию медсанбата.

Сделал тут операцию, о которой давно мечтал: радикально прооперировал ранение груди с обработкой раны легкого.

Операция заняла два часа. Дрожал ужасно, особенно когда отсекал по зажиму кусочек доли с осколком. А потом боялся, что не ушью... При кашле легкое страшно выпирало в рану, делали под местной анестезией.

Раненый капитан вел себя отлично. В конце, когда воздух отсасывали, он совсем повеселел и свободно сидел на столе. И губы уже не синие, а просто бледные.

— Думал, конец. Я с сорок второго воюю, под Сталинградом был... Насмотрелся... Знаю, что когда воздух из раны хлопает — не жильцы... А тут прямо как заново родился. Спасибо, доктор.

Отправили его в палату, уложили. Сдали Шуре Маташковой, в самые надежные руки.

На другой день воздух перестал выходить из дренажа, и мы наладили отсос нашей системой, из трех ампул.

В общем, очень понравилась операция, только много времени требует и страшно.

Раненых принимали всего восемь дней. Войска опять довольно ходко пошли вперед, и начальство выдвинуло другой госпиталь.

Острев-Мазовецки — сюда мы переезжаем теперь. Новые впечатления: польский городок с частным предпринимательством, костелы, синагоги, магазинчики. Раньше было много евреев — всех уничтожили. Ужасно слышать об этом поголовном уничтожении нации. Совершенно не укладывается в голове, чтобы в двадцатом веке была возможна такая жестокость.

Едем по Варшавскому воеводству.

Ландшафт? Мало отличается от Центральной России и Белоруссии. Ровные места, перелески, дороги. Только население гуще: много хуторов, мелких деревень — местечек с большими мрачными костелами. Мы заходили внутрь — там красиво и непохоже на наши веселенькие церкви. На перекрестках дорог вы-

сокие кресты с распятием или статуей Божьей Матери у основания, с засохшими или свежими цветами. Странно выглядят для нас, безбожников, и костелы, и монашки, и ксендзы в черных сутанах, и кресты на дорогах. Но крестьяне похожи на наших, и домишки в деревнях почти такие же.

Развертываемся в городке Комарове. Фронт близко. Стрельба слышна хорошо, ночью — даже пулеметы.

Работаем как медсанбат, получаем раненых из полков. Организовали «шоковую» палату. Поставили печку и топим, поддерживаем температуру до 28 градусов.

У нас более или менее человеческие условия для раненых, и они уже не страдают, как в прошлые годы. Впрочем, не стоит обольщаться. Осталось самое главное — страдание от ранения, боли. И осталась опасность перитонита, газовой, шока, сепсиса... Да и смертность от тяжелых ранений уменьшается медленно. Нужны новые научные решения и другие организационные формы.

Страшные злодеяния творили немцы. Недалеко от нас лагерь смерти Треблинка. Сейчас там работает комиссия. Разрыли рвы, заполненные трупами, и производят вскрытия. В них участвует и патологоанатом нашей армии. Он приходит оттуда почти в шоке. Слой за слоем снимают трупы, и у всех находят сквозные пулевые ранения головы. Всех убивали выстрелом в затылок. Как будто стоял станок и стрелял. А ведь это стрелял человек... Кажется, что ничего не дала цивилизация этим людям. Ничего...

Отшумела работа. Эвакуировали раненых. Помогала авиация — очень удобно! Почему их мало, самолетов?

Опять я пытаюсь размышлять. Говорят: есть большая правда о войне и маленькая. Большая — это стратегия, государственный расчет. Маленькая — восприятие участников: солдат или, например, врачей. Они не всегда совпадают, эти правды. Рассуждение логично. Могут сказать, что по большой правде невозможно было сделать тысячу «кукурузников» для санитарной авиации, что если бы ее сделали в ущерб сотне истребителей, то войну бы не выиграть. Может быть, и так, но только они необходимы, эти «кукурузники».

Длугоседло — не очень подходящее место для работы. Маленький городок, в котором нет ни одного приличного дома, кроме костела. Пришлось выбрать деревню, что в полутора километрах от местечка. Хорошая, чистенькая деревня — Карнациска. В садах мы и расположились. Скоро и раненых привезли.

В первый же день наложили двадцать семь высоких гипсовых повязок и трем раненым наладили вытяжения. Выработали нашу обычную норму — 18 часов. Коля Канский так устал, что еле выполз из перевязочной. Кроме высоких гипсов еще наложили около тридцати повязок на голени, стопы, плечи. Удачной ли была наша боевая операция? Несомненно.

Еще новости: получили массу наград. Начальник, майор и я — ордена Отечественной войны II степени, Лидия Яковлевна и Лида — «Звездочки», еще несколько человек — медали.

В конце декабря поступило новое распоряжение: развернуться в лесу около реки Нарев — поближе к линии фронта. Предполагалось, что мы будем принимать раненных в бедро и суставы во время наступления. Думалось: «Последнего наступления...»

Поехали смотреть: три домика и сосновый бор. Пришли в уныние. Начальник поехал «плакаться» в ПЭП. И тут случилось чудо: нам дали строителей. Сказано было: сделать землянки на двести человек. Но мы-то знаем, нужно больше. Не будешь же раненых раскладывать под сосенками в январе. Поэтому запроектировали землянки на триста человек, а оставшееся место покрыть палатками. Расположение — по нашей обычной схеме.

Землянки топились целыми днями. Но дрова были сырые, горели плохо. Влажность высокая, беспокоились: как будут гипсы сохнуть? Но еще было время подсушиться и дрова достать. «Даешь 40 высоких гипсов в сутки!» — такой лозунг. Бинтов готовили много — все сундуки забили. С перевязочным материалом теперь не ограничивают. Просто поразительно, как сумели напасти на такую массу раненых. Честь и слава медицинским снабженцам!

Военные говорили, что особенно больших потерь не ожидают, артиллерия и авиация имеют огромный перевес над противником.

Новый год по традиции встречали в аптеке. Собрались все офицеры и сестры. Было тепло, сытно, вкусно, чуточку пьяно. И даже весело. И музыка была, и танцы, и анекдоты. И традиционные, и нетрадиционные тосты. Но все скромно. Скромный у нас госпиталь!

Числа 12 января пошли танки. Большая дорога от нас километрах в двух — все было слышно. Шум моторов не прекращался ни днем, ни ночью в течение двух суток. 13-го началась оттепель и пал туман. Такой густой, что не видно за десять метров.

А 14-го утром — наступление. Поняли это по канонаде. Орудия ревели несколько часов. Первых раненых привезли около полудня.

Работа пошла спокойно с самого начала. В сущности, это было повторение предыдущего — Карнацки. Сорок высоких гипсов не наложили — просто некому было, но за тридцать перевалили.

Да, забыл самое главное: у нас появился рентген. Дали на время рентгенологическую группу усиления, и мы получили возможность делать снимки. Работаем, как в тылу.

Раненые поступали в течение семи дней. Говорили, что прорыв был трудным, но мы этого не чувствовали, потому что работали одновременно по крайней мере пять ППГ.

19 января раненые сообщили, что войска подошли к границам Восточной Пруссии. 23-го и нам было приказано готовиться к поезду.

33

Похоже, что война для нас кончается. Мы в Германии, почти не работаем, только ездим. То ли госпиталей теперь много, то ли организация страдает. Скорее, раненых мало, иначе нашли бы для нас место.

26 февраля нас внезапно перебросили на север — в городок Либштадт. Ехали по дороге, по которой удирали немцы. Все обочины усыпаны брошенными вещами — колясками, подушками да выпотрошенными чемоданами.

Видимо, тогда была оттепель, все это потом примерзло к снегу. Всюду на деревьях — примерзший пух перин. Не могу унять злорадное чувство: «Вот и вам досталось испытать».

С ходу развернулись в здании вокзала, чтобы принимать раненых. Устраиваться легко: помещений, перин, угля, мяса — сколько угодно. На нары в сортировке разложили матрацы и накрыли коврами — как у султана во дворце...

Хирургия не представляла труда. Приняли всего около трехсот раненых, большинство — легких, уже обработанных в медсанбатах.

10 марта эвакуировали раненых, а мы переехали в Морунген. Город окружной, тысяч на двадцать жителей. Пуст, как и все другие. Нам снова установили профиль: ранения нижних конечностей. Однако раненых мало, и проблем не возникало. Нашли

окружную больницу и добыли там целых два маленьких рентгеновских аппарата — один переносной, другой на колесиках. И пленки, и все химикалии. Теперь Канский катает тележку с аппаратом от стола к столу при перевязках, и мы имеем вполне культурную травматологию.

Наш народ ходит по городу, ищет «трофеи». Дело совсем невинное: жителей — ни души, все успели выехать. Не мог себе представить такую картину бесхозного богатства: мебель, утварь, книги, техника, картины... Одежду солдаты и офицеры подбирают и отправляют домой в посылках. Для перевязочной набрали много простыней, для отделений — еще и одеял, и подушек. Всю войну берегли, дрожали за каждое полотенце, а теперь — бери не хочу!

9 апреля взяли Кенигсберг. Мы с начальником ездили спустя два дня посмотреть город. Масса впечатлений. И только потом узнали, что там наступала 5-я армия, в которой служил Бочаров. Узнали, когда армия уже ушла. Очень жалел.

В конце апреля нам приказали свернуть госпиталь, переехать в Эльбинг и там развернуться для приема раненых.

Шло последнее наступление на Берлин, и мы с нетерпением ждали: вот-вот возьмут!

1 Мая отметили как в доброе старое время. Торжественное заседание, доклад майора, праздничный обед. В большой школьной столовой вместились все.

А 2 мая наши взяли Берлин. Началось напряженное ожидание мира. Пошли слухи о перехваченных радиосообщениях, что «вот-вот».

Нам привезли около ста раненых из ближайших медсанбатов, из тех дивизий, что сражались на косе Фриш-Гоф. Немцы там упорно сопротивлялись, неизвестно зачем.

Одной из последних привезли девушку-разведчицу. Ей уже сделали высокую ампутацию бедра по поводу оскольчатого перелома, и у нее начался сепсис. Красивая белокурая девушка с мужественным лицом, четыре ордена, из них два — Красного Знамени. Теперь ее представили к званию Героя, но ей уже не дожить до награды...

— Я умру, доктор? Да?

— Ну, что ты, милая. Жалко ноги, но жизнь дороже... Сделают протез.

— Что протез... Я чувствую, как жизнь уходит. Засыпаю, забываюсь и все боюсь, что не проснусь... А не спать не могу...

Что мы могли для нее сделать? Переливали свежую кровь каждый день, вливали глюкозу, всякие витаминные препараты. Культя была покрыта омертвевшими тканями, из нее торчал острый обломок бедра почти у шейки. Надо думать, инфекция прошла в тазобедренный сустав.

Сепсис развивался стремительно, каждый день потрясающие ознобы и поты по нескольку раз. В интервалах лежит бледная, как труп. Несмотря на ежедневные переливания крови, процент гемоглобина снизился до 30. За ней ухаживала Шура Маташкова. Слабеньким голосом больная спрашивала:

— Шурочка... уже объявили о победе?

— Нет... еще нет.

— Ты меня сразу разбуди... Так хочу дожить, чтобы уже сказали: «Все!»

И она дожила...

Вечером 8 мая инженеры из соседней радиочасти принесли новость: готовится формальное подписание капитуляции.

Утром 9 мая наша перевязочная работала как всегда, хотя все ждали экстренного сообщения.

На столах лежали раненые, одни ожидали перевязки, других готовили к гипсованию. Канский делал рентгено снимки, перекатывал передвижной аппарат от одного стола к другому. Было часов одиннадцать.

Вдруг слышим стрельбу из винтовок и автоматные очереди. Все сильнее и сильнее. Сначала не поняли.

— Что там, сказались? Сейчас кого-нибудь подстрелят.

Вдруг Степа Кравченко объявил из дверей:

— Победа! Победа! На улицу!

Все кинулись наружу. Я тоже. Лида накладывала повязку и задержалась.

— Сестрица... Оставайтесь с нами...

Так она и осталась, ходила от одного стола к другому, пожимала руки, поздравляла.

А на стадионе около госпиталя уже собралась толпа. Наши в халатах, другие в форме, солдаты из разных частей. Кругом слышим беспорядочную стрельбу.

Майор влез на ящик и объявил:

— Товарищи! Фашистская Германия капитулировала! Ура!

Все закричали, бросились обниматься. Майор выстрелил вверх, нашелся еще кто-то с оружием, послышались редкие хлопки. Салют слабенький, мы — госпиталь.

Долго еще не хотелось расходиться, с трудом удалось отправить сестер и врачей.

В перевязочной Лида уже успела перевязать почти всех, кто лежал на столах. Я поздравил их с победой.

Дальше были сцены, которые запомнились на всю жизнь.

Шура Маташкова заглянула в перевязочную:

— Николай Михайлович, пойдете к Зое...

— А что, плохо?

— Нет, нужно ей сказать... просила. Вы лучше скажете.

Мне не хотелось идти... Нет, не хотелось... Но что сделаешь — надо. Доктор.

Она лежала одна в маленькой палате, бледная, с синевой, глаза закрыты, и даже не знаешь, жива ли. Шура шепчет:

— У нее был озноб в восемь часов... Теперь забылась. Но очень просила разбудить...

— А может, не будить? Проснется — скажем.

— Разбудить, Николай Михайлович... Пожалуй, и не проснется уже сама.

— Зоя, Зочка!

Чуть приоткрыла веки. Облизала сухие губы.

— Пи-ить...

Шура напоила ее из поильника морсом. Глаза совсем открылись.

— Зоя, Германия капитулировала! Поздравляю тебя с победой!

Оживилась, улыбнулась болезненной, робкой улыбкой. Слеза поползла из угла глаза по виску вниз.

— Позд-рав-ляю... и вас поздравляю... Дождалась... Теперь бы поправиться...

Сел около нее на кровать, взял руку, тонкую, бледную, бескровную, с грубой кожей на ладони, с короткими неровными ногтями. Говорил, утешал...

— Ты усни, Зочка. Набирайся сил...

И она уснула...

К вечеру был еще один озноб, после которого полный упадок сил и сердечная слабость... Ничего сделать не могли.

Это была последняя смерть в нашем госпитале. И оттого особенно обидная и печальная. Но все вокруг так переполнилось счастьем, что ничем уже нельзя было затмить радость. Просто не верилось: «Больше не убивают!»

Днем 9 мая заканчиваются мои военные дневники. Дальнейшую историю ППГ-2266 я кратко расскажу по памяти.

Госпиталь расформировали только в ноябре. Пока шла война, казалось, что как только немцев побьют, сразу всех распустят и начнется счастливая мирная жизнь. Но была еще Япония. Эти полгода нудные: исчезла главная связь между людьми — работа, великая общая цель — победить.

Мирное, отдельное, а не общее будущее встало перед каждым. Для многих оно было суровым и неприглядным. Хорошо, если дома ждет семья, а если нет? Пожалуй, самым трудным была необходимость действовать одному, индивидуально.

Но хорошо быть молодым! Молодые не обременены воспоминаниями и разочарованиями. Они жадны к жизни, храбры.

Помню, я был счастлив в те первые дни мира: ощущение огромного облегчения и масса интересного вокруг, впереди.

Но обратимся к истории госпиталя.

В Эльбинге мы работали еще больше месяца: «доводили до кондиции» тяжелых раненых, лечили случайные травмы. Стержня уже не было, но держали обязанности.

В нашем госпитале проводилась армейская хирургическая конференция: «Подведение итогов». Обстановка была скорее праздничная, чем деловая, хотя еще спорили по хирургическим проблемам, но уже как о чем-то нереальном. Я опять делал два доклада — на этот раз о суставах и о бедрах. Представил опыт от войскового района до фронтового тыла.

Еще я писал научные работы. Написал целых восемь. «Бедро», газовая, переливание крови, вторичные кровотечения, две статьи о ранениях груди, две статьи о «коленках». Они и сейчас у меня хранятся. Прочитал — вполне приличные статьи, с хорошей статистикой. Никуда их не посылал, не рискнул после неудачи с диссертацией.

Ездили всей компанией получать ордена и медали в штаб армии. Орденами наградили еще прошлой осенью, а медали — свеженькие: за победу над Германией, за Москву, за Кенигсберг.

В середине июня пришло распоряжение свернуться, сдать лошадей, машины, все лишнее имущество и готовиться к погрузке. Радовались, рассчитывали, что едем на расформирование. Но были и сомнения: очень много частей ушло на восток из Пруссии.

Погрузились в такие же товарные вагоны, как четыре года назад, и отправились в Россию. Ждали, что поедем в Череповец, но проехали Москву, повернули на восток. Когда перевалили за Урал, осталось только гадать — в Монголию или в Приморье?

Грустное это было путешествие. Ехали целый месяц, надоели друг другу «до чертиков».

Выгрузились на станции Лесозаводск в Приморье, и снова началась военная жизнь. Имуущества много, вплоть до рентгена. Нас определили в 35-ю армию, что простояла всю войну на дальневосточной границе:

На второй же день я поехал разыскивать Бочарова, зная только, что его 5-я армия где-то здесь. Ехал поездом, машинами, расспрашивал встречных и нашел штаб армии. Аркадий приехал только к вечеру, и мы проговорили до утра. Помню, сделал ему подробный доклад об Угольной, о Каменке, о Хоробичах, о Карнациске, о тридцати пяти высоких гипсах, об ушивании раны легкого. Никто так не понимал военную хирургию, как Бочаров. Он тоже рассказывал о своей армии. Конечно, у них было гораздо лучше нашего, даже сравнить нельзя. Специализация с 43-го года, транспорта намного больше. Смертность по тяжелым ранениям значительно ниже. Но до ушивания ран легких, до вытяжения бедер и первичных резекций колена они все-таки не дошли, он признал. Похвала Аркадия была мне очень приятна. Утром он проводил меня на своем «виллисе» до станции. Дружба наша продолжалась потом лет двадцать пять, до самой смерти Бочарова, генерал-лейтенанта, заместителя главного хирурга Советской Армии, профессора.

Потом мы пережили рецидив войны. К счастью, короткий.

Главным хирургом фронта был Александр Александрович Вишневский. У него были свои идеи в добавление к «доктрине»: местная анестезия, мазь, которая называлась эмульсией, и «крестовина» — крестообразное расположение палаток операционной, перевязочной, предперевязочной, шоковой. Середина между палатками накрывалась брезентом. Пока сухо — это было неплохо, но при дожде — наказание: стекала вода с палаток, и всю грязь несли в операционную.

9 августа утром началась артподготовка. Ничего, кроме раздражения, эта «музыка» не вызвала. Через несколько часов стали прибывать раненые — необстрелянные дальневосточные ребята. На нашу долю пришлось всего человек двадцать — «семечки» для нас.

14 августа приказали срочно свернуться и отправляться в Маньчжурию. Скоро услышали, что японцы капитулировали. Обрадовались, но теперь ехать вперед вдвойне не хотелось: «За-чем?»

Следующие сутки были последним испытанием доблестного ППГ-2266. На санотдельских машинах, под легким дождичком повезли к реке Уссури, к границе. Нас завернули в сторону, километра за два до реки. Пошли смотреть.

На понтонном мосту — шлагбаум, патруль, охрипший полковник, несколько его подручных офицеров. Со всех сторон на них насаждают жаждущие наступать в Маньчжурию. Не пускают никого! Оказывается: прошли дожди, размыло дорогу. Нужно ждать солнышка, чтобы просохло.

Под вечер, когда надежда на переправу исчезла, мы получили приказ идти пешком в некий населенный пункт, который нам указали на карте, для того чтобы оказывать там хирургическую помощь. Это — в десяти километрах от границы.

Приказ есть приказ. Дальневосточный, то есть невовававший, подполковник не стал слушать начальника: «Выполняйте!» Быстро перетряхнули свои ящики, собрали все необходимое, чтобы можно было сделать полостную операцию, распределили и двинулись. Надо думать, колонна была смешная: впереди толстый начальник, за ним майор и дальше мы — Анна Васильевна, Гамбург, Шурочка, я, Быкова, Тася, Лида, палатные и перевязочные сестры. Санитаров было всего восемь — Канский, конечно, Бессоныч, Кравченко. Вооружение — пистолеты у начальника и майора. (Начфин и Гамбург свои уже сдали.) Полковник на мосту удивился, посмеялся, но пропустил.

Засветло прошли немного. Дорога была разбита, грязи по колелю, кругом болота, заросшие высоченной травой, никакого жилья не видно. И тучи комаров.

Колонна растянулась на километр. Когда стемнело, стало страшновато. Один японец мог перестрелять всех нас из тростника... Часам к двенадцати заметили впереди огонек. Оказалось, несколько покинутых фанз, в одной — солдаты, костер. Тут и свалились, полумертвые от усталости.

Утром обнаружили недалеко тот самый пункт, куда шли. Оказалось что-то вроде японской пограничной заставы. Днем действительно привезли одного раненного в живот, и мы использовали имущество, принесенное на себе: сделали лапаротомию. Раненого не спасли: экспромты в хирургии не проходят...

К вечеру дорога подсохла, пришли санотдельские машины с имуществом, забрали нас и повезли куда-то. Два дня путешествия по Маньчжурии, китайцы всюду приветствовали нас. Кричали:

— Шанго! Шанго!

Не знаю, что это означало, но лица — радостные.

Наконец развернулись в городе Боли и даже приняли там около сотни свежих раненых. Через пару дней их эвакуировали.

На этом наша вторая война окончилась.

В середине сентября госпиталь вывезли в район острова Ханко, там мы прожили неделю в палатках и переехали в пригород Владивостока — на станцию Седанка.

Месяца полтора персонал разъезжался... Сначала проводили демобилизованных санитаров, потом отпустили младших сестер. Пришла наша очередь: мы с Лидой были направлены в другой ППГ. Последними оставались начальник, майор, Канский и хозяйственники. Кажется, они оформляли ликвидацию еще недели две.

Так прекратил свое существование ППГ-2266.

Мы с Лидой встречались после демобилизации со многими. Анна Васильевна и сейчас работает в нашей клинике. С Быковой дружили в Брянске до самой ее смерти. Многие годы заезжали к Зиночке в Москву и виделись с Аней Сучковой. Лидию Яковлевну встречал в Ленинграде, когда приезжал с лекциями. Заезжал в Череповец и видел Тамару. Татьяна Ивановна вернулась из ссылки в начале шестидесятых. По-разному сложилась судьба у девушек. Канский — как в воду канул... Майора мне видеть не хотелось.

Вот так.

КОНЕЦ ППГ. МОСКВА. БРЯНСК

1

Мы с Лидой получили предписание ехать на какую-то станцию, не помню, в госпиталь № 497, к начальнику Горелику.

Упаковали чемоданы, довольно тяжелые, и ноябрьским вечером нас посадили в местный поезд. Ехали часа три. Выгрузились уже под вечер.

Такая неприкаянность! Как будто от родной матери оторвались. Попросились ночевать в одном из пристанционных домов. Хорошие люди. Угостили жареной свежей селедкой. Очень вкусная. Так вот запоминается ерунда.

Утром нашли новый госпиталь, на окраине, в военном городке. Комсостав жил в «фанзе», этаким круглом доме из досок на манер чукотского чума. Скучно прожили там целый месяц. Отвратительное настроение. Не было желания что-нибудь делать, все казалось сугубо временным. Начальник — молодой медицинский капитан, Саша Горелик, я его знал по 48-й армии. С ним жена, настоящая, не ППЖ. Собака — овчарка. Еще служили трое врачей, молодые женщины. Одна интересная. (Замечал Амосов!) Но имена не остались в памяти.

В конце декабря получили приказ: выехать в Маньчжурию, в расположение японского военного городка, и возглавить лагерь японцев, в котором свирепствует сыпной тиф.

Прислали «студебеккеры», все погрузили. Поехали. «Все как прежде, все та же гитара...» Сколько можно? Мороз — 20 градусов.

Уехали далеко, под город Мудедзян, километров за двести. Выгрузились в большом поселке: военный городок японской армии.

Боже мой, какая жуть! Почти как в Гомеле или Кенигсберге. Одноэтажные дома, правильная планировка — улицы, перекрестки. Но от домов — одни стены. Даже крыши не везде. Не только рамы, косяки — полы выломаны. Как японцы ушли, китайцы нахлынули, как смерч, и разнесли.

Но все-таки нашли обжитой район: команда из двадцати наших солдат с пьяным комендантом-капитаном, а чуть дальше — японский военный госпиталь, их ППГ. Дома сохраненные, окна вставлены: стекло, фанера. Крыши, дым из труб. Живут люди.

Комендант нашел дом, несколько целых комнат с печками и даже дровами. Нас выгрузили, стали печки топить и греться. Начальство с хозяйственниками пошло устраиваться: дома занимать, имущество разгружать, ремонт начинать. Но прежде всего — готовить горячую пищу. Полевой госпиталь все умеет: одна походная кухня, еще два котла подвесили, один — для кипятка, другой под кулеш. Огонь развели. Через час уже готово. Едим, греемся, мрачно шутим:

— ППГ в своей стихии.

Пришел начальник, Саша. Дал информацию.

— Лагерь военнопленных, где-то около пятисот человек, точно никто не знает. Карантин из-за тифа. По идее, есть организация — команда солдат и японский госпиталь. В действительности — хаос и вымирание. Лагерь не охраняется, японцы бежать боятся — китайцы тут же убьют. Кормят сухим пайком, на самом деле — голодно. Команда ворует и пропивает продовольствие. Госпитальные себя кормят, но никого не лечат... Задача: оздоровить лагерь.

Посоветовались вдвоем с Сашей. У него — вся полнота власти, есть приказ свыше. Наметили: сортировка и учет. Тех, кто явно болен, собрать вместе, вымыть, лечить. Крепких заставить работать: дел много. Утеплиться. Отопиться. Кормление из кухни. Прожарить одежду. Проверять на вшивость и заболевания. Здоровых после карантина и переболевших — отправлять на советскую территорию. Тифозных принимать из других лагерей.

Вызвали японца — начальника госпиталя. Крупный, очень вальяжный, одет по форме. Есть переводчик. Заявляет:

— Не признаем себя побежденными: Микадо приказал сдаться.

Саша:

— Не будем выяснять. Командуем мы. Подчиняйтесь, за отказ расстреляем.

Сомневаюсь, что были такие права, но — сказал. Припугнул.

Пошла работа. Планы выполнялись, фронтовой опыт...

Помню первый обход барачков для сортировки «контингента». Входим: начальник, врач — офицер-японец, с ним — переводчик, писарь. Потом — я, несколько наших — от хозяйства, от медицины. В бараках — адский холод. Дыры в окнах. Больные сидят на корточках у стен, другие лежат — ослабли.

Офицер что-то кричит с порога, наверное, наше «Встать!».

И вот — чудо: полумертвые поднимаются, шатаясь, строятся. Снова команда, отвечают хором странным грудным звуком, вроде:

— О... о... х!

Кто поднимается лениво или молчит, того офицер бьет по лицу. Слабых поддерживают. Они падают, как только офицер проходит дальше.

(Думаю: «Да... сильны япошки! Пленные немцы — деморализуются с ходу».)

Сортируем, даем бирки, писарь переписывает, переводчик диктует фамилии. Совсем слабых ведут и грузят в машину, тех, кто посильнее, уводят хозяйственники. Строем ведут!

Навели порядок за два дня. Вошебойка дымит круглые сутки. Рядом в домике что-то вроде бани (воды мало), сидят голые — ждут одежду. Сухие пайки прекратили: днем — обед из двух блюд, утром и вечером — кипяток, сахар и хлеб. Оказалось, что нормы приличные: консервы, крупы, рыба, жир. Хлеба — 600 граммов. Японцы оголодали. Госпитальные были организованы и получали достаточный паек. Они нам оченьгодились: сестры и санитары. С врачами контакта не получилось, лечили мы сами.

Самое главное: открыли барак на сто мест. Вместо кроватей были носилки и топчаны. Белья и одеял госпиталь имел в избытке. Кроме штатного — «трофеи наших войск». Было и другое имущество. Лида, как начальница команды сестер, даже удовольствие испытала от развертывания, вспомнила лучшие времена. Помощницей у нее была Хамада — не первой молодости старшая сестра, очень деловая. Лиду называла «Лида-сан», госпожа. Младшие сестры — японки, тоже очень приятные. Была бригада санитаров, из их, госпитальных, очень дельных молодых ребят. Не чета нашим прежним, из выздоравливающих. Больные врачи и офицеры лежали в отдельной палате.

Отношения между японцами нам казались очень странными. Парни и девушки: никакой фамильярности. Соберутся вечером у печки, песни поют, не лапают, как у нас, даже не касаются.

Офицеры-врачи и строевые никаких разговоров с рядовыми не ведут, живут отдельно, нас стараются не замечать: чертовы самураи! Японки-сестры, наоборот, очень наших полюбили, к своим начальникам не обращаются.

Когда тифозные больные выздоравливают, у них прорезывается зверский аппетит, особенно у дистрофиков. Бывало, крали пайки хлеба из-под подушки соседа. Если кого уличали, старший командовал «смирно» и бил по лицу.

Умирала не часто, только крайние дистрофики. И все же почти каждый вечер на окраине поселка сжигали трупы. Не мы, конечно, — японцы. Полагалось пепел отправлять домой.

Оттапливались тем, что ломали крыши на пустых домах — тех, что остались после набега китайцев. Дома были очень холодные, к утру вода в ведре замерзала. В мирное время японцы мылись в больших бочках, они устанавливались в кухнях.

Работа в отделении была нетрудная. Лечение сводилось к минимуму: кофеин, камфара при плохом пульсе. Кровяное давление не измеряли. Кормили, поили, переворачивали, когда сознание мутилось от высокой температуры. Смотрели, чтобы не убежали в бреду.

Труднее было обустроить помещения для здоровых, карантинных: требовалось много ремонтной работы. Но — справились. Бригады из японцев работали.

Быт персонала налажился. У нас с Лидой была комната-кухня. Холодная. Вот когда пригодилась немецкая перина! Мы даже щеночка взяли, но он, бедный, плакал все ночи, пришлось вернуть...

Выдавали пачки оккупационных денег — юаней. Чтобы потратить их, ездили на машине в город, на базар. Многолюдный, масса китайцев продают с рук сушие пустяки: кусок материи, пачку сигарет, съестное. Цены очень высокие, их взвинтили наши военные. Рассказывал начфин, что деньги в штаб дивизии машинами привозят. Наши всё хватали, подчистую...

Были контакты с китайцами. Однажды они приезжали к нам и угощали ужином. Говорили — деликатесы, а для нас — жуткая дрянь. Но блюд много, около двадцати, названий не запомнил.

Еще были в гостях в китайской деревне. Довольно русской нищеты повидал я за войну, но китайская — из рук вон. Глинобитный домик, малюсенькое окно, земляной пол, печка и... забыл, как называется, что-то вроде нар-лежанки, под которой

дымоход проходит. Грязь первобытная... Здесь нас тоже кормили, было много блюд, но не вкусно.

На китайский Новый год ездили в город. Видели представления: драконов, фонарики, фейерверки, шествия...

В конце февраля Бочаров, мой друг и главный хирург округа, вытребовал меня из Маньчжурии к себе, в Ворошилов-Уссурийский, работать в окружном госпитале.

Впечатления от японцев: «О... о..! Сильная нация». Это подтвердилось потом — в «японском чуде».

От китайцев же наоборот — слабые. Обманулся.

За полтора месяца, что прожили в Маньчжурии, написал вторую диссертацию: «Организация хирургической работы в левом госпитале». Материала было достаточно: хотелось поучить потомков.

2

23 февраля 1946 года. День Красной Армии. Мы с Лидой едем на машине из Маньчжурии. Зима, холод, длинная дорога между сопками, сидим в грузовике на ящиках и тюках, ветер пронизывает насквозь. И будто бы китайцы даже стреляют вслед: «хунхузы».

Полгода назад, когда японцев гнали, китайцы встречали с ликованием: «Шанго! Шанго!» А теперь разочаровались: вывозим все японские трофеи, а наши оккупационные деньги сильно подняли цены на базарах.

В Ворошилов-Уссурийский (там штаб и окружной госпиталь) приехали вечером совершенно замерзшие. Четырехэтажный «генеральский» дом. Остановилась машина, сползли на землю. Лида осталась внизу, а я поднялся на третий этаж. Открыл молодцеватый офицер: черные глаза, шевелюра с проседью, любезная улыбка, широкие скулы — «кавказский человек». Ждали:

— Ты Коля Амосов?

Вышел Аркадий, расцеловал, сказал «сейчас», но присесть не предложил. Через минуту вышел одетый: «Пойдем».

Вот так встреча! Обида, почти слезы. Дружба побоку? Даже погреться не предложил. На улице поздоровался с Лидой, велел забираться наверх, сам сел в кабину, и поехали.

Потом еще с полчаса стояли около госпиталя, пока Аркаша куда-то ходил. Вернулся с офицером и солдатом, велел вносить вещи. Очутились в красивой светлой комнате с обстановкой.

— Здесь Вишневецкий жил до отъезда. Располагайтесь, завтра поговорим.

И ушел. Но в комнате так тепло! Санитарка принесла отличный ужин — обίδα почти прошла.

На следующий день Аркаша все разъяснил. У военных, как и везде, квартирный кризис. Главный хирург пришел вечером к начальнику госпиталя и сказал: «Прибыл из Маньчжурии хирург с женой, о котором договаривались. Совершенно замерзли. Прикажите разместить». Тому некуда деться, велел ночевать в кабинете при отделении физиотерапии, где уже раньше жил генерал.

— Если бы я тебя оставил даже на ночь, квартиры бы уже не получить. Им не надо знать, что ты — друг.

Того офицера, что встретил у Аркаши, звали Кирилл Симонян, для меня и друзей — просто Кирка. Капитан медицинской службы, он числился в штабе, жил у Аркадия — они готовили к печати сборник научных работ хирургов 5-й армии. Способный, черт, все получается. За машинку только сел и как стучит: «Я же пианист!»

Меня определили старшим ординатором в травматологическом отделении окружного госпиталя. Начальник — Фамелис, грек. Очень знающий, но и я не промах. Работы немного, дело — подчиненное, ответственности никакой.

Через месяц нам с Лидой дали комнату. Почти каждый день ходили в гости к Бочарову. И разговоры, разговоры с Киркой.

Очаровывал — был у него к этому талант, очаровывать: санитарку, академика, кого угодно.

«Сын персидского подданного». Отец — армянин, мелкий ростовский коммерсант, уехал в Иран вскоре после белых, оставил жену с двумя детьми на попечение родственников без всяких средств. Много рассказывал о школе: был тесный кружок умников. Среди них — А.И. Солженицын. В 43-м Кирилл попал на фронт в 5-ю армию, к Аркадию. Быстро выдвинулся до ведущего хирурга медсанбата. Работал отлично.

Образование у Кирки было шире моего, кончал всякие вечерние курсы и даже Институт марксизма-ленинизма. Сыпал цитатами из классиков, как из мешка. Кажется, даже верил в эту философию. Впрочем, в философию верил и я, политику только не одобрял.

После того как от Аркаши уехала знакомая, приехавшая с ним с запада (она была хирургом), Кирка с ординарцем вел все хозяйство сам и еще воспитывал белого сеттера Шанго.

Помню, Лида пекла пирог, выставлялась минимальная выпивка, и мы очень хорошо проводили время вчетвером. Главный разговор — о войне. Но уже строили планы — мирная работа, наука.

В июне мы втроем поехали в Москву. Лида — заканчивать пединститут, Киру обещали демобилизовать, а я — в отпуск и к Юдину — за протекцией. (Аркаша, один из трех старших ассистентов Юдина, и даже будто бы любимый, написал письмо и просил за меня. Без блата демобилизоваться молодому врачу было немыслимо.)

Страна дышала особым воздухом: облегчение, мир внешний и внутренний. Аресты тридцатых годов заслонились потерями войны. Имя вождя сияло, рапорты заводов и республик «дорогому и любимому» печатались в каждой газете, и к этому все как-то притерпелись. О новых репрессиях ничего не было слышно, скрывали очень тщательно, научились. Объявили грандиозный план восстановления страны. Профессорам удвоили зарплату, поняли цену науки.

Запомнилась дорога с Дальнего Востока. Переполненный вагон. Поезд в Ворошилово брали штурмом, с помощью солдат. Одна полка на троих. Путь — 12 дней, долгие остановки на станциях, очереди у будок «Кипяток», скудные пристанционные базарчики, оборванные дети с ведерочками из консервных банок: «Подайте, дяденька!» Безногие инвалиды с медалями на заношенных гимнастерках. Перронные уборные со сплошь исписанными стенами. Мы с Кирой специально изучали солдатский фольклор: «Нынчи новая программа срать не меньше килограмма», дальше совсем непечатное.

Сделали остановку в Ярославле. Нужно было родственникам новую жену показать и лишние вещи оставить. По поводу жены — волновался. Не любят невесток, да и Галю помнят. Но все сошло хорошо, Лида умела себя вести. Если и были сомнения у кого, то мне не высказывали: «Женился — дело хозяйское».

Из Ярославля сделал марш-бросок в Череповец: вещи забрать, с друзьями повидаться. Прожили там два дня.

Череповец был близко от фронта. Тихвин немцы брали, это около 200 километров. Город не пострадал, всего несколько бомб сбросили — в здание вокзала. Но голода хватили... И теперь было очень трудно с продуктами.

Ходил по городу, по гостям. Впечатление такое, словно

прошла целая вечность. Зачем-то собор снесли... Александра Николаевна умерла. Ленка Тетюев вернулся с войны два года назад инвалидом. Рука не гнулась после ранения, на скрипке играть не может. К выпивке пристрастился. Но уже был при хорошем деле — лесопильном: шло строительство металлургического комбината. Титовна умерла, у Жени двое детей. Катеньку, операционную, видел. Замуж вышла, дитя есть. Рассказала больничные новости: Борис Дмитриевич постарел, выпирают на пенсию, а он не хочет. Из-за этого я даже не пошел к нему: жаловаться будет, а что я скажу?.. По-жлобски поступил, Амосов...

На обратном пути перечитывал старые письма. Те, что от женщин, порвал. Подальше от соблазна... «Моя судьба уж решена... я вышла замуж...»

По дороге из Ярославля в Москву украли самый главный чемодан: в нем было мое парадное обмундирование, Лидины вещи. Не помню, чтобы очень переживал. Когда что-нибудь безвозвратно пропадает, я всегда себе приказываю: «Отринь!»

В Москве прожили один день: ночевали у Кати Яковлевой, нашей медсестры. Год назад я оперировал ее по поводу тяжелой язвы желудка. Побоялся сделать резекцию, наложил соустье, потом она всю жизнь мучилась, а я себя клял за трусость.

Яковлевы живут в двухэтажном деревянном доме на Таганской улице, настолько дряхлом, что стены подперты бревнами. (Теперь его уже нет — искал.) Но квартира в полуподвале уютная, по моим тогдашним понятиям. Приняли с той особой русской теплотой, в которой душа тает.

С неизбежными для нашей страны трудностями доехали до Харькова — к теще, Екатерине Елисеевне Денисенко. Ей тогда было около пятидесяти, но казалась старше. После этого свидания мы с ней мирно сосуществовали без малого двадцать лет. Я не зря написал это политическое слово: душевности в отношениях не было, звал по имени-отчеству, уважительно, голоса ни разу не повысил, она отвечала тем же. Хотя по натуре была лидер. Это проявлялось в отношении к дочерям. Младшей — Раей, уже замужней, очень мягкой, командовала как хотела. Лидой тоже пыталась, но эта сама была командирша, пресекала. Поэтому не помню ни одной ссоры, только редкое тихое недовольство.

Отец Лиды, Василий Михайлович Денисенко, происходил из большой рабочей семьи, из Кривого Рога. Был шахтером,

рано вступил в партию, быстро пошел на выдвижение: судья, секретарь райкома. Потом так же быстро — в верхи — аж первым секретарем обкома в Смоленске. Возможно, такая карьера связана с нехваткой кадров после массовых арестов в 37-м году. Проработал секретарем пару лет и был направлен в Высшую партийную школу в Москву (а может, в Академию общественных наук, Лида не знает). Там его застала война. Мобилизовали и отправили на фронт в чине полковника.

В семье кроме Лиды было еще двое детей. Сестра Рая училась на геолога. Направили работать на Колыму. Брат Коля к моменту нашего знакомства был студентом.

Екатерина Елисеевна окончила начальную школу, в ранней молодости успела поработать горничной у богатых хозяев, после замужества служила в советских организациях. Когда немцы подходили к Смоленску, семью эвакуировали в Коми-Пермяцкий округ. Там Екатерина Елисеевна работала на хозяйственной работе.

Лида после средней школы училась в Днепропетровском университете, потом перевелась к семье, в Смоленский пединститут, к началу войны окончила третий курс. Еще — школу медсестер. Добровольно пошла на фронт и была операционной сестрой в медсанбате. В октябре 1941 года дивизия попала в окружение. Я уже писал об этом.

3

На Украине в то лето была сильнейшая засуха. Уже в июне в парках Харькова пожухла трава и даже сморщились листья на деревьях. Последствия для народа были тяжелые — не тот голодомор, что в 33-м, но смерти от голода бывали. Это, однако, позднее, уже зимой.

Ну, а в июне было хорошо. У Елисеевны две комнаты, жила с сыном Колей, он как раз окончил среднюю школу и поступил в авиационный институт. Продукты выдавались по карточкам, базар недалеко, деньги у нас были. В комендатуре паек выписали на отпуск — получил.

Отдыхали. Читали. Гуляли. Харьков большой и красивый, разрушений от войны не видно. Ели домашнюю пищу.

Была заноза в семье, но о ней старались не говорить, по крайней мере при мне. Отец Лиды, Василий Михайлович Денисенко, завел на фронте другую семью, имел там уже двоих

детей. Незадолго до нашего приезда он умер в Харькове, в госпитале, от рака желудка. Та, вторая семья жила здесь же. Отношений с ними не поддерживали, но рана в душе у Екатерины Елисеевны кровоточила. Просто виду не подавала, сильная женщина.

· Меня не покидала тревога: как избавиться от армии?

Когда после месяца отпуска я приехал в Москву, Кира уже работал в Институте Склифосовского и даже женился. Тестя его демобилизовал: «Блат — выше Совнаркома». Жену тоже звали Лида, она была из того же ростовского школьного кружка, что и Кира, и Солженицын. Отец Лиды был врач, крупный администратор, делец. Он и выхлопотал Кире свободу от армии.

Мне предстояло трудное дело: просить у Юдина протекции для демобилизации.

И вот Кира привел меня к шефу. Он уже был как свой — умел подойти! Нет, я не завидовал этому.

Кабинет Юдина. Сергей Сергеевич только что пришел после операции. Я с ним уже встречался в 1942 году, но он забыл: много ездило к нему молодых хирургов с фронта. Клеенчатый фартук с капельками крови висел у двери. На стенах — фотографии корифеев хирургии с личными надписями. Старинный письменный стол с разными штучками. Описать лицо Юдина — невозможно: худое, в непрерывном движении. Руки его рисовал кто-то из крупных художников.

Представили:

— Вот это Коля Амосов, ближайший ученик и друг Аркадия Алексеевича...

Бросил безразличный взгляд. Взял письмо, прочитал.

— Не могу вам помочь. Мне еще самого Аркашу надо вытащить. Возможности мои ограничены...

Ну что ж, значит, так и будет. Не обиделся. В жизни ни разу по знакомству не пробивался. Как все, так и я.

Мы с Лидой опять ночевали у Кати Яковлевой.

Ночью меня осенила идея: а что, если использовать мой второй — инженерный — диплом? Организовывалось новое Министерство медицинской промышленности, инженеров нет, а я — с двойным образованием.

Не хотелось, но снова пошел к Юдину. Он загорелся:

— К Третьякову, к министру!

Вышли во двор, вывел из гаража машину, усадил. (Теперь могу похвастать: сам Юдин меня возил на машине. Помню —

немецкая, бежевого цвета, открытая. Личные машины у профессоров тогда были редко. Тем более, чтобы еще сам рулил.)

Мимо швейцара, контроля, почти бегом прямо в кабинет к министру.

— Вот (не помню имени-отчества), я вам привез инженера и хирурга. Для вас — просто клад! Помогите, и будем его использовать пополам!

Третьяков дело решил быстро: выдали ходатайство в Главное медико-санитарное управление армии. Два дня потом пробивался к военному медицинскому начальству, но бумага сработала, резолюцию получил. Медицинский подполковник вручил предписание:

— Демобилизовываться придется ехать в Ворошилов. Туда придет приказ, ждите.

Лида оставалась в Москве, а я поехал снова в Ворошилов.

В Москве познакомился с женой Аркаши Анной, с ее сестрой Татьяной и тещей, Зинаидой Гавриловной. Они жили в маленькой квартирке в районе метро «Бауманская». Бабушка была в прошлом стоматологом-протезистом, но из благородных. Дочки до революции побывали в Смольном институте. Потом поступили в университет и выучились на врачей. У Татьяны была дочь Ирина, окончила школу, и муж — чиновник по сельскому хозяйству. Обе семьи были очень дружны.

Анна и Ирина поехали со мной на Восток, в гости к Аркаше. То ли он приглашал, то ли сами напросились, и, похоже, зря.

Аркаша был очень рад гостям. Женщины взялись за хозяйство, но разговорились с соседками и получили информацию:

— У полковника была ППЖ.

Боже, что тут началось! Истерики, слезы...

Анна в душе так и оставалась институткой. Измену мужа переносила трудно. Отлучила его от себя почти на год. Разговаривала только по необходимости... Дорого обошлась Аркаше ППЖ! Больше не грешил.

Я терпеливо ходил к ним в гости, чтобы разряжать обстановку. Подружился с Ириной, потом вместе возвращались в Москву, оставив Аркашу на съедение Анне. Следующий раз я увидел их через два года, но и тогда еще Анна шпильки мужу пускала.

Проработал в госпитале месяц, пока не пришел приказ. Написал за это время еще одну, третью уже, кандидатскую диссертацию: предыдущую — вторую, об организации госпита-

ля, — Аркаша решительно забраковал. Новая называлась «Первичная обработка ран коленного сустава». Все материалы содержались в «Книге записей хирурга» и статьях, написанных в Восточной Пруссии.

4

Началась жизнь в Москве. Самый грустный и неприятный период моей жизни.

В октябре проходил Всесоюзный съезд хирургов, и нам с Кирой удалось несколько раз пробиться на балкон. (Было это в Политехническом музее.) Забыл, о чем шла речь в докладах, но всех лидеров повидал. Помню, как Н.Н. Бурденко, совсем глухой, объяснялся в президиуме записками, как потом его выводили к машине — грузного, немощного. Из старшего поколения блистали С.С. Юдин, В.Н. Шамов, Ю.Ю. Джанелидзе, А.В. Вишневский; помоложе — П.А. Куприянов, А.В. Мельников, А.Н. Бакулев, С.П. Банайтис, Вишневский-младший — Саша (Сашей его звали до самой смерти). Для меня, провинциала, они — олимпийцы. Впрочем, в себе я тоже был уверен. Знал, могу сделать любую операцию, которую другие делают, и даже изобрести собственную. Война научила...

В доме, где жила Катя Яковлева, нам сдали комнатку — четыре квадратных метра. Железная кровать, комод, столик и стул. Свободного места не было. Когда приезжала сестра Лиды, я спал на полу. Готовили на керосинке, ею же отапливались.

При демобилизации в военкомате выдали на два месяца паек: три кило крупы, несколько банок консервов и много буханок хлеба. Его доедали уже заплесневевшим. Лида получала студенческую карточку, но отоваривали плохо. От такого питания я похудел и голова покрылась коростой. Впрочем, не стоит преувеличивать, все-таки жили спокойно, настроение портилось не от этого.

Примерно раз в неделю мы ходили в гости к Кирке, вернее, к родителям его жены, у них была просторная, хорошая квартира. (Нам казалась хорошей.) Угощали чаем, колбасой, сыром, но уж такими тоненькими кусочками, что в горло не лезли. Семья не нравилась, чувствовалось напряжение в отношениях с молодыми, но интеллектуальные разговоры велись.

Ах, эти разговоры! Они и теперь такие же: что пишет «Лите-

ратурная газета», толстые журналы, что передают «голоса», теперь еще телевизор. Анекдоты. И критика, критика! Никто ни во что глубоко не вникает, причин беспорядков не доискивается, на себя не оглядывается. Когда-то, много лет спустя, был у меня Виктор Некрасов, уже изрядно пьяненький; когда я прижал его с конструктивной программой, высказался: «Я люблю английскую королеву!» Но это крайность, большинство — мелкие критики. Молодые — смелые, мое же поколение помнит 37-й год и при чужих многие вещи своими именами не называет.

Я тоже люблю критиковать. Если все кругом хорошо — значит, застой. Но нужно же доискиваться до корней! Иметь, что предложить, и обосновать. Необходимо и на себя оглядываться: «А сам ты чего стоишь? Дело до толку не довел».

Я не работал целый месяц. Почти ежедневно ходил в медицинскую библиотеку и читал иностранные хирургические журналы, в основном про военную хирургию. Но как их хирургия отличалась от нашей! Они уже свободно оперировали ранения груди, пневмоторакса не боялись. При переломах применяли металл для скрепления отломков. А шок? Да у нас ничего против него не было, кроме покоя и согревания, а они имели стройную систему из вливаний и медикаментов. Тогда же я вычитал о внешнем вытяжении переломов аппаратами, которые потом заново предложил Илизаров.

В декабре, как договорились летом, Юдин взял меня к себе заведовать главным операционным корпусом, хотел, чтобы я привел в порядок технику. Операционная когда-то была оборудована хорошо: столы, лампы, большая стерилизационная установка — «стенка». Теперь все было запущено. Юдин жаловался, что сам должен надевать шоферскую робу и смазывать столы, когда они совсем теряют подвижность. Об автоклавах и говорить не приходилось: часть установок отключена по неисправности, остальные парили, текли.

Обязанности мои были несложные: составлять расписание операций, смотреть за порядком, подписывать рецепты. Еще одно: каждый день чинил эзофагоскопы и всю оснастку к ним. Тогда институт был единственным местом, где удаляли инородные тела из пищевода и бронхов. Естественно, что дежурные хирурги ломали хрупкие цапки и шипчики, они были в дефиците. Я все же механик, приспособился их восстанавливать. К другой технике не лежали руки... Поэтому делать было нече-

го, поскольку со всем администрированием справлялась старшая операционная сестра. Помню ее — подтянутая, сухая женщина, отлично разбирающаяся в том, с кем и какую политику вести: как обращаться с сестрами, как с Юдиным, как с врачами, как с некоронованной королевой Мариной Голиковой.

О, это была исключительная женщина, Марина! Не менее яркая, чем сам Юдин. Формально она была его личной операционной сестрой, а в действительности — самым преданным другом и помощницей во всех делах: от выбора галстука до печатания статей и проблем с автомобилем. Если было деликатное дело к Юдину, то знающие люди сначала советовались с Мариной. Ее комната, рядом с кабинетом шефа, была вся завалена рукописями, рисунками, муляжами, техникой, корректурами, книгами — массой предметов для юдинской жизни. Ей тогда перевалило уже за сорок, чуть полновата, красивое лицо, уверенное, без самодовольства.

Конечно, об их отношениях в прошлом и настоящем сплетничали, но «не судите, да не судимы будете».

Марина с Юдиным была еще до войны, потом ездила с ним по фронтам, показывая гипсовые повязки, с ним же ее сослали по доносу, потом реабилитировали. Она оставалась верной шефу даже после его смерти: редактировала и издавала неопубликованные книги, добилась выдвижения на Ленинскую премию. И ничего для себя лично — гонорары получала законная жена. Как было бы здорово иметь такую Марину! Но они рождаются еще реже, чем Юдины. Кирка, конечно, дружил с Мариной, а у меня отношения не сложились. Неконтактный.

Все-таки я многого насмотрелся в Институте Склифосовского. Обычно до конференции делал все утренние дела, затем шел в операционную.

Замечательные были хирурги. Сам Юдин — величина мировая, к нему ездили из Европы и Америки. Хирурги, уже моей молодости, не отличались большой интеллигентностью, а он... Английский, французский, музыка, театр, живопись. А как писал книги по хирургии! Романы! Но главное — это его операции. Страсть. Коронный номер: пластики пищевода после ожогов. Но чаще всего оперировал желудки.

У Юдина было четыре главных ученика: Борис Александрович Петров, Дмитрий Алексеевич Арапов, мой друг Аркадий и Борис Сергеевич Розанов. Далее следовал Паша Андросов: бле-

стящий техник, но культуры мало. Первые три вышли на орбиту, пока шеф ездил в Америку, еще поднялись в войну — на финской начали, в Отечественную уже служили главными хирургами флотов, фронтов и армий. Потом до академиков поднялись. Один Розанов не служил, обеспечивал институт. В 46-м все вернулись, кроме Аркаши.

Тесновато им оказалось вместе. Привыкли командовать. Петров откровенно стал в оппозицию, Арапов — меньше. Только Розанов и Андросов оставались верными... Так уж человек устроен: учеников, как сыновей, нужно вовремя отселять. Только они не хотели, каждый ожидал высокого трона. Никто не дождался. Умер Юдин — и захирел институт. При том, что оперировать умели... Блеска не было!

Ко мне отношение менялось. Сначала, пока работал, не замечали. («Бродит тут какой-то мальчишка».) Потом — когда наезжал из Брянска — приглядывались. А потом я их еще успел и перегнать. Сергей Сергеевич говорил: «Мой ученик!» Хотя я даже скальпель в институте не держал. Разве что стиль работы посмотрел...

Стариковская память: как много накопилось. Но много и утеряно. Иногда прошлое кажется совсем реальным, даже трудно отличить от настоящего, особенно это касается друзей. Живут и живут в душе, никак не хотят умирать.

Не прижился я тогда, в 46-м году, в Москве. И не потому, что комната была в четыре метра, еда плохая и короста на голове. Работы не было, хирургии.

В должность я вступил с 1 декабря 1946 года. К Новому году уже знал: это не для меня! С восемнадцати лет, с электростанции, привык делать дело. А тут — безделье.

Сначала смотрел операции, на два месяца хватило. Раньше таких не видел: внутригрудные резекции пищевода или удаление рака кардии через живот. Спинальная анестезия с новокаином обезболивала все ниже диафрагмы, на три часа. Оперировать — благодать!

Хороши операции, нет слов, но трепета почему-то не испытывал, а смотреть чужую работу надоело.

Но никто не предлагал даже ассистировать. А дурацкое самолюбие не позволяло просить. Впрочем, молодые хирурги в институте мало занимались делом: ассистентство, писанина и треп в ординаторских. Кира отлично вписался в этот быт, а я — нет. Поэтому тошно мне было ходить в институт, будь он

хоть трижды прославленным, юдинским. Технику я тоже не наладил. Мастерской нет, да и сердце не лежало.

Поэтому я изучал объявления в «Медицинском работнике», ходил в Минздрав: «Вон из Москвы! В глушь, в Саратов!» В Саратов, точно, не светило, там и своих много, хотя бы в маленький городок, тысяч на пятьдесят жителей. Трудно было устроиться после войны: много таких активных фронтовиков, как я, вернулось с притязаниями на должности.

1947 год встретили с однополчанами: аптекарша Зинаида Николаевна (Зиночка), сестры Аня Сучкова, Катя. Очень весело. Запомнилось огромное блюдо винегрета.

Про тайную жизнь общества имел сведения от Кирки. Общее впечатление: примирение и привыкание. Старое Сталину простили, о новом заходе — аресте всех бывших военнопленных — не знали. Процессов теперь не устраивали. В войну поднимали Отечество, вернули стране историю, даже с церковью заигрывали. Казалось, вождь одумался. Если бы не эти газетные письма трудящихся! Сколько можно?

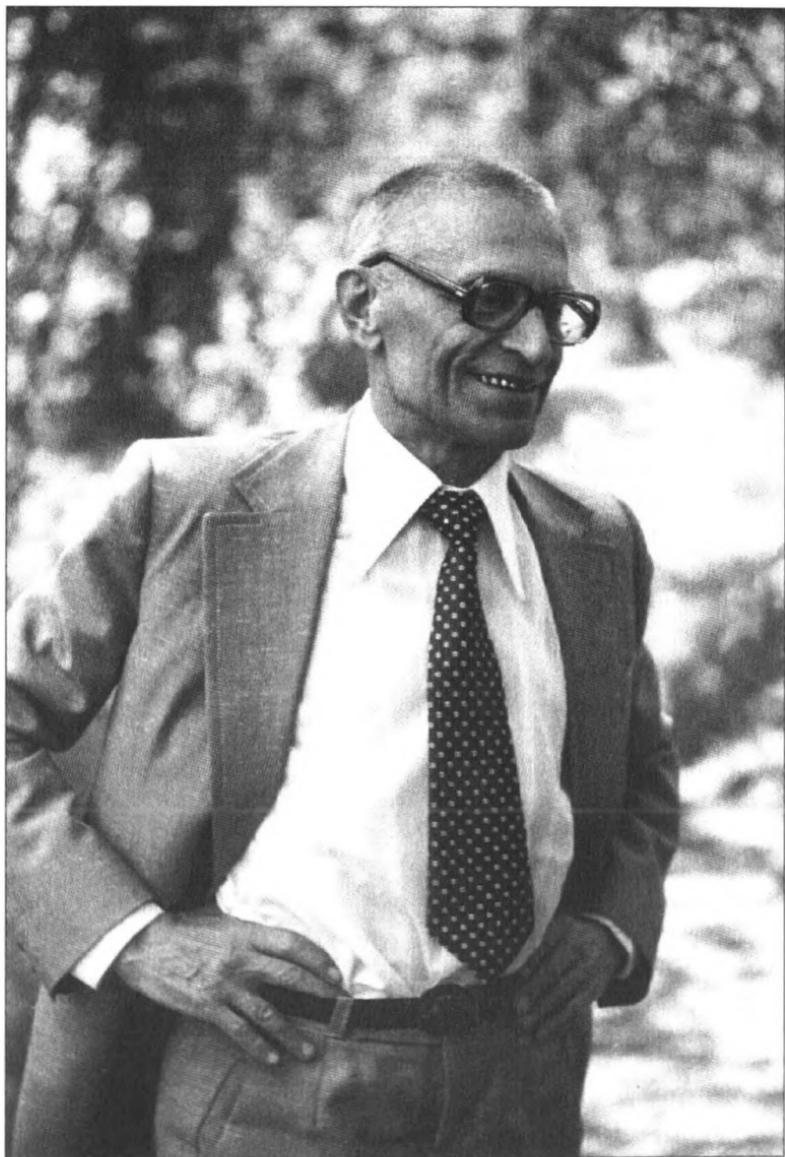
Однако два товарища Киры (из их школьной команды) сидели в тюрьме, в 1944 году их арестовали, еще на фронте. Один из них — Саня Солженицын. Его жена Наташа училась в аспирантуре и часто к Кириллу приходила. Слышал рассказы о передачах, допросах, видел слезы.

В феврале 47-го мы получили письмо из Брянска, от нашей госпитальной старшей сестры. Любовь Владимировна Быкова писала, что в областную больницу ищут главного хирурга. «Может, приедете?» Я помчался тут же.

Брянск после Москвы — маленький, а после войны — большой. Больница и на область, и на город, вполне приличная, здание выстроено перед войной. Пожилой главный врач, интеллигент еще дореволюционной закалки: Николай Зенонович Венцкевич, терапевт. Принял хорошо. В активе у меня — мало: стаж семь лет, из них пять — война. Правда, есть рекомендация Быковой, ее уважали. Еще: работаю в прославленном институте. Умолчал о том, что там даже не ассистировал. К тому же диссертация готова. Вот только вид был уж очень заморенный, он даже спрашивал потом у Любови Владимировны: не болен ли чем?

В общем, пригласил: зав. отделением и главный хирург области. На радостях послал телеграмму Лиде и зашел на рынок — картошка дешевая. Откормимся.

*Mois 20
Gek*



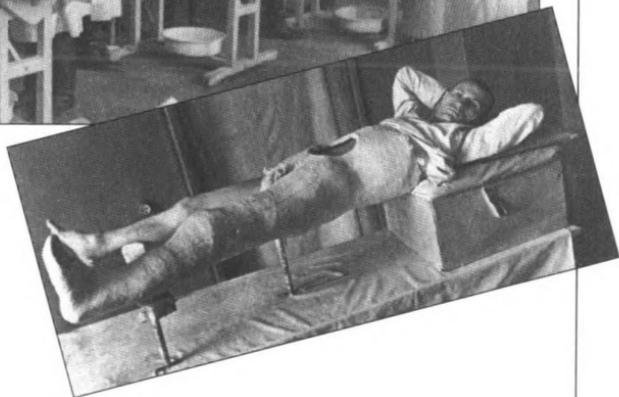


Мои родители
Елизавета Кирилловна
и Михаил Иванович
Амосовы
перед отправкой отца
на фронт.
Слева — дядя Саша,
брат отца.
Август 1914 г.



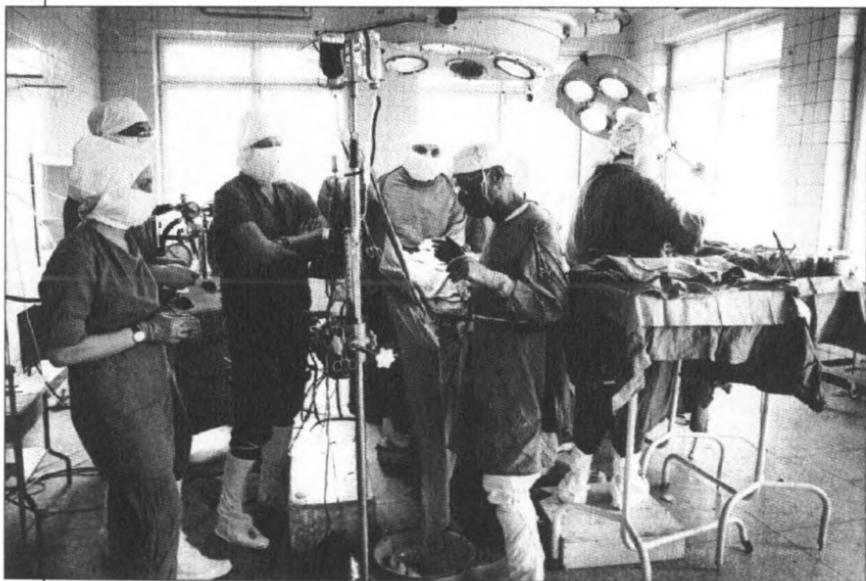
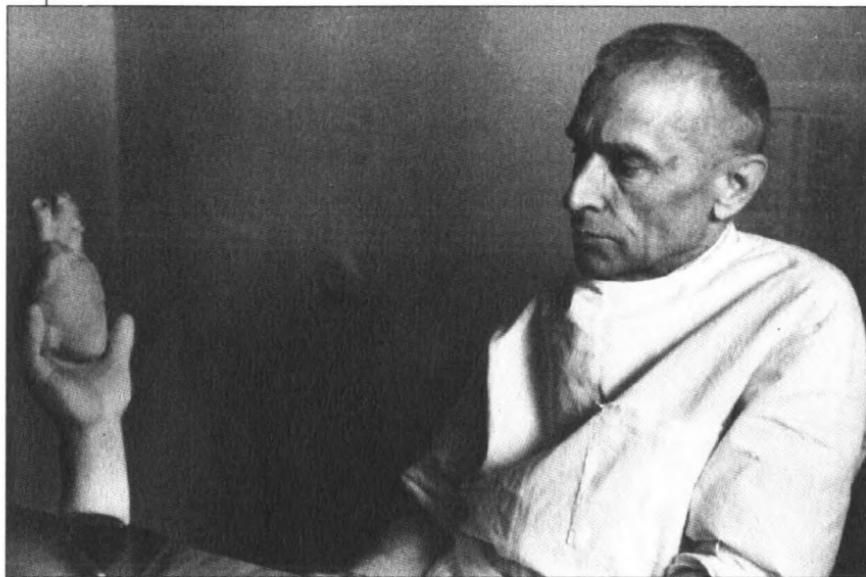
В день окончания седьмого класса
1-й Советской школы второй ступени.
Я — крайний справа в верхнем ряду. 1929 г.

Война. Ведущий хирург ППГ-2266, майор медицинской службы
Николай Амосов и старшая операционная сестра, младший лейтенант
Лидия Денисенко, моя жена. 3-й Белорусский фронт, 1945 г.

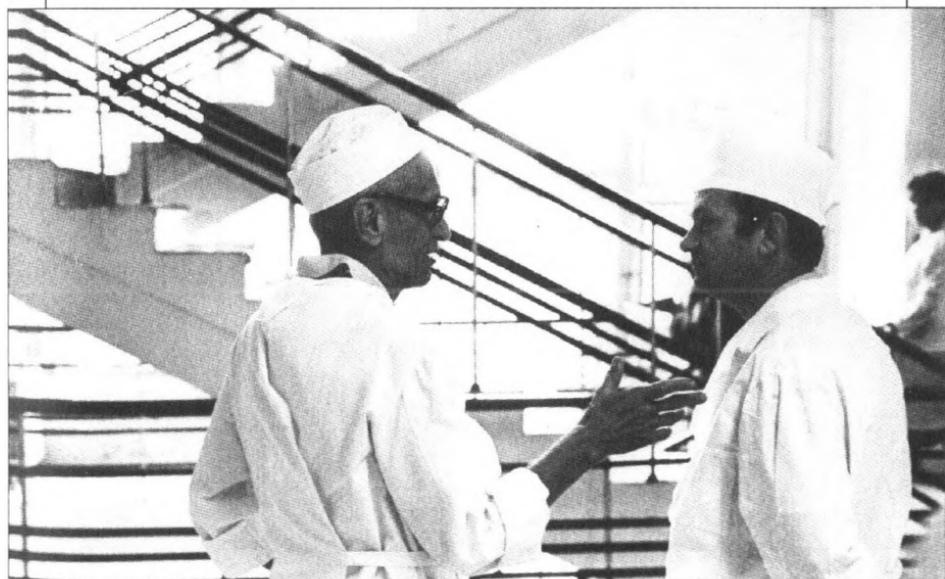


Последняя
операционная
военных лет.
Эльбинг, Германия,
апрель 1945 г.

Я не только видел сердце несколько тысяч раз,
я его в руках тысячи раз держал.

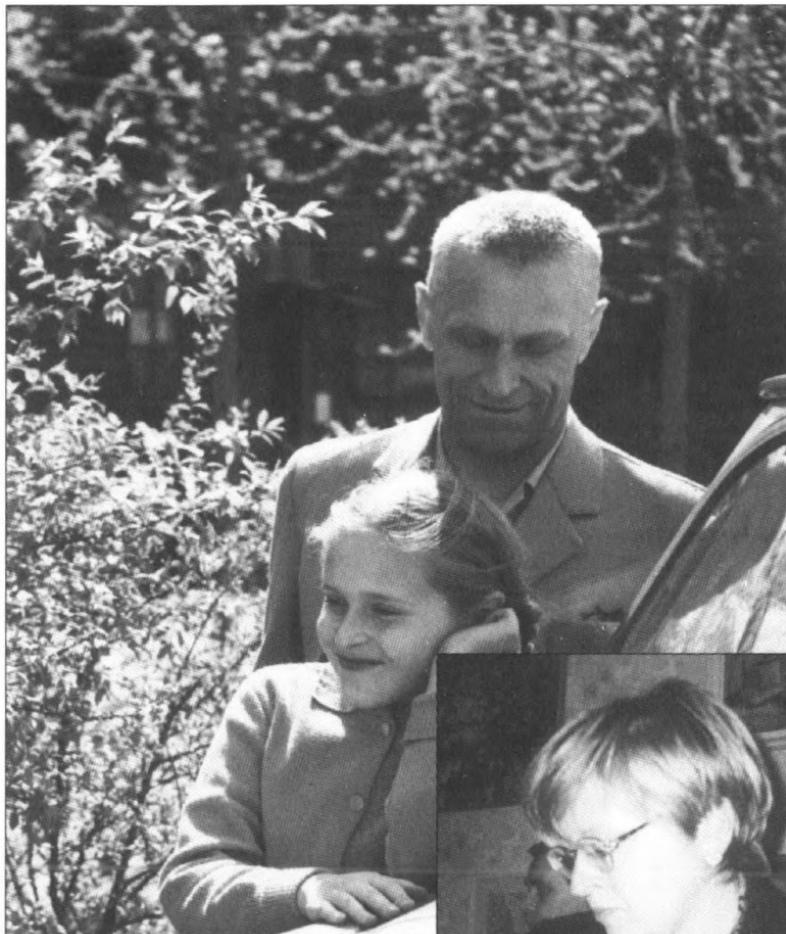


Еще один день в Институте сердечно-сосудистой хирургии.
еще одна операция, их я делал в течение 53-х лет.



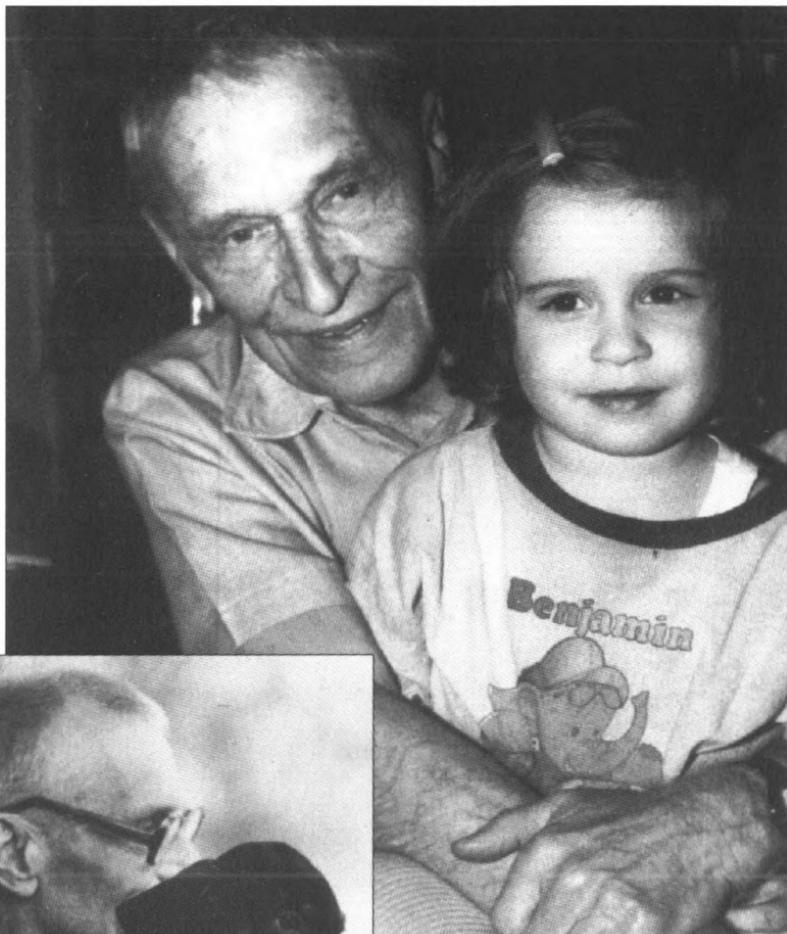
С профессором М. Ф. Зенковским, 1980 г.

С дочкой Катей, 1963 г. Мы ее с пеленок развивали, как могли.
И не ошиблись: в тридцать три года она стала
профессором-терапевтом.



Екатерина Николаевна Амосова,
1998 г.

Следующее поколение — внучка Аня, моя последняя любовь.



Я и собака Чарли.

Сергей Сергеевич Юдин,
отец целого направления
в хирургии.



Аркадий Алексеевич Бочаров,
друг на всю жизнь, со времен войны,
ученик Юдина.



На сессии, посвященной 70-летию академика Б. В. Петровского,
осенью 1978 года. Н. М. Амосов, В. Я. Францев, Е. П. Мешалкин,
Б. А. Константинов, Б. А. Королев.

В 1962 году меня избрали в Верховный Совет СССР и на первой же сессии я познакомился с Олегом Константиновичем Антоновым, авиаконструктором — дружба с ним продолжалась до самой его смерти.

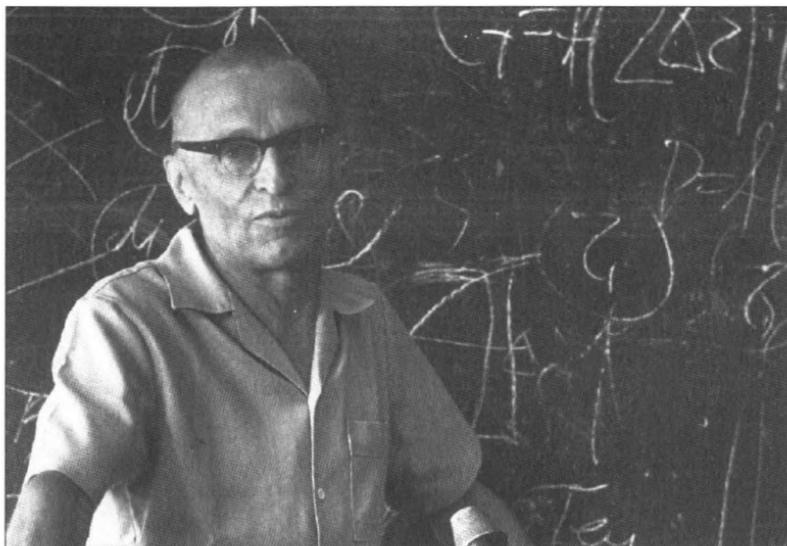


Когда стал депутатом последнего Верховного совета, тоже завязал интересные знакомства.

С хирургом-офтальмологом Святославом Николаевичем Федоровым, 1987 г.

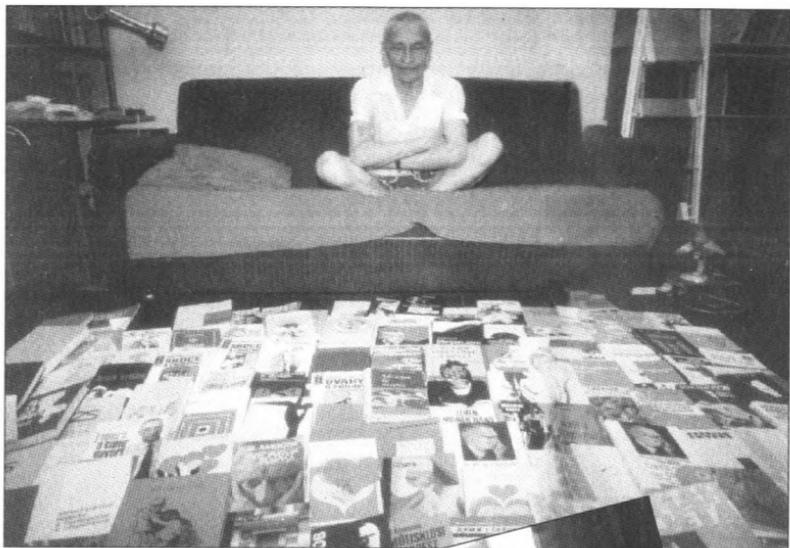
С народным артистом Михаилом Ульяновым, 1989 г.

Моя научная работа — это та же физкультура для преодоления старости.
только для ума, а не для тела.



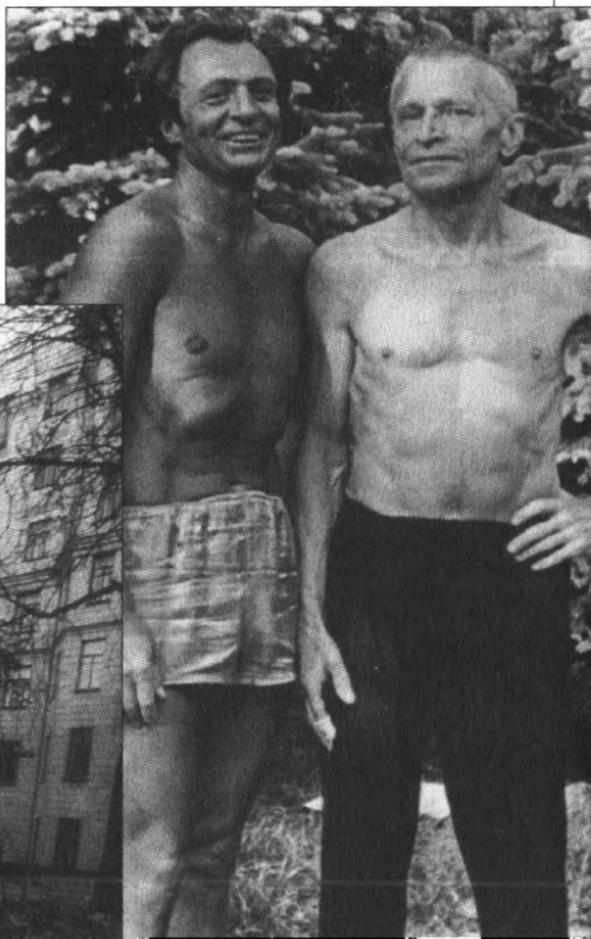
Публичная лекция в Политехническом институте. Киев, 1977 г.

Я и не думал никогда, что я писатель.
В первую очередь я — хирург.

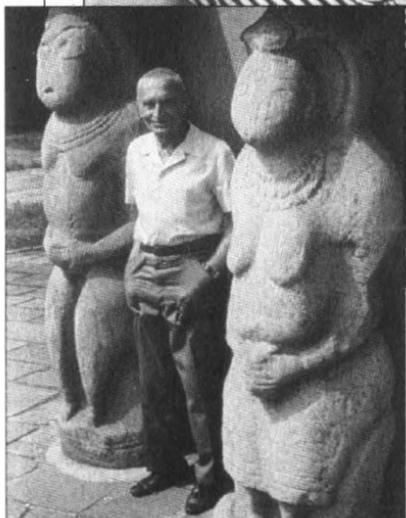
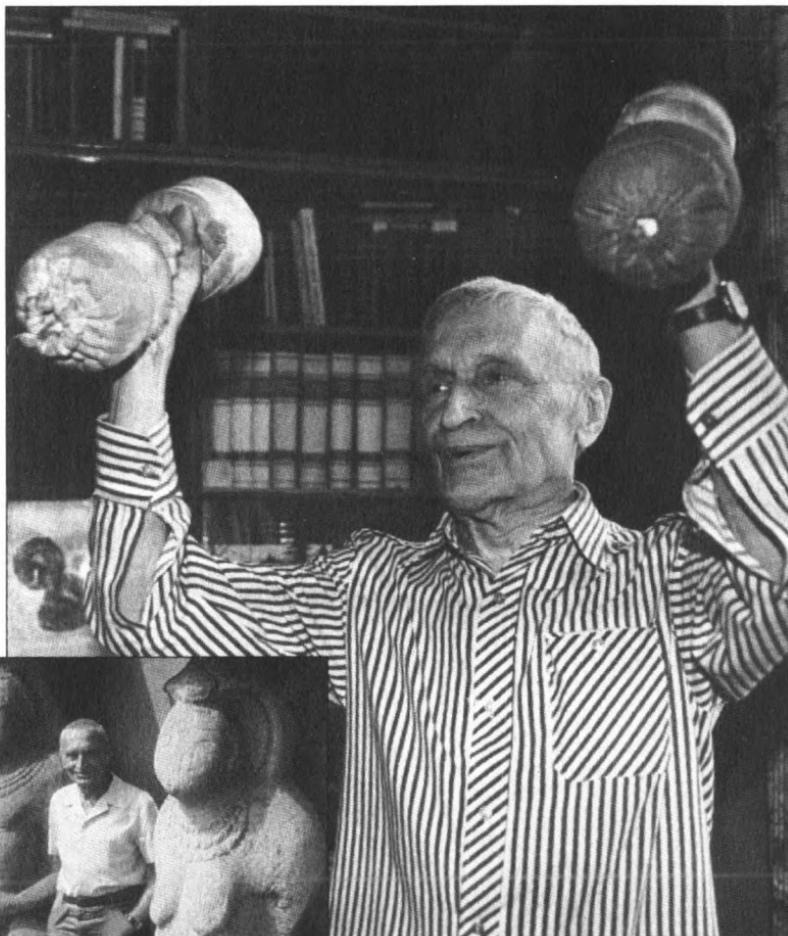


Дома в кабинете, 90-е гг.

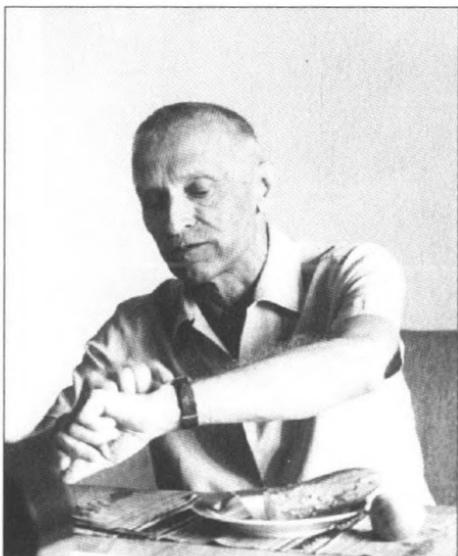
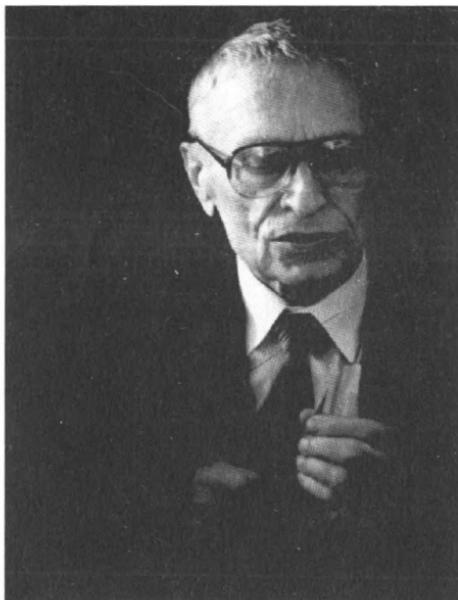
Зачем жить? Чтобы думать.
Но мысли не держатся в нездоровом теле.

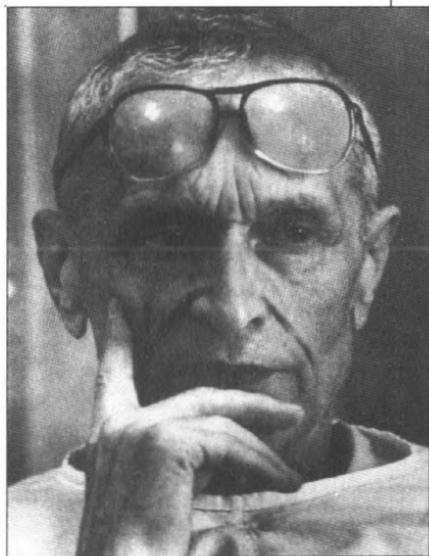
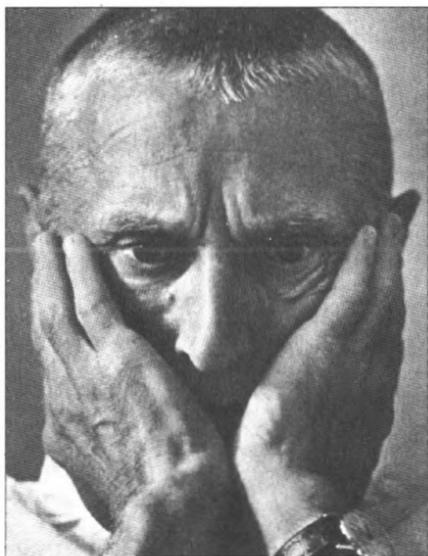


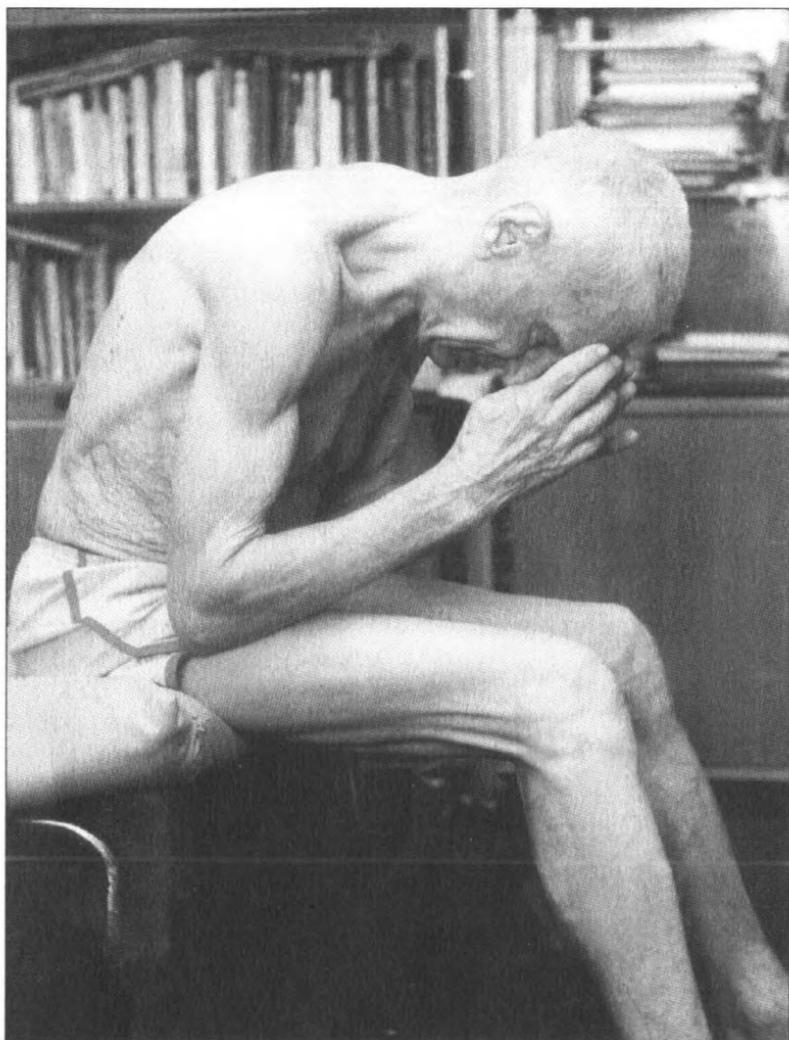
Жил, не оглядываясь на возраст. Теперь будущее сократилось.
Но работа продолжается, а остановка смерти подобна.



Жизнь прошла, как роман.
Счастливая жизнь, если б не хирургические несчастья.
Но ведь и какие удачи были!







Юдин меня не задерживал. Думал небось: «Надежд не оправдал. Технику не починил. Неконтактный». Только и сказал:

— Что ж, поезжайте.

Кира осуждал:

— Тут карьера, московская прописка, комнату получишь, диссертацию защитишь. В провинции — закиснешь!

— Ну нет! Такая должность! О чем еще можно мечтать?

Вещей собралось изрядно, ехали насовсем. Даже машину брали. 10 марта вечером распрощались с Москвой: шел снег с дождем.

5

Брянские годы — с 1947 по 1952-й — самые светлые в моей жизни. Там я испытал хирургическое счастье, дружбу с подчиненными. Потом такого уже не было.

Правда, в самом начале дело чуть не кончилось катастрофой. Мой предшественник оставил больного после резекции желудка. Пятый день, а его рвет. Обезвожен уже, но перитонита нет. Непроходимость соустья. Нужно оперировать. Не просто переделывать чужую работу: шансов мало. Но без этого — смерть верная. День ходил вокруг, сомневался. Посоветоваться не с кем, помощницы молодые. Еще сутки переливали физраствор, а потом взяли на стол. Возился четыре часа.

На следующий день пришлось ехать в район. Два дня меня не было. Возвращаюсь в тревоге, а больного опять рвет...

Говорю ему:

— Нужно снова оперировать!

Не соглашается.

Еще два дня возились, отмывали содержимое желудка через зонд. Мужик уже совсем доходит. На третий день через дренаж отошло кубиков двести жидкого гноя, и проходимость пищи восстановилась. Репутация была спасена и даже упрочена: не просто было решиться на такую операцию сразу после приезда.

Из Брянска я часто ездил в Москву. Легок был на подъем. Дела с диссертацией, совещания областных хирургов и просто так — в библиотеку, почитать иностранные журналы. Весной на конференции в институте по травмам пищевода демонстрировал историю болезни: ларинголог протаранил пищевод при удалении косточки. Возникло гнойное воспаление средостения, умер человек. Я сделал уникальную для того времени опера-

цию — вскрыл заднее средостение, дал сток гною и вытянул больного. Показал рентгенограммы. Юдин удивился: видимо, не ждал такой прыти от беглеца. Но — похвалил.

А летом 1948 года всех хирургов как громом поразило: Юдин арестован! И Марина... По Институту Склифосовского как чума тогда прошла: имя шефа вычеркнуто, говорят о нем только шепотом, всех подозревают, разбирают, кто был ближе, кто — дальше. Старшие ученики — профессора — молчали... Да и много ли после 37-го года было смельчаков, чтобы защитить учителя?

Никого, кроме Марины, не посадили, но Киру из института перевели заведовать отделением в городскую больницу. На пользу ему пошло. Сделался хирургом. Но страсти к операциям не проявлял никогда.

Еще в 1948 году тесть купил для молодых комнату на улице Алексея Толстого в коммунальной квартире. Однако брак это не укрепило. Вскоре супруги разошлись. Стал Кира холостяком. Формально — надолго, а фактически — до смерти.

Много счастливых часов провел я в его комнате. При встречах — фонтаны новостей и научных идей. Была у него склонность к теоретическим (медицинским) проблемам — без глубины, но с уверенностью. Нафантазирует гипотез, планов исследований — прямо на Нобелевскую премию, а через месяца три приедешь, спросишь — ничего не осталось.

Дружба была до некоторой степени с односторонним движением: Кира любопытства к моей персоне не проявлял, только свое рассказывал. Но я всегда любил слушать.

Была у него страсть — литература. В сороковых еще годах он написал роман «Медсанбат» — историю из его военного прошлого. Помню, как ехали с ним в Ленинград, к Аркаше, в двухместном купе, и я всю ночь читал рукопись, оторваться не мог, до того она мне понравилась. Может быть, потому, что война еще трепетала? Когда перечитывал пятнадцать лет спустя, впечатление было уже совсем другое.

Роман напечатать не удалось. Морочили голову, требовали переделок, он их вносил, пока не махнул рукой. Такая же судьба была и у рассказов. Не состоялось писательство.

Но до чего же он был общителен! Я поражался кругу его знакомых. Академики, артисты, музыканты, писатели. Фамилии помню, но не хочу называть. «Самые-самые». Он даже Ландау лечил перед смертью...

К моим писаниям, как и к научным работам, Кира относился скептически. Поскольку я на талант не притязал, то и не обижался. Он одобрил только первую главу «Мыслей и сердца»:

— Если бы ты умер после первой главы, сказали бы: «Большого писателя потеряли!»

Сложнее было у него с Солженицыным. Повесть «Один день Ивана Денисовича» взорвалась как бомба. За ней последовало еще несколько рассказов — и слава, слава. Но вот «оттепель» прошла, власти свободу отыграли обратно. Первое время действовал «самиздат», потом и его прикрыли. Мне помогла заграница: на конгрессах подкидывали в гостиницы нашу крамолу. И сам покупал массу книг и — со страхом! — привозил домой, пользуясь тем, что багаж депутатов не досматривали.

Так вот, этот одиозный автор оказался тем самым Санькой, который входил в ростовский школьный кружок Киры и об аресте которого я был наслышан еще в 46-м. Гордиться бы, а Кира его решительно не признавал. Предложение встретиться отверг. Больше того, после высылки Солженицына написал против него брошюрку, скажем, малоприятную, а может — и клеветническую. Показывал мне печатный экземпляр аж на датском языке. Спорить с ним было бесполезно. Конечно, политическая программа Солженицына мне кажется сомнительной, но все равно: великий человек. Да и кто бросит в него камень после сталинских лагерей, анафемы писателей и высылки? Так в чем же дело? Наши общие друзья говорили: «Ревнует к славе». По той же причине якобы и со мной отношения натянулись. Есть у меня тайная мысль о КГБ, даже боюсь произнести. Сильна была та контора! Вполне могли завербовать Киру.

Душа моя не верит этому. Разум тоже доказательств не находит. Но... сложен человек.

Впрочем, были еще другие причины охлаждения. Разговор об этом — впереди, уже в другом, киевском контексте.

6

Хирургом меня сделала война. Но настоящим — Брянск. Мы приехали 10 марта 1947 года. Шел снег. Встретил шофер Толя с машиной. Мы потом с ним дружили...

Приехали. Явился к Венцкевичу. Он велел показать квартиру. Да-да, целых две комнаты, с кухонькой, в домике во дворе больницы. Хоромы — после четырех московских метров. Прав-

да, до уборной не дотянули — во дворе. О ванной и не говорю...

Хирургическое отделение — сто коек. Уже есть один молодой хирург — Шалимов Саша. Мы с ним поговорили и разделились: у меня мужчины и травматология, у него — женщины и урология. Есть четыре ординатора. Наташа Худякова и Ольга Авилова, обе незамужние, обе из военных, живут во флигельке рядом с больницей, днюют и ночуют в отделении. Они захотели к Саше. Замужняя, не фронтовичка, помоложе, Гайнанова Фаина, татарка, муж в горкоме, и Рогинская, подруга двух первых, достались мне. Потом оказалось: все хорошие, но две первые — лучше. Штаты сестер укомплектованы. Лида перед отъездом перевелась на заочное отделение пединститута, работала немножко в терапии у Склифосовского, и теперь ее назначили старшей операционной, как было в госпитале. Тыл я обеспечил. И нажил головную боль: службой донимала даже дома...

Коллеги-врачи, работающие в других отделениях, обыкновенные. Все со мной дружили. Колоритной фигурой была только гинеколог, Игрицкая, много старше меня, фронтовичка, активистка, хотя — поповна. С ней — нейтралитет. Вооруженный.

Должность областного хирурга — при облздравотделе. Заведующий Георгий Ильич Воронцов, тоже очень хороший. Дружит с Венцкевичем. Дочь его только окончила институт, работает в гинекологии. Муж ее, Исаак Борисович Асин, патологоанатом, стал моим другом.

Областное и городское начальство меня не касалось. Его обхаживал Шалимов. Но мне оно не мешало.

Работа: в двух направлениях. Первое — руководить хирургией в области. Это — двадцать три района, по пять—семь врачей на пятнадцать — двадцать пять тысяч жителей. В каждом районе — больница с хирургией от десяти до сорока коек и один-два врача. Второе — областная больница. Здесь я отвечаю только за свою половину, Сашу не трогаю.

В области: информация и «единая хирургическая доктрина», то есть общие правила лечения, регламентация. Так решил по опыту войны. И не ошибся. Для этого нужно объехать районы, посмотреть, немного подучить хирургов — собрать их вместе, обсудить, потом — приказать. И — пригрозить. Как в армии.

О, я рвался в бой! Бил копытами! Всегда питал страсть к организации, а тут такое поле деятельности. Поэтому начал ездить в районы чуть ли не каждую неделю. Ритуал: телеграфирую, приезжаю на поезде, хирург встречает, ведет к себе, угощает яичницей с салом, предлагает спиртику. Я всегда отказывался. Беседуем, вхожу в курс дела. Идем в больницу, общий осмотр: есть ли электричество, лаборатория, может быть — рентген, какая поликлиника. Подробнее смотрю отделение, операционную, инструменты, автоклав. Делаю обход больных с историями болезни. На это уходит целый день.

К вечеру прошу отчет за прошлый год, операционный журнал, истории болезни всех умерших. Все это анализирую, проверяю «законность» смертей, чтобы сходилось, чтобы не врал, какие ошибки.

После этого все ясно: квалификация, работоспособность и... нахальство. Это важно, все хирурги хотят делать сложные операции, например резекции желудка. Но очень немногие готовы к этому и имеют условия.

Сплю в больнице, кормят больничной едой. Утром провожу беседу по результатам. Достаточно жесткую. Определяю, что разрешаю делать сейчас, что — осваивать, что просить у начальства.

Через полгода область была как на ладони. Осенью пригласил на конференцию. Собрал в зале, чтобы огласить порядок.

Был «бунт на корабле». Когда хирурги собрались вместе, обнаружилось, что я самый молодой. Начали высказывать недовольство. Слово «мальчишка» наверняка произносилось, но не с трибуны: партия приучила уважать начальство.

Я перетерпел: посмотрим, что скажете потом...

Понимал, что сначала их нужно «убить». Поэтому начал с показательной операции. К тому времени я уже был «на коне»: на желудке и кишках делал любые сложные реконструкции. Саша Шалимов тоже показывал блеск — урология, нейрохирургия. Через два года он уехал областным хирургом в Орел.

Операциями я покориł недовольных: никто из них ничего подобного не делал. Дальше все пошло как надо. Отчет с цифрами, выводами, типичными ошибками, установками — в каких условиях что можно делать, приглашение — поучиться. С фамилиями был осторожен: нельзя позорить публично. В общем, бунт подавлен, областной хирург состоялся.

Последующие пять лет не знал горя с областью. Завязались

симпатии, хирурги — народ хороший... хотя и нахальный — лидеры! На ежегодные конференции всегда представлялись научные доклады и свежие операции: на легких, на пищевode. Ездить стал реже, но отчеты требовал и анализировал. Врать уже никто не пытался. Помню (к сожалению, без фамилий) чудных людей в Дядькове, в Новозыбкове, в Севске... Многих! Водки не пил, подарков не брал — этого не было. Хотя пытались...

Когда потом переехал на Украину, расспрашивал о глубинке — на съездах хирургов, во время поездок с лекциями, у курсантов на кафедре. Сравнение — небо и земля. На 30 тысяч жителей типичного района теперь по двадцать — тридцать врачей, а тогда было от трех — хирург, терапевт, гинеколог — до семи — еще педиатр, глазник, ушник, санитарный врач. А смертность населения, между прочим, осталась такой же.

Отношения с облздравотделом были отличные. Большой писанины не требовали, по пустяковым жалобам не тревожили... «Жалобы трудящихся» — бич Божий для начальства. Чаще всего — вздор, но ведь это единственная обратная связь!

Между прочим, в доходах от «главенства» был прок: сначала платили 1000 (старыми, значит — 100), а с 1950-го набавили до 3000! На них машину купил. Кроме того, полставки платили за хирургию да Лида получала — жили безбедно. Но почему-то имуществом не обзавелись и сбережения были ничтожные. Марусе с теткой Натальей помогал, книг покупал много... Одежду тоже завел: пальто осеннее, пальто зимнее, шляпа фетровая. Ботинки одни, другие... С калошами!

Центр жизни составляла хирургия. Кто я был до Брянска? Сделал три резекции желудка, прооперировал с десятком заворотов кишок. Ни одного желчного пузыря... и так далее. Это по части мирной работы. Но от войны была полная свобода ориентировки в тканях и органах, смелость, выдумка вариантов. Кое-что по технике операций подсмотрел у Юдина и о многом прочитал в библиотеке.

Свои возможности я знаю: никогда не был блестящим рукоделом. Но хорошим — был. Саша Шалимов оперировал лучше меня. Все другое, нужное — знания и выдумка — присутствовало в избытке. Но смелость никогда не обгоняла уменье. Жизнь больного для меня священна, никаких фокусов за счет риска... И опять же — это неточно. Хороший хирург без риска невозможен. Вопрос — когда и сколько рисковать. Первое: на-

сколько вообще нужна операция? Сомнительно? Откажи. Второе: может ли больной найти лучшего хирурга? В Брянске это было невозможно. Москва недоступна. В дальнейшем — осваивал новые операции, иногда раньше, иногда одновременно со столичными хирургами. И уж точно — с лучшими результатами. При равенстве возможностей и одинаковой (или «почти!») смертности имеешь право рисковать. Следующие операции пойдут лучше, спасешь много жизней.

Самое главное — надо много оперировать. Еще: не путать операции с деньгами. Большой хирург — это подвижник, идеалист.

Но обратимся к делу. Мое дело — операции. Понимаю, что интересно только врачам, а больше — хирургам, но как я могу утерпеть, не похвастать? Отними хирургию — и что останется от моей жизни в Брянске? Мельтешение по науке, скромный быт, книги, застолья без выпивки, автомобиль. Поездки в Москву, Ленинград, в Крым. Дружба? Да, дружба была... Интерес к женщинам? Смешно отрицать, но ведь была Лида. Не размахнешься! Жена серьезная: никогда не ругалась, но могла замолчать на неделю, а я — не мог, изводился. Подумаешь, что выбирать...

Вот динамика освоения в Брянске новых операций по годам:
1947 год — желудки, кишечник.

1948 год — кардия, желчные пути. Операции на суставах.

1949 год — начало грудной хирургии: операции при раке пищевода. Опухоли средостения. Урология. Детская ортопедия (уехал Шалимов!).

1950 год — удаление легких при раке. Начало хирургии туберкулеза. Прямая кишка.

1951 год — большая хирургия туберкулеза. Операции на симпатических нервах.

1952 год — все перечисленное. Но сердца — не было!

Когда уезжал, сосчитал свое личное и переписал. Набрались крупные цифры (список сохранил), даю округленно, только главные позиции. Легких — 250, пищеводов и кардий чрезгрудинных — 55, желудков, всяких — почти 800. Не буду мелочиться, перечисляя единицы и десятки. Всего лично мной сделанных операций — свыше полутора тысяч.

Основная трудность: обезболивание. Весь мир оперировал под наркозом, с аппаратами, сначала — с масками, потом — через трубки в трахею. Только мы одни — советские — под ме-

стной анестезией. Александр Васильевич Вишневский, блаженной памяти, придумал методику, пригодную на все случаи жизни, на любой орган и заболевание. Кроме маленьких детей, — они ведь не понимают, что советский гражданин должен терпеть, во всем терпеть, и в операциях тоже. Метод — специально для нищих: не нужно аппаратов, анестезиологов, спешки, копайся себе на пару с сестрой. Причем делай любые операции, хоть в районной больнице: было бы умение.

Да, уменья местная анестезия требует много, почти столько, сколько сами манипуляции со скальпелем и иголками. В принципе, метод хороший, уж я-то его освоил «от и до». Безопасный метод. Конечно, долговато оперировать, и от больного требуется терпение, но когда всех так оперируют — они настраиваются и чтобы, допустим, кричали, ни-ни, никогда. Одних только резекций легких я и мои помощники сделали таким манером свыше трех тысяч.

Не утерплю: картинка, уже в Киеве. Приехал из Лондона всемирно известный профессор-анестезиолог Мэкинтош. Просил показать удаление легкого под местной анестезией. Я нормально сделал, девушка с тяжелейшим туберкулезом не проронила ни звука. Не скрою, предупреждал ее: «Будет больно — скажи, не терпи». Молчала как рыба... Мэкинтош сказал:

— Этой девушке нужно дать звание Героя Социалистического Труда.

Когда в 1955 году пошел на сердце, после первой же попытки пришлось осваивать наркоз. Обрушился метод...

Самое досадное, что у нас был американский наркозный аппаратик, получили в войну по ленд-лизу. Не хватило ума овладеть. Прокол!

Небось надоело про операции, но еще момент, не обойти: обеспечение безопасности. Это — наблюдение врача у изголовья, измерения кровяного давления, уколы, капельницы, даже при местной или спинальной анестезии. В Брянске это дело было поставлено плохо. Во-первых, большой нужды не было: при наших методах обезболивания функции дыхания и кровообращения отлично саморегулировались. Во-вторых, врачей мало. Четыре ординатора на два операционных стола — где взять еще одного? Поэтому обходились сестрами «на пульсе». Капельные внутривенные вливания стало легче проводить, когда в семидесятых годах появились хлорвиниловые трубочки. До

той поры вводили иглу, трудно удержать ее в вене надолго... Поэтому жидкости в палатах вливали внутримышечно. Этому я еще в войну от Аркаши научился.

Не знаю почему, но смертей у нас было относительно мало. От резекции желудка при раке умирали 5 процентов, при язве — 1—2 процента. Легочные резекции при туберкулезе — 3 процента, при раке — 12 процентов. Рак пищевода давал большую смертность — порядка 25 процентов...

Вот теперь уже точно об операциях — все, конец.

Будем говорить о жизни?

7

Хорошая жизнь! Рынок оказался дешевым. Денег было достаточно. Квартира — теплая: через комнату шел дымоход, под нами была кухня. Городок маленький, ходим пешком.

Есть друзья: Любовь Владимировна Быкова, старшая сестра из ППГ. Очень интеллигентная, из бывших. Одинокая. Еще в германскую войну пошла на фронт сестрой милосердия. После революции учиться не принимали, доктором не стала. Журналы читала, всем интересовалась, музыку по радио слушала. Ходили к ней раз в неделю: чай, пирог, разговоры, воспоминания. Сплетни медицинского мира — тоже. Попутно обсуждали решение ЦК о литературе. Переживали за Зощенко; Ахматову почти не знали. Мои интересы в поэзии остановились на Маяковском. К стыду.

Исаак Асин, патологоанатом, год как институт окончил. Делает вскрытия наших покойников и исследует под микроскопом удаленные органы. Собирает вырезанные части легких, богатейший материал для науки, поскольку в Союзе никто этого не имеет. Советую диссертацию написать, помощь обещаю. Правда — это позднее. Очень современный он, Исаак! Циник. Бабник. Не дурак выпить. Би-би-си слушает, «Британский союзник» читает. «Контрик».

— Представь, наши-то опять за свое! Как тебе нравится — новое дело о Кузнецове и Вознесенском? Он же всю военную экономику планировал...

С раздражением воспринимали блокаду Берлина:

— Неймется Сосо! Нарывается.

Успехи в освоении атомных бомб у нас с Исааком энтузиазма не вызвали. Особенно после дела Розенберга.

Встречались и с супругами Венцкевичами. Опять же — чай и разговоры.

Отношения с помощницами хорошие. Дистанция соблюдается, но разговоры свободные. Кабинета у меня нет, все собираемся в ординаторской. В девять вечера делаю вечерний обход со своей дежурной. Ольга или Наталья сидят допоздна. Пока Саша Шалимов работал — было некоторое соревнование: кто лучше. Через год мы обменялись ординаторами, так они между собой решили. В начале 1949 года Саша уехал и мы остались одной дружной семьей.

На мой день рождения, 6 декабря, Лида устраивала «прием»...

Так шла жизнь: в центре — работа, около нее — общение. Плюс к этому командировки в районы.

События? Значительного — не помню, разве что обмен денег в декабре 1947 года. Для нас он прошел безболезненно, поскольку накоплений не сделали. Но было много разговоров о потерях спекулянтов и плутнях начальства. После реформы магазина в Брянске сразу наполнились товарами. Икра в бочках стояла! Бум, похожий на тот, что был в Архангельске в 1938-м. И такой же скоротечный.

К кампаниям по займам — привыкли, отдавали покорно. Снижения цен — приветствовали.

В первый же год, в августе, дали отпуск. До этого шла переписка — с Борисом и с профессором Цимхесом — по диссертации. Цимхес уже в Горьком работал. Приглашал приехать, обсудить.

Ленинград. Борис еще служит в Ораниенбауме, подполковник. Специально приехал принимать гостей. Васильевский остров, 8-я линия, дом в семь этажей, когда-то была аптека доктора Пеля. Коммунальная квартира, на наружной двери шесть звонков — разные хозяева, большая комната, узкое окно выходит во двор-колодец. Темно. Обстановка хорошая: диван времен Николая I с деревянной спинкой, такое же кресло. Разгородка шкафом и ширмой: спальня, столовая, кабинет...

Борис обрел семью. Рассказывает:

— Надежда меня достала-таки! Как мой роман с генеральшей погорел перед войной; я и затосковал. Тут она в Ленинград переехала, прописалась, начала меня утешать. Оженила молодца! Война началась — меня отправили на «Ораниенбаумский пятачок», начальником санчасти. Там был настоящий ад, расскажу потом...

Замечу сразу: «за рюмкой». Боря начал попивать. «Единственное спасение».

Но было у него и второе спасение: дочка Маха, двух лет. Чудное дитя. Лида умилялась, а я не созрел еще.

Семью вела Надежда, очень энергичная. Борис смахивал на квартиранта: приезжал не часто, не вмешивался в хозяйство, книжки читал. Успел уже поссориться с партией.

— Вора-начальника разоблачил. Матросов обкрадывал. Обсуждали на партсобрании, пытались выговором отделаться. Я стал требовать исключения. Не соглашались. Тогда я заявил, что не хочу в такой партии состоять, подам заявление и всю историю сообщу в ЦК. Испугались и исключили... Да нет, через полгода восстановили... А на второй заход у меня уже энергии не хватило...

Много всякого мы обсудили с Борисом: марксизм, война, революции. Он даже Клаузивица прочитал, Ницше, Шопенгауэра. Но от социализма пока не открестился.

— Не знаю... Капитализм тоже очень противен.

А уж о литературе наговорились — всласть!..

Ходили с Лидой в Эрмитаж. Многое знал по альбомам, еще из библиотеки в Архангельске.

Неделя прошла хорошо.

Потом поехал в Горький. В Сормове работал наш госпитальный патологоанатом Туров Абрам Ильич. Мы с ним в Калуге очень дружили. Застал его в расстройстве: не мог забыть свою возлюбленную на войне (имя не помню, много его моложе). Она родила ему сына, но остаться с ним не захотела. Вернулся Абрам к законной супруге. Было им по пятьдесят. Деньги сыну посылал, очень хотел видеть, но не получилось...

Ходил я в город, вспомнил 37-й год, дядю Павла. Никаких сведений о нем не было. Сына Сережу мобилизовали летом 41-го, немного поучили, отправили на фронт, и убило его в первом же бою. Но после войны тетка уже оклемалась; ее не преследовали. Даже работала в райсовете ответственным секретарем... В партию вступила! Скрыть сведения о муже было невозможно, но нашлись старые друзья-чекисты, замолвили «словечко» и посоветовали — застраховаться в партии (в войну было послабление). Работая в райсовете, тетка даже «нашла себя». Так странно устроена жизнь. А подруга, что приезжала с ней, сгинула в лагерях...

Давид Лазаревич Цимхес заведовал кафедрой. Принял меня дома. Обиды, что сбежал, не имел. Рассказал ему эпопеи с диссертациями. Рассуждения по механике я выбросил, как Арапов советовал. Просмотрел. Обсудили.

— Работа хорошая, но, знаете... мода на войну уже прошла. «Изюминку» бы какую-нибудь?

«Изюминка» в запасе была: запросить прооперированных раненых, чтобы узнать, как лечились после ППГ, как живут теперь. Это называется «отдаленные результаты». Благоприятное обстоятельство: в 1944 году, когда я оперировал свои «колени», много солдат шло из мобилизованных на Брянщине и в Белоруссии. Выписки из историй болезни с адресами у меня были: собирал для науки. Предложил разослать письма, рассчитывал получить пару десятков ответов...

Цимхес посомневался, но согласился:

— Только не тяните!

С тем я и вернулся в Ярославль, потом заехал в Москву. А Лида за это время съездила к маме.

Снова пошла брянская жизнь.

«Изюминка» удалась. Пришли ответы, примерно от каждого четвертого. Не только анкеты, но и длинные письма. Много в них было горьких слов. И в мой адрес тоже были: у некоторых после снятия нашего гипса развилась инфекция, были повторные операции и суставы плохо сгибались. О двоих сообщили, что умерли...

Доработал диссертацию за три месяца. Цимхес представил к защите как своего бывшего аспиранта. Машина в институте завертелась, и в мае 1948 года получил телеграмму: «Срочно приезжайте на защиту».

Так волновался, что даже острая экзема обсыпала...

Как проходит защита, никогда не видел.

Приехал утром в день защиты. Зашел в канцелярию, ознакомился с отзывами оппонентов. Один — топографоанатом, второй — хирург. В последующем — даже очень знаменитый, Николай Николаевич Блохин, онколог, депутат и президент АМН.

Понятия не имел, какую речь держать. Приготовился... на сорок минут! Когда спросил секретаря, она была в ужасе:

— Двадцать, и ни минуты больше!

Пришли с Туровым в зал заседаний, а в 4 часа, когда начинать, пошел сильный дождь. Членов совета — только полови-

на, защита — последняя в учебном году. Сорвется, тогда перенесут на осень. Дождь через час прекратился, начали в надежде, что подойдут.

Все прошло хорошо. Говорить научился еще в Череповце. Оппоненты работу похвалили: «Фронтвик!» Хотя орденов не надевал, не хвастал. «Изюминку» отметили. И Давида Лазаревича похвалили за ученика.

Банкета не устраивал. Посидели у Турова, угостились, он — выпил один... Нет, это была не последняя наша встреча. Через четыре года приехал докторскую защищать и опять — к нему...

Летние отпуска из Брянска — когда и куда ездили — в памяти путаются. Но лето 1948 года помню: были в Ялте. Впервые на юге: море, набережная с пальмами. Плохой курортник: вкуса к морю нет, плавать не умею. Но Лида лежала бы на солнце сутками. Обгорела, температура повышалась. Впервые поел досыта фруктов, на Севере только клюква, морошка да яблоки.

Главное было — в другом. «Восстановил родственные связи».

Знал от Маруси, что в Старом Крыму живут тетя Катя и двоюродные сестры, дочки дяди Саши, того, что мельницу строил. Самые близкие из двоюродных, их у меня около двадцати было. В Ольхове дружили, жили рядом.

Предупредил письмом из санатория, приехал на автобусе.

С теткой не виделись лет двадцать... Две сестры — мои ровесницы, Катюшка и Надежда. Первая — фельдшер, медтехникум окончила в 1933 году. Замуж вышла, уехала в Гатчину, неудачно, разошлась, приехала к тетке. Очень положительная, домашняя женщина, хлопотунья. Надежда — учительница, типичная Амосова, безалаберная, училась в педтехникуме, стипендию получала 15 рублей и жила впроголодь: получит и проест на конфетах или накупит пустяков. Но зато стихи писала, для разговоров о литературе и Боге годилась. Замужем, трое детей, хорошие. Мы с ней рано контакт потеряли: очень непримирима, героизма требовала — гражданского. Третья сестра — Манька, тоже была учительницей, но предпочла торговлю. Муж, татарин, ее бросил. Все сестры не ладили между собой. Они еще живы, больные пенсионерки. О тете Кате — особый разговор, отложу пока.

Семейство застал в трудах, бедности, в домишке после выселенных татар: низеньком, с земляным полом, с садиком, ко-

зой, курами, собаками, кошками. Впрочем, в том же году переехали в другой дом, на главной улице, вполне приличный: две комнаты и сад. Его купил Толя, мой двоюродный брат. Он плавал электриком на китобойной флотилии «Слава» и хорошо зарабатывал. Купил дом, чтобы не пропить денег, и передал тетке...

Туда мы ездили много лет подряд.

А здесь я прожил два дня, выслушал все новости о родственниках и уехал, пообещав вернуться через год...

Отпускные дела последующих годов: одно лето жили у Елисеи в Харькове. Довольно скучно. В другое — поехали в Сочи. Сняли комнату. Выдержал дней десять, вернулся к операциям.

В 1950 году, в июне купил «Москвич-401». Его прототип — «опель-кадет» — видел в войну. Машины тогда стоили дешево: «Москвич» — 900 рублей, «Победа» — 1600 рублей. Продажа в Москве — свободная.

За машиной поехали втроем: шофер, Лида и я. До того за руль никогда не садился, хотя мечтал поездить. Книжки почитал.

Купили без хлопот. Утром в 4 часа выехали на шоссе Москва—Симферополь: на трассе было свободно, как раз можно пробовать рулить.

За тот день я и научился. В Брянске через месяц выдали права: я уже был фигурой, не стали экзаменовать.

Много удовольствия получил от машин! Самого разного... До 1969 года перепробовал четыре машины: два «Москвича», «Победу» и 21-ю «Волгу». Продав последнюю под давлением жены, все боялась, что разобьюсь. Любил быстро ездить.

Тем же летом 1950 года поехали в Крым. Замечательное ощущение, когда выезжаешь дикарем в отпуск на машине! Свобода, все дела позади, больные не достанут.

Лет пять нашей базой оставался Старый Крым. Спали под орехом, купаться ездили в Коктебель. А в тот, первый год было особое удовольствие.

Ездил я еще плохо, боялся. От Брянска, через Орел и Курск, до Харькова за день не доехали, ночевали в машине. У тещи денек отдохнули, проверил машину и дальше — к Катюшке. Из Старого Крыма отправились на Южный берег. Тут уж совсем была беда: на «серпантине» от Симферополя до Ялты радиатор постоянно закипал. Останавливались у ручья, воду

меняли. Несколько раз чуть-чуть не перевернулись... Тот еще был водитель! Но — приехали. Пожили в Ялте в гостинице, проехали до Симеиза, купались день-другой и вернулись в Старый Крым. На обратном пути в Брянск обошлись одной ночевкой в Харькове. После этого считал, что научился водить машину.

8

А жизнь шла... Операции, наука, книги, жена и любовь, общение, эволюция взглядов, деньги и вещи.

Первое удаление легкого 19 октября 1949 года. Парень лет шестнадцати, из села. Гнойная мокрота до трехсот кубиков в день. Запах — как от падали. Повышена температура, истощенный, еле двигается. Почти покойник! На рентгене — темное правое легкое с множественными просветлениями. Диагноз: поликистоз с нагноением, близким к гангрене. Спасти? Только удалить! Жизненные показания. Мать плачет...

— Только удаление легкого. Очень опасно, едва ли перенесет. Согласна: куда ей деться?

Операция под местной анестезией длилась шесть часов. Методика уже была отработана на трупе, рисунки изучены в Москве, в библиотеке. Но спайки — железные, процесс воспаления тянулся несколько лет. Сосуды и бронх корня легких: один конгломерат рубцов. Когда я вышел из операционной, не мог стоять, с трудом доплелся до ординаторской и рухнул на диван...

Счастье не оставило парня: поправился. И меня — тоже, получил моральное право на такие операции.

Именно операции на легких вывели меня в люди, читай — в хирурги. Долгое время был лидером в легочной хирургии, особенно при туберкулезном поражении. Когда после первых семи операций удаления легкого (пневмонэктомий) — с одним смертельным исходом — послал статью в журнал «Хирургия», редактор вернул: «Пришлите заверенное подтверждение от администрации»... Не поверил: откуда, дескать, такой взялся? А ведь были отправлены рентгено снимки «до и после операции»... Я рассердился, не стал отвечать.

«Бенефис» в большом зале состоялся в декабре 1951 года, когда уже были сделаны сотни операций и вчерне написана докторская диссертация.

В те годы в Союзе начиналась грудная хирургия, и по инициативе Александра Николаевича Бакулева и Петра Андреевича Куприянова собирались конференции. Имея статус областного хирурга, рискнул послать заявку сразу на два доклада: о резекции легких при гнойных и туберкулезных процессах. Приняли, включили в повестку.

Шофер Толя сделал таблицы (слайдов еще тогда не знали).

Доложил хорошо, имел успех. Бакулев после доклада подождал:

— Отличный материал, была бы хорошая кандидатская диссертация.

— У меня уже есть докторская, по туберкулезу, но боюсь представлять — заклюют фтизиатры.

— Давайте мне, я посмотрю.

Так я получил покровителя. Это важно для безродного провинциала.

Другие операции описывать не буду: очень специально. Самые трудные были при раке грудного отдела пищевода. При выделении опухоли легко повредить вторую плевру: легкое спадет — и конец. Но у нас был американский аппарат для наркоза с плотной маской, можно ее прижать вокруг рта и дать большой поток кислорода. Очень душищипательно, но ни одного больного не потеряли. Наркоз через трубку в трахею для нас был недоступен. Освоили его только в Киеве, когда в 1955 году стали оперировать сердце. Сколько времени потеряли по серости! И — от социализма: железный занавес действовал.

Наука притягивала всегда, сколько я себя помню. После защиты в 1948 году стал искать: куда дальше? В доктора! Сначала думал о желудках, даже фотографирование операций освоил. Но тема желудков очень избитая.

Тут пошли легкие. Сначала — гнойные и онкология, потом — туберкулез. Любочка, как мы за глаза звали Любовь Владимировну, познакомила с главным туберкулезником, Яковом Портновым. Больных была масса, запущенных кавернозных лечить нечем, стрептомицин только появился и в большом дефиците, пневмоторакс не действовал. Самое время — удалять пораженную долю или даже все легкое. Потом правильным лечением и режимом можно повернуть процесс вспять. До меня семь удалений доли сделал Лев Константинович Богуш, главный авторитет по торакопластикам. Умерли у него двое или трое больных.

Так я начал оперировать туберкулез. Выделили отдельную палату, продумали защиту от инфекции. На счастье, никто не придирался. Дело пошло. Смертность была низкая — 2—3 процента, после операции больные долечивались лекарствами в областном санатории. До 90 процентов выздоравливали.

Эту жилу я и начал разрабатывать. До меня по резекциям легких работали Федор Григорьевич Углов и Борис Корнилович Осипов, ученик Бориса Эдмундовича Линберга, старого заслуженного хирурга. Конечно, были публикации на Западе, но не сказать, что блестящие. В общем, все условия для хорошей практики и науки. Разумеется, нужны исследования, физиология, биохимия. Все это я наладил, даже в Москве за свои деньги аппараты заказывал. Лида взяла на себя работу в лаборатории, печатала на машинке, фотографировала: завели строгую документацию. Удаленные части легких Исаак исследовал и хранил в бочке с формалином, собирался кандидатскую написать. Срезы с них я возил на консультацию в Ялту и в Киев. Готовился к тому, что профессора не поверят, как когда-то редактор «Хирургии»... Оно потом так и было, но — несерьезно. Бакулеву все материалы показал, и он меня прикрыл. Докторская диссертация была готова к 1952 году. Два солидных тома, текст и приложения.

Скучная материя — описывать науку! Но что поделаешь? Второе место в моей жизни занимает.

Нужно было отразить проделанную работу в публикациях. Для этого необходимы отчетность и... напечатанные статьи. Первое — от нас зависит, второе — увы! — от Москвы. Поэтому в 1950 году задумал издать книжечку «Сборник работ хирургов Брянской области». Местная типография согласилась напечатать. Я один написал все пятнадцать статей, но себе взял авторство только в трех, другие расписал по своим помощникам. Предполагал, что из них диссертации вырастут в будущем.

Вот передо мной эта зелененькая книжечка в сто страниц. Они еще долго потом валялись в областной больнице, тираж 3000, а спроса нет. Но для меня она — самая дорогая.

Вспоминаю: окончилась война, и я решил обобщить опыт в статьях. Статистика была, содержание, сел и написал аж десять статей: о бедрах, коленках, пневмотораксах, животах, переливаниях крови, шоке. Очень был доволен. Потом показал приятелю, кандидату наук (забыл фамилию), он ко мне в Седанке приходил спирта выпить. Не оценил:

— Плохо написал!

Было досадно, но проглотил. Даже не пытался отправить куда-нибудь. И сейчас лежат среди бумаг... написаны в самом деле плохо.

Перед отъездом провел научную конференцию, честь честью, с приглашением гостей. Свои районные хирурги были, а чтобы москвичи... нет, не удостоили. Но свои были дороже: с ними брянскую хирургию поднимали. Хотел память оставить. Не вышло: после моего отъезда наука в брянской больнице не развивалась.

Кадры. Такое скучное канцелярское слово, а как «под ним» много памяти...

Сначала были у меня два ординатора. Потом Саша уехал. Через два года приехала наша докторша из ППГ — Анна Васильевна Малахова. Влилась в компанию наших старых дев — фронтовичек, что просиживали вечера в ординаторской за историями болезней. Другие еще и курили, Анна — нет. После распада ППГ она попала в госпиталь при лагере японцев. Рассказывала о нравах: их врачи аппендиксы удаляли без наркоза. Офицер-доктор прикрикнет — и молчит больной солдат. Я их видел — верю.

Еще через год появился уролог — москвич Лиознов.

В то время отделение значительно расширилось: отстроили разрушенное крыло здания. Пришли еще два доктора, из молодых. Кроме того, всегда совершенствовались один—три хирурга из районов. Наконец, совсем под занавес, перешел к нам Ваня Дедков. Он окончил институт уже после войны и был назначен руководить онкодиспансером. Прошел специализацию в Москве, но оперировать там не научат — только смотри. Пришлось мне помочь: раз в неделю ходил оперировать. Он был отличный хирург и скоро многому научился.

Большой коллектив собрался. Дружили с другими отделениями, особенно — с лабораториями.

Самой близкой по духу была Наташа Худякова. Высокая, чуть полноватая, много седины («от войны»); «в один прекрасный день» всех повергла в шок: отравилась. Почему — неизвестно. Романами, кажется, не баловалась. Но факт. Ольга нашла ее утром после своего дежурства без сознания. Отхаживали неделю, как на фронте, приглашали доцента из Смоленска (там мединститут). Не работала долго. В это время город открыл свою больницу, и Наташа ушла туда заведовать хирургией. По-

том мама к ней приехала, квартиру получила. От нас отдалась. Но я ходил в больницу консультировать. Оставалась ровная, спокойная и незамужняя. В шестидесятых встречал ее на конференциях в Москве и Ленинграде. Умерла в начале девяностых.

Не скажу, что я сразу очень активно давал оперировать помощнику, слишком сам любил это дело. Но когда уехал Саша, а наплыв больных возрос (слава о нас пошла!), я уже не мог охватить всего. Так помощники перешли с грыж и аппендицитов на желудки, а потом и на легкие. Результат: отличные хирурги. С тремя из них потом приехал Киев покорять. И — успешно. В профессора вышли, кафедры получили.

Семья. Оч-чень трудная тема! Не так чтобы женился с большой охотой, всегда было двойственное отношение: «да — нет». Три года свободы помнил. И на сторону взгляды бросал, каюсь. Лида при всех ее отличных качествах имела трудный характер. Максималистка! Нет, она никогда, подчеркиваю, НИКОГДА не упрекала меня, не высказывала подозрений... Семейных сцен между нами не было. Она просто замолкала... Могла — и на неделю... Для меня это — нож острый. Поэтому размолвки бывали нередко. А тут еще ее старшинство в операционной: все требовала по высшему классу. И чтобы я поддерживал. И дома все это выливалось в претензии — конечно, без крика.

А тут еще общественная деятельность: секретарем парторганизации больницы была все время, пока в Брянске жили. Дома — наши разговоры с Исааком, далеко не партийные...

Свой пединститут Лида закончила в срок, по-моему, в 1950 году. Ездил на сессии, как я когда-то. Получила диплом, взяла немного часов в фельдшерской школе... (Забыл написать: я там преподавал хирургию.) Я было уже не возражал, если бы ушла учительницей, приглашали. Так нет!

— Хочу быть хирургом...

С большим трудом упросил — для пользы моей диссертации и науки — отказаться от старшинства в операционной и остаться только моей личной сестрой...

В новой пристройке у меня появилась комната — кабинет в сочетании с лабораторией. Тут уж моя командирша стала полной хозяйкой...

Жили весело: в гости ходили, сами принимали. Летом на машинах всей компанией за город выезжали.

Страна постепенно восстанавливалась. Наша область сильно пострадала в войну: партизанский край в брянских лесах. Послевоенный бич — мальчишки с ранениями от мин и снарядов. Десятки ампутаций за год, сколько выбитых глаз, исковерканных лиц... Жутко смотреть. Извечное мальчишеское любопытство к технике: найдут, копаются, развинчивают, пока не бабахнет...

Не было больших сомнений в праве властей управлять страной. Как же, победили немцев, доказали. Тем более что газеты и радио капитализм «полоскали» денно и ночно. Кажется, даже я смягчился. Вот только рапорты в газетах товарищу Сталину очень раздражали. Так и хотелось крикнуть:

— Ну, хватит тебе, хватит! Всех уже подмял, соратников расстрелял, генералиссимусом стал — уймись! Правь спокойно.

Но крикнуть уже с тридцатых годов никто не мог...

Поэтому: «Ну вас всех к черту! Займемся своим делом — лечить больных».

По должности — областной хирург! — меня приглашали на конференции. Особенно любил Ленинград — там Борис, еще несколько наших врачей-моряков. Все они пошли в гору. Бориса пригласили преподавать в Военно-морскую академию. В 1949 году приехал Бочаров, он защитил докторскую диссертацию и был назначен главным хирургом Ленинградского округа и вторым профессором к Джанелидзе. Получил генерала. Анна за это время уже остыла, они занимали хорошую квартиру, забрали маму. Одно слово, был «мир и в человеках благоволение». (Нет, не уверен в цитате, слаб в Священном Писании. Библию привез из Парижа контрабандой только в семидесятые годы. А читать стал — еще позднее...) Это были счастливые поездки — в Ленинград! Сколько интеллектуальных разговоров... Борис — резкий, Аркаша — в меру осторожный. «Ушибленное поколение».

Очень жалели Юдина. Помню такой случай: приехал, звоню Кирке, спрашиваю.

— Нет, сегодня нельзя!.. Хотя — приходи, но сначала зайди к соседке, все расскажу...

Прихожу. Встречает, говорит:

— Сегодня ко мне придет Юдин. Видеть его не полагается. Тайна. Ты посиди у соседки...

Обидно было такое, хотел взбрыкнуть, но любопытство пересилило. Спрятался за занавеску, что отделяла соседнюю территорию в коридоре. Стол у Кирки уже накрыт. Он волнуется...

В семь часов вечера пришли. Выглянул: Юдин не изменился. Потом сидел, как дурак, целый час, ждал, хотелось расспросить. Когда ушли, вот что узнал: Юдин просидел в тюрьме два года, потом режим ослабили, стал оперировать в Новосибирске, к нему потянулись больные начальники. И даже разрешали (почти инкогнито!) приезжать в Москву. Вот он и пришел узнать у Кирки про дела в институте... О том, кто его «заложил», рассуждать не стал.

10

Брянский период приближался к концу.

В ноябре 1951 года в Киеве проходила важная хирургическая конференция. Для делегатов освободили палаты в Октябрьской больнице — промозглая осенняя погода. Заседали в Доме офицеров. Ничего не помню по сути докладов, только новую хирургическую звезду — Федора Григорьевича Углова из Ленинграда. Приехал он туда будто бы из Сибири. Небольшого роста, очень уверенный в себе. Вошел в хирургию книгой «Резекции легких». Это была его докторская диссертация, и я, грешный человек, кое-что списал для себя из его обзора западной литературы. Он был хороший хирург, преемник Николая Николаевича Петрова. Но все же — не блестящий. Со временем прославился борьбой с курением, алкоголем и евреями. Написал две книги — «Записки хирурга», уже после моей «Мысли и сердце». Мне не понравились. Жив до сих пор, уже за девяносто... (Нехорошо, Амосов, злопыхаешь.)

Другое событие: познакомился с киевским тубинститутом и главное — с его директором Александром Самойловичем Мамолатом. Дело было так. Я привез чемодан со срезами частей туберкулезных легких, удаленных при операции. Срезы сделал Исаак, но его описаниям (они нужны были для диссертации) я не доверял. Решил показать патологу от туберкулеза. То есть в институте.

С трудом добрался на Байкову гору, путь казался очень длинным, а место — глухой окраиной. Разыскал патологоанатомическое отделение, представился заведующей Валентине Фотиев-

не Юрьевой. Полная, живая женщина со светлыми крашеными волосами. Когда открыл чемодан и рассказал — она даже ахнула:

— Неужели это в Брянске... наделали? (Читай — «нарезали».)

Потом куда-то исчезла и вернулась с директором — тем самым Александром Самойловичем. Кругленький, доброжелательный, с украинским акцентом, очень приятный. Пригласил к себе в кабинет с Валентиной Фотиевной. Там уже был заместитель директора Марк Абрамович Клебанов. Я снова повторил историю с легкими. Он загорелся:

— Вот бы в наш институт такую хирургию! Мы только торакопластики да кавернотомии...

Марк Абрамович, пожилой уже человек, осторожно заметил:

— Посмотреть бы оперированных больных...

— Нет вопросов. Приезжайте — вызову, покажу.

Чаем напоили. Вернулись к Валентине Фотиевне, часик-два она диктовала описания и анатомические диагнозы. Уже поздно вечером меня проводили до проходной и посадили на автобус.

События развивались: насобирали десятка два оперированных больных, к назначенному сроку Марк Абрамович приехал, сел за экран рентгена и всех просмотрел, попутно знакомясь с историями болезни.

Ночевал у нас дома. Резюме:

— Я — потрясен. Вам нужно переехать в Киев.

— Подумаю. Но один туберкулез меня не прельщает...

На том и расстались. Не знаю, когда Лида с ним говорила, но на следующий день заявила:

— Буду поступать в Киевский мединститут. Обещали помочь.

— А я?..

— Тебя же пригласили...

Визит имел продолжение. После моего дебюта в Москве на конференции прислали из Киева на учение Ваню Слепуху, пригласили затем меня приехать и сделать доклад в институте: каждый месяц институт собирал фтизиатров из города и республики. Ездил и даже имел успех. Познакомился с институтскими хирургами — Павлом Костроминым, Гришей (Григорием Гавриловичем) Горовенко. Судьба его похожа на мою: ровесник, прошел фронт в медсанбате, воевал под Сталинградом, орден полно. После войны обосновался у Мамолата. Заинтриго-

ван резекциями, готов идти в помощники. Ночевал у него. Познакомился с семьей. Понравились. Директор повторил приглашение.

Вернувшись в Брянск, я написал ему письмо и поставил условия: какое отделение, помощники и главное — еще больницу для общей хирургии. Мамолат предпринял шаги. Министр Л.И. Медведь обещал создать мне торакальное отделение в Госпитале для инвалидов войны. Коек — сколько потяну. Если дела пойдут, возможна кафедра в мединституте. После защиты. Жене поможем с институтом.

Перспективы не вдохновили. Уж очень в Брянске нравилось!

Снова с головой окунулся в хирургию. Но Лида не забыла и стала готовить документы...

В том же году (может, чуть раньше) началась кампания борьбы с космополитизмом. Это — маскировка, а напрямую — с евреями.

Победу в войне коммунисты приписали одной России (союзники — только тушенку давали). И сильно загордились: «Мы — великий русский народ». Стали неимоверно хвастать и всякими мнимыми открытиями в науке: «Россия — родина слов».

Начался ползучий антисемитизм. Под разными предлогами отстраняли евреев от руководства институтами, отделами. Сталин — антисемит, это знали, а тут — пошло в открытую. Будто бы евреи Крым просили, а им — Биробиджан. Образование Израила сначала поддерживали, теперь перекинулись к арабам. В Москве закрыли еврейский театр, разогнали Еврейский комитет. Потом таинственно погиб артист Михоэлс. Еще позднее было открыто «дело врачей» — Виноградов, Иоффе. Это — второй заход, первый был двенадцать лет назад — профессора Левин и Плетнев. В Брянске кампания не развернулась, может быть, евреев на руководящих постах не было? А может, обкомовцы честные? Не верю, каждый в отдельности — возможно, но совесть держали в заднем кармане.

Другое, местно-медицинское явление, но того же порядка. Сначала была «сессия ВАСХНИЛ», и Лысенко «съел» генетиков. Потом сессия АМН — «павловское учение». Иван Петрович, наверное, в могиле перевернулся, какой шабаш вокруг его имени устроили коммунисты от науки. Во главе был почтенный человек, академик К.М. Быков. Лозунг: «Даешь Павлова в практическую медицину!»

На деле это вылилось в установку: все болезни — от нервов, и лечить их нужно бромом и сонной терапией. В каждой больнице предложено организовать «сонные палаты», чтобы к бромом и снотворным добавились еще темнота и тишина. Я в эту галиматью не верил, хотя Павлова очень уважал и даже сделал доклад на собрании брянских врачей. Но палату организовали. Правда, она пустовала... Много анекдотов потом ходило в медицине об этих палатах.

Было еще одно поветрие: «тканевая терапия». Тоже пошло от безупречного человека — академика Филатова Владимира Петровича. В хирургии стали пропагандироваться «подсадки по Румянцеву». Всесоюзный семинар в Ростове устроили, главные хирурги со своими операционными сестрами должны были ехать: как готовить материал, как подсаживать. Мы с Лидой ездили. Очень мило провели неделю. Купались. В цирке видели Кио — старика еще, не молодого. Впечатлял намного больше Румянцева — тот показывал больных, которым будто бы вылечил рак.

Всю мою врачебную жизнь боролся с изобретателями средств против рака — бред собачий! Но они шли в ЦК, оттуда давали указания: «Проверить». Думали, идиоты, что это раз плюнуть... Очень это кропотливое и дорогое дело — доказать дураку, что он дурак.

В Брянске мы подсадки попробовали — никакого эффекта. Только «райцтерапия», лечение раздражением: повышает реакции, в том числе и полезные — на заживление болезней. Разных. Но не раковых.

Шел 1952 год. Диссертация закончена, переплетена. Два тома. Вез их Бакулеву. С трепетом входил в 1-ю Градскую больницу, построеную еще в прошлом веке. Сначала ее прославил Сергей Иванович Спасокукоцкий, профессор, вышедший из земских хирургов. Преемником по клинике, кафедре и Кремлевской больнице стал Александр Николаевич Бакулев. Он тоже из провинции. Очень достойный ученый. В то время он был и президентом АМН. Тем более удивительно, что заинтересовался каким-то брянским хирургом, без роду-племени. Но — факт.

У него был большой, но неудобный кабинет, второй стол занимал его заместитель, профессор Гуляев. Секретарь сидела в темной проходной перед кабинетом. Вот так, кремлевский хирург, без всякого форса. Гораздо скромнее Юдина. Притом еще и беспартийный.

Легочной хирургией занималась А. Герасимова, женщина типа моих помощниц. Как говорили, муж у нее был таксист, вел все домашнее хозяйство, а она сутками не вылезала из клиники.

Александр Николаевич взвесил том на руке, приложения перелистал: там каждый больной был описан и фотографии рентгенограмм приклеены. Отдал.

— Это — не нужно, вижу, что солидно. Прочитаю через месяц.

Еще я посмотрел удаление доли легкого, у Гуляева. Не понравилось. После, в кабинете, не утерпел, покритиковал. Гуляев принял как должное, не обиделся, значит, уже имеешь вес, Амосов? В конце июля Лида уехала в Киев сдавать экзамены. Дрожала, в грамматике была не сильна, как и я, — но бодрилась. Я думал с удивлением: «Вот завзятая! Мало ей одного диплома! В хирурги, вишь, захотела! Ну-ну...»

Прожил холостяцкой жизнью две недели. Не скажу, что волновался за нее, в конце концов, проживет и без этого института. И в Киев не нужно будет ехать. Не хотелось: Брянск уж очень мил. Докторши из отделения меня опекали по части быта, Исаак и Ваня Дедков развлекали трепом.

Получил телеграмму: «Выдержала!»

Была договоренность: еду на машине, в Киеве забираю жену, едем в Крым до начала учебы. Не торопясь собираюсь. Как будет все оговорено на новом месте? Неизвестность.

Долго и нудно пилил в Киев. Через свои районы: Клинцы, Новозыбков, Злынка. Проехал немного по той дороге, по которой в 41-м двигались «на конной тяге». Вот — Гомель, мост через Сож, тут мы когда-то стояли... Дорога на Украину, на Чернигов. Машина все время барахлила, колеса спускали, ночевал в какой-то участковой больнице. С трудом дополз до Дарницы, уставший, грязный, потный. В гору к тубинституту пытел, пыхтел...

Не буду описывать встречу. Такая, как должно было быть, — с победой. Повидался с Мамолатом.

— Да, приеду... Куда мне деться, раз она такая настырная. Не разводиться же... Но условия мои вы знаете.

На другой день купил два новых ската, проверился, и двинули по недостроенной еще трассе Киев—Харьков.

Провели десять дней у тети Кати, там был Толя. Приходили гости, было хорошее застолье на веранде — Толя выпивал, пел

и рассказывал о морях и китах. Проверил мой «Москвич», подтянул, помазал.

В Брянске Лида прожила пару дней и уехала. В сентябре я приезжал в Киев и сделал операцию в институте. Приходил смотреть профессор М.И. Коломийченко. Наверное, он никогда не видел таких операций.

Тогда же был у Бакулева, забрал диссертацию; он ее прочитал, видны пометки. Одобрил. Подписал отзыв, за руководителя. В тот момент сидел у него профессор Березов Ефим Львович, из Горького (опять!). Александр Николаевич познакомил и попросил его выступить оппонентом.

Хороший человек был Бакулев!

На Октябрьские праздники Лида приехала, мы сложили вещи в контейнер и отбыли...

11

Теперь самое время рассказать о тете Кате.

После мамы она для меня — главная родня...

Проучилась три года, дальше бабушка не позволила. Но к чтению пристрастилась. Замуж не вышла. Пришла беда — чухотка. В то время в деревне это была почти смерть. Катя решила свою судьбу сама. Сбежала в Крым и нанялась работать в сады. С легкими стало лучше, здоровье наладилось. Судьба свела ее с Марьей Васильевной (фамилию забыл). Она служила кастеляншей в киевском Институте благородных девиц (размещался он в здании Октябрьского Дворца культуры — ныне Международный центр культуры и искусств) и летом приезжала в Старый Крым, где у нее был домик. Катя покорила ее сердце и на зиму поехала с ней в Киев, горничной в тот же институт. И захотела учиться.

Так же, как мама, сдала экстерном за четыре класса гимназии и поступила в Петербурге в ту же школу повивальных бабок, только позднее, когда мама уже окончила ее. Рассказывала мельком о том периоде: зарабатывала дежурствами и немножко — ни за что не догадаться! — литературой. Писала стихи и печаталась, но под чужой фамилией, ей за это платили.

Показывала диплом «с отличием, с правом производить акушерские операции с набором инструментов».

В Питере она встретила своего суженого: он был моряк. Их любовь прервалась трагически. Жениха арестовали и судили во-

енным судом, приговорили к расстрелу. Он подал прошение о смягчении наказания. Ответ пришел, когда его поставили расстреливать. Смерть заменили каторгой. Встряска сильно на него повлияла, и когда после революции его освободили, с психикой было не все в порядке. В середине двадцатых годов он умер, оставив маленького сына.

После революции тетя Катя служила в Андоге в районной больнице, километрах в пятидесяти от Череповца, вела всю работу по акушерству и гинекологии. Я побывал там в школьные годы. Кроме того, была общественницей: выступала на собраниях, боролась за лучшую долю женщин и детей. По части личных доходов оказалась такая же принципиальная, как и мама. «Но я все же богаче была, — говорила тетя Катя, — у меня было двое штанов, а у твоей мамы — одни, постирает вечером, а утром наденет».

В конце двадцатых у нее обострился туберкулез, снова дошло до кровохаркания. Напугалась, оставила Север и вернулась в Старый Крым, к Марье Васильевне. Стала работать акушеркой, очень быстро завоевала любовь женщин. Перед войной, когда Ольхово сносили, к ней приехала вдова дяди Саши, тетя Аня, и ее дом на многие годы стал местом сбора Амосовых.

Сына тети Кати звали Борисом. На нем сосредоточилась вся ее любовь. Помню его лет семи, такой белобрысый мальчик. Говорят, он вырос хорошим и умным.

В год войны Борис окончил десятилетку. Мечтал о науке, литературе (все это я знаю от своих двоюродных сестер, дочерей дяди Саши, для которых тетя Катя была как мать). Осенью 41-го года его мобилизовали. Крым оккупировали немцы, связь с ним прервалась на несколько лет, вплоть до освобождения.

Партизаны базировались в ближайших лесах. Больница работала еле-еле. Медиков осталось мало. Тетя Катя принимала роды, лечила и попутно снабжала партизан бинтами и лекарствами. В конце концов гестапо ее арестовало. Спасли опять же «бабы». Переводчица русская, у которой тетка принимала роды, сумела организовать и научить свидетельниц, они запутали все дело так, что тетку выпустили.

Последние дни перед освобождением были ужасны. Бесчинствовали немцы, татары-националисты, расстреливали подозрительных и невинных, жгли дома. Но вот все кончилось. И тогда пришло известие о сыне: он был убит вскоре после того, как попал на фронт.

Как уже писал, в 1948 году я разыскал тетку. Она была неузнаваема. Расплакалась, чего раньше не могло быть. Помнилась она мне высокой и прямой — теперь сгорбилась. Нос (амосовский нос) стал еще больше и загнулся. Совсем седая. Там же застал и дочек дяди Саши.

Все рассказали. Как покинули Ольхово, что было в войну и после нее, кто из родных жив, кто умер, где живут. Тетка говорила мало.

На другое утро Катя, сестра, моя ровесница, провожала к автобусу и почти шепотом сообщила:

— Тетя-то Катя в Бога уверовала! Можешь представить?

Представить трудно. Тетка всегда была атеисткой (из всех Амосовых в церковь ходила только бабушка).

Потом мы с Лидой приехали в 1951 году на «Москвиче». Дом уже был другой, получше. Тогда началось мое близкое знакомство с тетей Катей.

Трудно о ней рассказывать, не впадая в сентиментальность.

Сдержанная, деловитая, немногословная. Весь день занята домашними хлопотами (такую ораву накормить!). Была у нее коза, тоже Катя, были две (а часто больше) кошки, собака. Она их называла «наши животные» — очень уважительно.

Да, действительно, после известия о гибели сына она поверила в Бога. Ходили всякие старцы, велись бесконечные споры... Но не при нас все это, я знал по рассказам сестры. При гостях стеснялась. Тетка всех проверяла по главному критерию — по милосердию и по правильной жизни. И показывала пример.

Вот как это выглядело.

Никаких праздных разговоров, пересудов, осуждений. Люди хорошие, которые плохие — то это потому лишь, что несчастные. Осуждать других — плохо, сам не лучше. Не сейчас, так в прошлом был таким или в будущем станешь, нет никаких гарантий.

Труд. Постоянный труд — рутинный, обычный: дом, сад, огород, приготовление пищи для родных, для животных. «Добрые дела» — так называет это Катя (младшая): ходит помогать старым и больным. Отдает нуждающимся все, что еще можно отдать. Делится пищей. Денег никогда не имеет — раздает. «Объекты» ее благотворительности — старухи, инвалиды. Иные и соврут, и оговорят ближнего. Все это тетка знает, но продолжает делать свое дело.

Образ жизни: крайняя скудость в питании. Мяса почти не ест, то, что Катя принесет, тоже раздает. Овощи с огорода и хлеб — основная еда. Одежды минимум. Помню ее холщовое летнее пальто, одно и то же все двадцать лет! Катя говорила, сшить и подарить нельзя — сразу отдаст.

Самым интересным для меня были ее представления о религии. Несколько раз (не так часто) мы беседовали. Мысли ее почти полностью были в плену священных книг — про чудеса, жития святых. (Попробовал читать — очень глупые.) Естественнонаучные сведения, которые еще в молодости почерпнула, как-то выветрились из ее головы. Спорить было бесполезно. Однажды я спросил, посмеиваясь:

— Тетя Катя, неужели вы можете верить в такую ерунду, как описание ада? Сквороды лизать, котлы с кипящей смолой...

— Коленька, — так она меня называла, — ведь это пропаганда для простых и неграмотных людей. Я так думаю: рай — это продолжение жизни после смерти. Какой, никто не знает. Да и неважно какой. Ад — уничтожение. Умер — и нет тебя. Разве этого мало? Люди боятся такой полной смерти.

Так и назвала — «полная смерть» (аннигиляция, сказали бы теперь).

Тетя Катя умерла трагически: обварилась кипятком, когда собралась мыться. Привезли в больницу, но спасти не смогли — обширные ожоги. Несколько дней умирала, вела себя мужественно. Было ей 89 лет. На похороны не ездил.

Вот и остались у меня на всю жизнь две святые женщины: мама и тетка.

Жизнь ускорилась: замелькали киевские годы...

Первый год. Дали квартиру в доме при институте: комната пятнадцать метров, проходная, кухонька два метра. Плоховато и тесновато. Возвращение к истокам, к Москве 46-го года.

Еще хуже — помещение для больных: две палаты на двадцать кроватей в чужом отделении. Помощники зато хорошие: Гриша Горовенко и Ваня Слепуха. Только оперировать некого — не так легко подобрать больных, фтизиатры осторожны... Но в Госпитале инвалидов войны, как обещали, дали отделение на пятьдесят коек, для больных с последствиями ранений в грудь, а практически — кладь любых. Два ординатора, женщины лет под сорок, далеко до моих брянских... Раньше отделением заведовал профессор Бабич, ортопед, его уволили по пятому пункту, но будто бы «за махинации». Борьба с космополитами в Киеве была очень активна.

Но политика меня мало интересовала: Сталин царствовал, проводились какие-то перестановки, кого-то выдвигали, кого-то задвигали (будто даже Молотова?). Вознесенского, который руководил военной экономикой, расстреляли. Продолжалась война в Корее. Не верил, что напали южные корейцы, я-то знал лицемерие коммунистов. Сначала северяне уверенно гнали «южных», потом пришли американцы и погнали коммунистов обратно. Фронт остановили на 68-й параллели только с помощью китайских добровольцев. Наши формально занимали нейтральную позицию, но летчики активно дрались, и ходили всякие анекдоты об их разговорах с американцами. Я болел за «южан». Политика «поражения своего правительства», как у большевиков в войнах 1905 и 1914 годов.

Атомная угроза уже обозначилась. У нас бомба есть — это немного льстило самолюбию, но усиливало страх перед новой войной. Недолго пожили спокойно, опять затягивай пояса. Все это раздражало: «Черт бы вас побрал!» Образ врага в лице амери-

канцев за период войны сильно поблек. А теперь еще этот анти-семитизм! Неймется!

Начальник госпиталя приличный: «шел навстречу». К сожалению, здание на Подоле, отдельно от тубинститута — в 5—6 километрах, автобусом и трамваем больше часа. Мой «Москвич» в Брянске совсем дошел, и я его продал там за четверть цены (наездил всего 5000 километров). Бог с ним. Были деньги на машину, не стал ждать «Волгу», купил опять «Москвич». Говорили: дурак. Правильно говорили. Зато решил проблему транспорта. Правда, с издержками: начались холода, и пришлось заливать горячую воду. Об антифризе и не мечтал...

А вообще поначалу я жестоко тосковал. Очень жестоко. Проклинал всех и вся. Но с Лидой не ссорился, она увлечена институтом. Понимал.

Живи, борись: нет обратного хода.

Из первого десятка операций в институте была смерть на столе. Не справился: возник пневмоторакс на втором легком. Сжал зубы, матерился про себя.

Больные после ранений были особенные: гнойники в легком вокруг осколков и кусков «шинели» в сочетании с многолетними гнойными плевритами. Рубцы — как железные, проридаться по миллиметрам. Все — кровенит. Операции длились по 4—5 часов. Но был прежний опыт, и все шло нормально. Главная опасность у этих больных — внезапные легочные кровотечения: трудно определить откуда, еще труднее — добраться и удалить пораженную часть легкого, когда больной захлебывается кровью.

Была отдушина: в ноябре и декабре ездил оперировать в Брянск. Там по мне тосковали. На какое-то время возвращался Саша Шалимов, но ненадолго. Мои помощницы были недовольны, привыкли ко мне.

Анна Васильевна Малахова переехала в Киев уже к Новому году, ей дали комнатку прямо в отделении. Так у меня появился надежный тыл: доктор под рукой в любое время. Местные были не охочи по ночам сидеть у больных. Привыкли: «от сих до сих». Спустя еще несколько месяцев в Киев приехал Ваня Дедков: я его пристроил на кафедру к профессору Кальченко Ивану Ивановичу, он был доцентом в Архангельске, когда я учился. Очень трудный человек, он хотел освоить нашу хирургию в своей клинике. Ваня ему все наладил, но благодарности не получил. Через год перешел ко мне.

В январе пришло письмо от Исаака. Вот что он писал:

«В Брянск не приезжай, на тебя завели уголовное дело. Будто бы ты экспериментировал на больных, удалял здоровые органы. Бочки с препаратами опечатали, меня допрашивали. Истории болезни изъяли. Партийное собрание во главе с секретарем Игрицкой поддержало следствие. Все наши — в панике».

Я не придавал значения: абсурд! Продолжал спокойно работать, на поездки не напрашивался, тем более что пошли больные здесь.

Уже после смерти Сталина, когда «дело врачей» прикрыли, мне разъяснили, какая была опасность. Оказывается, муж одной из медсестер, следовательно, решил на мне сделать карьеру. И сделал бы! Так что, спасибо товарищу Сталину — вовремя умер.

Смерть вождя потрясла общество. Вся страна проливала слезы. Лида — тоже. Слухи про Москву: давка на похоронах, смертоубийство. Меня — нет, не взволновало, хотя побаивался худшего — потрясений, беспорядков. Берия мог учинить резню почище сталинской. Обошлось. Даже легче вздохнулось, как похоронили.

Но подробностей о смерти Сталина не сообщали. Тайна!

Новые правители обозначились: Маленков — правительство, Хрущев — партия. Народ был доволен, что Жукова опять подняли до наркома. Большая амнистия напугала публику: выпустили сразу много уголовников. Кстати, я еще помнил начало двадцатых годов — какой тогда был взрыв преступности.

В апреле мы с Исааком ездили в Горький на защиту моей докторской.

Событие важное, но описывать не буду: все прошло как по маслу. Оппоненты: Ефим Львович Березов, Лев Константинович Богуш (тоже горьковчанин) и Боря Королев — дружно хвалили... Вот только на ужин в ресторан не пришли, сидели мы с Исааком и Туровым, как дураки. Так и не знаю почему. Богуш, главный авторитет в хирургии туберкулеза, сам сделал первую резекцию легкого, может, приревновал? Да нет, замечания дал до защиты, советовал исправить и все сказал правильно. Впрочем, за моей спиной маячил Бакулев...

Через пару месяцев умер Исаак. Вечером пришел из гостей пьяный и по ошибке выпил каустик. Сжег пищевод и желудок до полного омертвения. Спасти не смогли, через день-два умер. Я ездил на похороны. Проводили скромно. Погрустил с Верой, уже вдовой. Остался сын, трех лет. Замуж она больше не

вышла. После Игрицкой заведовала отделением гинекологии, разок приезжала в Киев. Я тоже бывал в Брянске на юбилее больницы в шестидесятых — семидесятых годах. Там все поменялось, переехали в другое здание на окраине. Хирургия слабая.

2

Вот я и стал доктором наук. Могу кафедры занимать... Вскоре получил предложение: Харьков. В мае сгоняли туда с Лидой на машине, за один день обернулись. Посмотрели клинику: обшарпанная. Отставить.

Почти тут же пригласил ректор киевского мединститута Терентий Яковлевич Калиниченко на кафедру хирургии сангига (санитарно-гигиенического факультета). Клиника на улице Рейтерской, на втором и третьем этажах. Очень плохая. Но что ты хочешь, сопляк?

— Согласен.

Объявили конкурс и в сентябре выбирали на ученом совете. Потом мой друг, Федоровский Алексей Александрович, рассказывал:

— Профессора не одобряли. Какая кафедра? Он и студентов не видел! Научных работ — всего семь! Не годится... Но я тебя поддержал, сказал что Спас (Спасокукоцкий) тоже из земских был, а вон как шагнул!

Проголосовали: 21 — «за», 18 — «против».

18 сентября проректор Евгений Иванович Чайка представил меня на кафедре.

Нет, я не испытывал чувства неполноценности. Лечить? Лекции? Пожалуйста! Об операциях и говорить нечего — до меня там выше аппендицитов не поднимались. Разве что заворот кишок прооперируют по «скорой», с великим страхом.

Помощники были слабые. Два старика доцента — Прицкер и Богомолец. Первый вел всю писанину, спасибо ему, второй вообще ничего не стоил. Я с ним встречался на войне, когда курсы в Ельце проходил. Ассистенты помоложе: три женщины и молодой человек, не буду называть фамилии. Бесцветные, старательные, «безрукие», очень послушные.

Скоро начал делать торакальные операции. Помощники их никогда не видели, поражались. Богомолец пошел к министру Шупику Платону Лукичу.

— Запретите ему! Как можно! Человека поперек перерезает!

Лекции пошли с ходу. Готовился, писал план, не бубнил, как некоторые старики. Студентам нравился. Дисциплину требовал. Но в преподавание ассистентов не вникал: не так уж важна хирургия для санитарных врачей! Двойки на экзаменах все же ставил.

В госпитале и тубинституте стал бывать меньше, делал по одной операции в неделю. Анна Васильевна оперировала. Между тем они с Дедковым поженились. Ваня не только поехал за мной, но и от жены удрал (мне она не нравилась). Они стали к нам в гости ходить, по субботам.

В порядке шефской помощи ездил в Житомир; останавливался у старика Гербачевского, областного хирурга. Очень трогательные супруги: Пульхерия Ивановна и Афанасий Иванович. Ординатор — Вера Красномовец, красивая и увлеченная. Жена секретаря обкома, мать двух дочек. Потом она у нас училась, встречал на съездах — могла ездить, как жена начальника...

Ходил на заседания хирургического общества, познакомился с Михаилом Исидоровичем Коломийченко (патриарх хирургов, полюбил меня), Иваном Николаевичем Ищенко, генералом (долго не признавал). Демонстрировал там больных с операциями, которые до меня на Украине не делали. Выдвигался! Но — без нахальства, вполне скромно.

В декабре 1953 года очень тихо отметили мои сорок лет... Пришли Гриша Горовенко, Анна с Иваном, две ассистентки с кафедры.

В мае 1954-го проходил Украинский съезд хирургов. В те времена к нам «вся Москва» приезжала. (Теперь — увы, перестали). Были знаменитости: Юдин, Березов, Савицкий, Петровский. Разгорелась жаркая дискуссия: когда и как оперировать кровоточащие язвы желудка? Юдин (и Розанов) — срочно, Березов — отсрочить. Я — за первых. На съезде меня уже принимали как вполне состоявшегося хирурга.

Умер Юдин. Возвращался домой, в самолете стало плохо, только довели до института — и смерть. Инфаркт.

3

Невозможно описать в подробностях все, что происходило в Киеве. Жизнь ускоряла темп.

В высших сферах вроде бы было тихо: правители правили, народ привычно безмолвствовал. И вдруг: «Берию арестовали!»

Вот это понравилось всем! Хотя политические аресты после Сталина как будто прекратились, но пока этот тип сидел на своем месте, никто не чувствовал себя в безопасности. Так думали тогда люди, не понимая, что главное — не Берия, а система. И тут вдруг такой подарок от партии народу. Очень одобряли! И действительно, после того мингрела уже не было фигуры равного калибра. КГБ работал, диссидентов объявлял и арестовывал, но уже «поштучно», а не целыми загонами. Теперь партия все списала на Берию, на Сталина еще не посягали. Как потом написал Никита Хрущев, уже замахивались, но еще стеснялись.

Нам поменяли квартиру — две комнаты и кухня. Домашняя атмосфера была спокойная. Лида с увлечением училась, ко мне за помощью не обращалась. Может, я был рад этому? Большой теплоты к ней не было. Неужели — повторение прошлого?

Одно Лида знала твердо:

— Хочу ребенка!

А как я? А никак. К детям чувств не испытывал. Но и не возражал.

Были трудности — забеременеть. Даже в больнице лежала. Как-то я вез ей передачу и попал в аварию, легкое сотрясение мозга.

В декабре у нас на руках умерла сестра Лиды Рая. Она приехала с мужем, очень больная. Не успели ничего определить, положить в больницу, как она погибла: сердечная слабость, упало давление... Несколько часов — и смерть. Конечно, у нас тогда не было реанимации, лечили как на фронте. Не знаю причины, на вскрытии не установили.

Январь 1955 года, Москва. Всесоюзный съезд хирургов: Дом союзов, торжество. Мой бенефис. По теме легочной хирургии мне дали доклад: «Резекции легких при туберкулезе». Жил... где вы думаете? Гостиница «Советская», это бывший «Яр», на Ленинградском проспекте, отдельный номер. Шик. Там иностранцев поселяли... Я тоже гостей принимал — Кирку, Аркашу, отдельно — киевских.

Главное внимание съезда было не к легким — к сердцу. Представлен первый опыт — от Бакулева, от Куприянова: митральные стенозы и «синие пороки сердца». А от Саши Вишневого — комиссуротомии под местной анестезией. Как раз для нас, поскольку наркозом пока не владели.

У меня тоже был острый интерес к сердцу. В западной литературе уже полно статей: начали оперировать детей на «открытом

сердце» под гипотермией. Охлаждали в ванной до 25 градусов, останавливали сердце, разрезали и штопали врожденные отверстия в перегородках.

После доклада мне тут же предложили переехать в Москву, давали отделение — нет, не первый сорт. В пригороде, в Захарьине, где, как сказали, сам Юдин начинал. Мне не приглянулось. Не мог на туберкулезе замкнуться.

Но — использовал: сообщил Мамолату. В открытую не шантажировал, просто сказал, что «думаю». Эффект был тут же: дал директор другое отделение, уже на пятьдесят кроватей. К тому времени умер хирург Костромин, его отделение отдали Горovenko со Слепухой, а у меня появились новые помощники и помощницы: Костя Березовский, Юзеф Когосов, Паша Винокурова. (Двое уже умерли, Юзеф эмигрировал.) В институтской клинике, на Рейтерской, уже собрались брянцы: перешел от Кальченко Дедков и приехала Ольга Авилова. Поселили ее в больнице, почти на чердаке. Они заняли место стариков доцентов, их удалось отправить на пенсию. Не без труда и с обидами...

Вот так собралась снова первоклассная команда.

Весь 1955 год прошел под знаком сердечной хирургии. Еще перед съездом Ольга удачно ушила рану сердца, а теперь предстояло браться по-настоящему.

Не просто подобрать сердечных больных: до сих пор это была «епархия» терапевтов. Считалось, что они знают пороки сердца. В том же здании, на Рейтерской, была терапевтическая клиника Элберга, в ней — доцент Лихтенштейн. Он и взялся мне помогать. Разумеется, я сам прочитал все, что было доступно. Впервые у меня появился в кармане фонендоскоп — слушать сердце. Рентген я хорошо знал еще с Брянска...

Первая операция при митральном стенозе — комиссуротомия, расширение пальцем сращенных створок. Для этого нужно войти в левое предсердие. Оперировал: местная анестезия, как у Вишневого. Только ввел палец в митральное отверстие, как больная потеряла сознание и начала умирать. Быстро расширил сращенные створки, и, к счастью, удалось оживить.

Но — наволновался! Умрет первая больная — и все, другие не пойдут... Нет, любимая местная анестезия для сердца не подойдет! Нужен интратрахеальный наркоз: из аппарата, через трубку в трахее, с искусственным дыханием.

Так пришлось осваивать новую специальность — анестезиологию. Хорошо, что аппарат был, от американцев, как в Брян-

ске. Приспособил молодого доктора — Депутата Андрея. Сначала я сам вводил трубку, потом переходил к столу, и он давал наркоз уже дальше. Но скоро научился, и все пошло. Та первая больная, что доверилась (ее фамилия была Магедович), прожила лет пять, поддерживала знакомство. Спасибо ей!

Следующий опыт ближе к осени: надо было оперировать врожденные пороки у маленьких детей. Начинать с самых тяжелых — тетрада Фалло. Венозная кровь идет в аорту, поэтому больные синие. («Синие мальчики».) Нужно исправить: пустить кровь в легкие из аорты в обход порока. Облегчающая, нерадикальная операция.

Решил использовать гипотермию, чтобы уменьшить чувствительность к кислородному голоданию во время операции. Нужно дать наркоз и погрузить в холодную воду. Когда охладится до 25-27 градусов, брать на стол, обложить пузырями со льдом и оперировать. После — нагревать в ванной или грелками. Вот тут уже понадобились капельные вливания растворов и крови... Культура!

Все так и сделали... Хотя мне не просто давались сосудистые швы — руки от волнения очень дрожали... Но операции пошли успешно. До этого еще пришлось инструменты изобретать, чертежи делал, мастеров искал.

Ликовали. Надо быть хирургом, чтобы понять радость от успешной новой операции. Это куда сильнее любовных романов!

Демонстрировали ребятишек на заседании общества: синева у них исчезала.

Одна смерть на первые десять операций все-таки случилась: это не так уж и много для смертельной болезни. Помню все, но описывать — сложно. Одно скажу: не было еще знаний по реанимации: сердце остановилось, а запустить было нечем — аппарат дефибрилятор появился только через год. Дефибриллировали варварски: искрой тока от проводов на сердце.

Терапевты плохо диагностировали сердечные болезни. То есть им и не нужна была точная анатомия больного сердца: важно знать, как пострадала функция, чтобы лекарства выписывать. Другое дело нам, хирургам. Послушать и на рентгене посмотреть — это нужно, но мало. В мире уже были сложные исследования, когда в сердце вводилось контрастное вещество и делались серийные рентгеноснимки, чтобы видеть камеры, как клапаны держат, где сужение, отверстия в перегородках. Называется: ангиокардиография. Для этого не-

обходимо иметь хороший рентген: делать снимки каждую секунду...

Другой метод — зондирование. Вводится в сердце через вены трубочка 2 мм, и через нее измеряется давление крови в камерах, набираются порции крови и исследуются на насыщение кислородом.

Ничего этого у нас не было. Даже самого минимума не могли сделать — проколоть со спины сердце и достать левое предсердие, замерить давление, записать кривую его изменений, взять пробу крови.

4

Не могу вспомнить, как «на нашей сцене» появился новый персонаж — Екатерина Алексеевна Шкабара (опять — Катя. Катя — теща, Катя — тетя, Катя — коза у тети, Катя — дочка... Везет же!).

Когда-то она помогала Лебедеву, они создали первую в Европе ЭВМ. Потом Лебедев уехал, но ЭВМ работали в Институте математики АН Украины... Катя свела меня с механиками из академии, они сделали датчик для записи давления в сердце.

От нее и началась моя кибернетика: просветила, дала книжку Эшби, потом Винера, познакомила с академиком С.В. Гнеденко, дальше — с В.М. Глушковым, нашла мастера Сергея Владимировича, инженера Милю Голованя.

Много разговоров переговорено с ней... Под занавес создала для меня отдел биокибернетики в составе академического Института математики, потом — кибернетики. Отдел существует до сих пор, там работают мои друзья: супруги Касаткины, Кусуль, Талаев... Я о нем еще не раз буду писать. А сама Катя отстранилась. Хуже того: держит на меня обиду. Возможно, справедливо: не проявил благодарности, которую она заслужила. Не помог, когда свалились на ее голову под старость житейские невзгоды.

Так периодически находишь свои грехи, которые уже не исправить. Или только я такой... бессовестный? Или — бесчувственный? Грехи-то не очень большие... Опять же, есть и заслуги. Наверное, человек, даже вовсе подлый, всегда оправдывает себя.

Кибернетику мы начали с диагностических машин. Это словосочетание только входило в моду. Марксисты не смогли загу-

бить кибернетику «на корню», хотя пытались: «лженаука». Катя рассказала о перфокартах, я разработал форму документации — признаки болезней, их сочетания — для диагнозов, для показаний к операциям: записывай из истории — и шуруй. Все получишь, не утруждая себя в размышлениях. Тут подоспел Озар Минцер. Его привела жена Коломийченко — Ирина. Он наладил механическую обработку перфокарт. Пользы не было — точность диагнозов оказалась всего 80 процентов, это меньше. Потом с Озаром мы долго работали, пока не разошлись вконец, много позже. Но все равно, он — толковый человек.

Скажу сразу — для медицины ничего полезного не вышло: диагнозы машина не ставила. Минцер начинал, он же и портил каждый новый заход. Впрочем, ошибаюсь: осталась формализованная история болезни, очень полезная вещь.

А сейчас напишу авансом о втором приложении кибернетики: физиология. Сначала — экспериментальная, нацеленная на сердце. Началось это сугубо от практики, от освоения первого АИКа. Собралась команда: Ольга Лисова, Мищенко, Моргуновская... Собственно, «кибернетическая физиология» пошла с Володи Лищука. Я с него «срисовывал» героя в «Мыслях и сердце». Блестящий парень. Именно он, единственный, довел опыты с изолированным сердцем до уровня физической точности: стопроцентной повторяемости нагрузочных характеристик Старлинга. До нас этого ни у кого не получалось, и ученые списывали разброс кривых на «биологическую специфику». Исследования были представлены в книжке «Саморегуляция сердца». Большая заслуга принадлежала инженерам Борису Береговскому и Борису Пальцу.

Потом группа работала с камерой. Об этом будет отдельный разговор. Тяжелый.

Теоретические разработки по физиологии закончились много позже в «Модели внутренней сферы организма». Заумное название, а содержание простое: даны зависимости четырех регулирующих систем (РС). Я их задумал еще в Череповце, перед войной. Но команда Лищука нашла материалы и подо все создала стройную математику. Написали книжку. К сожалению, физиологи остались глухи — не знали математики. Но четыре человека стали докторами наук: Володя Лишук, Борис Палец, Ира Ермакова, Катя Ляхих. Еще несколько — кандидатами.

Команда распалась в семидесятых годах. Я хотел повернуть их на новую широкую тему по «проблеме человека» с биологией,

психологией и социологией, а они выразили недоверие и отделились. Сначала — всей группой, но без меня возникли трения, и народ разошелся в разные отделы Института кибернетики. Володя Лищук уехал в Москву и процветает в институте у Бакулева.

Должен сознаться, что я «оплодотворил» институт Глушкова тремя или четырьмя отделами биологического профиля. Ни один из них не принес реальной пользы: «наука для науки». Статьи, книги и ученые степени... Мне даже совестно: втравил государство в расходы. Примерно в то же время (в 1955—1956 годах) сконструировал новую самоделку: делать серию рентгено-снимков, быстро двигая кассеты с пленками. Тут отличилась Софья Степановна Тищенко. Она взялась за рентген, хотя когда-то была хирургом. Постепенно наша диагностика «на соплях» начала обретать контуры. Нет, не современные, но приближаться к ним.

Еще одно: возобновил знакомство с Вадимом Евгеньевичем Лошкаревым. Даже был у него дома. Он стал украинским академиком, директором Института полупроводников, пользовался уважением, но... следа в науке не оставил. Не любил вспоминать старые темы, хотя взглядов не изменил. Верил в НЛО и Бермудский треугольник. Умер много лет назад.

Осенью я ездил в Румынию на конгресс по хирургии туберкулеза, в компании с одним профессором. Все было внове, да и принимали шикарно, как «старшего брата»... Первоклассная гостиница, ресторан, экскурсии, подарки... Иностранцы были только из «соцлагеря», но все равно — другие. Мой доклад прозвучал «на уровне»: больше всех операций и лучшие результаты. Так что поводов для комплекса не было.

Министр Маринеску — тоже хирург — показал новейшую рентгеноустановку, незаменимую для сердечных больных, немецкую. У меня только слюнки текли. Мы-то сами изобретали, «умельцы».

Медицина у румын по сравнению с нашей выглядела лучше. А хирургия — хуже. В дальнейшем, при Чаушеску, с румынами знакомства не водили: они начали активно отдаляться.

Осенью 1955 года мне удалось организовать кафедру грудной хирургии в киевском Институте усовершенствования врачей. Пока — параллельно с кафедрой мединститута. Объявили по республике, приехали человек десять общих хирургов, хотели освоить операции на грудной полости.

А между тем... Сбылась мечта жены: забеременела. В институт ходила, уроки зубрила, но больше всего боялась, что не сохранит. Я смотрел на это спокойно. Хотя что греха таить: на глазах таяла надежда еще раз испытать свободу, если не будет «мира под оливами». Так уж устроен человек... Или — только я?

5

И вот пошел год следующий — 1956-й. Очень важный год! Можно сказать — судьбоносный. Надел на Амосова шелковые оковы. Навсегда.

Лида очень тяжело переносила беременность. Бывала на опасной грани: высокое давление, очень плохие анализы, отеки. Профессор-гинеколог Александр Юдимович Лурье — отличнейший оператор и человек — наблюдал во всеоружии: в любой момент вмешаться! Срока не дождалась: на месяц раньше взяли в клинику, стали вызывать роды.

Мы с Таней Лурье (она была патологоанатомом) ночь дежурили на кафедре в ожидании исхода.

А в родильном зале была большая паника: как только наступала схватка — прекращалось сердцебиение плода. Говорили, что пуповина обвила детенышу шею. Может умереть в любой момент. Не помню их, акушерских подробностей, но стоял вопрос: ребенок или большая опасность для матери. Я — за мать. Но, Боже мой, какой разговор:

— Только ребенок! Любой ценой!

Я стоял у изголовья. Операция под местной анестезией: наркоз при эклампсии очень опасен (будто бы). Хирург блестящий. Через двадцать минут уже достал ребенка, отдал помощнице. А он — молчит. Не кричит, как положено, и не дышит... Лида — в панике:

— Что с ребенком?!

— Ничего, ничего... Подожди... Девочка...

Похлопали по попе... оживили. Закончили операцию. Увезли роженицу, унесли ребенка. Недоношенный, тощий.

Потом меня пригласили — посмотреть на дочку.

Никогда не забуду этого мгновения: лежит что-то красненькое, маленькое и... шевелит губками, как облизывается!

Будто у меня кран какой в душе открылся:

— Твой навек!

После этого — не скажу, что я всегда был уж очень любящий муж, я человек сухой. Но одно точно: никогда не возникало мысли: «Сбежать!» Дочка прочно припаяла...

Дальше все шло... скажем, трудно, но не страшно. Дело сделано, ребенок есть. Якорь. Дней через десять я самолично привез их на машине, колыбель уже стояла на заднем сиденье.

Так открылась еще одна сторона жизни: отношения с дочкой.

Назвали ее Екатериной. Вроде бы в честь бабушки; а по мне — как тетю Катю.

Елисеевна, теперь уже бабушка, в Харьков, на самостоятельность, от нас больше не бегала. Прилипла к внучке. Лида, как оклемалась, пошла в институт. Прибегала кормить, но скоро молоко пропало. Началось искусственное вскармливание. Потом у дочки нашли кривошею — это Вера Красномовец, старая знакомая из Житомира, зашла посмотреть и обнаружила. Начались консультации, бинтования шеи, массажи. Все обошлось.

Воспитательные проблемы надолго вошли в список моих занятий. Я даже книжечку написал: «Здоровье и счастье ребенка». Лекции педагогам читал.

Суть взглядов. Чтобы сделать человека умным, необходимо его с ранних лет интересно и многому учить. Мораль — через пример, и опять же — через книги. Родители — все время под прицелом. Ни слова лишнего. Все, что есть плохое, — храни от детей. Пусть не знают до тех пор, пока не сформируются. Потом сами решат, как судить о родителях.

Долго думал, что в паре «гены—воспитание» главное — это воспитание. Постепенно акценты сместились: гены важнее. Но без воспитания не реализовать.

Поэтому Катю с пеленок развивали, как могли. И не ошиблись: в тридцать три года стала профессором-терапевтом.

Летом 1956 года нам дали квартиру в новом доме для врачей. Даже не просил — начальство дало. Авторитет возрос.

6

Профессиональная жизнь между тем продолжалась. Более того, была на первом месте. В частности, заграничные поездки вошли в практику: каждый год ездил куда-нибудь на конгрессы. Благо, интересы широкие, ездил за свои деньги — «научный туризм».

В 1956 году был в Чехословакии, снова по легочным проблемам. Описывать чужие города теперь нет смысла — все ездят, по ТВ смотрят. В городах я любил ходить пешком, чаще — один. Покупал карту и шел. Музеи, галереи посещал. Альбомы покупал. Думал — постарею, тогда и полюбуюсь. Постарел, а времени как не было, так и нет. Но приятно узнавать на экране места, где бывал. Магазинами не увлекался, денег всегда было мало. Зато книг привез — вагон! Несколько тысяч. В каждом городе разыскивал книжные магазины и букинистов. Впрочем, все это позднее, когда стал депутатом и не боялся таможни. Нет, боялся, конечно, по части крамолы, но не очень, знал, что не посадят, разве что выезд запретят. На этих книжках дочку английскому выучили. Да и сам романы читал. Теперь перестал, неинтересно.

Самое знаменательное политическое событие тех лет — речь Хрущева на XX съезде партии. Впрочем, сам текст я так и не читал, но пересказ слышал. Начиная от Лиды: партийным людям читали. Очень впечатляюще! Но для меня нового ничего не прибавило. Знал, что Сталин прохвост. Но также и... может быть, гений? Злой гений! Все-таки дурак или банальный подлец не смог бы так Россию раскрутить. Опять же, я не заблуждаюсь, цена велика, но кто цену меряет через полвека?

Никита, да простят мне фамильярность, тоже личность выдающаяся. «Оттепель» запустил, солженицынского «Ивана Денисовича» напечатал. Домов много построил... Правда, с кукурузой в Архангельске насмешил, но кто «Богу не грешен...»? Не буду вдаваться в политику. Мне нравился Никита. Даже смешно было, когда он в Манеже художников шуганул. Народ и теперь до них не дорос... Правда, это не оправдание...

В 1956 году я отказался от мединститута и остался только в Институте усовершенствования. База на Рейтерской сохранилась, Ольга заведовала, студенты ушли в другую больницу, к другим учителям.

С января у нас был второй набор грудных хирургов. Приехали хорошие ребята, заниматься с ними было интересно. В числе других прибыли двое, что остались в истории клиники: Юра Мохнюк и Лена Сидаренко. Оба потом вышли в профессора. Слава Богу, живы и теперь. Лена приехала аж из Казахстана учиться легочным операциям. Речь о ней будет впереди. Юра — из Новоград-Волынского, там он был главный. Юра — мой близкий друг до сих пор, хотя давно отошел от нашей клиники.

Он великий «консультант-путешественник». В Камбодже играл в теннис с Сиануком, того свергли, потом в Иране — с шахом, и тоже «накаркал» изгнание.

Но... условиями работы я был недоволен: три базы, и все плохие. Что уйду — не угрожал, но и не скрывал недовольства.

И тут опять повезло — по части неумышленного шантажа. Дело в том, что Мамолат построил трехэтажный корпус для клиники костного туберкулеза. Эта проблема когда-то была серьезной, но уже потускнела. Ее руководитель — милый Борис Самойлович Куценко — активности не проявлял. А меня тогда пригласил в заместители сам Бакулев! Да-да... Он поссорился со своим учеником и главным помощником Мешалкиным Евгением Николаевичем. Человек он был трудный, но хирург — от Бога. На «открытом сердце» оперировал под гипотермией и довел метод до высокого совершенства. Умел, как никто в мире, сердце без АИКа останавливать на полтора часа и клапаны вшивал. Я-то уверен, что зря так делал, но все равно — мировой рекорд. Его операции я видел спустя много лет в Новосибирске: они производили впечатление.

Новый переезд к Бакулеву не состоялся: я слишком много запросил самостоятельности: вступились сторонние силы, и проект отпал. Это не охладило наших отношений с Александром Николаевичем, а Мамолата толкнуло на решительный шаг. Он обещал мне новое здание: три этажа, на 150 коек, с операционной, рентгеном, со всеми службами.

Мы переехали в него 7 января 1957 года. Сбылась мечта, получил клинику, которая все вместит. Первый этаж (И.И. Розенберг) отвели под туберкулез, второй (А.В. Малахова) — под другие легочные болезни, третий (И.П. Дедков) — целиком для сердца. На первом открыли что-то вроде амбулатории с рентгеном. Там я сам вел прием каждый понедельник, принимал до ста человек.

Однажды именно там пациент сказал, что здоров, но просит поговорить без свидетелей. Предложил ему зайти в кабинет после приема. И что вы думаете? Оказался из КГБ: предложил стать сексотом. Ох, как я его шуганул! О первом таком предложении я уже писал — это было на фронте. Но чтобы в 58-м году, профессору...

С другого входа на первом этаже открыли аптеку для всего института. На третьем этаже разместили реанимацию. Был и свой зал, человек на сто. Все честь честью.

В тот же первый год пришли новые работники. Неля Дмитриевна Черенкова — наш ЭКГист. Розана Габович — операционная сестра, перешла с Рейтерской, но потом стала очень важной особой — «машинисткой» для АИКа. До этого закончила вечерний университет. Так же и у Вали Гурандо: она и до сих пор заведует биохимической лабораторией — 45 лет!

Самым важным для меня был Яков Абрамович Бендет. Он был фтизиатром, стал кардиологом, доктором наук. И остается большим другом нашей семьи.

...Забегу немного вперед: в дальнейшем помещения в клинике перекраивали несколько раз. Закрыли стенами шесть открытых веранд, расширили операционную: вместо двух столов — четыре. Позднее построили новый операционный блок с воздушным переходом. Там же были смонтированы камеры высокого давления. Наконец, построили совсем новый шестиэтажный корпус и заселили его в 1975 году. Легочная хирургия постепенно сошла на нет.

А весь 1957 год я писал капитальный труд «Очерки торакальной хирургии» (60 печатных листов). В основе — стенограммы лекций для курсантов, но к ним добавил много литературы. Все рисунки операций сделал сам. Пригодилось детское увлечение рисованием. Рецензию на книгу дал Ф.Г. Углов, а представила работу ему моя знакомая, его ассистентка Лида Краснощекова. Впрочем, книга вышла только в конце следующего года в нашем издательстве. Тираж был большой, и на полках в магазинах она, увы, пылилась еще долго.

В начале лета 1957 года в Москве состоялся съезд фтизиатров с хирургической секцией. Был и мой доклад. Приехали знакомые хирурги и мои новые ученики. Лена Сидаренко попросилась в аспирантуру, была и Вера Красномовец — она тоже пыталась делать резекции легких в Житомире.

Трудное это дело для женщины — быть хирургом. Из моих помощниц крупным хирургом стала только Ольга Авилова. Но она не выходила замуж. Лена же очень способная, долго была моим заместителем, но родила сына и отошла от хирургии. Наташа хотя замуж не выходила, но в брянской городской больнице славу не добыла. Впрочем, если бы поехала со мной... Одно могу сказать: не знаю ни одной женщины, которая самостоятельно выдвинулась бы в крупные хирурги, все вышли из-под крыла шефов.

Между тем прошел еще один съезд партии. Хрущев гремел, Сталина клеймили и наконец вынесли из мавзолея. Ленин опять

остался в одиночестве. Я был в мавзолее только раз, когда коллективно водили весь Верховный Совет, уже при Горбачеве. Впечатление неприятное. Как и от мумии Пирогова в музее в Виннице.

В то же лето 1957 года произошли подвижки в высших сферах: убрали из ЦК Молотова, Маленкова, Кагановича и «примкнувшего к ним» Шепилова. Правда, не арестовали, всем дали должности. Все они прожили долгий век — политические страсти, выходит, не повлияли...

В 1956 году мы уже сделали около пятидесяти операций на сердце, умерло всего трое.

Дедков и Ольга перешли на нашу кафедру. Всех их я торопил с диссертациями, они необходимы для преподавателей. Темы определились еще в Брянске: резекции легких при нагноениях, при раке, операции на кардии и пищеводе.

«Шумим, братцы, шумим!» Много диссертаций вышло от меня. Цифры все же сообщу: до двадцати докторских и с сотню кандидатских. Научность их не преувеличивал, у всех был собран большой «материал»: много больных и хорошие результаты. И — без вранья!

Впрочем, за сорок лет это не так много.

Осень. 1957 год. В Мексике проходил Международный хирургический конгресс. Это было мое первое путешествие в мир капитализма.

Компания хорошая: М.И. Коломийченко, наш украинский хирургический патриарх (было ему тогда всего 63 года!), И.И. Кальченко и А.К. Горчаков — заведующие кафедрами. В аэропорту родственники провожали с шампанским, как на Северный полюс. Лида меня никогда не провожала, и это хорошо: проводы — скучное дело.

Утро 6 октября в Москве было очень холодное, ветер сбивал с ног. И тут узнали: запущен первый спутник. Вся поездка шла под его флагом: прибавлял авторитета, поскольку хирургическое не хватало.

Делегация хирургов была большая — 27 человек. Почти все старше меня, но по операциям я уже был в первом ряду. Соответственно и вел себя: уверенно, но без задора.

Путь в Мексику был тогда сложен: Дания, Англия, Канада...

Четверть века потом «ритуал» путешествий почти не менялся: инструктаж в ЦК, в министерстве, в «Интуристе». Сведения о шпионах, предупреждения, ограничения.

Если повезет, то и заграничный паспорт выдадут накануне. А если нет, то только утром в день отъезда, у автобуса на площади Революции. Однажды, в 1968 году, мне — депутату Верховного Совета — паспорт не принесли. Кто-то наступал. С трудом добыли в Минздраве, опоздал на сутки.

В аэропорту та же процедура, что и теперь. Смотрим, у кого больше чемоданы, — значит, продукты, чтобы деньги сэкономить. Я продукты не брал, на еду не жадный.

Нет лучше людей во время заграничных поездок, чем хирурги. Они не скупы, треплются о политике, крамолу читают по очереди, не прячась. На стриптиз ходят.

Канада. Аэропорт Гандер. Холодно, ветрено и неудобно. Здание как сарай. Кругом масса больших машин. Народ — под стать машинам: верзилы с белозубыми улыбками.

В местном самолете (с посадками и едой) прилетели в Торонто. Здесь я впервые «увидел» капитализм. Витрины, витрины, целые улицы магазинов. Все завалено товарами. Ходим, любуемся. Все наши в китайских плащах с мощными плечами, тротуар метут широченные черные брюки.

Дальше, в Мексику, — поперек Соединенных Штатов. «Одноэтажная Америка»: поля, поселки, фабрички, фермы. Последние особенно понравились — белый жилой дом, деревья, скотный двор, силосная башня, автомобиль, асфальтированная дорога. И машины, везде машины.

В сумерках приземлились в Мехико-сити. Западный мир рангом ниже. Народ мелкий, смуглые лица, одеты плохо.

Конгрессы обычно устраивают поздней осенью, когда снижаются цены на обслуживание. Американцы живут в отеле «Хилтон», платят по 100—200 долларов, западные европейцы — подешевле, «социалисты» — в третьесортных номерах. Мы, советские, чуть богаче — отработываем престиж. Но зато на расходы дают по доллару в день. Если попадется ловкий руководитель, выдаст «кормовые» на руки, и набежит еще 10—15 долларов.

Зато прибавляются заботы: как извлечь максимум из капитала? Поэтому народ рыщет в поисках распродаж и скидок. Я в эти игры не играл, искал только букинистов.

Первый завтрак в ресторане гостиницы сразил. Антураж: зал с лепниной и зеркальной стеной, мебель с позолотой, официанты — лорды! Столики на четверых, двухъярусная ваза с неизвестными фруктами. Меню — на французском: европейская и мексиканская кухня. Заказывай что хочешь, только счет подпиши.

Мы сначала скромничали, потом обнахалились и уже устриц требовали.

В газетах сообщения о нашем спутнике: «Гром среди ясного неба».

До открытия конгресса были экскурсии: пирамиды в пригороде, не очень большие. Много бедных людей. Мексиканцы — смесь испанцев с индейцами, с малой примесью негритянской крови. Национальной розни не заметили, хотя потом узнали: чем белее кожа, тем выше статус.

Начался конгресс. Уже тогда был построен отличный университетский городок на окраине города, как в Штатах: простор, газоны, хорошие дороги, деревья. Факультеты расположились в небольших домах — один, два, максимум три этажа, очень красивой архитектуры. Здесь, в Мексике, кроме того, всюду мозаики и фрески Сикейроса. Уже позже университет очень пострадал от землетрясения.

Первый раз советские хирурги были на таком большом конгрессе — тысяча участников, большинство из Штатов: высокие, улыбчивые, поджарые, уверенные, руки в карманах, многие с трубками и даже с сигарами. Хорошо смотрятся.

Еще до докладов посмотрел выставку аппаратуры. Она меня сразила: до чего же мы бедны!

Пошли доклады, и, конечно, обнаружилась наша очередная несостоятельность. Языков никто из нас не знал. Гид переводил на ухо Петровскому и Вишневскому. Мы, остальные двадцать семь человек, были как глухие. Поскольку я сносно читал по-английски, то, просмотрев тезисы и слайды, смог понять суть. Но этого было недостаточно. Доступен был только кинозал, где показывали фильмы с операциями: на экране можно разобрать, что режут и как шьют. Так мы и сидели в темноте. То есть не все сидели, многие просто уезжали побродить по городу.

Во время докладов делегатам предоставляется полная свобода, в кучу их не собирают, а к обеду они являются сами. Советский ученый-турист в ресторане не загуляет. Деньги сбережет на «цацки». Тогда в Мексике нам выдали много, аж по 20 долларов. Лида никогда не делала заказов, но любимой доченьке я купил вельветовые брючки за три доллара. Остальные деньги пригодились на другое...

Самым важным событием поездки в Мексику стала операция с АЙКом, которую удалось увидеть впервые в жизни. Мы смотрели ее втроем: Б.В. Петровский, А.А. Вишневский и я.

Помню шестиэтажное здание Государственного кардиологического института. Хороший операционный блок, средних лет доктор, типичный мексиканец. Оперировали тетраду Фалло у мальчика лет двенадцати с АИКом самой первой модели Лилихая.

Грудь вскрыли поперечным разрезом, выделили сердце, ввели гепарин и присоединили АИК. Пустили насос — искусственное кровообращение началось. В общем, хирург удачно закончил операцию. К нам он не проявил особого интереса, но сказал, что это уже тридцатая. Вот тебе и Мексика!

Впечатление огромное. Вынь да положь — нужно сделать АИК и начать оперировать! Только... только ничего у нас нет. Я слышал, что в Москве, в Институте инструментария, занимаются АИКаами, но для Киева это пока недоступно. Значит, нужно сделать аппарат самим! Конструкция не столь сложна. Только вот трубок таких нет, и, самое главное, нет у нас лекарств — пеногасителя, гепарина и протамин-сульфата, восстанавливающего свертываемость крови. Но у меня же есть еще 15 долларов!

Тут уж я проявил инициативу. Разыскал магазин медицинских средств и потратил весь свой капитал: купил трубки и немного нужных лекарств. Видимо, тогда это было очень дешево, теперь за такие гроши ничего не купишь. Коллеги смотрели на меня с удивлением: чтобы личные деньги так потратить...

Пожалуй, нужно сказать еще о развлечениях. Поскольку там хирурги люди богатые, то и общество у них богатое, и конгрессы самые пышные. Соответственно, и приемы. Выбирается большое помещение — вплоть до дворца или мэрии. Делегатов подвозят в больших автобусах. Городские власти и президент конгресса встречают и руки жмут.

Еда и напитки расставляются заранее на длинные столы. Так много, что поглядишь — кажется, не одолеть. Ничего подобного! Как только открываются двери, все бросаются, будто век не едали. Размечают все за 15—20 минут! Особенно прытки жены и дочки делегатов. Всегда меня удивляла эта жадность. Ну ладно, мы — голодноваты, обделены валютой. Но западные господа с их доходами, платят по 200 долларов за номер — неужто у них нет денег, чтобы алчностью не позориться? Или у меня старомодные взгляды?

Сами приемы для советских хирургов не представляли интереса. Языка мы не знали, знакомых практически нет, общаться не

могли. За себя и страну было стыдно. Но у столов с едой вели себя скромно.

В Мексике были еще другие развлекательные мероприятия, незначашие, кроме одного: бой быков. В программе сказано — «молодых быков».

Вот уж отвратительное зрелище! Выгнали трех несчастных бычков. Они упираются, пытаются удрать обратно, но проход уже закрыт. Потом начинаются эти игры, вроде бы со смертью, а в действительности — просто издевательство над животными. Публика вопит, хуже, чем на футболе. Хотелось сразу же уйти, чтобы не видеть конца, но страшно потеряться в толпе, дорогу до гостиницы не найти. К чести наших товарищей, мало кому понравилось.

Между прочим, у Хемингуэя меня всегда раздражали эти бычьи страсти и охота на крупную дичь. Пиши про войну, если кровь любишь...

Туристская программа была замечательная. Кончился конгресс, и мы поехали на машинах через всю страну (около 500 километров) на курорт Акапулька на берегу Тихого океана.

По дороге видели уже настоящую индейскую бедность. Хижины — навес из пальмовых листьев на столбиках, одежды — минимум. А близко роскошный курорт.

Из Мексики летели тем же путем. В Стокгольме туман. Застряли. Удачно застряли, за счет авиакомпании «САС». Определили нас в гостиницу, три раза кормили в ресторане и еще возили на экскурсии. Очень интересный город на воде...

Но главное, были в Каролинской больнице, на операции у самого Крэффорда. Он делал суживание клапанного кольца больному с митральной недостаточностью.

Надо же! Сорок лет назад. Оригинальный АИК шведского изобретения. Перфузия длилась два часа, и результат операции, наверное, был печальный, раз на следующее утро нам не сообщили о хорошем. Слишком сложная операция.

Крэффорд — светило из первого поколения создателей сердечной хирургии. Он первый прооперировал коарктацию аорты. В 1957 году ему было за шестьдесят, и он передавал кафедру ученику — Бьерку, совсем молодому.

Бьерк в последующем изобрел дисковый клапан, фирма «Шелли» его изготовила, и весь мир теперь пользуется. Наши спустя двадцать шесть лет сделали удачную копию. Бьерк уже на пенсии.

Путешествие окончилось. Результаты? По крайней мере, два: анестезиология и искусственное кровообращение. Первым нашим анестезиологом был Афанасий Маловичко, вторым — Депутат Андрей. Они научились вводить трубку в трахею и через нее давать смесь кислорода с парами эфира. Одновременно улучшились контроль за состоянием больного и управление кровообращением. Но все это на примитивном уровне. Была нужна теория.

На конгрессе я купил краткий учебник по анестезиологии, проработал и перевел все самое важное. После этого в Институте усовершенствования объявили прием по новой специальности. В начале 1958 года собрались врачи из областей и Киева. Я прочитал им короткий курс лекций.

В том же году перешел к нам от нейрохирургов Анатолий Иванович Трещинский, уже кандидат наук, притом с отличной подготовкой по неврологии. С нейрохирургами у него что-то «не сложилось», и министр В.Д. Братусь порекомендовал его для нового дела. Мне его учить не понадобилось, он сам во всем разобрался и со второго цикла уже учил курсантов. Его и считают основателем украинской анестезиологии. Нечто подобное сделал тогда же П.А. Куприянов в Ленинграде.

Трещинский самым активным образом включился в главное дело — искусственное кровообращение. И стал доктором наук. Я считался руководителем диссертации, но только номинально: он сам все сделал, я даже не помню, чтобы я читал текст.

Не могу не сказать: отношения с ним были трудные. Он обязательно доказывал свою правоту, даже при очевидном заблуждении. Такое упорство раздражало, и не только меня: все его уважали, но без теплоты. Вскоре после защиты он ушел со своей кафедрой в другую больницу, оставив нам своего коллегу по нейрохирургии Леонарда Петровича Чепкого. Этот уже пришел доктором наук, обладал легким характером, имел достаточные знания и большую работоспособность: прижился и проработал, наверное, лет десять. Вырастил нам кандидатов наук и тоже ушел на более легкий хлеб — на кафедру в мединституте. Нам оставил ученика Цигания Алешу. Он не столь ярок, но тоже работоспособный по части науки. Теперь уже его ученики дают наркозы.

В 1957 году не давала жить главная проблема: искусственное кровообращение.

Приехав из Мексики, я сразу засел за эскизы АИКа. Вспомнил, что когда-то конструировал, ни много ни мало, огромный самолет с паровой турбиной. Он дал мне диплом инженера с отличием. Но теперь — дело другое: мне нужен аппарат. Обязательно нужен. За неделю был сделан чертеж по всем инженерным правилам. Принцип насоса содрал у Крэффорда, упростив до предела. Оксигенатор — от Лилихая. Машина получилась не так чтобы уж очень сложная, но требующая точного изготовления. Нужны были помощники-энтузиасты. У хирурга Игоря Лисова друзья-технари Саша Трубочанинов и Мавродий работали на заводе. Дел много: отливать, точить, варить. В общем — финансы, тысяча рублей новыми. По теперешним аппетитам — пустяк, но их нужно было иметь «живыми». Если пустить через заказы и перечисления, то будут делать годы. Выручил министр В.Д. Братусь. Аппарат был готов за два месяца.

Экспериментальной лаборатории у нас не было. Всегда собак жалел. Но тут пришлось переступить. Создали собачью операционную прямо в клинике, на первом этаже. И нашли лаборанток, среди них — Ольга Лисова и Розана Габович, которая на много лет станет главной в проведении перфузии. В начале 1958 года уже пробовали на собаке выключать сердце. Учились выхаживать. Утром на конференции дежурный врач после больных докладывал и о собаке. Больше всех работал Игорь. Трудно двигалось дело. Половина животных умирала после часа перфузии.

Но все же в конце 1958 года мы рискнули попробовать на человеке. Ждали критической ситуации, когда при закрытой операции останавливается сердце. Дождались (Аня Штукина). Прооперировали. Умерла. Очень было горько.

После этого экспериментировали год, сделали еще попытку — и снова смерть, от воздушной эмболии. Только третий больной в 1960 году перенес операцию. Помню его. Мальчик с тяжелой тетрадой Фалло (из детдома). Коля Кравчук. Операция не была радикальной, но с АИКом. Через несколько лет мы его прооперировали вторично — уже радикально.

Мы не были первыми в Союзе. На полгода опередил Саша Вишневский на аппарате Института инструментария. Фактически все приготовил и делал Володя Бураковский. Вторым был институт, где работал Бакулев. Они сделали проще: пригласили

из Англии Медоуза с бригадой. Те приехали со своим аппаратом, сделали пять операций (была одна смерть) и уехали, оставив аппарат. Однако свои операции поначалу у них шли плохо.

В Ленинграде по заказу П.А. Куприянова завод «Красногвардеец» сделал свой АИК. Тоже начали оперировать. Так или иначе, но в первый же год мы обогнали всех — сделали пятьдесят операций и потеряли только пять больных. С тех пор и держали первенство по количеству операций. Теперь уже с новым директором — Геннадием Кнышовым, академиком... Он пришел к нам аспирантом в 1962 году...

Тогда, после первого нашего аппарата, были еще две самоделки. На последней «рыжей» машине прооперировали несколько сот больных. Нет, я не скажу, что машины были лучше импортных. Много хуже. Но, к стыду нашему, отечественных приличных машин мы так и не дождались. Попытки, правда, были, но окончились безрезультатно. Уже лет пятнадцать и не пробуют. Хорошо, по крайней мере, что стали покупать за границей.

Операции с АИКом усложнили жизнь. Потребовалось больше людей, на каждом аппарате занято около десятка сотрудников: двое «айковцев» обслуживают машину, анестезиолог с помощницей отвечают за наркоз, переливания, медикаменты (для этого тоже необходима высшая квалификация). За монитором сидит ЭКГист, биохимик обеспечивает экстренные анализы. Хирург, два ассистента, операционная сестра — у стола, и еще одна — на подхвате...

Первая удачная операция была в день, когда полетел в космос Юрий Гагарин. Тем и запомнилась.

После операции сидел около больного, слушали радио. Этим больным был писатель Дольд-Михайлик Юрий Петрович. Накануне удалил ему долю легкого: рак.

Это был единственный пациент, с которым потом завели близкую дружбу. Перед тем меня пригласили к нему домой на консилиум. Я не любитель этих процедур, но пришлось, просил Лихтенштейн, терапевт с Рейтерской. Богатая квартира, много книг, жена Галина Маркияновна, гетманского рода.

Через две недели после операции, когда все осталось позади, пригласил в гости. И получилось все очень душевно и интересно. Много читающие люди, книжная лавка писателей как раз под ними. Брали стопу книг, просматривали, часть прочитывали, часть — оставляли, другое — возвращали с доплатой за об-

мены. Юра стал знаменитым по первому советскому детективу «И один в поле воин». Было много изданий, заработал кучу денег, сорил ими, не считая. Прислуга, шофер, летом еще и катер, дачу снимал. Картины покупал, мебель хорошая... Вошло в привычку: раз в две недели, по субботам, ходить с Лидой в гости к Дольдам. Засиживались там до полуночи.

Две вещи сделал для меня Дольд, не считая прелести от общения: научил пить коньяк, чтобы для удовольствия, без тошноты, и пристроил «Мысли и сердце» в издательство.

Возможно, писатель он был средний, но человек умный, украинец без национализма. «Контрик». С писателями дружбу не водил, выбирал других интеллигентов. Например, близко общался со скульптором Кавалеридзе. Но в Дом писателей ходил, чтобы выпить. Была эта проблема — пьянство. Лет десять назад повесился младший сын, подросток. Что-то недоглядели по части невроза, психоза. Не любили говорить на эту тему. С тех пор жизнь пошла под откос: болезни, запой. Старший сын тоже не радовал, завел связь с прислугой, родился ребенок, не захотел жениться на ней («не пара»). А тут еще рак легкого.

От алкоголя я потом получил много удовольствия. Даже жалел, что поздно разобрался. Хотя бывали тяжелые «переборы», со стыдом.

Борис уж очень радовался:

— Ты теперь человеком стал, Никола!

Аркаша тоже одобрял.

Так цепочка и потянулась: от АИКа к Дольду и к коньяку.

8

Жизнь на рубеже пятидесятих — шестидесятих годов была наполнена до краев. Подробностей не описать, перечислю и остановлюсь на самом памятном.

Конференции, съезды, поездки, командировки. Защиты диссертаций моих помощников, банкеты. Заседания хирургического общества: демонстрации больных, доклады. Лекции курсантам.

Но превыше всего были операции, они никогда не откладывались (150—200 в год), и конечно — дочка. Ей принадлежали утренние и вечерние часы: «Кто может сравниться с Матильдой моей?!» С моей маленькой Матильдой.

Еще — гимнастика. Забыл написать: в сорок лет начала

сильно болеть спина. Сделали снимок: позвонки деформируются, срстаются. Старый профессор-ортопед сказал:

— Это от стояния. Будешь на карачках ползать. На грязи! Каждый год!

На грязи не поехал, разработал гимнастику — тысяча движений за тридцать минут.

Так и пошло, ни дня не пропустил, до сих пор. Тем и жил. С того момента и началась моя пропаганда здоровья. Некоторые говорят, что она принесла пользы больше, чем операции. Не знаю. Если судить по мешкам писем, которые получал после каждого издания книги «Раздумья о здоровье», то, может, и так... Книгу издавали двенадцать раз, общим тиражом 8 миллионов.

Из всех конференций особенно запомнилась одна — в Ленинграде в конце 1958 года. Отправлялся в плохом настроении: как раз умер первый больной с АИКом.

Мы ехали с Киркой в двухместном купе, я читал его повесть «Медсанбат». Остановились в гостинице «Октябрьская», хороший номер. Тогда перебивали у нас Наташа из Брянска, Вера из Житомира, Лида Краснощекова принесла от Углова рецензию на мою книжку. Помню, подумал: «Только Лиды Смольской не хватает». Она жила в Кронштадте, мне рассказали наши сокурсники — военные моряки.

Я сидел в президиуме — как порядочный... И вот в один из дней из-за кулис вышла Галя!

Мы не виделись с 1940 года. На войне только раз обменялись письмами, кажется, в 1944 году. Сообщала тогда, что вышла замуж и уже растит сына, что освобождает меня от обязательств. Я ответил: «Уже освободился!» Как раз в это время Лида переселилась ко мне, хотя мы еще не расписались.

Свидание с Галей было недолгим: она жила где-то в пригороде, спешила на электричку. Посидели в кафе, проводил ее на вокзал. Странно было держать под руку, знакомое ощущение. Галя работала по фтизиатрии. Муж — бывший военно-морской врач. На флоте они и познакомились: Галя — флотский доктор. Была со мной откровенна. Мужем недовольна: пьет. Жалеет, что разошлись тогда. Я такой жалости не ощущал.

Конечно, встречался с Борисом. Неоднократно. Он уже служил в Военно-морской медицинской академии, кажется, на кафедре санитарной тактики. Рассказал о порядках: «бардак!» Генералы — «говно», нового не хотят понимать. Флот злится на

Хрущева, он провел большое сокращение. Но увольняют «не тех».

Аркаша тоже жил здесь, на территории окружного госпиталя. И опять — разговоры, разговоры, воспоминания о войне...

У Петра Андреевича Куприянова был в клинике. Он меня очаровал. Он всех очаровывал. Познакомился с его помощниками. Был среди них и Володя Бураковский — высокий, стройный, красивый. И блестящий Балюзек, в это время он изобретал АИК. Молодой Колесов Анатолий, подававший надежды. Профессор Колесников Иван Степанович; он уже отделился и очень энергично двигал легочную хирургию. Хотел нас переплюнуть, но не удалось.

Замечательная была поездка! Великое удовольствие — общение.

Потом снова киевские будни...

В январе 1959 года профессор Жепецкий пригласил в Польшу, точнее — в Закопане, там у него была клиника по хирургии туберкулеза. Интересная поездка — прожил я неделю на зимнем курорте. Оперировал, показывал резекции легких с аппаратом УКЛ (механическим ушивателем корня легкого). Его Гудов изобрел в Москве, в Институте инструментария. Мою статью об этих операциях напечатали в самом престижном журнале США. Выступал с докладом, познакомился с поляками и в Варшаве жил два дня... у первого секретаря горкома! (Его жена — легочный хирург.) Поразил демократизм польских партийных начальников: там как раз к власти пришел Гомулка, сменивший Берута. Секретарь меня в театр возил... на трамвае!

В том же январе познакомился в Москве и подружился на всю жизнь с семьей молодого Березова (Юлик и его жена Марго), сына Ефима — профессора уже. Ой какие хорошие люди! У обоих за плечами — непростая жизнь. Мать Юлика, полька, ушла от Ефима и вышла замуж за другого, но вскоре умерла, и именно отчим сделал Юльку таким образованным. Мог бы он записаться русским, но нет — из протеста — «еврей»! Теперь хлебал от антисемитизма. Марго — из профессорской семьи: мать — биолог, отец — немец, хирург, профессор. Встретились они и поженились в Горьком, куда Юлик вернулся к отцу после смерти отчима. С Ефимом не поладил, отделился, работал в Рыбинске, потом — в Средней Азии. Теперь оказался (не без помощи Ефима) в Москве у Бакулева, заведовал отделением. Главная его хирургия — желудок и пищевод. Занимался сосуда-

ми, но без страсти. У них была дочь Наташа. Мы с Лидой и с Катей ее очень любим. Пятьдесят ей уже стукнуло! Развелась, сыновья-близнецы, институт закончили. Много всяких трудностей пережили, и еще не конец...

Не семья — роман!

Мои главные друзья из России — Борис, Аркаша, Кирилл, Юлик — были знакомы, но не все дружили. Замыкались — через меня.

Ездил я и в Турцию, делал доклад на конгрессе по туберкулезу; жили с Богушем. Сошлись близко. Интересно посмотреть следы Византии — например, церковь около крепостной стены: вылитая русская. А наши-то кичатся оригинальностью! Но из дерева — только у нас. От бедности. Как наши АИКи.

1962 и 1963 годы были наполнены всякой всячиной: хорошей и плохой.

Первое — росла Катя. Сколько она мне дала счастья, маленькая! Даже не думал, что такое возможно. Куда там женщинам. Бывало, рано утром прибежит в длинной рубашонке ко мне в постель, обнимет... Нет, не передать блаженства! Биологическое чувство. По утрам у нас был урок: буквы, чтение, разговоры. Потом вместе делали гимнастику... Она рано пристрастилась к книгам, натренировалась и уже до школы прочитала очень много. То же и английский: учительница — замечательная — Берта Марковна приходила дважды в неделю, я на уроках сидел, книги привозил из заграницы... Сколько она их прочла, пока выросла!... Вместе с ней и я дошел до Агаты Кристи. (Всю жизнь английский учу, а до толку, чтобы разговаривать, — не довел...) Еще до того как в институт поступила, ездила со мной в Москву, Ленинград, Ярославль, по Волге. В театр ходили, в музеи таскал, историю российскую пересказывал. Образовывал. Потом, когда выросла, все изменилось. Такова биология. Но никогда обиды не было, благодарность за те годы всегда ее гасила.

Еще о делах семейных. Лида закончила институт в 1958 году и пошла работать к Ольге Матвеевне Авиловой (она руководила на Рейтерской моим прежним отделением), занималась и с курсантами.

Исполнилась ее мечта: стала хирургом. Молодец, ко мне не просилась. Самолюбие. Довольно быстро начала оперировать; сначала — простые операции, потом до удаления легких добралась. Ольга — руководитель строгий. Очень строгий! Поблажки

уж точно не дала бы. Домой Лида приходила позднее меня. Бабушка, Елисеевна, вела хозяйство и блюла внучку. Правда, одно время была няня Фрося, из села.

Запомнился такой случай. Среди дня звонят с Рейтерской:

— Срочно приезжайте! Кровотечение на столе!

Тут не разбираются, не спрашивают — скорее ехать. Но минут сорок — пятьдесят все же прошло.

Застаю картину: Лида повредила легочную артерию при удалении легкого. Помельтешилась туда-сюда, неудачно, кровопотеря растет стремительно, вот-вот умрет больной. Ольги нигде не было. Заткнула дырку пальцем и закричала «караул». Не буквально, конечно:

— Зовите Николая Михайловича! Срочно!

Начиная с войны, я видел во время операций сотни кровотечений. Все было отработано — и как остановить временно (палец!), и как потом обходить, подбираться к сосуду выше и ниже места повреждения... Не буду описывать: умел. Уже давно не боялся. Нет, неправда — боялся, но не терялся. Всегда был главным, звать все равно некого. Были смерти? Да, были. Но мало — все помню и теперь.

В тот раз быстро управился... Наверное, Лида была благодарна. Но слов не произносила: сам должен понимать.

Спустя пару лет отделение переехало в новую больницу — в «Медгородок». Работа продолжалась. Лида начала писать диссертацию, собрала материал по поликистозу легких. Моей помощи не просила, корпела самостоятельно.

Наши личные отношения были — как сказать? — спокойные... И уж точно кризисов не намечалось: дочка надежно цемментировала. Обиды на меня были, чувствовал. Она вообще обидчивая, моя жена. Но — не высказывала.

9

Ранние шестидесятые годы теперь обозначают словом «оттепель». Слово пошло от названия повести И. Эренбурга и означало уменьшение гнета цензуры и преследований за инакомыслие. Мне оно запомнилось не столько по печатной продукции, сколько по «самиздату». Отпечатанные на машинке произведения ходили по рукам. Я тоже читал: продолжение «Теркина», романы Солженицына... Но прошло три-четыре года, и лавочку в Киеве прикрыли...

Много всяческого почета нахлынуло на меня в те годы.

Как-то вызвали в обком (или в горком? мне все едино, «туда»). Иду с беспокойством: от властей всегда одни неприятности. Самое главное — держаться от них подальше. («Избавь нас, Бог...») Забыл, хорошая цитата. Классика.)

Разговорчик типичный:

— Есть мнение выдвинуть вас депутатом в Верховный Совет. Трудящиеся поддержат.

Сказал: «трудящиеся». Будто я не знаю — какие. Запротестовал:

— Я не умею... и занятой человек. Пожалуй, я откажусь.

— Что вы, что вы! Руководство уже согласовало.

Куда мне деться? «Ехать так ехать, сказал попугай...» — и так далее... Знал отлично — попал в разрядку: нужен «беспартийный профессор, пользующийся уважением»... Самая подходящая кандидатура — доктор, хирург, спасает от смерти...

Началась предвыборная кампания. Я не очень выкладывался, сходил два-три раза на встречи. Народ толпился: авторитет. Старался сохранить лицо: здравицу в честь партии не произносил. Обещать чего-нибудь, естественно, не мог. Только честно работать «на пользу народа». Конкурентов тогда не полагалось, как пошло с 1937-го: «единый кандидат от блока коммунистов и беспартийных».

Конечно, меня выбрали, 99 с десятными процентами. Тогда всех выбирали. На другой день принесли временное удостоверение, поздравили. Поблагодарил. Угощения не поставил. Стал депутатом аж на девятнадцать лет!

Скажу без рисовки: работал честно и пользу избирателям приносил. Депутаты-начальники вели прием раз в месяц, им порученцы записывали по два-три человека и все готовили. Я бы, может, тоже не выкладывался, но просто не знал порядков: принимал каждый понедельник без ограничений. Секретарь — Валя, а потом и до конца Аня — регистрировал. Платил им 40 рублей — почти половину депутатской «получки». Она была невелика — 100 рублей.

Подавляющее большинство просителей шли насчет квартир. Сколько я за это депутатство повидал несчастных судеб! Не счесть. Правда, от смертельных болезней, с которыми постоянно имел дело, — еще больше. Выслушивал, писал на бланке ходатайства по начальству. По телефону изредка звонил. Нет, чтобы лично — не ездил. Мое время дорого. И что вы думаете?

Уважали меня не только «простые люди», но и начальство. КПД — Аня подсчитывала — доходил до 60 процентов!

Никакого трепета на первой сессии Верховного Совета не испытал. Киевская команда сидела в первом и во втором рядах, на правом фланге, в том старом огромном зале — при Сталине его сделали из двух, что остались от царя. Затем Ельцин его снова перекроил, так что «исторического» зала больше нет...

Была хорошая компания: Олег Константинович Антонов, конструктор, Борис Евгеньевич Патон, директор Института сварки. Его тогда только что избрали президентом Академии наук Украины. Да, вспомнил! В тот первый заезд был Шелест. О нем Антонов хорошо говорил, и меня он тоже покори́л совсем простой вещью — лестью: на заседании прочитал мою свежую (первую!) кибернетическую брошюру. Конечно, кроме профессоров и секретарей были там еще рабочий и пара героев-колхозниц. Нормальные тетки, но «у нас своя компания, у вас — своя». Спеси перед «простым народом» у меня никогда не было, сам недалеко от них, но «разговаривать по душам» не умел. И не любил.

Прямо перед нами на сцене сидело все начальство. За столом — члены Президиума Верховного Совета, позади них — Политбюро во главе с «первым».

Вот они все — «хоть руками шупай»! Нагляделся... Председателя только не вспомню... Никита Хрущев отсиживал последние годочки. Но его длиннющие речи я еще слышал... Читал он нудно, но потом отвлекался и начинал говорить — со страстью, красиво! И снова затухал.

В своей компании мы вели разговоры на разные темы. Антонов особенно нравился. До самой его смерти дружили, в гости ходили, но не скажу, что была полная дружба. Чувствовалась природная закрытость. Высказывания себе позволял, но только при мне. Доверял:

— Зазвонит ночью телефон, подхватываюсь в поту: неужели опять самолет упал?

Его положение хуже моего. Когда звонят ночью о кровотечении или другой катастрофе — умрет один человек, а у него — сто... Был период, когда АНы падали... Для таких случаев у Юдина было выражение: «Не полóсит!» Антонов отдушину находил в живописи (картины даже выставлялись). За садом ухаживал. А вот водки не пил, чтобы забыться! Трудности в семье

чувствовались — плохо, когда жена на тридцать лет моложе. Мне она не нравилась. Но «браки заключаются на небесах». Небеса и виноваты. Безответственные.

«Элитным» обслуживанием от Верховного Совета я пользовался по минимуму: бесплатный проезд, но командировочных не брал. Личных поездок не было, в отпуск — на машине. В санатории был только раз. 60 рублей приплаты уходило на депутатские такси: не будешь же счета требовать... Даже в кассу кинотеатра стеснялся лезть без очереди, после того как однажды отбрили граждане. Правильно отбрили: демократия, хотя бы в очередях.

Впрочем, удобства были, не прибедайся: всегда билет на поезд в спальном вагоне, место в гостинице «Москва» или «Россия». В нашем государстве по тем временам — это избавление от лишних хлопот.

Ну да Бог с ним, с Верховным Советом! Меня в те советские времена выбирали четыре раза. К 1979 году, видимо, надоело. Приезжал в институт аж первый секретарь обкома Ботвин — извиняться. Что, мол, нужно другим дать шанс...

Потом мне донесли: КГБ настояло. За крамолу обиделись. А может, соврали мне. Поди проверь. Да и неважно это.

Приспособился останавливаться в гостинице Академии наук, близко от Парка имени Горького — тогда это было для меня важно: я бегал по утрам. Билет на поезд по старой памяти давали в депутатской комнате. Зато избавился от еженедельной трепки нервов на депутатском приеме.

Но... человек глуп. Через десять лет опять полез. Правда, уже в «другом контексте». Скажу авансом: сделал глупость.

Другие «чины» пошли мне еще до депутатства. В 1961 году дали Ленинскую премию за хирургию легких. Не одному, конечно, группе из четырех человек. «Пробил» Богуш — прооперировал какого-то высокого начальника, тот подтолкнул. Я просто попал в компанию. Вполне законно — был лидером по числу операций, результатам и прочему. Еще были: Антелава из Грузии, он выше торакопластик не поднимался; И.С. Колесников, хороший хирург, много сделал резекций легких. Сам Богуш, разумеется, заслужил: несомненный лидер фтизиохирургии. И человек хороший.

Медаль вручал в нашей академии тогдашний президент А.В. Палладин. Забавная история вспоминается в связи с этим. Ехали с Мамолатом на вручение. Он смеется:

— Сейчас будешь партию благодарить.

— Не буду! Как-нибудь обойду, скажу: «Спасибо Комитету по премиям за высокую оценку скромных заслуг...»

— Не обойдешь, вот увидим...

Обошел, как обещал. Мамолат присутствовал.

Но... наутро слышу по радио:

— Лауреат Амосов благодарил партию и правительство...

Мамолат долго смеялся:

— Подправили тебя... Неблагодарного...

Потом у меня еще три премии были — Украинские государственные. Тоже предлагали благодарить, но не поддавался: «куши в кармане».

В тот же 61-й год меня избрали и в члены-корреспонденты АМН. То есть избрали уже по второму заходу, первый раз, годом раньше, провалили.

И в этом деле я не мельтешился. Позвонил Бакулев — он был президентом: «Подавайте документы, президиум рекомендует». Но члены Академии не вняли. Говорили, что еще на партгруппе сомневались: почему беспартийный? Без партии было... не то что бы нельзя, но нежелательно. Нас, таких, было всего несколько человек.

Через год избрали без хлопот, по старым документам. Признали, что созрел, можно пустить, партбилета уже не требовали.

Впрочем, я, может быть, утрирую? В Академии сидели совсем не идиоты и знали истинную цену политике. Только молчали. Нет, хуже: слова говорили, нужные партии.

Звание заслуженного деятеля науки Украины мне дали еще в 1958 году. И орден Ленина. Потом еще были ордена. И чины: обласканный партией товарищ.

Перечислил все. Кто послушает — не поверит, что все шло само собой, «валиком», без всяких хлопот с моей стороны. Честно: ни разу никому не позвонил, не попросил поддержать, дать отзыв, высказаться на собрании... Булгаков хорошо сказал: ничего не нужно просить... Но и не собираюсь героя изображать. Против захвата Будапешта и Праги на площади не выступал. Матерился — на кухне. Ни разу не подписывался ни «за», ни «против» «отщепенцев, космополитов, предателей». Однако не уверен, что отказался бы, если бы крепко прижали. Боль, может быть, стерпел бы, но если под угрозой дочка, жена, операции... не уверен!

Не чувствую в себе железной убежденности в идеалах: все очень относительно! Выберут иного в политику — вроде бы идеалист, а прошел год, и слышишь: проворовался.

Такой вот грустный конец по поводу чинов.

10

В сентябре все того же 1962 года позвонили из Москвы: «Вы поедете на месяц в Штаты, знакомиться с сердечной хирургией. Состав группы: Колесников — руководитель, Куприянов и вы — члены делегации».

Не знаю, кто меня протолкнул, возможно, чины помогли: вышел на орбиту, попал в какую-то номенклатуру ЦК. Не суть важно: едем. Не буду подробно описывать путешествие: было много хирургических впечатлений, меньше — географических и житейских.

Сначала — об участниках.

Колесников пришел в хирургию из администраторов: побывал заместителем министра, посидел недолго в тюрьме (видимо, ни за что), попал к Бакулеву. Потом даже в директора: была «рука». Вспомнил первые годы работы хирургом и взялся оперировать сердце. Смело взялся, много больных отправил на тот свет. Врачебный народ в институте его не любил.

Совсем другое дело Куприянов Петр Андреевич. Один из тех, кто запал в душу. В то время ему было уже шестьдесят восемь лет. Блестящий «действующий» генерал Военно-медицинской академии. Высокий, стройный, подтянутый, настоящий военный благородных кровей. Он и был из дворян, не богатых, но образованных. О родителях ничего не знаю, но, видимо, нашли линию сосуществования с Советами, раз сыну не мешали в карьере. Зауряд-врачом в 1915—1917 годах успел поучаствовать в войне. В 1918 году закончил Военно-медицинскую академию и остался в ней до конца жизни. Учился хирургии у Оппеля, Федорова. В Отечественную войну был главным хирургом Ленинградского фронта, там пережил блокаду. (Помню, как Аркаша рассказывал в 42-м: «У Куприянова кота съели».) Состоял в Медицинской академии, был даже вице-президентом. Его клиника была одной из лучших в Союзе. В ней оперировали все: легкие, сердце, пищевод. И кафедра анестезиологии: Петр Андреевич не любил местную анестезию. Были и ученики. Впрочем, по-настоящему «сыграл роль» только

один — Володя Бураковский. Но и тот — на чужих «сценах»: сначала у Вишневого, потом у Бакулева. Другие ученики загнули дело шефа, клиника сошла на нет. Умирание ее началось вскоре после смерти Петра Андреевича.

Во время той поездки Петр Андреевич меня просто очаровал. В гостиницах Колесников жил отдельно, а мы с Петром Андреевичем вместе. Много было времени для разговоров. Пересказать невозможно. Но ни в чем не «поскользнулся», всегда — стопроцентная безупречность. Я даже удивлялся: бывают же такие люди! Вот оно, дворянство. (Горя хватил от коммунистов. Помогала хирургия — нужный человек для начальства. Особенно вначале, пока «пролетарские кадры» — вроде меня — не подучились.)

Был при нас переводчик от госдепартамента, мистер Х (имя забыл). Очень дотошный, я многое от него узнал об Америке. Запомнился рассказ, как он Хрущева сопровождал в поездке по Штатам.

— Ваш Никита имел колоссальный успех. Толпы собирались. Импонировала простота...

Условия пребывания были отличные: выданы деньги, регламент — только на гостиницу, чтобы мы из жадности не опускались до трущоб. На питании экономили, но чуть-чуть, планы на покупки не имели. Петр Андреевич вообще не знал, как потратить. Впрочем, редкий день кто-нибудь не приглашал на обед или ланч — опять же экономия!

Обычно нас встречали руководители клиник, многие приглашали домой.

Самым знаменитым был старик Блэлок в Балтиморе. Он даже в клинике угощал с водкой.

— У нас это строго запрещено, но, вспоминая Киев, пренебрегу.

Предыстория действительно была: в том же году, весной, Блэлок со своим учеником Морроу были у нас. Смотрели операцию при тетраде Фалло. Были поражены простотой методики и малым объемом использованной крови. Потом в кабинете накрыли стол и напоили Блэлока допьяна.

Были у него и в гостях: большая семья, хороший дом. Подвозил ассистент Бенсон. Знакомство продолжалось, бывал потом еще в Киеве.

Все путешествие описать не могу. Перечислю места, лица и главные впечатления.

Миннеаполис — Лилихай, его АИК (как в Мексике), эксперименты. (Вот бы нам!)

Рочестер: самая знаменитая в то время клиника братьев Мэйо. Это целый город в маленьком районном городишке. Потрясло: до тридцати операций ежедневно. Сердце оперировал совершенно блестящий молодой хирург Кирклин. Я когда смотрел, чувствовал себя просто пигмеем. Спустя пятнадцать лет встретились с ним еще раз: я «подрос», но до Кирклина было далеко.

В Чикаго присутствовали на годичном конгрессе колледжа хирургов. 10 000 участников.

Кливленд: зарождение коронарной хирургии. Забыл имя доктора. В ресторане угостил омаром. Как в романах.

В другой клинике видели нечто совсем новое: создание искусственного аортального клапана. Это делалось так: АИК, вскрытие аорты, налаживание перфузии (прокачивания) коронарных артерий. Затем самое главное: замена пораженных створок клапана полулунными кусочками нейлоновой ткани.

Бостон: посещение кардиолога Уайта. Очень знаменитый доктор, лечил Эйзенхауэра, бывал в Союзе. Возил нас на ранчо: паслись лошади на свободе, много акров леса... Большая библиотека: первый раз увидели широко образованного американца-специалиста.

Показал таблицу открытий в кардиологии; было приятно увидеть: «Стражеско, 1903 год. Первое описание инфаркта миокарда».

Там же, в Бостоне, видели Кольфа и его первую искусственную почку. И еще где-то, не помню, показали метод закрытого массажа сердца: он только-только входил в практику. Подумать надо! Теперь каждый милиционер должен (бы!) уметь его делать. Полицейские — умеют, наши милиционеры — нет.

Около Вашингтона посетили Национальный институт здоровья в Бетезде. Колоссальное заведение! Финансы равны нашей АМН со всеми ее институтами и многими тысячами сотрудников. Его создали после запуска нашего спутника: Америка вдруг почувствовала угрозу со стороны Союза — не по оружию, а по интеллекту. Перестраивали систему образования, резко увеличили ассигнования на науку. Стали переводить все наши журналы. И вскоре убедились: наука в Союзе однобокая — работает только на оборону, а биология и медицина — ерунда. Но американские ученые нам благодарны — за толчок. Кардиохирур-

гию возглавлял тот самый Морроу. Уровень — средний. Были в гостях: живет на зарплату, частная практика в Бетезде запрещена. Но жалование выше моего раз в двадцать.

Улетали из Нью-Йорка. Были в Колумбийском университете. Огромная клиника, но не поразила. В США в то время оперировали с АИКом в трехстах центрах.

Перед отъездом походили по магазинам: осталось немного денег. Купил себе две нейлоновые рубашки — стоили по 6 долларов, втрое дороже хлопка. Покупал для командировок: можно стирать и не гладить. А пригодились для другого.

Петр Андреевич прожил после Америки немногим более года. Умер от рака, не помню локализации. Конечно, он уже и тогда был болен. Вспоминаю, что жаловался иногда, но не очень. Рассказывали, что сам поставил диагноз и был мужественен до конца.

Много удовольствия доставляли съезды. Съезжаются специалисты из разных концов страны, встречаются знакомые, друзья, обсуждают проблемы, ведут праздные разговоры, ходят на банкеты, смотрят выставки. Напиваются. Последствия иногда остаются надолго.

В мае 1962 года в Харькове проходил Украинский съезд хирургов. Приехали москвичи — Б.В. Петровский и Кира. Рассказал, как расстреляли демонстрантов в Новочеркасске. Мы жили в одном номере. Были мои помощники: Дедков, Березовский. Была и Лена Сидаренко. Она как раз перед тем защитила докторскую диссертацию об ушивании дефектов межжелудочной перегородки с АИК. Вскоре после этого Ваня Дедков пошел на заведование кафедрой онкологии и Лена заняла его место — моего заместителя. Именно тогда я и познакомил ее с Кириллом. С того лета начала охлаждаться наша дружба.

Саша Шалимов уже несколько лет заведовал кафедрой в Харькове. Мы изредка встречались, он рассказывал о своих успехах. В этот раз поразил всех показательными операциями. Никогда я не видел ничего подобного: Саша объявил семь операций. Я не все запомнил, но точно были: сердце — комиссуротомия и ушивание дефекта перегородки с АИКом; легкие — удаление доли; желудок — рак кардии; желчный пузырь. Что-то делал на бедренной артерии, что-то урологическое... Точно не помню. Знаю: с восьми утра и до шести вечера все сделал. Конечно, каждую операцию начинали и заканчивали помощники, но главный этап делал сам. Зрители-хирурги приходили и уходили

ли, а он все оперировал и оперировал. Был буфет, для подкрепления сил тех, кто устал стоять. Особенно здорово прошла операция с АИКом. Аппарат сделали харьковские мастера. Правда, больной ночью умер (видел историю болезни): просмотрели реаниматоры.

На другой день я с трибуны поздравил Сашу, но Б.В. Петровский осудил, сказал:

— Лихачество.

Я уверен, что он просто позавидовал. Я — тоже. Мне бы не сделать...

11

С той поездки в Америку заболел я клапанами. Основные врожденные пороки у детей после шести лет мы уже оперировали, а с приобретенными пороками сердца был полный провал: когда створки сплошь обезображены кальцием, отверстие сужено или не закрывается, нужны искусственные клапаны. Проще — в митральную позицию, сложнее — в аорту. Тут, кроме АИКа, нужно прокачивать коронарные артерии. Что делать? Искусственных створок у меня нет и, по всей видимости, не будет: импорт был полностью закрыт для советских хирургов. Больные обречены на смерть в течение двух — пяти лет. Это оправдывает риск возможной операции. Имеем моральное право искать. Эксперименты на животных невозможны: нужно сначала создать порок сердца, что очень-очень трудно и вовсе не для нас, потом прооперировать собаку с пороком. Все это вместе займет многие годы. Да и что об этом говорить! С большим трудом отработали только выключение сердца с АИКом, чтобы собаки — половина — не умирали. Где уж тут мечтать о сложных опытах?!

Вот и рассуди: есть ли право на эксперимент на человеке. Ни один из живущих и будущих больных с такими пороками не имеет шансов дожидаться, пока советская хирургия сначала наладит дело с собаками, а потом еще освоит протезирование клапанов.

Очень нелегко решаться на новую непроверенную операцию, для проведения которой ну просто ничего нет, кроме самоделок...

Много проще: «На нет и суда нет». Отойду в сторону. Пусть умирают, будем спасать тех, кого сможем. «Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет».

Мне такая позиция не нравилась. Считал возможным рискнуть одним-двумя обреченными больными, такими, у которых родственников нет или они неспособны содержать больного, прикованного к кровати. При том, что в Союзе таких операций никто не делает или делает, но очень мало и много хуже, чем смогу я.

Понимаю: позиция циничная, но без нее хирургия не двинется вперед.

Так и ходил под этим всю хирургическую жизнь: и когда легкие осваивал, и пищеводы, и тем более — сердце.

Эти проблемы снова встали, когда задумал клапаны.

Был в нашей экспериментальной физиологии, у кибернетиков, один человек: Юра Кривчиков, прирожденный изобретатель. Ему я и дал «социальный заказ»: создать протез клапана. Для створок предложил... нейлон из тех самых американских рубашек.

Вначале попробовали: вшивали лоскуты, они не вызывали никакой воспалительной реакции, химически инертны. Даже расспросили химиков, сослались на американские «заплатки» в клапаны. Стали штопать тканью отверстия в перегородках сердца у детишек. Получалось хорошо.

Тогда Юра вместе с Сергеем Владимировичем создали конструкцию: каркас из нержавеющей стали, а на нем пришиты створки из нейлона. Даже попробовали на собаках, но они не переносили саму операцию. Пришлось решаться.

В течение полугода я вшил новые клапаны семи больным. Умерла после операции одна девушка. Ближайший эффект у остальных оценивали как хороший или отличный. Все были очень рады.

Но... преждевременно. Через полгода пришли первые две большие рецидивы порока.

Тут я впервые усомнился в правдивости американских хирургов. Пластика клапанов сначала распространилась, многие хвалились в журналах десятками отличных случаев. И вдруг публикации прекратились. Спустя год-два появились робкие и очень скупые признания: клапаны негодны. Но нам эти признания уже не помогли. В последующие два года только двоим удалось спасти вшиванием новых клапанов. За мою многолетнюю практику такие случаи с иностранцами повторялись неоднократно: нахвастают много, а отыгрывают — оч-чень скупое. Все трудности я понимаю, сам на том стоял. И еще к вопросу о предвари-

тельной проверке на животных: прописные истины не всегда правильные.

История с клапанами на этом не кончилась. В 1963 году американец Стар обнародовал новую конструкцию: шаровой клапан, как в технике. Шарик из силиконовой резины, седло — из стали, с обшивкой по ободку той же тканью, для фиксации к сердцу. Солидная такая штука 4 x 4 сантиметра.

На этот раз нам помогли инженеры. В городе Кирово-Чепецке есть завод. Делают там химию для обороны. Конечно, секретную. На заводе был главный конструктор (опять не вспомню фамилию), многократный лауреат. И притом с пороком сердца. Он и взялся: сделал точную копию. Приезжал к нам знакомиться, привез образцы. Заодно и полечился. Но мы уже обожглись и не спешили. Начали в Москве, у Бакулева, там работал Гриша Цукерман. Но потом и мы попробовали: понравилось. Однако скоро обнаружился прежний грех: на границе, где «тряпка» прилегает к стали, образуются тромбы, отрываются и дают мозговые эмболии. Мы были пуганные и остановились, стали думать.

И придумали два дополнения. Я предложил обшивать все седло, а не один только край. В этом случае седло обрастает целиком и отрываться нечему. Юра Кривчиков вместо шара использовал полусферу — габариты сократились вдвое. Конструкцию отдали на завод, и они пустили в производство. Авторство мы не заявляли, казалось неважным по сравнению с пользой. Два года мы очень осторожничали, вшивали только самым-самым обреченным, пока не убедились в безопасности. Эти клапаны по всему Союзу применяли двадцать лет. Через два года после нас Стар тоже стал обшивать все седло, а не только край. И эмболии... нет, не прекратились совсем, но стали редки, если при этом еще и правильно применять лекарство, тормозящее свертываемость.

Но этот инженер от своего клапана и погиб. Не от конструкции, а от хирургов. Помню: была сессия Верховного Совета. Под вечер меня пригласили в бакулевский институт — посоветоваться. Прихожу, узнаю: сегодня инженеру вшили его клапан. Сердечная слабость развилась тут же, как только отключили АИК. Ничего не помогает. Я посмотрел: все делают правильно. К сожалению, бывают необъяснимые осложнения. Причину смерти окутали тайной. Лишь потом узнали: в предсердии оставили кусочек тампона. Он и заклинивал клапан. Лучше бы шел

к нам, состояние его было вполне приличное. Впрочем, и у нас бывало всякое, не стану бросать камни в чужой огород. Просто сам факт драматичен.

Юра Кривчиков больше ничего толкового не изобрел, начал сильно пить, уехал и прожил недолго.

12

Другая тема, к тому же времени: писатель. Всегда стеснялся так именоваться, не было внутреннего ощущения профессии. Ее смысл: чувства и слова к ним. Информация очень желательна, но не обязательна. Даже не знаю, что важнее, наверное, слова. Они выделяют чувства из неопределенности через их привязывание к знаку. Выводят понятие из небытия. Обогащают мир мыслей и чувств. Особенно хорошо это делают поэты. Прозаики — хуже.

Я не чувствую в себе таких способностей. Без них писать — ремесло. Или — блажь, графомания.

История началась в 1962 году...

Всегда ли у меня была потребность писать? Может быть, и всегда. Иначе почему бы в пятьдесят лет человек при любимом деле вздумал заняться еще литературой?

Я уже упоминал про первый опыт в четырнадцатилетнем возрасте. Написал роман «Цветы будущего». Кроме названия, ничего не помню. В Череповце ходил на заседания ЧАПП. После шестнадцати лет охладел к писанию — до 1962 года, когда «забил ключ».

Воспоминания по поводу «ключа» такие: был действительно ужасный день — вскрытие девочки, умершей по моей вине. Потом экстренная операция по поводу аневризмы аорты с кровотечениями, развившейся после ушивания Боталлова протока. При операции аневризма порвалась, и больная умерла на столе от кровопотери. Такая тоска, что нужно было выпить или выговориться. Сначала напился, а на другой день сел писать. Так родился «Первый день» из будущей книги «Мысли и сердце». Помню, что было чувство стыда, когда перечитывал и правил: «Зачем ты это сделал? Так раздеться на людях... Не поймут и осудят. Спрячь».

Но спрятать не мог. Читал и перечитывал, даже вслух. В конце концов решился представить друзьям.

Решающее слово сказал Дольд.

Мы с Лидой регулярно ходили к Дольдам — два раза в месяц. В один из таких визитов в конце 62-го года я прочитал свой... Что свой?.. Рассказ, опус, труд? Всё — не подходит. Наверное — свое сердце, свою боль. Впрочем, это звучит высокопарно.

Дольд отреагировал бурно:

— Ты — настоящий писатель. Это здорово!

Не очень-то поверил, но было приятно. Сказали люди понимающие, не то что друзья-хирурги.

Вдохновился. Не рассчитывал выйти в литераторы, решил использовать этот дар для объявления своих научных идей. (Проповедник!)

Главы в книге, после первой, были уже бледнее, но еще приличные. Мнение Кирки я приводил, но повторю:

— Если бы ты умер после первой главы, то сказали бы: «Какого великого писателя потеряли!»

Во всяком случае, я придумал фабулу и к концу 63-го года написал всю книгу. Дольды прочитали, одобрили, и Юра устроил знакомство в издательстве «Радянський письменник». Получилось очень удачно: редакторы заменили всего несколько фраз. Время было еще либеральное — «оттепель». Но первым «Мысли и сердце» напечатал киевский журнал «Радуга».

Славу книге принесла публикация в журнале «Наука и жизнь». Тираж был три миллиона. «Сосватала» в журнал Джана Манучарова, журналистка из «Известий». С этого началась наша дружба, длившаяся без малого двадцать лет. Она писала о науке и политике, статьи — первый сорт. Когда в 1995 году на семидесятом году жизни ее стали тихонько выживать, она отравилась. Поехала в дом отдыха под Москвой и приняла снотворное. Дома — не хотела, одна жила, наверное, боялась, что не найдут. Она и раньше говорила: буду не нужна — отравлюсь. Я не верил.

Потом «Мысли и сердце» много раз издавали, наверное, раз сорок, почти во всех республиках и во многих странах. Мне лень переписывать с обложек названия издательств, но книги занимают целую полку. Выходили на английском, французском, немецком, итальянском, испанском языках. А также шведском, португальском, греческом. Не говоря о наших «сателлитах»: поляках, болгарах, чехах.

С Дольдом все кончилось плохо, как и ожидалось. Четыре года на снимках не было видно патологии. Появилась надежда: пронесло! Но чудеса в нашем деле бывают так редко...

В 1964 году отпраздновали шестидесятилетие Дольда, кажется, даже орден ему дали. Написал продолжение про своего разведчика.

Летом 1965 года появились признаки рецидива, потом была трудная осень и смерть с тяжелой агонией.

Тут следует сказать еще об одном крестном моей карьеры, тоже друге и тоже Юрии, но Григорьевиче, иностранце.

Его фамилия — Сент-Джордж (русскую я забыл). Жену звали Зинаидой Николаевной, из дворян. Родственники в Союзе, даже Кончаловская. Отец Юрия Григорьевича был китаист. После революции обе семьи жили в Харбине, там Юрий и Зинаида и поженились. Потом жизнь бросала в разные страны. Был он киношником, в Голливуде, его картина «Тридцать три спартанца» даже шла в Союзе. Был писателем, журналистом: новеллы, сценарии, очерки, науч.-поп. Обосновались в Штатах, но последние годы жили в Париже — там дочь замужем за художником, двое внуков. Дома говорили только по-русски, с петербургским выговором.

Меня «обнаружила» их родственница, прочитала «Мысли и сердце», переслала. Юрий Григорьевич написал письмо: просил разрешения издать на английском. Возражений нет, передаю права. Это было в 1966 году. Отсюда все и пошло. С английского переводили на другие языки, потом стали переводить с русского. СССР не подписывал авторскую конвенцию, но Юрий Григорьевич платил, не очень много, но все же появились сертификаты для «Березки». Подсчитал: всего заработал на книгах около 40 тысяч рублей. Предполагал, что уйду на пенсию и буду с процентов добавлять. Исход известен: как у бабушки Марьи в 17-м году, только у нас потери больше. Хотя если перевести на стоимость коров, то вполне сравнимо.

В Союз Юрий Григорьевич приезжал на кинофестивали да и по другим делам. Встречались обязательно. Я был в Париже, он мне рядом со своим домом заказывал номер в дешевом отеле, и я у них бывал ежедневно. В Лондоне в 1968 году водил меня в дорогой ресторан: два официанта стояли за стульями. И дал 100 фунтов, огромные для меня деньги. Я накопил книг.

Был свободомыслящим и «очень информированным», как теперь говорят. Коммунистов не одобрял, но Россию любил. Юрий Григорьевич издал и другие мои книги: «ППГ-2266», «Записки из будущего». Большого успеха они не имели.

За мой счет Сент-Джорджи не разбогатели. Их дела шли к упадку. Из центра Парижа переселились на окраину. Потом Зина умерла от рака. Под занавес Юрий Григорьевич заключил договор с АПН и год жил в Москве, один: учил журналистов, как писать для Запада. Я посещал его при каждом своем приезде в Москву.

Одно из его увлечений — парапсихология. Особенно перед смертью... За свою жизнь встречался со многими экстрасенсами, верил во все, даже журнал из США в Москву выписывал. Надеялся на общение бессмертных душ.

Больно было смотреть на этих близких мне стариков, обоих Юриев, — как страдания съедали интеллект, меняли личность. Думал: неужели и мне такое предстоит? Умом — знал, но чувством — не верилось. И до сих пор так.

Теперь мне восемьдесят пять. «Отрабатываю программу». Пока себя держу.

Расскажу еще о писательстве.

В начале июня 1967 года мы с Катей отдыхали в Гантиади, около Сочи. Это была моя вторая и последняя поездка на курорт. Вез с собой машинку, собирался написать вторую часть романа «Записки из будущего». Попутно позагорать.

Взгляд со стороны: скучнейший месяц. Море холодное, кинофильмы старые, поселок унылый. Целыми днями печатал. Катя глотала романы. Вечерами гуляли.

Главное занятие, конечно, написание романа. Когда в это дело ввяжешься, то жизнь разделяется как бы на два слоя: поверхностный — жить, даже читать, и глубинный — переживать то, о чем пишешь, думать и искать.

В то лето я почти серьезно возомнил о себе как о писателе. Но все же не совсем. Где писательству сравниться с хирургией! Знал, что шедевров не создать. Но были общественные идеи и жажда проповедовать. Хотел это сделать «с черного хода». Не рассчитывал перевернуть мир (реалист!), но желал хотя бы высказаться.

«Записки из будущего»: ученый заболел лейкозом и решил погрузить себя в анабиоз, чтобы проснуться, когда наука разрешит медицинские проблемы. Первая часть романа была напечатана в «Науке и жизни» и издана отдельной книжкой. Но я нацелился на вторую часть, хотел там показать будущее общество, оптимальное. Конечно, придумывалась любовь, люди.

Ничего из этой затеи не вышло: упаковка крамолы в роман редакторов не обманула.

— Нет! Оставь любовь, искусственный интеллект и фантазии о медицине — тогда возьмем.

Я тоже сказал: «Нет!» И вторая часть «Записок» не появилась.

Впрочем, работа не пропала. Сент-Джордж издал обе части «Записок» за границей, в нескольких странах. (Нет, не могу удержаться: в США, ФРГ, Японии, Швеции.) Впрочем, законов я не нарушил: вторая часть пошла через АПН. По их заказу Джана Манучарова «кастрировала» рукопись до нужного состояния, и Сент-Джордж получил вполне советский научно-фантастический роман. Мне его даже читать было противно. Ни Брэдбери, ни Шекли, ни Стругацкими я не стал. Но дома печатать не согласился.

В те годы у меня была-таки слава: отрывки из «Мыслей и сердца» печатали еженедельники в Париже, Берлине, Мюнхене, Риме. Это — кроме книжных изданий.

13

С трепетом я подхожу к этому рассказу.

Только что перечитал «День пятый» в книге «Мысли и сердце». Все вспомнилось, будто случилось сегодня, а не тридцать пять лет назад.

Тот день был один из двух самых страшных в моей жизни. Не буду пересказывать его в подробностях, требуется много места, да и не написать, как тогда, по свежим следам. Кто заинтересуется — пусть прочитает в «Мыслях». Там все документально точно, только что персонажи изменены: были две девушки, а не юноша и девушка.

Предыстория такова. В американских журналах появилось сообщение о камерах высокого давления — для лечения больных и для операций. Смысл: борьба с кислородным голоданием (гипоксией), что часто сопутствует болезням и является причиной смертей. Если дышать воздухом под давлением в две атмосферы, то каждый объем крови принесет тканям вдвое больше кислорода. Когда крови к органу поступает мало — от плохой работы сердца, легких, закупорки артерии, — то высоким давлением можно спасти руку, ногу или жизнь.

Идея меня зажгла: вся наша хирургия ходит под гипоксией.

Конечно, у американцев камеры очень сложны. Не по на-

шим деньгам. И все же... Мамолат свел меня с одним инженером с завода «Большевик». Это был мощный завод, я там побывал: делают в числе прочей оборонки и сосуды для давления... Поговорил с начальниками. Заинтересовались. Не помню, откуда пообещали — и дали — деньги, не от нищего Минздрава, от промышленности. Вместе со строителями начали проектировать новый корпус: половина — под операционные, другая — под камеры. Даже инженеры, работавшие на космос, подключились.

Дело закрутилось, хотя и не быстро.

Вот тут я и споткнулся. Нужно было ждать, как ждали в институтах у Петровского и у Бакулева — они запустили камеры через десять лет после того, как решили строить.

К этому времени — 1963 год — наш отдел биокибернетики уже работал на полную мощь. Мамолат для нас даже построил двухэтажный лабораторный корпус.

В числе прочих была первоклассная экспериментальная физиология, в которой главными были инженеры, а биологи проводили только опыты. Вышло несколько отличных книг и диссертаций. Потом все лопнуло, когда они от меня ушли — изменили.

Это — присказка. Сказка: решили (или я решил? ...наверное) построить сначала малую камеру 1,5 x 2 метра, чтобы экспериментировать и больных лечить. А повезет — и простые операции делать. Решили ее, пока лето, поставить на веранде, на первом этаже. Завод быстренько сварил бочку, с люком, открывающимся внутрь, чтобы давлением прижимало. С предохранительным клапаном, с оконцами, с вводами для газов, для электропроводки. Лампочки безопасные сделали...

Все сделали инженеры... только не по-людски, совершенно бессовестно. Дело прошлое — но это именно так. Существует закон: поставщик техники отвечает за ее безопасность, предлагая правила использования и контроля.

Поставили, подключили баллоны с кислородом — залезай и действуй. Закрывайся, исследуй, оперируй...

Потом прокурор сказал: не имели права пускать «сосуд под давлением» в эксплуатацию в таком виде. Не говоря уже о наполнении кислородом — это вообще преступление. Самое главное — у них же были всякие нормы и правила. Так нет, Амосов заказал — мы поставили. Но своего инженера на работу присылали...

За всеми этими фразами сквозит подсознательное желание — оправдаться. Наверное, так и было. Но внешне ничем не проявил:

— Я виноват!

Эксперименты в камере уже шли полным ходом: исследовали, как повышается снабжение тканей кислородом при давлении кислорода до двух атмосфер в условиях частичного перекрытия кровоснабжения — к сердцу, к легким, к конечностям. Опыты проводил Владлен — кандидат наук, физиолог, проводил вместе с девушками, которые не так давно закончили университет. Всем им были намечены диссертации. Никого не принуждали, шли добровольно.

Более того: Лена с Игорем исследовали больных детишек с «синими пороками сердца». Получалось очень хорошо: синева и одышка исчезали. Они же, Лена с Игорем, даже сделали небольшую операцию очень тяжелому мальчику, невозможную по тяжести состояния в обычных условиях. Я сам провел два-три сеанса в камере: хотел проверить самочувствие. Казалось: хорошо.

Опыты были простые: участники забирались в камеру, люк закрывали изнутри, снаружи открывался кран на баллоне с кислородом. Регулирование оператор-участник проводил краном изнутри. Для начала, пока давление не прижмет люк, его слегка привинчивали винтами с ручками. Когда газ переставал свистеть, винты отбрасывали. Таким образом оператор по своему желанию мог прекратить опыт и выбраться из камеры. В регламенте опытов предписывались интервалы времени для декомпрессии.

Владлен вел эксперименты уже по своему расписанию, не согласовывая со мной: рутинная работа, на потоке.

Этот ужасный день...

Утром на конференции после доклада об операциях и распределения дежурств я рассказывал о поездке в Рим на конгресс хирургов. Было что сказать: Рим — это Рим! К тому же интересные доклады, например, доктор из Новой Зеландии вшивает свиные клапаны при аортальных стенозах... Все шло мирно.

Часов в одиннадцать слышу истошный крик в коридоре. Зовут меня.

— Камера взорвалась!..

Лестницы, коридоры... Пока добежал с третьего этажа до веранды... три минуты? Пять? Застаю картину: бочку поливают во-

дой, кругом пар, из открытого люка валит жаркий дым... Кругом толпятся больные и медперсонал. Командовал не помню что, наверное:

— Убрать больных! Носилки! Операционных сестер! Простыни! Воду в камеру! Вытаскивайте девочек! Анестезиологов сюда!

Выполняли. Кто-то полез в камеру, кто-то расстелил простыни на полу, принесли носилки. Прошло, может быть, еще пять минут...

Извлекли. Сгоревшие волосы, черные лица, лоскуты одежды. Положили на носилки, на стерильные простыни. Видно, что живые, но без движений: шок.

Вспомнились картины войны — взрывы, пожары. Но теперь мы умнее: существует реанимация. Обезболить — наркоз. Интубация — искусственное дыхание — гортань поражена. Капельные вливания жидкостей. Потом уже обработать ожоги и забинтовать.

Смутная надежда: а вдруг?.. Нет. Чудес не бывает. Стопроцентно ожог третьей степени, только что не обуглены...

Бегом несут в перевязочные — на разные этажи, чтобы скорее...

Разве вспомнишь мысли, которые тогда были? Наверное, об убийстве, о родных, ответственности... куда сообщать, что говорить. Страх был, не мог не быть. Небось и хитрость подкрадывалась: оправдаться. Ссылки на полезность. И противоположная мысль: «Виноват, искупай!»

Мои распоряжения четко выполняли. Из-за отека гортани трубку не смогли ввести, пришлось делать трахеостому. Прошло полчаса, может — больше.

За это время получил информацию от «наружной службы» при камере. Примерно такую:

— Все шло нормально. Открыли краны. Давление подняли. Отбросили винты на люке. В оконце выглядывали, смеялись. Собирались поесть... Собака спала. Потом — взрыв! Вырвало предохранительный клапан, повалил дым, огонь... Дальше вы знаете.

Похоже, что нашлась причина: из камеры вытащили обгоревший прибор оксигеометр — измеритель насыщения кислорода, прикрепляется к уху. Единственный электрический. Сомневались, побаивались, но — необходимый. Ничтожный ток. Я разрешил.

Одна из лаборанток предложила теперь выбросить прибор.

Для оправдания. Напишут: «Причина взрыва неизвестна». Не согласился:

— Правду, только правду.

Всю правду? Не уверен, что думал — «всю». Хитрость действует из подсознания. Это — прокурору.

Но главная проблема — родные. Даже страшно было подумать. Часто приходилось разговаривать с родственниками, объяснять причины смерти, даже — признавать ошибки. Но до операции предупреждали — мол, смертельная болезнь, операция необходима, риск большой, предусмотреть все опасности трудно. Все равно бывало стыдно оправдываться, но то — от судьбы.

А тут? Ты, профессор, послал девчонок на смерть. Ради опытов... Это просто ужасно!

Дал задание разыскивать родных. Непросто — рабочий день... Сам позвонил прокурору города, министру. В обком — нет, не звонил. Пусть Мамолат сообщает.

Деталь: прокурор мне был знаком — встречались у Дольда. Очень разумный человек, инвалид войны, у него был огнестрельный перелом бедра, гипс — мой «профиль». Вели разговоры о политике и морали.

Он скоро сам приехал, не передоверял. Рассказал ему все как на духу: не для оправдания, для объективной оценки. Он же меня сразу и просветил по поводу техники безопасности, которую должны были обеспечить изначально — от завода. Но сказал:

— Незнание закона не освобождает от ответственности. Будет следствие.

Снисхождения не просил: «Виноват и готов ко всему».

Девушек забинтовали полностью, тело и лицо, только торчали дыхательные трубки из повязок. Уложили в отдельной палате, в реанимации на третьем этаже. Лежат, как куклы, под наркозом. Искусственное дыхание, аппарат ритмично работает с легким звуком. Стоят капельницы. Подключены мониторы. Зайчик на экране выписывает ЭКГ. Кусочек предплечья освобожден для наблюдения за пульсом. Вполне мирная картина, если не знать сути драмы.

Нет, я не буду фантазировать и придумывать диалоги. В книге «Мысли и сердце» это сделано, но то — повесть. И написана через год после события.

Память сохранила — ужасно (нет другого слова!) — разговор

с родными. Они не грубили, но лучше бы били по щекам, была бы частичная компенсация вины.

В течение дня заходил Мамолат, навестили друзья, хирурги, Федоровский и Коломийченко. Записали мнение консилиума, что все делается правильно... Благодарил их за поддержку.

Сердечная деятельность у девушек медленно угасала. К ночи обе умерли. Дыхательный аппарат работал, имитируя жизнь.

Сам приказал:

— Остановите дыхание.

...Последствий взрыва не было. Только в памяти отложилось: вина и неполноценность.

Думаю, что все объяснялось тем, что не было умысла, личной выгоды. Все делалось честно, работали добровольно. Имел свою вину завод. Плюс — «заслуги перед родиной», безупречность, бескорыстие. Депутатство тоже сыграло роль. Благорасположение от ЦК — второй секретарь Иващенко очень меня поддерживала.

Тем не менее судить могли: виноват в халатности. Не думаю, что посадили бы: невыгодно таких сажать, вся сердечная хирургия в республике провалится. Но приговор мог бы быть. Как тогда, в Архангельске, в 33-м году... Морально я был готов к этому. Может быть, даже хотел — для компенсации вины. Не стану лицемерить: «хотел» — это если без тюрьмы.

Одно последствие для карьеры все же было. Как раз в это время шли выборы в медицинские академики, меня выдвигали, и были все шансы: «товарищ на подъеме». Сразу после аварии (так стали называть взрыв) я послал телеграмму президенту академии: «Прошу снять мою кандидатуру в связи с аварией, в которой я виноват». Убеждать не стали, но — осуждали. Дескать, раз не судили, значит, не виноват. Одно дело к другому не отнесится. Даже в последующие выборы я не стал подавать...

Но на похороны идти не решился. Смалодушничал.

История с камерами имела продолжение. Проектирование нового операционного корпуса с двумя большими камерами шло полным ходом. Я после взрыва не торопил, но сами инженеры крепко ввязались: интересная задача. Деньги доставали от промышленности. Достроили примерно через восемь лет, но сделали плохо, запустить камеры не смогли. Потом эти камеры стояли как памятники инженерной глупости еще десять лет, пока их не списали и не демонтировали. Государство было наказано примерно на триста тысяч. Но — не по моей вине. Для хирур-

гии были нужны операционные помещения, и мы их получили, работают до сих пор.

Но и это еще не все. Инженеры с завода сделали маленькую камеру, разумеется, на воздухе, поставили на втором этаже. Кибернетики-физиологи ее запустили. Лечили больных с послеоперационными гипоксиями. Года два это пробовали, пока убедились в бесполезности. В Москве Петровский построил в своем институте огромное сооружение — камеры, много занимались наукой и практикой, но дело тоже постепенно сошло на нет. В институте у Бакулева тоже были камеры, в них оперировали и даже получили за это Государственную премию. И тоже — без продолжения. Впрочем, и на Западе — та же картина. Идея оказалась пусть не мертворожденная, но нежизнеспособная. Очень дорого, много хлопот, а результат мал.

Рассказал об этом подробно потому, что то был самый большой прокол в моей жизни. Потерпел поражение. Виноват.

14

Осенью 1964 года в Ленинграде проходила конференция по сердечной хирургии. Поехал вместе с Лидой: я сидел на заседаниях, а она ездила по городу с экскурсиями. Погода была отвратительная. В поезде, уже на обратном пути, прочитал сообщение: был пленум, и сняли Хрущева. Пожалел, хотя его длинные доклады, заполнявшие все газетные полосы, изрядно поднадоели. Никита, несомненно, был яркий человек... Кроме вздорных идей о кукурузе, разделения обкомов на сельские и промышленные, создания совнархозов, агрогородов и прочее, он начал жилищное строительство, ослабил гнет госбезопасности и вообще поманил приличной жизнью, без культа...

После него целых двадцать лет тянулся период, который обозначили как «застой». Гайки снова подвинтили, но до прежнего зажать уже не смогли. Рост промышленности, между прочим, продолжался весь этот период, я за статистикой следил...

В 1965 году много случилось важного. Новые сотрудники пришли: Леня Ситар, Гриша Квачук — хирурги, Валя Захарова — патологоанатом. До сих пор возглавляют отделы и хорошо работают.

В самом начале года ездил в Ленинград: с Борисом повидаться и посетить Юрия Германа — по приглашению. Он написал хорошие книги о военных хирургах. Писатель сказал положен-

ные комплименты и предложил снять фильм по «Мыслям и сердцу». Делать фильм должен был Авербах. Он тоже врач, но ушел в искусство.

Забегу вперед: работа над фильмом со странным названием «Степень риска» продолжалась года два. Сценарий не нравился, но фильм — получился. Какие артисты играли! Блеск! Смоктуновский, Демидова. Хирурга играл Ливанов — на меня он уж никак не походил: здоровенный мужчина. Но играл хорошо. Фабула повести была сохранена.

В Ленинграде по телефону меня разыскала Джана Манучарова. Попросила зайти в редакцию «Известий». Заехал. Передала просьбу мужа — Виктора Николаевича Болховитинова, редактора журнала «Наука и жизнь», — печатать там «Мысли и сердце».

Так завязалась еще одна дружба с очень длинным продолжением...

Летом распространился слух: Лена Николаевна беременна. Посмотрел на талию: в самом деле. Я не любитель собирать сплетни и не вникаю в личную жизнь помощников. Не то чтобы не интересно, просто стесняюсь. Держу дистанцию. Даже и не очень вежливо — называю их на «ты», а они себе этого не позволяют. Я и не провоцирую... За пару лет до того тубинститут построил жилой дом. Квартиры дали Дедкову с Малаховой и Лене Сидаренко. Она к тому времени стала моим заместителем — «начальница», как ее называли с иронией. А тут беременность, для «нашего общего дела» ни к чему — важная должность.

А что сделаешь? Не запретишь. Про себя думал: «Пропал хирург. Будут муж, ребенок — какие тут операции?»

Но мужа на горизонте не видать. Правда, в разговорах с Киркой после Харькова Лена упоминалась, но я об этом только потом вспомнил.

А пока шел июль: Катя с бабушкой уехали в Старый Крым, мы с Лидой должны были приехать позднее.

Приехали на «Волге», забрали Катю и двинулись на Кавказ.

Да, забыл написать: мы сменили машину. Даже дважды. Сначала в 1962 году купил у летчика подержанную «Победу», гнали ее из Могилева. Служила она плохо. И тут подвернулась возможность получить новую 21-ю «Волгу», по распределению от горторга. «Победу» продать не успел, дал институтскому шоферу Коле съездить в отпуск куда-то на Волгу. Он отправился с женой и двумя дочками. Пьяный шофер на самосвале наехал и разда-

вил: жена насмерть, у дочек переломы, у самого Коли сотрясение мозга. Машина восстановлению не подлежит, да и до нее ли, когда такое несчастье.

Очень нравилось ездить на «Волге». Как придавишь педаль — так и 120 километров. Притом просторно. На ночлег все трое умещались.

Поэтому и на Кавказ поехали.

Путешествие ничем не запомнилось. Катя больше спала и читала, чем смотрела на красоты.

На обратном пути заехали в Старый Крым, забрали бабушку — и домой. Гнал нещадно. 1100 километров проехал за световой день. Елисеевна очень боялась, но сказать не смела.

На другой день у нее случился инсульт. Несомненно, от стресса. Положили в неврологическое отделение Октябрьской больницы. Инсульт тяжелый: полный паралич, потеря сознания.

Жизнь сразу же нарушилась. Прежде всего это коснулось Лиды: каждый день ходила в больницу, кормила, переворачивала. На больничный уход надеяться нельзя, даже с приплатой нянечкам. Лида работала у Ольги Авиловой, которой я передал кафедру грудной хирургии. Начальница строгая. Лида редко приходила домой раньше семи вечера. Дальше так работать стало невозможно. Пришлось переучиться на физиотерапевта, чтобы работать в той самой Октябрьской больнице. И диссертацию отставить: нет времени.

Быт тоже усложнился. Попробовали взять кухарку — не вышло, не угодила моей хозяйке...

Мозг у Елисеевны не восстановился, она была агрессивна. Я, по обязанности, не по сердцу, навещал больную раз в неделю.

Так мы прожили долгих два с половиной года: хороший уход отодвинул смерть, а хирургическая карьера Лиды рухнула окончательно.

В начале сентября уехал на конгресс физиологов в Японию. Была большая делегация; из знаменитостей — Бериташвили, древность, постоянный оппонент еще Павлова. Познакомился с П.В. Симоновым, очень приятный оказался человек.

Ехали сложно: самолет до Хабаровска, поезд — в Находку (вспоминал 45-й год — ничего не изменилось, та же пустыня), корабль — в Нагасаки. На конгрессе язык — только английский, даже японцам синхронно не переводили. Кое-как я уже

понимал. Но главное — сама Япония. Были в Токио и в Киото. Видели все, что полагается смотреть: храмы, театр кабуки, чайную церемонию с гейшами, огромного Будду. Особенно поразил музей национальной живописи: ни с чем не сравнимо. Тонкий вкус у японцев.

Долларов лишних не было, но не удержался, купил маленький транзистор и игрушку для Кати. Для Лиды хватило только на самую дешевую стекляшку. Она кровно обиделась, даже упрекала потом. Грешен: не баловал жену подарками. Но зарплату всегда отдавал, покупай для себя что хочешь. Нет, не буду скрывать — были в заглазнике побочные доходы от лекций. У какого мужа их нет? Куда тратил? На книги, на милосердие. Но никогда в нашей семье не было разговоров о деньгах. Не мелочились. Хотя и не шикавали.

Самое главное: был у кардиохирурга на операции — протезирование аортального клапана. Весь фокус — в прокачивании кровью коронарных артерий, поскольку аорта пережата. Когда вернулся, сделал первый раз. Весь цикл по клапанам был завершен.

На обратном пути в Москве виделся с Джаной и ее мужем. Обсуждали литературные планы. Киру не видел, телефон не отвечал.

Вернулся домой — и сразу новости. Бабушке не лучше, движения и речь не восстанавливаются. Лида взяла отпуск за свой счет, сидит с больной. Но дом тоже не забывает. Хорошо, что Катя училась отлично, не требовалось проверять и подгонять.

Другая новость: Лене Николаевне в Октябрьской больнице сделали кесарево сечение — мальчик. Были осложнения после операции.

Навестил ее. И тут она огорошила:

— Позвоните Кириллу. Пусть приедет и зарегистрирует сына.

Предположения были, но очень смутные. Знал, что в Москве они виделись. Заметил некоторое охлаждение Кирилла ко мне. Впрочем, Аркаша относил это за счет ревности к литературным успехам.

Кире я позвонил в тот же день. Сообщил. Удивления он не выказал — видимо, знал, связь была и помимо меня. Обещал приехать через день.

Неприятная это была процедура. Как будто участвую в деле, скажем, не очень честном. И даже — как будто я в чем-то виноват.

Встретил его в десять утра. Пригласил к себе. Отказался. Надо сказать, что Кира ни разу у нас дома не был.

— Поедем сразу в загс. Справка на ребенка есть?

Справка из роддома была, ее мне передала одна из наших сестер, которая навещала «начальницу».

Пришли в райсовет. Так и так. Меня все знали, и я чувствовал себя в роли свидетеля — или крестного? — отвратительно. Оно мне надо? После этого Кира пошел в больницу, так я его больше и не видел. Уехал дневным поездом.

Ну что же... Я исполнил долг. Кирка — друг, а «начальница» была моим верным заместителем восемь лет. Правда, потом отношения испортились. Но вместе еще долго работали.

Внешне ничего не изменилось. Сына Лена назвала Андреем, и к Кирке не поехала, он к ней тоже. Почему-то браки у него как-то не получались: в свое время быстро разошелся с Лидой Ежерец, как только квартиру теще купил... Вот так бывает: дружишь, дружишь, а пройдет время — сопоставишь одно, другое... и засомневаешься.

Нет, не поддамся. Просто природа человека противоречива.

15

Съезды и конгрессы...

Богатым на заграничные поездки был 1967 год. Одна, самая веселая, — в Австрию, в сентябре — уже другая, позднее — в Штаты, она же самая значительная.

В Вене был очередной Международный конгресс хирургов. Как всегда в сентябре, когда стихают отпускные страсти и гостиницы становятся доступнее.

На этот раз мы ехали поездом в заграничном неудобном вагоне, где спят в три яруса. Но компания хорошая, даже женщины интересные были — не часто встретишь среди хирургов. Еды много. Выпивка, конечно, тоже была. Я уже научился, «потреблял».

Мое положение среди хирургов было высокое. Уже и по возрасту передвинулся из молодых в средние. Операции с АИКом шли вовсю, самые лучшие в стране результаты. За год перед тем даже председательствовал на Всесоюзном съезде. Нет, конечно, мирового уровня мы не достигали, и комплекс неполноценности присутствовал, но на время можно было о нем забыть.

Я тогда уже немного усовершенствовался в разговорном англ-

лийском: мог понимать доклады, соединив слух с надписями на слайдах. И даже разговаривал, если выпью...

В Вене хирургических сенсаций не было. Барнард еще сердце не пересади́л, и хирургия шла под старыми флагами: врожденные пороки, протезы клапанов. Коронарный бум еще тоже не начался. Поэтому заседаниями себя не утруждал.

Ах, какой славный город Вена! Строилась для большущей империи — Священной Римской. Потом — Австро-Венгрия. Поэтому все роскошно, на широкую ногу. Загородный дворец Шенбрунн — так это не меньше Петергофа или Лувра. Дворец правосудия со львами — на целый квартал, Собор святого Стефана — тоже почти Нотр-Дам...

А кладбище? Там похоронено больше знаменитых композиторов, чем во всех остальных столицах, вместе взятых. Венский лес — почище Булонского... К тому же голубой Дунай (с грязной водой).

Были и магазинчики для бедных из соцстран, вроде нас, где торговали уцененными товарами. Я тоже купил для своих дешевенькие пальтишки. Тогда у меня еще не началась гонка за потрепанными бестселлерами на английском языке.

Какая была развлекательная программа, какие туристические поездки после конгресса!

Главный бал давали во дворце, сразу в нескольких залах. И не надо было стоять в очереди за угощением, а потом ходить с тарелкой. Всех усадили за столы, и оркестр играл Штрауса, и вина молодого приносили сколько угодно. Я, грешный, не владел еще тогда этим коварным напитком, и в гостиницу меня друзья привели «под белые руки».

Целью дальней экскурсии был выбран Зальцбург. Город около Альп, много старых замков. Нас возили в горы, в таверны, где тоже поили вином и звучал Штраус. Вся страна была ухоженная, как на детских картинках.

На обратном пути, в Бресте, я пересаживался на киевский поезд. Позвонил домой. Всегда жду неприятностей, когда приезжаю. Больные часто умирают... Но все было спокойно. И самое главное, Лида сказала, что звонили из академии — на мое имя пришло приглашение в США, на кибернетическую конференцию. Необходимо делать доклад. Подумать только!

Дома меня ждало письмо от профессора Фогеля, председателя Общества кибернетиков США: национальная конференция с главной темой об искусственном интеллекте. Мой доклад на

40 минут! Билеты на самолет туда и обратно посланы в академию. Конференция в Вашингтоне. Фогель объяснил и повод для приглашения: он прочитал мою книгу «Моделирование мышления и психики». Она вышла в киевском издательстве года за два до того и оживления в научных кругах не вызвала. Уж никак не ожидал, что в США переведут.

Два месяца перед поездкой прошли в волнениях: готовил доклад, слайды со схемами и текстом. Гипотеза о механизмах разума была уже к тому времени полностью продумана. Но как ее донести до слушателей? Доклад переведен, начитан на магнитофон, вызубрен. А вопросы? Могу ответить, но как бы понять, о чем спрашивают?

Настал день отъезда. Ох уж этот иностранный отдел академии! Много там адреналина выделили ученые. Мне, к примеру, выдали 10 долларов. Будто я в Серпухов еду.

— Они вас пригласили за свой счет и обязаны содержать.

Аэрофлот, Лондон, пересадка в «боинг». Вечером уже были в Нью-Йорке. Очень беспокоился, как доберусь до Вашингтона, ночь скоро, а вдруг не встретят? 10 долларов — это для Америки нуль.

Когда вылетали, после пересадки, был поздний вечер. Мне уже не до красот с высоты ночного Нью-Йорка. Сажу в самолете, горюю. Читаю. И вдруг — повезло. Сосед спросил по-русски:

— Вы из Советского Союза?

— Вот еду на деревню к бабушке... С десяткой в кармане. Он оказался евреем, выехавшим из России.

— Я вам помогу.

И все устроилось: он вызвал по телефону посольского чиновника, тот за мной приехал, организовал ночлег...

Конференция должна была заседать в Бетезде, в здании Комитета стандартов. Наутро господин из ИБМ привез меня туда, где должны заседать. А пока обеспечил посещение Института здоровья — всемирно известного исследовательского и лечебного учреждения, который содержит правительство США. Десять Нобелевских лауреатов. А в АМН — ни одного.

Приехал тот самый Фогель. Оказалось, что он чуточку говорит по-русски, выходец из семьи евреев-эмигрантов. Рассказал мне о конференции.

— Мы только на днях узнали, что кибернетик Амосов — и хирург, и депутат, и писатель — одно лицо. В журнале «Look»

была информация. А книжку «Открытое сердце» уже читали до того...

Во как! Но я ему не сказал, что имею всего десятку в кармане. Постеснялся.

День закончился пышным приемом. Ночью от волнения болел живот, спал плохо. Но утром сделал гимнастику и пошел завтракать в кафетерий при гостинице. Совсем неплохо поел за один доллар. Боялся доклада? Конечно, было не по себе. Но чтобы страх? Нет, страх в жизни я испытывал только при операциях.

В восемь утра Фогель открыл заседание и первым представил меня. Сказал, кто я. И преподнес мне сюрприз: вручил только что изданную в США мою книгу «Моделирование мышления и психики».

Доклад прошел удовлетворительно. Я читал текст, командовал оператору, демонстрирующему слайды: «Следующий, следующий...» Подписи были так составлены, что все, что важно, было написано и пояснять ничего не требовалось. Иначе я бы пропал. В регламент уложился. С большим трудом понял смысл нескольких вопросов и ответил на них, как мог. Много не спрашивали, видели небось, как трудно мне дается английская речь.

В первые дни всех кормили за казенный счет. Суточных на расходы мне не предложили. Разве спросишь? Стыдно.

Как отчитал доклад, так уже гора с плеч свалилась, и дальше меня ожидали одни удовольствия. Ко мне подходили, хвалили. Наверное, больше из вежливости или поверили Фогелю. Я разговорился и даже интервью давал журналистам: о том, что возможен искусственный интеллект, что он мощнее человеческого и я знаю, как его сделать. Нет, я не хвалился и не обещал, что мы в Союзе сделаем первыми.

Х., советник по культуре из нашего посольства, держал со мной связь и составил программу: выступление перед любопытствующими сотрудниками. Ночевать у него. В последний день посмотреть достопримечательности, сходить в магазины и вечером — улететь...

После обеда на конгрессе я распрощался с Фогелем, сказал, что дальше меня будет опекать посольство. Известный кибернетик Мак-Келлог подарил мне свою книгу.

Деловая часть окончилась. Напряжение спало. Осталось только приятное. Часа в четыре мне позвонил Х.

— Встреча с сотрудниками назначена на восемнадцать часов. Я уже не успею приехать за вами. Берите такси — и в посольство.

— Но у меня же всего семь долларов! До вас пятьдесят километров!

— Ничего. Привезет — позвоните у входа. Я выйду и заплачусь.

Не понравилось мне это, но что поделаешь? Вышел из гостиницы почти тайком: «Вдруг за что-нибудь деньги потребуют?» Поймал такси, назвал: «Совет амбасада». И поехали.

Остановились у ворот (с полицейским). Позвонил. Х. и вправду вышел, заплатил таксисту.

Беседа с посольскими, а больше с их женами, прошла нормально. Они читали «Мысли и сердце», некоторые — даже журнал «Look».

Х. расспросил о моих финансовых делах и очень смеялся:

— Не могли же они предложить вам, сенатору, суточные, даже и по полсотни долларов. Вдруг обидитесь?

После выступления мы встретили в коридоре посла Добрынина. Представили меня, сказали, что не на что даже подарок дочке купить. Распорядился выдать десять долларов. Тоже не жирно, но Кате купил курточку из искусственной замши.

Последний день погостил очень хорошо. Была доверительная беседа о преступности, о неграх. Путешествие назад прошло спокойно.

Наверное, здесь к месту сказать о третьем направлении моих занятий кибернетикой: алгоритм разума и искусственный интеллект (ИИ). Конечно, материя сложная, не подходит для воспоминаний, но ведь это было частью моей жизни. Да и теперь еще греет душу.

Источник идей теряется на третьем курсе института. Именно тогда я представил себе сеть из нейронов в коре мозга, организованную в ансамбли, воплощающие образы и слова речи. Владимир Евгеньевич Лошкарев в 1940 году забраковал идею, но я не отступал. Кибернетика ее заново оплодотворила: стало возможным создание модели интеллекта по этому принципу. В 1962 году в отдел пришли супруги Касаткины — Лора и Саша, они и сделали первую модель на компьютере. Она вошла в мою книжку «Моделирование мышления и психики». Немного погодя пришли Дима Галенко, потом Женя Талаев, Эрик Куссуль... В 1970 году начались работы по нейронным сетям «на физичес-

ких элементах», чтобы на них делать ИИ. Тележка с таким разумом ходила по парку института.

В 1997 году, уже под занавес, нам с Эриком и Сашей (вместе с другими) дали Государственную премию Украины — за работы по ИИ. Таковы превратности судьбы: работы закончились, премии продолжаются.

Дима переключился на социологию и умер от инфаркта в 1980 году, другие здравствуют и поныне. Из всех кибернетиков только они остались моими друзьями. Конечно, они работают уже над своими идеями — таланта им не занимать. А я тоскую, где они, молодые годы: некому воплотить мои мечты — создать модель разума «реального человека». Уверен, что это возможно при современных компьютерах. Впрочем, эту мою уверенность никто не разделяет. С тем и умру...

16

1968 год запомнился по поездке в Италию и новыми знакомствами. Ничего интересного не предвиделось, меня взяли в группу, чтобы оживить программу «породненных городов». Такая тоже была: чтобы похвастаться перед Западом достижениями социализма. Группа подобралась очень скучная, а руководитель — зам. предгорсовета — откровенно неприятный тип, «аппаратчик».

Утром до работы вызвали в клинику: плохо с больной. За пару дней до того я заменил ей трехстворчатый клапан по поводу «аномалии Эбштейна». Когда пришел, больная уже лежала в операционной и Лена Николаевна начала операцию. Девушка, Аня Божко, умирала. Только-только успели подключить АИК, оказалось, возник тромб и затруднил движение шарика. Тромб удалил. Ожила.

В марте этого, 1998 года Аня пришла ко мне, чтобы отметить тридцатилетие своего спасения. Уже пенсионерка, но работает. Она инженер. Выглядит вполне прилично, и сердце работает лучше моего. Живут с мужем очень бедно. Принесла сувенир — маленькую статуэтку архангела Михаила: верит в Бога.

Киевским «побратимом» была Флоренция. Летели через Рим. Был март месяц, а здесь уже листочки зеленели.

Нас возили по Флоренции и ее окрестностям, устраивали приемы, произносили речи о дружбе, дарили сувениры. Запомнились потрясающие музеи «города Медичи»: галереи Уффици, Палатина, собор Санта-Мария, Давид Микеланджело, мост с

магазинчиками... А еще, совсем прозаическое, «котлета по-флорентийски» — кусок мяса величиной с тарелку.

Беседы переводила очень худая женщина лет шестидесяти с отличным дореволюционным русским выговором, княгиня Мария Васильевна Олсуфьева, из старых московских аристократов. Ей было семь лет, когда родители эмигрировали в Италию, спасаясь от революции, — во Флоренции были какие-то корни. Здесь она выросла, выучилась, вышла замуж за итальянца, родила сыновей. Стала профессиональным переводчиком: языки английский, французский, еще какие-то, забыл. Хорошо зарабатывала синхронными переводами на конгрессах. Имела свой доход, отдельный от мужа, — это она подчеркивала.

Но Россию не забыла. Следила за культурой и стала лучшей переводчицей русских книг. Прежде всего — «самиздата». На этой почве перезнакомилась с диссидентами. Многих называла, но я имена забыл. Прочитала и мои «Мысли». Их уже издали в Риме, в переводе с английского. Перевод Марии Васильевны очень не нравился.

Так возникла наша дружба. Я никогда не боялся КГБ и откровенничал на «всю катушку». (Непуганый, поэтому и не боялся...) Мария Васильевна много знала, наблюдая Союз «извне». Поэтому разговоры были интересны. Вечером мы встречались в моем номере или в вестибюле. Да и во время «мероприятий» старались быть рядом. Мария Васильевна обещала сделать новый перевод моей книги и пристроить его для издания.

После этого я получил несколько писем, а потом роскошно изданные «Мысли и сердце» на итальянском. Большой формат, плотная белая бумага, переплет... Самая заметная в собрании моих книг.

В последующие три года мы встречались с Марией Васильевной в Париже. Я приезжал на конференции в Лимож и в Ниццу с докладами по медицинской кибернетике и на обратном пути останавливался в Париже, чтобы пообщаться с Сент-Джорджами. Один раз Мария Васильевна специально приезжала со своей приятельницей-врачом (поповна, дочь настоятеля русской церкви, одинокая). Целый день мы ходили по городу, отдыхая в кафе. Мария Васильевна прекрасно знала Париж, интересно рассказывала и водила в те места, где я никогда не бывал прежде. Вечером были в гостях у профессора Никиты Струве, уже легализованного в Союзе историка литературы, потомка того Струве, который был сперва в оппозиции к Ленину, потом —

кадетом. Тоже было «очень информативно» по части знакомства с жизнью эмиграции первой волны. Тогда она была для нас совершенно закрыта.

Второй раз, может через год, с оказией прислала она для меня в Париж большую коробку — всю запрещенную литературу, напечатанную по-русски. Побаивался во Внукове, но уже был приобретен опыт контрабанды книг под защитой депутатства. В коробке оказались Солженицын, не публиковавшиеся у нас произведения Горького и Бунина, Абрам Терц (Синявский), «Доктор Живаго», много книг Бердяева, книга Фишера о Ленине и что-то еще, не помню. Я их долго держал в особом ящике: боялся все-таки. После перестройки рассекретил, давал читать, и они растворились среди других когда-то запрещенных.

Третье и последнее свидание состоялось в Киеве. Мария Васильевна путешествовала по Союзу с сыном. Наверное, это было в 1970 году. Встречалась с диссидентами. Небось за это ей потом не давали визу...

К нам пришла с подругой. Представила: Елена Георгиевна Боннэр. Имя мне незнакомое. Перед чаем, во время и после был долгий разговор о политике. Дама оказалась очень активной и все знала о правозащитниках. Не скажу, что понравилась с первого взгляда: чересчур казалась ортодоксальной.

Я в то время как раз увлекался социологической кибернетикой. В 1969 году Дима Галенко напечатал в типографии института Глушкова мою книжечку «Моделирование общества». Небольшая, около ста страниц — первые мысли. Тираж — пару сотен. Распространяли по знакомым. Но — «недолго музыка играла...» Партбюро института разобралось, обсудили и тираж изъяли: «идеологически вредная». Самое интересное: мне — ни слова, будто и не было книжки. Я вообще узнал о партбюро спустя какое-то время... У меня было с десяток экземпляров, для знакомых.

В ходе разговора за чаем выяснилось, что гостя — жена Сахарова. Его имя было хорошо знакомо, в поездках за границу давали читать его обращение к правителям с идеями конвергенции. «Голоса» тоже часто упоминали — я их слушал регулярно, продираясь через глушилки.

Книжечку я передал для Сахарова. Не помню, чтобы Боннэр приглашала зайти к ним.

Но случай представился через год или через два (точно не помню). Опять-таки через кого-то в Париже Мария Васильевна

передала новую книжку Солженицына «Август четырнадцатого», с тем чтобы прочитал и отдал Сахарову или Боннэр.

Книжка эта мне не очень понравилась. Хотя написана была без внутренней цензуры, однако раздражали словечки под старым русским языком. Но это — так, между прочим. Солженицын — классик, что бы ни писал — все достойно. Да и манеру эту он потом оставил.

Осенью проходила сессия Верховного Совета. Позвонил Боннэр, сказал, что привез книжку от Марии Васильевны, готов принести. Ответила, что Сахаров сейчас гриппует, просила позвонить через два дня.

Позвонил, назначила свидание — на улице Чкалова, недалеко от Курского вокзала.

Свидание запомнилось — это же Сахаров! Но столько уже о нем написано, что не хочется вдаваться в подробности. Рассказу ♦ впечатлениях.

Небольшая двухкомнатная квартира. В той комнате, где я был, стояла широкая тахта. Андрей Дмитриевич еще не полностью выздоровел: лежал и часто кашлял. А его супруга непрерывно дымила сигаретой. Меня это обозлило, я сказал:

— Вы бы не дымили на больного — он же кашляет!

— Ничего, он знал, на ком женится, пусть терпит.

Эту реплику запомнил хорошо. Антипатия еще больше усилилась. С Сахаровым мы обсудили идеи из моей книжки. Он ее принял, и опять же я запомнил реплику:

— Такие модели нужны любому правительству, хоть коммунистам, хоть капиталистам.

Потом обсуждали саму суть разных идеологий. Мне даже неловко писать, но создалось впечатление, что Андрей Дмитриевич мыслит... скажу осторожно: неглубоко. Считать, что социализм в экономике вполне можно примирить с западной демократией, правами и прочим «набором фраз»!

А уж моих идей о значении биологии в поведении человека он совершенно не принимал. Я не пытался переубеждать: давил авторитет и тормозили ядовитые реплики Боннэр.

Пили чай, приходили диссиденты, фамилии некоторых я слышал потом в «голосах». Обсуждали, как можно помочь кому-то из заключенных. Я ненадолго окунулся в эту среду. И не скажу, что очень прельстился. Все равно, как если бы встретился с фантазерами-народниками девятнадцатого века. То есть все правильно, но наполовину — нереалистично.

Ушел с ощущением, что познакомился с великим человеком, но настоящую науку об обществе он создать не может. И его знакомые — тоже.

Самоуверенный ты, Амосов! Небось думал: «Кто же, если не я?» К сожалению, за прошедшие с тех пор четверть века так и не встретил надежной гипотезы...

Связь с Марией Васильевной прервалась. В Союз ее больше не пускали. Писал ей письма — ответов не получил. Не знаю почему. Грешил на КГБ, но не уверен. Однако по радио слышал, что Боннэр ездила во Флоренцию лечить глаза. Олсуфьева не упоминалась, но думаю, что она в этом участвовала...

Елена Боннэр меня и теперь часто раздражает теми высказываниями, которые передает «Свобода». Но она тоже героическая натура, и не только через причастность к Сахарову. Сколько она сама вытерпела гонений и грязи от КГБ и подонков из нашего общества! И не согнулась. Это при ее-то болезнях... Настоящий боец. Вполне в духе революционеров столетней давности. Долбаит и долбаит коммунистов!

Сахарова я много видел и слышал на съезде народных депутатов. Его выступления не всегда были удачными. Ну а реакции «агрессивно-послушного большинства» — просто возмутительны.

...В 1967 году мы съездили на машине в Калининград. Хотелось посмотреть места, где прошли войной: Чернигов — Гомель — Минск — Вильнюс — Калининград. Развалины убрали, только стоял обгорелый замок и остов собора с могилой Канта у стены. Возвращались через Прибалтику: Вильнюс, Каунас, Рига, Таллинн. Гостили у брата Лиды — Николая. У него жена и дочка, года на три младше нашей. Обратном проехали до Ленинграда, но в город не заезжали, сразу — на юг, на Псков, и снова — Белоруссия, а там и домой.

Грустное впечатление было от Белоруссии и России. Какими оставили деревни в 45-м году, такими они и стоят. Разве что электричество провели и телевизионные антенны изредка маячат. Горестные мысли: бедный народ!

В 1969 году я продал машину. Лида очень беспокоилась, мол, долго ли, коротко ли — разобьюсь при моей-то быстрой езде. Да и желание водить уменьшилось. Даже не знаю почему.

Катя отлично училась с первого класса. Сказалась подготовка, а может быть, натура. Не зря оба родителя по два института закончили. Никогда уроки не проверяли, а в табеле всегда пя-

терки. С четырех лет водили в Дом ученых в кружок танцев. Я даже пуанты покупал дочке. Но способностей не проявила. И в музыке тоже. А Лиде обязательно нужны были стандарты. Но ни желания, ни способностей к музыке у Кати не было, только мучилась. Учительница была настырная, требовала. Я ворчал:

— Лучше бы на концерты водила.

Играла упражнения до восьмого класса, отлично выучила четыре классические вещи (Шопен... Чайковский...). Поступила в институт и больше за пианино не садилась. Так же, как бросила делать со мной по утрам утреннюю зарядку.

Школу Катя закончила необычно. Когда оканчивала седьмой класс, я ее подзадорил:

— Махни за год три года!

Она загорелась и «махнула». Училась дома по книгам, только сдавала зачеты и экзамены. На медаль не претендовала, а школа — справедливо — не предлагала.

В декабре 1967 года мы с ней ездили в ГДР по приглашению их еженедельника типа нашего журнала «Огонек» и издательства. Очень звали! Книга «Мысли и сердце» восточным немцам чрезвычайно понравилась. Правда, западным — тоже, журнал «Квик» печатал, даже корреспондента в 1947 году в Гантиади посылали, когда мы там отдыхали. У этого журналиста было два задания: Амосов и абхазские долгожители...

В ГДР книгу издавали четыре раза. Денег, правда, не предложили. Но в гости пригласили. Я поставил условие: с дочерью. Пожалуйста.

Принимали шикарно. Отличный переводчик, поляк, очень душевный человек, просвещал по всем политическим и культурным делам. Он сказал, что восточные немцы злобы не держат. И доказывал:

— Давайте я подойду к любому и буду на русском языке спрашивать, как пройти в музей... А вы смотрите.

И что вы думаете? Опыт проделали несколько раз. И все успешно. Во-первых, молодые понимают русский, значит, серьезно учат, во-вторых, терпеливо рассказывают, куда и как идти. А ведь спроси поляка или чеха, ответит: «Не понимаю».

Были у меня и встречи с читателями.

Подробности описывать не буду — перебор с путешествиями. Берлин — Лейпциг — Дрезден. Музей древнего мира в Берлине (Египет, Месопотамия, Троя. Шлимановское золото — только

на фото. Само золото — в Москве, до сих пор). Дрезденская галерея, зоопарк в Лейпциге. А вот английских книжек купить не удалось: «железный занавес» у них действовал посильнее нашего... Плюшевого медвежонка купил, он потом до внучки дожил.

Вскоре после нашего возвращения в Киев умерла бабушка. Сняла крест с Лиды. Но вернуться в хирургию жена не захотела: почти пятьдесят лет — бабий век. Тем более — для хирургии. Так и дослужилась до пенсии физиотерапевтом. И папки с выписками из историй болезни для диссертации лежали без движения. Знаю, что переживала, но не говорила. Лида — кремень.

17

Эпопея с пересадкой сердца.

В том же 1968 году задумал пересадить сердце: «Труба звала!» Большого желания не было: предвидел тяжкие испытания для души, при том, что реально мало кому можно помочь. Но — нужно. Есть будущее у метода, на него необходимо работать сейчас. Принять тяжесть. И... грех?

В мае был конгресс в Лондоне. (Туда приехал Сент-Джордж.) Набрал книг и купил негнувшиеся джинсы для Кати. Познакомился с Мишей Атаманюком (Мишей-маленьким, за рост), специалистом по Англии, два года там учился. Пригласил его к нам — с расчетом на помощь в пересадке сердца, чтобы следил за литературой. (Миша до сих пор в институте, уже отпраздновали шестьдесят лет, вписался по многим показателям. Доктор наук.)

Прочитал все доступное по пересадкам. Ясно, что не готовы, но полная готовность никогда не наступит, если не начать. Даже с неохотой. Да, нужна иммунная совместимость, но иммунологии у нас нет. Можно, правда, подбирать по группам крови. И нужно живое, бьющееся сердце при погибшем мозге. Хорошие невропатологи-реаниматоры есть. Леонард Чепкий, например, зав. анестезиологией, знает дело. Энцефалограф (токи мозга) есть: гибель мозга можно установить. Это самое главное. И самое скользкое в моральном плане. Потому что бывают чудеса: оживает обреченный мозговой больной. Даже через месяцы... Но весь мир идет на такой риск. Придется и нам «испытать чашу»... В «Скорой помощи» договорился, чтобы везли живых по сердцу, но с сильно разбитой головой. Нужна идеаль-

ная асептика. Выделили маленькую операционную (из веранды), надраили. То же и по части отдельной стерильной палаты, вплоть до особой вентиляции. Бригаду дежурных подобрала.

Месяц вели эксперименты на собаках в лаборатории у кибернетиков. Собак было жалко, как всегда. Но — надо. Хирург должен переступить... Иначе — не лезь. Операция пересадки хорошо разработана и не слишком сложна, мне — по силам. Правда, из десятка опытов ни одна собака не прожила даже часа, но ведь они и клапаны не могли пережить. Нет у нас и не будет надлежащих условий для опытов. Вот Шумвей в Стенфордском университете проделал сотни опытов даже на обезьянах, был готов, как никто, но не решился. Сколько и как готовился Барнард — об этом не писали, но переступил — и сделал...

Героем от хирургии я никогда себя не считал. Новые рискованные операции переживал как тяжкий грех. Только что не спрашивал аванса у Бога, несмотря на неверие.

Положили больного, кандидата на пересадку. Честно выбрали абсолютно безнадежного с поражением всех систем сердца: миокарда, коронаров, клапанов. Испросили согласие — у самого и у родственников. Куда им было деваться? Вот-вот умрет, с кровати уже не встает.

«Долго ли, коротко ли...» Месяц? Привезли молодую женщину после автомобильной аварии с разбитой головой. Положили в операционную, где должны сердце забирать. Стали исследовать, родственников ждать. Пульс еще прощупывался, энцефалограмма — почти нулевые колебания. Череп сильно разрушен, мозг — частично вытек. Нет, я не помню ее внешности, старался не глядеть.

Пришли родные. Я объяснял им что и как. Абсолютно безнадежна, вопрос нескольких часов. Но можно спасти человека, тоже умирающего. Они не решились прямо сказать: «Берите». Но скорее «да» слышалось между всхлипываниями матери:

— Если все безнадежно... но еще посмотрите... А вдруг?

Стали смотреть: пульс, кровяное давление, ЭКГ. Уже приготовлен АИК — подключить к бедренным сосудам, как только решимся. Ждал, когда сердце начнет умирать... Родным все время сообщали, что ухудшается... Они по-прежнему были в растерянности.

Вот тут бы мне и надо — переступить!

Не смог. Ждал момента, когда сердце остановится, чтобы пренебречь согласием родных. Подключить АИК и оживить

сердце. Но шли часы, агония длилась, ЭКГ еще писало слабые кривые. Пока нам не стало ясно, что подключаться бесполезно. Известно, что агональное сердце пересаживать уже нельзя.

Скомандовал: «Отбой».

Что? Почему? Испугался прокурора?

Сложно ответить. Скорее — нет. Был достаточный авторитет, родные при свидетелях не говорили решительного «нет», была составлена документация...

Не смог переступить через жизнь. «Пока сердце работает — человек жив». Знал, что это предрассудок, что жизнь — в мозге, а не в сердце. И в душу, которая будто бы в сердце, не верил... А все же — грех!

Не надо хитрить, Амосов. Ты просто струсил.

Доказательство? Попытки не повторялись... Больной, который ждал, умер через несколько недель.

Летом 1968 года в Одессе состоялся наш очередной съезд. У меня был необычный доклад: о медицинской кибернетике. Рассказал о диагностических машинах, надеждах и разочарованиях, но остановился на полезном приложении, на формализованной истории болезни. Суть в том, что писанные от руки сведения о больном и болезни заменены напечатанными вариантами текстов, в которых нужно или подчеркивать слова, или представлять цифры. Такая система необходима, чтобы вводить информацию в машину. Но она же оказалась исключительно удобной для заполнения истории: экономит время врача и делает ее — как вам сказать — «прозрачной»: взглянул, и все видишь. Не нужно каракули почерка разбирать. Такими историями, неоднократно подновляемыми, мы пользуемся уже тридцать лет. Есть надежда, что найдутся энтузиасты и создадут «банки данных» из историй болезни. Документация для них готова.

Пропаганду новых форм историй я вел много лет, даже в газете «Медицинский работник» статьи печатал, но успеха не добился. Не созрели наши медики. Испысывают тонны бумаги, тратят зря почти половину своего времени, но не шевелятся...

Жизнь шла и шла... 1969 год. Еще новые люди: Сережа Декуха, Света Списаренко — бактериолог, Наташа Воробьева, Мирослав Шакета.

Год, когда ездил в Аргентину на конгресс хирургов. Очень долго летели, с посадками в Риме, в Рио. Буэнос-Айрес — город как город. Правильная планировка, довольно узкие улицы, машины гоняют, как сумасшедшие. Ждали Барнарда — не при-

ехал. Еще были под впечатлением от пересадки сердца. Но такие операции уже проводились широко. Кули (из Техаса, сподвижник, а потом и конкурент Дебейки) подсадил механическое сердце в ожидании донора. Когда нашли, заменил живым сердцем, но больной умер. Шло обсуждение клапанов: механические или консервированные свиные. Большинство — за металл и резину.

Жили в номере с Борей Королевым, оппонентом на моей защите. Молчаливый человек, гимнастику — на пару — делаем молча, по городу отшагиваем молча... Так и дружим уже тридцать лет с минимумом слов. Но хирург — прирожденный. Ученик Ефима Березова, вовремя обретший самостоятельность.

После конгресса — экскурсия в Чили. Прием у Адьенде, он — врач. Много надежд на социализм и никакого порядка. Ездили вдоль страны — 500 километров. С одной стороны — долина, с другой — снежные вершины.

В Вальпараисо посетили военный госпиталь, видели пациента с пересаженным сердцем. Потрясены. Завидовал.

Что значит целеустремленность! Команда — пять военных врачей: терапевт, три хирурга и анестезиолог. При изрядной практической работе — хирургия на пятьдесят коек, все организовали и сделали. Показания, правда, сомнительные — тяжелый порок трех клапанов. Изоляция от инфекции — прозрачная. Иммунология — от приглашенных спецов. Но больной в порядке. Уже год прошел.

Вот так работают люди... А мы, то есть я, слабаки.

Повторять не хочу. Признаю, что эксперименты необходимы для прогресса хирургии. Но явно переступить через конкретные жизни — не мог.

18

В конце 1969 года меня избрали в Академию наук Украины — отделение физиологии и биохимии — академиком.

И здесь — со второго раза. Опять же: я не просился, предложил президент Патон. Первая попытка была год назад, провалили. На второй раз Патон включился в агитацию, с трудом, но прошли. Оба раза мы выступали с молодым и талантливым физиологом П.Г. Костюком. Потом просочилось, кто из наших академиков голосовал против, но на отношения это не повлияло.

Довольно скоро после избрания академия предложила сменить квартиру. Построили большущий (и уродливый!) дом, и шло великое переселение академиков. Мне досталась квартира в старом доме на улице Ленина, после академика Кавецкого. Совершенно барская квартира: четыре комнаты; мне все время за нее стыдно, когда приходят бедняки. Особенно теперь, — живем вдвоем. Но сил уже нет, чтобы переезжать в меньшую... Библиотека около десяти тысяч книг...

Через год я перешел на зарплату в Институт кибернетики, мечтал о теоретических науках... Который раз! Раньше деньги получал на кафедре или в тубинституте, а чтобы сразу в двух местах — никогда. Хирургия до последних лет оставалась «на общественных началах». (Вот ведь какая подлая человеческая натура: написал это с некоторым тщеславием. Дескать, не мелочился. Где найти грань между честностью и рисовкой?)

Да, забыл написать: меня регулярно переизбирали в Верховный Совет: в 1966, 1970, 1974-м... Это уж точно: без всяких моих хлопот. Работа была все та же: дважды в год по три дня на сессии, еженедельные приемы избирателей, сразу после выборов — большие, потом — иссякают надежды. Я категорически не вмешивался в судебные и сутяжные дела: следствие вести — не по мне. Самое простое — болезни, но обращались редко, значит, здравоохранение было приличное.

Дважды ездил за границу в составе депутатских делегаций: в 1967 году — в Чехословакию, в 1970 году — в Японию. Совершенно показушное дело: никаких серьезных переговоров и тем более решений. В Чехословакии делегацией руководил Пельше, член Политбюро, человек очень скромный и похоже что умный. В Японии — восточный персонаж М. (не назову фамилии, совсем глупая баба; при ней был парень из ЦК, он подсказывал каждое слово). Делегаты были так себе, неинтересные. В Осаке посетили Всемирную выставку — ЭКСПО. Это да, информации много. Но описывать не буду: чудеса эти уже давно устарели. Что еще? Подарки дарили: японский приемник безотказно служит до сих пор.

Однажды выступил на заседании Верховного Совета. Не по своей инициативе — предложили украинские начальники:

— Текст вам министерство даст. Им уже сказано.

На это я не пошел, текст забраковал и написал свой. О недостатках: малы финансы, нет аппаратуры, уравниловка в зарплате...

— Кому показать?

— А не надо показывать. Отдайте только перепечатать.

Вот те на! А говорили — цензура...

Машинистка перепечатала, но секретарь парткома все же прочитал. Почти не сделал замечаний.

Речь произнес. Хлопали. Но когда в «Известиях» напечатали, смягчили до неузнаваемости.

Еще: участвовал в работе Комиссии по здравоохранению. По идее — комиссии необходимы, существуют во всех парламентах. Но у нас, как всегда, только проформа. В году заседали два дня, часа по два. Формально заслушивали отчет министра, проект бюджета и еще какие-нибудь мелочи. Сначала председательствовал Н.Н. Блохин — мой бывший оппонент, потом Н.П. Бехтерева, опять же моя знакомая. Остальных запомнил плохо, кроме Татьяны Владимировны Шлапак, киевского профессора-глазника. С ней мы дружили и даже в театр разок ходили. Больше того — в китайском ресторане были. Вспомнил Маньчжурию 45-го года: китайская пища в Москве была не столь противна.

А между тем дочка школу в шестнадцать лет закончила и поступила в мединститут. Трудностей не было, только ректор попросил разрешение от министерства — из-за молодости. Педант был, покойный приятель Лаврик Семен Семенович.

Но министр В.Д. Братусь разрешил. Дружба с ним длилась лет тридцать, хорошая дружба, и иссякла лишь в последние десять лет. Он считает, что случилось это по моей вине, а я — что по его... Объяснять не буду, но дружбу жаль. Вася Братусь все-таки человек настоящий.

В середине шестидесятых стал много выступать с лекциями, рассчитанными на самую разную аудиторию. Теперь спрос на них упал, а когда-то... Полные аудитории, человек пятьсот — семьсот в зале, билеты у входа спрашивают. Нет, не тенор и тем более — не «поп», билеты стоили 40 копеек. Главный инициатор — общество «Знание», но часто приглашали из самых разных организаций. Платили немного — 40—50 рублей. Для загашника годилось. Были годы, когда я «давал» до сотни лекций! (Куда деньги? На книги и на... благотворительность. Тайную.) Сначала читал только в Киеве, потом «Знание» стало организовывать мои лекции по областным городам. Приезжал на два дня и отчитывал четыре-пять лекций. Особенно любил Одессу: очень публика веселая, зал большой и гостиница («Лон-

донская») хорошая. объездил почти все области Украины. И в Москве подвизался: в лектории при Политехническом музее, в конференц-зале университета, в научных институтах. И в Ленинграде...

Нравилось выступать перед публикой. Прямо артист. «Глаголом жечь сердца людей». Жечь — это, конечно, слишком, но симпатии вызывал. Темы интересные были. Прежде всего — здоровье. Мне уже было скучновато, но все любят слушать, хотя никто не следует советам. Следующая — «О социализме». Или другое название, более научное, — «Оптимальное общество». Помню, пригласили в Дом актера в Москве... Как у них вытянулись лица, когда я о социализме заявил! Читалось в глазах: «Зачем же ты? Сыты по горло!» Но эта лекция была очень хорошая. Примерял к социализму «человеческое лицо». Тогда казалось, что такой возможен. Балансировал на грани дозволенного и даже — за гранью. Артисты остались довольны: угощали чаем и коньяком.

В 1973 году мне собирались «Героя» дать, а я в Донецке лекции проводил и как раз читал обо всем этом. Вернулся, Братусь — министр — пригласил:

— Тебя к Звезде представили, а ты такое несешь... Из Донецкого обкома пришла жалоба. Прошу тебя, подожди до юбилея — до шестидесяти!

У меня было много тем: кибернетические, природа человека, искусственный интеллект, воспитание детей. Читал даже целые циклы о человеке и обществе. Но было время, когда «Знание» разрешало только о здоровье говорить.

Разумеется, от партии меня защищало депутатство: индальгенция на книги и речи. Нет, открытых призывов «к топору» не произносил, преувеличивать не буду.

Некоторые предприятия за такие лекции платили натурой: что-нибудь делали для клиники, помогали.

Однажды пригласили меня в республиканский КГБ.

— Ребята, что с вас взять?

— Ну как же! Арестуют вас, мы по блату в теплую камеру определим... Есть и у нас чем отплатить хорошему человеку!

Хирургия шла первой строкой. Хотя я и занимался своей кибернетикой, но оперировал по-прежнему много, четыре-пять операций в неделю только с АИКом. Легочная хирургия совсем перевелась, ушла в тубинститут. Наш корпус назывался «Клиника грудной хирургии». Кафедра анестезиологии с Трещинс-

ким переехала в другую больницу, но Леонард еще заведовал отделением у нас.

Народ усиленно «остепенялся». Больных, операций (материал!) — много, только обрабатывай и пиши. Таких темпов, как показала Лена Николаевна, не было, но все же шли быстро. Кибернетики тоже не отставали. Формально я руководил всеми, но без большой затраты труда. Давал тему, объем и план работы, по ним требовал показывать тезисы. Готовый текст не проверял, кроме выводов. Проверяли рецензенты перед предварительной защитой.

До 1975 года, когда сильно расширились, защитилось довольно много врачей, точно не помню. Я никогда не ставил клинические научные работы в первый ряд, казались слишком примитивными.

Печатной продукции было маловато. Кибернетики выпустили несколько тоненьких книжечек и две более солидные: «Автоматы и разумные роботы» и «Внутренняя сфера организма». Я там числился в соавторах, но сам ничего не писал: считал достаточным идеи.

В 1970 году умер Борис. Я летал на похороны. Узнал следующее. Стенокардия. Госпиталь. Инфаркт. Лечили, стало лучше. Велели лежать, а он будто бы пошел... Новый сердечный приступ — и смерть.

Трудно судить — сам виноват или врачи. Инфаркт коварен. На приступы жаловался и раньше. Да и что было ждать хорошего при его образе жизни? Жена Надя сетовала: постоянные выпивки... О физкультуре и речи не было.

Годом раньше я хорошо у них погостил. Борис был в отпуске. Новая квартира из трех комнат на Черной речке, как раз напротив места дуэли Пушкина. Была дача по направлению к той самой Дубровке, где был когда-то кочегаром. На даче — огород, рядом речка, лес. Огород ухожен, овощи всякие. Помню Борькин ироничный смешок:

— Надька пашет, как бульдозер!

Дочка Маха училась в институте, но я ее не помню студенткой.

Выпивали с Борисом каждый день. Впервые в то лето я понял, что такое быть пьяным: наутро просыпался — и ничего не мог вспомнить. Это называется — амнезия. До того не верил, когда преступники так оправдываются. Не зря из детства помню: «Пьяный — это когда лежит и не чувствует, как ворона глаза клюет...»

Мою писанину он одобрил. И кибернетику тоже. Социализму мы были преданы, хотя «человеческого лица» жаждали. Перед тем его — это лицо — в Чехословакии наши растоптали.

Да, еще: Борис вдруг начал рисовать, красками. В его комнате не только холсты и фанеры, но и двери изнутри расписаны были. Особого таланта я не обнаружил, но раз нравится — хорошо. Он служил старшим преподавателем на кафедре, на морском факультете Военно-медицинской академии. Докторскую диссертацию писать не собирався. Надя беспокоилась, что прогонят за пьянство. То же говорили и наши моряки-сокурсники из Архангельска.

Именно с ними мы и помянули Бориса.

«Героя» к юбилею мне дали. Торжество устроили в главном зале академии. Начальники приветствовали, Патон речь держал... В «Правде» была заметка.

Забавная история случилась при вручении Звезды. Во время сессии Верховного Совета, после заседания, попросили собраться в некоем служебном зале. Оказалось, для вручения наград. Но — не колхозникам и ударникам, а исключительно номенклатуре. Я там один был из интеллигенции. Вручал Подгорный. Был такой деятель в ЦК хрущевских и брежневских времен, бывший секретарь Украины. Жуткий бездарь.

Порученец приглашал по списку, именинник выходил, Подгорный поздравлял, обнимал, целовал и давал коробочку. Благодарили. Я подумал: «Не дамся целовать!»

И не дался. Он объятья раскрыл, а я увильнул. Сказал одно слово: «Спасибо».

Смешно? Нет — стыдно! «Кукиш в кармане».

19

Катя летом после первого курса возила туристов-англичан по Золотому кольцу в качестве переводчицы. Законно гордилась.

Но на втором курсе возникли неожиданные трудности. Я считал дочку очень спокойной, уравновешенной. И вдруг: нервный срыв, с депрессией. Видимо, она перегрузилась, когда досрочно школу оканчивала, когда англичан возила. Не знаю, девичья психика — потемки, более темная, чем мужская.

Очень забеспокоились. Повез в Москву, к Березовым. У них уже был опыт с собственной дочкой. Сколько лет возили по

психиатрам! Прошло время, нужда заставила стать крепкой — уже пятнадцать лет одна тянет семью.

Авруцкий, самый лучший тогда психиатр, начал лечить Катю психотропными средствами. Жила у Березовых. Я часто наезжал. Литературу прочитал. И скоро убедился: блажь это! Загонят доктора в болезнь.

Забрал домой. Сначала ограничил лекарства, потом прекратил. Трудности были, но Катя выдержала. Собралась. В институте дали отпуск на год. (Два выиграла в школе, один — пригодился!) Пошла к нам работать операционной сестрой. Мне было приятно с ней оперировать, вспоминал Лиду в юности.

Непросто было решиться — отменять лечение. Все были против... Хирургическое решение! Прошел год, и Катя снова включилась в учение. Снова показала класс, словно и не было срыва. Слава Богу, не повторялось... Похвастаю, чтобы уж потом не отвлекаться: профессор, отлично работает. Заведует кафедрой терапии, клиника — триста коек, семь этажей, толстые книги издала, толпа диссертантов... Имеет отличного мужа — хирурга! И даже дочку воспитывает. А заодно и нас с Лидой, родителей. Никак не думал, когда была маленькая, что такой характер прорежется...

В 1971 году в Москве прошел Международный конгресс хирургов, единственный за всю советскую историю. Были секции, заседали в различных залах, у меня тоже был доклад. Приезжали знаменитости — Кули с собакой приехал! Бентала мы с Мишей водили в ресторан. Вишневский построил к тому времени новый — высотный, стеклянный — институт. Был у него в гостях, смотрел операции. Местную анестезию отставили. Оперируют хорошо, но в хирургические лидеры не вышли. А Институт Склифосовского после Юдина совсем зачах.

Петровский блистал: общепризнанный лидер, министр. Скандал со смертью Королева — Главного конструктора-ракетчика — уже забыли. Мне об этом рассказывал Саша Вишневский так: у Сергея Павловича был полип прямой кишки с частыми, но несильными кровотечениями. Заподозрили, а может быть, и подтвердили микроскопически: рак. Петровский — самый-самый кремлевский хирург — взялся оперировать. У него, конечно, высший класс, этого не отберешь, но не по прямой кишке. Были «узкие» специалисты. Так нет, хотелось самому. Обычная самоуверенность хирургов. Взялся оперировать под местным обезболиванием и даже не пригласил анестезиолога. Опе-

рация предполагалась легкая, так нет, началось кровотечение, да еще какое! Упало кровяное давление. Тампонировал. Вызвали анестезиолога, дали масочный наркоз. Зачем-то потребовал пригласить Вишневого. Развился шок, в общем, больного со стола не сняли...

Может, дело было не совсем так. Вишневецкий терпеть не мог Петровского. Потом узнавал у других, но завеса секретности была плотная, правды не узнать.

Комментарий: я столько оперировал, столько раз ошибался, что не могу бросить камень в хирурга. Однако после Брянска, где не было страховки опытных коллег и приходилось всех оперировать, чтобы как-то спасти, никогда не брался за «чужие» операции, когда можно было передать более опытному специалисту.

За время конгресса много виделся с Аркашей. Они переехали на другую квартиру, соединились с семьей Татьяны, сестры Анны. Ирина, племянница, с которой мы на Восток ездили, уже была замужем, сын — студент. Аркаша давно генерал, в морской форме, очень вальяжный, но для меня, после смерти Бориса, самый милый друг. Работал главным хирургом генеральского госпиталя, перезнакомился с высшими чинами военного времени (Жуков и др.). Вели разговоры о политике... Убеждения? Критиковали вождя: «Бровеносец в потемках». Но... он был умеренный «протестант», Аркаша! Дитя системы.

После конгресса хирурги-иностранцы ездили туристами по стране. Были и у нас. И мы прием устраивали... Случился и маленький скандалчик: они, хирурги, оказались активные христиане, стали раздавать в гостинице литературу. Власти острожно пресекали.

А через год умер Аркаша. Когда-то у него был инфаркт, расширенная аорта, а теперь она расслоилась, прорвалась, и спасти его уже не смогли. Несомненно, что это не моментально возникло, операции при аневризмах уже были хорошо разработаны, но — не в Союзе. У нас умирал каждый третий-четвертый, и терапевты боялись давать больных хирургам.

Гроб стоял в Доме Красной Армии. Было много венков от военных: он же прослужил больше тридцати лет... Поминки. В комнате, где столько раз сидели с ним, теперь большое застолье. Были и мои знакомые, но в основном все чужие, много военных медиков. Я выпил умеренно — боялся, что расплывусь...

Дружбу с этим домом поддерживаем до сих пор. Пока ездил в Москву, навещал, теперь — все новости по телефону.

В 1973 году ездил в Штаты в компании кибернетиков (самый крупный — Ершов, академик) на конгресс по искусственному интеллекту. Заседали в Стенфордском университете, это южнее Сан-Франциско. Жили в комнатах общежития. Знакомился с «кампусом», университетским городком. Этот стандарт пришел в Америку из Англии, от Оксфорда и Кембриджа.

Стенфорд очень знаменит. Даже по хирургии: там работал Шумвей, тот, который разработал пересадку сердца, но пропустил вперед Барнарда. Видел эту клинику, а зайти постеснялся: много таких ходит...

Школа ученых по искусственному интеллекту — мировой класс. Мы попросились посмотреть, пригласили... на десять вечера. Здесь увидели настоящую работу. В лабораториях стоят раскладушки — с понедельника по пятницу даже домой редко ходят. Потом своим рассказывал: «Вот почему капитализм побеждает».

На этот раз я ездил без доклада... Втайне надеялся, что кто-нибудь вспомнит мой бенефис семилетней давности. Никто не вспомнил.

Забегая вперед, скажу, что спустя два года такая же конференция состоялась в Тбилиси. Там мы докладывали о нашей «кибернетической тележке» и имели успех.

Ах, что говорить! Сплошная досада. Многим показывали, многие интересовались, хвалили, но до ума так мы и не довели.

Кибернетики в Стенфорде уверенно обещали через 20—30 лет довести ИИ до человеческого уровня. Сроки прошли, а до ИИ по-прежнему как до неба...

Хирурги в этом плане были более надежны, хотя тоже ошиблись в сроках. В 1967 году в Бетезде, в Институте здоровья, в котором до того мы были с Петром Андреевичем, меня познакомили с руководителем программы по созданию протеза сердца. Молодой доктор обещал создать его за десять лет. Для начала понадобилось двадцать лет (когда поставили первое механическое сердце), и еще через двадцать — довели до определенного результата: протезы уже работают до года. Даже в Москве вшили механическое сердце. Обидно за Киев.

Тогда же в другой лаборатории показали компьютерную сеть, предшественницу «Интернета». Группа ученых США имела постоянную компьютерную связь и вместе работала над проблемами.

— Утром встаю, включаю, а там уже письма от коллег — что они сделали, что бы хотели знать. Отвечаю, и так беседуем. Вместе работаем над проблемой, оставаясь за 3000 миль друг от друга.

Чувство собственной неполноценности не покидает меня всю жизнь. Смешными кажутся «ура-патриоты», толкующие о величии наших народов, будь то русский или украинский...

20

1974 год. Клиника работала в обычном темпе. С АИКом уже оперировали Кнышов, Зиньковский, Ситар. Ничего принципиально нового не освоили: те же тетрады Фалло, клапаны. Все попытки делать операции на самых маленьких детях заканчивались неудачно. В Москве было лучше, но ненамного. Там работали отличные хирурги — по маленьким: Гоша Фальковский, Мискашвили. Но новорожденные и у них «не шли». Эта проблема очень важная: из числа родившихся с пороками сердца умирает в возрасте до года почти половина. Их можно спасти, если уметь.

Почти весь год я писал воспоминания о войне, рассчитывал, что напечатают к тридцатилетию Победы. (Да, напечатали.) Писалось нетрудно — были источники: «Книга записей хирурга». В ней был каркас, остальное добывал из памяти.

В июне 1974 года была встреча с однокурсниками. Тридцать пять лет прошло, как институт окончили. Поехал и я. Первый раз был в Архангельске после бегства от аспирантуры и Гали.

Прилетел, аэродром далеко — «на мхах». Приехал на автобусе и пошел в институт, так и было сказано в приглашении, которое получил от инициативной группы. Номер в гостинице, а напротив — Галя! Девушки (бывшие девушки) нарочно подгадали.

Встретились... даже не знаю, как определить. Очень знакомое и уже — чужое. Прошло еще шестнадцать лет, как виделись наскоро тогда, в Ленинграде. За это время ничего о ней не слышал.

Выглядела... ничего. Не толстая, подмазанная. Даже еще красивая.

Программа большая. Обед в ресторане, встреча со студентами в институте, речь. Прогулка на катере в устье Двины. Визиты к Георгию Андреевичу Орлову, с которым завели дружбу во время поездок на конгрессы.

Все выполнялось, и даже — сверх.

Ресторан — в первый же вечер. Приехало примерно четверть выпускников. С разных концов, но больше — местные, северные: Архангельск, Вологда, Ленинград. Объятия, поцелуи, восклицания, расспросы, обмены адресами, фотографиями. Все как положено. Собрались одни женщины (хотелось написать «одни девки»). Мужчины в свое время ушли в моряки, многие погибли, другие на Дальнем Востоке. Сейчас представлены только двое. Не из числа моих друзей. Да и вообще мало я дружил со своими однокурсниками, был старше да и женат. Лучший друг — Борис, учился на курс моложе.

Архангельские выглядели хорошо. Хотя город жил очень голодно — в магазинах, кроме хамсы, не было ничего «животного», в ресторане еду сделали достойную: «по благу».

Была и Леля Гром. Мужа уже нет, взрослый сын — врач. Худая и старая. Но в разговорах — какая была. За журналами следит.

После ресторана всей компанией пошли на набережную Двины. Архангельская июньская белая ночь. Широченная река. Стоят морские корабли, как зачарованные. Листочки на набережной нежные-нежные. Город изменился. Целые улицы, где раньше стояли деревянные дома, застроились заново. Оказывается, в 41-м выгорели, когда были бомбежки. Напротив института высится многоэтажный конторский дом... Деревянные мостки на боковых улицах еще кое-где остались, больше — асфальт. И все же неухоженный город! И какой бедный по сравнению с Киевом.

Плохо живет великий русский народ.

Мы с Галей отделились, она взяла меня под руку: тем особым жестом, как в молодости. Боже мой! Сколько лет пролетело. Прошли по улице Карла Маркса к своему общежитию: дом стоит, почернел. Одна женщина во дворе даже узнала нас:

— Ваша доска для черчения цела! Я ее приспособила вместо стола.

В гостиницу вернулись за полночь. Разошлись по комнатам.

На следующее утро Орлов и ректор института катали всех на катере. Так далеко завозили, где я и не бывал до того.

Георгий Андреевич Орлов — человек замечательный. Живет холостяком, его жена, наша бывшая студентка, погибла в бомбежку. Сын вырос и уехал в Ленинград, сейчас уже доцент. Сам два года жил в Бирме, был советником. Рассказывал о буд-

дизме. Взгляды — как у всех интеллигентов: социализм, но свободы бы, хоть чуть-чуть.

Потом я еще дважды прилетал в Архангельск: в 1983 году — на пятидесятилетие института и в 1989-м — на последнюю встречу. Вот так это было. Юбилейное торжество проводили в театре, «первый» речь говорил. Все — по трафарету. Мне тоже пришлось сказать: самый знатный выпускник. На встречу спустя полвека приехало человек пятнадцать. Программа была та же и город все такой же — голодный и бедный. Но врачи взяток и подарков не берут. Не как московские или киевские. Живут бедно. Социалисты.

21

Вопрос о новом здании для нашей клиники встал еще в 1963 году. Шло — от ЦК, секретаря О. Иващенко... Тогда уже начинали проектировать. После взрыва камеры у меня был комплекс вины, начальство тоже выжидало. Потом травма стала забываться, тем более что завод строил большие камеры и операционный корпус. Во всем мире сердечная хирургия бурно развивалась, а наши цифры операций, в Союзе и конкретно на Украине, были просто жалкими. Тем более что Геннадий Кнышов съездил в Штаты, подучился коронарному шунтированию, и можно было ждать потока пациентов.

Я сам большой активности не проявлял. После выборов в академию как-то больше на кибернетику посматривал.

Но дело уже шло само собой. Проектировщики начертили шестиэтажный корпус. Четыре этажа — палаты, один — реанимация, первый этаж — поликлиника и лаборатории. В боковом крыле: на втором этаже — восемь операционных, на первом — администрация и конференц-зал. В старом здании расширили помещение для рентгена — Юре Паничкину.

Для соединения старого здания и нового корпуса я предложил систему воздушных переходов. Получилось хорошо. Одновременно начали строить в городе общежитие для сестер. Внутренний дом построили за три года.

Мамолат с Минздравом заложили новые штаты — на триста пятьдесят коек. Из мединститута получили двадцать выпускников. К сожалению, осталось на сегодня всего несколько. Один из них — Максименко Виталий Борисович. Доктор наук, заместитель Кнышова. И мой друг.

Одновременно из медучилища пришло много сестер.

«Великое переселение народов» с большим авралом состоялось 25 октября 1975 года. Молодые врачи работали до седьмого пота: нужно было перевести сто пятьдесят больных на новые места со всем их хозяйством... Операции останавливались всего на пару дней: нельзя терять темп!

Клиника обрела новое дыхание. Это было уже четвертое, если считать от первых двадцати коек 1952 года. Пятьдесят коек мы получили в 1955 году, сто пятьдесят — в 1957 году. Теперь — триста пятьдесят, и даже с надеждой на новое расширение, как только для сестер общежитие достроим.

Требовалась большая административная работа. Я отложил кибернетику в сторону.

Была произведена смена власти в отделениях: назначены новые заведующие. Такая процедура обычно переносится с болью, тем более что и прежние «завы» были еще далеко не пенсионеры. Но у нас — свой климат: уступили без слов. Анна и Костя остались «старшими научными», писать истории болезни их не заставляли, оперировали по выбору. Костя постепенно переключился на вшивание электростимуляторов (ЭКСов), но это будет позднее.

Шестой этаж получил Леня Ситар (нет, теперь уже Леонид Лукич!). Пятый — Геңа Кнышов. (О! Он уже десять лет директор, и даже я зову его Геннадий Васильевич. Но только — прилюдно.)

На четвертый этаж назначили Мишу Зиньковского — Михаила Францевича. Третьему не повезло. Он предназначался для самых маленьких ребятешек, до трех лет, и был отдан Саше Спасокукоцкому, очень дальнему родственнику знаменитого хирурга Сергея Ивановича. Саша с делом не справился и вскоре уехал в Луганск заведовать кафедрой... Судьба его печальна: умер в 1990 году. После него был еще один Саша, Валько, и тоже работа не заладилась, ушел. Теперь там командуют молодые и талантливые Вася Лазаришинец и Илья Емец. Я их не зря именую талантами: именно они продвинулись с операциями врожденных пороках сердца, а также сделали прорыв в кардиохирургии младенческого возраста.

Но это произошло почти через двадцать лет после того переселения!

Реанимацией тогда заведовал Юрий Яковлевич Зайковский.

Важнейшая служба — ИК: искусственное кровообращение.

Раннюю историю я уже описал. Розана Давыдовна Габович была бессменным главным работником, пока не вышла на пенсию и не уехала в Германию.

Но помощники у нее и начальники над ней менялись. Дольше всех и активнее — Виталий (для меня — Витя) Максименко.

Боже мой! Сколько адреналина выделилось у меня при операциях со всеми этими «кадрами» — хирургами-ассистентами, анестезиологами, «аиковцами»... Впрочем, и у них тоже.

Подтвердили прежний регламент работы клиники. Список дежурных — на доске. Ровно в 9.00 — утренняя конференция с докладами дежурных врачей, сообщениями о вчерашних операциях и обсуждением предстоящих (на сегодня). Патологоанатом докладывает о вскрытиях, идет обсуждение. Заканчивается все моими накатками и разносами. Они оспариваются, иногда довольно резко. Это у нас допускается. Все вместе занимает около часа.

Потом следует мой обход реанимации. Затем — сами операции. Конец рабочего дня не определен: кто раньше управится, может уходить.

Операции и исходы фиксируются в таблицу. За каждый месяц — отчет. Конец года — целая итоговая кампания: доклады заведующих отделениями и лабораториями. И мой — главный...

Такой порядок Геннадий сохранил до сих пор...

Освоение нового здания, как и притирка персонала, требовало много времени.

И в первую же зиму случилось чепе: вспышка инфекции.

Это была драма не меньшая, чем взрыв в камере, хотя и не столь заметная. Послеоперационные раны у больных после АИКа всегда нагнаивались, примерно у каждого пятого — седьмого. Боролись за асептику, но победить инфекцию не могли: очень много «ворот инфекции», да и иммунитет ослабляется. Нагноения лечили, и почти все больные поправлялись. Плохо, но терпимо: «издержки производства».

Но тут началось другое: у больных с клапанами рана не расходится, однако повышается температура, потрясающие ознобы — и через семь — десять дней смерть. Диагноз: сепсис, в просторечии — общее заражение. В посевах крови — различные микробы, чаще стафилококк. Я брал больного на стол, подключали АИК, открывали сердце, находил на протезе клапана и около него омертвевшие массы, сгустки, прорезавшиеся швы, клапан болтается... Ужасная картина! Убирал плохие ткани и вшивал новый клапан. Операция во много раз тяжелее первой,

да и инфекцию убрать невозможно. Каждый второй больной погибал.

Заведующим операционными был Юзеф Когосов, наш старый кадр, с 1956 года. Уже доктор наук. Когда умерло четверо больных за каких-нибудь две недели, моя злость дошла до высшей точки. Накинулся на Юзефа:

— Ты, такой-сякой, не следишь за асептикой! Уходи из клиники!

Никого я так не выгонял, ни до, ни после. Мамолат перевел Юзефа в туберкулезный сектор, он же был изначально легочный хирург. Но оскорбление от меня Юзеф переживал до самого отъезда, то есть до января 1998 года.

То же и я: чувство вины не покидает. Тем более, что прогнал его зря. Много раз я приносил Юзефу публичные извинения. Но вернуться не приглашал. Он был из того поколения, которое уже уходило и для сердечной хирургии опоздало.

Сепсис косил «клапанщиков» около двух месяцев. Умерло десять человек, пятнадцати я заменил клапаны, но из них спаслось только шестеро.

Светлана Списаренко, наш бактериолог, отличный специалист, провела исследование микрофлоры всех возможных источников инфекции. И вот сюрприз: операционная была почти реабилитирована. Микробы попадали прямо в кровь из капельниц в реанимации, а источником были руки сестер. То есть от элементарной грязи... Система профилактики, принятая на Западе, была нам известна, но только теоретически. Принцип ее прост: все, что соприкасается с обнаженными тканями и кровью, должно быть «одноразовым» — раз использовал и выбрось. Повторные обезвреживания от микробов — ненадежны. Тем более, когда дело касается резины и пластика — в автоклаве их не прожаришь, приходится пользоваться химией.

Да, нам это было известно... Но сколько же всего нужно! Перчаток, капельниц, трубочек, шприцев, чтобы выбрасывать после одного использования. Денег для этого у нас было в десятки раз меньше... Выход только один: химия плюс дисциплина. Дезинфицирующие растворы достаточно сильны, нужно только работать в перчатках и поминутно мыть их в тазиках... Разумеется, это сочетается с обязательными переодеваниями, бахилами на ноги, влажными уборками.

Инфекция была остановлена. Но все последующие годы вспыхивала снова, как только ослабевала дисциплина. «Бои ме-

стного значения» должны вестись непрерывно. У нас и теперь еще нет денег, чтобы все было одноразовое.

Вспоминаю свои впечатления от Запада: с жадностью смотрел на контейнеры с перчатками, трубками, шприцами, капельницами, резервуарами от АИКов, которые санитарки вывозили «на выброс» после каждой операции:

— Вот бы нам это добро!

Вымыли бы, протерли, простерилизовали... Первые трубки для АИКа, которые покупал на свои деньги в Мексике и в Европе, служили до полного почернения.

Вот что значит — социализм! На Западе ни с чем подобным не сталкиваются уже почти сто лет...

22

1976 год. Шло освоение нового здания.

Нужно увеличить количество операций. Очереди на госпитализацию нет, значит, недостаточно пациентов.

Провели «мероприятие» (любимое советское слово): Составили обращение к районным терапевтам, напечатали несколько сот экземпляров, разослали по всем районам и даже — в близлежащие области России и в Молдавию: «Клиника сердечной хирургии принимает на консультацию больных с пороками и ишемической болезнью сердца. Без всяких запросов и без обследования, по направлению любого врача... При необходимости операции обеспечена немедленная госпитализация...»

Где вы такое встречали в «советской действительности»? Бюрократической: «держать и не пущать». Не скажу, что больные хлынули, но поток увеличился.

Новые заведующие отделениями «остепенились»: в Москве прошли докторские защиты Зиньковского и Кнышова. Нормально прошли, в институте Бакулева к нам хорошо относились.

1977 год. Поездка в США. Кардиохирургия попала когда-то в соглашение «Никсон—Брежнев». Это предоставило возможность врачам встречаться, обмениваться опытом. Мы им, конечно, ничего предложить не могли, а для нас — польза. Первая такая встреча прошла в 1975 году в Москве. Мы тогда и поили, и кормили, операции показывали, в театр водили, сорочки вышитые дарили... Теперь — и мы едем.

Хорошая компания: Бураковский, Константинов, Бухарин, кто-то из Латвии, молодой хирург из Тарту (фамилии не по-

мню). Ребята начали пить прямо в самолете, да и потом не просыхали всю поездку. Впрочем, «пей, да дело разумеи». Они — разумели. Я тоже участвовал, с учетом разницы в возрасте и в весовой категории.

Самое интересное ожидало нас в Южной Каролине — такой себе маленький городок Бирмингем, но с первоклассной хирургией: там работал институт Дюка, табачного короля. «Изюминка» — клиника Кирклина. И сам Кирклин. Я его помню по первой поездке в Штаты с Куприяновым. Он не постарел и оперирует столь же блестяще. Гвоздь нового опыта: кардиолегия — остановка сердца химией. Собственно, с нее когда-то и начинали (операция в Мексике). Потом бросили и теперь вернулись снова. Сердце останавливается на полчаса, и оперировать удобно. Кирклин работает в специальных очках. Стоят дорого... не для меня. Смотрели несколько операций, я даже ассистировал, чтобы лучше все разглядеть.

Эх! Что там говорить... Мы — деревня...

В реанимации больных ведут сестры. Знают, наверное, много больше наших врачей. Сам Кирклин каждый вечер приезжает в клинику... Показали больного, который семь дней был на контрапульсации — это вспомогательное кровообращение, аппарат подключен через бедренные сосуды, когда свое сердце «не тянет» после остановки АИКа.

Ходили в гости к коллегам. Один профессор рассказывал, как он три месяца изучал китайскую медицину — иглоукалывание и прочее. Сказал, что она годится для нищей страны, когда нет денег на настоящую... Я-то и не сомневался, что это так.

Конференция проходила в Бетезде — почти дипломатический ритуал, с представительством от госдепартамента. Разве что знамена не выставляли... Пришлось и мне докладывать о тетрадах Фалло. Говорить было не так чтобы очень стыдно: больных прооперировано более полутысячи и результаты получились приличные, по-честному. Это потому, что не брали самых маленьких.

В Вашингтоне посетили Белый дом. Туда запросто, раз в неделю, всех желающих пускают (конечно, кроме личных апартаментов президента). И народ не так чтоб уж ломится, ходят маленькими группками, смотрят что хотят, в каждой комнате есть гид, он и отвечает на вопросы.

Банкет тоже был. Не лучше нашего.

Со старым знакомым Бенсоном утром встретились на беговой

дорожке в парке около Института здоровья, при котором проходила конференция.

Про другие клиники и города писать не буду: ничего не поразило. В Нью-Йорке накупил полчемодана английских книг для Кати и для себя.

Вернулся и окунулся в рутину. Впрочем, нет: стали осваивать кардиоплегию. Вася Урсуленко приступил к опытам с контрапульсацией. Аппаратик — «худенький», советский. Диссертацию Вася написал, но на больных так и не испробовали...

Лена Николаевна вышла замуж!

Да-да, в пятьдесят два года нашла мужа, да еще какого — генерал-лейтенанта... Будто была у них когда-то прежде любовь, Впрочем, никто толком и не знает. Стало только известно, что уезжает с мужем в Калинин. Будет в мединституте заведовать кафедрой госпитальной хирургии, а генерал — начальник Высшего военного училища.

Проводы устроили в столовой института. Не очень пышное застолье и не очень трогательные речи, но все важное было сказано. Несомненно, Лена внесла свой вклад в развитие клиники. Руководила диссертациями, замещала меня по администрации, удачно подбирала врачей. Подарками не позорилась.

Да, все ей отдавали должное...

Но... теплоты после себя не оставила. Слез при расставании не проливали.

Год 1977-й закончили с увеличением числа операций, но без существенного улучшения результатов. Драма с инфекцией еще висела над клиникой. Строгости в отношении асептики в реанимации отработали, новых вспышек не было, но страх все же остался.

Моя личная хирургия? Ничего хорошего: много сложнейших операций — повторных протезирований клапанов, тетрад после облегчающих операций. Делал по две и даже по три АИКа, выходил из операционной чуть живой... Все хотел догнать Фортуны.

И не смог. Комплексовал.

В конце марта произошло важное событие: Катя вышла замуж. Описывать не буду: она взрослая, и кто ее знает, понравится ли мое «вмешательство в ее личную жизнь». Скажу только, что муж ее — Володя Мишалов, студент с их курса, приятный, скромный, учился хорошо... Оба они уже почти врачи — через три месяца заканчивают. Решено, что будут жить отдельно: снимем квартиру. Для компании нам остается племянница Лиды — Ирина, ей еще три года учиться...

Умерла Чари. Не тревожьтесь: она — всего лишь собака. Для посторонних — собака, для нас — близкий друг.

Видел, что очень тяжела, задыхается, но все равно не верил в смерть. Не может большая, сильная собака так быстро умереть.

Мало ли бывает пневмоний после операций? Но антибиотики спасают.

Ох, эти хрипящие вдохи! Хочется дышать за нее самому.

И вдруг — следующего вдоха не последовало. Жду мгновение. Замер. Мысль: полегчало, переключается на спокойный ритм. Нет, пауза слишком длинна. Потом один короткий, поверхностный вдох — и снова пауза. И не заканчивается...

Бросился к ней, начал искусственное дыхание — сжимал грудь, остановился, приник ухом — сердце молчит. Сделал несколько толчков на область сердца — массаж. Нет ответа. Знаю — бесполезно. Привычка хирурга оценивать трезво: «Не оживить, не тот случай».

Ладонь еще осталась на груди, ощущает теплую шерсть, обоняние ловит знакомый запах... Не верится. В подсознании мольба: «Вздохни, ну вздохни же!» Нет. Время 15.30. Умерла.

Надо будить Лиду, сказать ей. Нет, сначала нужно придать Чари позу смерти, пока не окоченела. Закрыв глаза. (Как быстро они теряют блеск!) Подвязал бинтом челюсть, чтобы скрыть мучительный оскал, пригнул голову к груди, согнул и притянул к туловищу передние и задние лапы, зафиксировал бинтом. Получилась поза, которую она обычно принимала во сне. Так она и должна заоченеть. «Трупное окоченение, rigor mortis».

Вот и закончилось все. Пять дней страданий. Восемь лет счастливой собачьей жизни.

Трудным был этот ее последний вечер дома. Разбудил Лиду — подхватила, ничего не понимая: проспала всего час после бессонной ночи.

— Что?! Что?!

— Чари умерла.

Кинулась в комнату к собаке, замерла над ней. Слезы без рыданий, без звуков. Без упреков: «недосмотрел».

Потом приехала Катя, наша взрослая дочь. Вернулась из института племянница Ира. Обе плакали.

Чари медленно остывала и коченела. Прикосновение к ней

стало уже неприятным. Мертвое тело. А если смотреть со стороны, то спит и спит. Такая естественная поза. Шерсть на собачьей морде скрывает цвет и выражение смерти.

Нужно готовить ее к похоронам. Принесли простыню, расстелили рядом на диване. Я перенес тяжелое, уже негнушееся тело. Женщины тщательно зашили. Аккуратный белый кокон.

Давно я не плакал. Может быть, и слез уже нет? Но подбородок и губы начинают изредка дрожать. Я сам во всем виноват. Близкие не упрекают, но все знают — ты. И я знаю лучше всех.

Нет, нужно двигаться, нельзя останавливаться, думать, вспоминать, пока этот белый сверток, что лежит на диване, еще являет собой очертания тела. В коридоре стоит картонный ящик из-под телевизора — выбросить боялся, вдруг сломается аппарат? Теперь как раз кстати.

Часа два я мудрил с ним на полу, конструировал гроб.

А Чари жила со мной рядом, все время я ее видел тут. Она была очень любопытна, и когда я мастерил, обязательно крутилась возле меня, а потом, если дело затягивалось, ложилась тут же, норовя коснуться меня спиной или мордой.

Она умерла после моей операции. Не сумел.

Наверное, многие, кто прочитают это, осудят. «Сентиментальный старик, столько людей отправил на тот свет, а тут разнюнился над собакой!» Это не так. Смерть только обострила чувства. Над мертвой собакой я плачу о людях, о детях, что умирают после операций... В том числе и от моих.

Представляю картины...

Вот родители последний раз одевают дома дочку, чтобы везти ее в клинику. Хлопочут, боятся что-нибудь забыть. А внутри у матери, у отца все напряглось, застыло... Выбирают любимую игрушку: «Нет, детка, нельзя брать много, возьми одно что-нибудь...» Вот уже пришла машина, нужно уходить. Последний взгляд на комнату, где в каждой вещи — она, дочь, ребенок. «Пусть все остается как есть, она вернется — и жизнь продолжится с этого момента. Но уже счастливая жизнь, без порока сердца, что висел с рождения постоянной угрозой смерти... Все будет хорошо!»

Доктор предупреждал, что операция опасная, но это он так, для перестраховки. Когда были на консультации, видели много здоровых детишек, проходивших проверку после операции. «Все будет хорошо».

Потом три дня ходили около клиники, заглядывая в окна, — вон там, на третьем этаже, второе окно, там наша дочка, может, выглянет. Подбадривали себя: «Все будет хорошо... Золотые руки у хирурга...» В день операции с утра сидели в комнате для ожидающих, гадали по выражению лиц проходящих и сестер, ловили каждое слово «оттуда»...

Сорок лет я вижу эти взгляды. Привыкнуть к ним невозможно...

Потом они возвращались домой... Одни. «Операция прошла неудачно...»

Потом привезли ее в гробу. Сидели около, двигались по квартире, кто-то приходил и уходил... и все время слышался ее голос, вопросы, восклицания, чувствовалось прикосновение ее рук, мелькало красное платице...

Я понимаю, собака — всего лишь собака. Она умерла («сдохла» — есть же такое слово о чувствующем и любящем существе), можно взять другую. Она заменит. Но тень и голос ребенка годами будут наполнять квартиру... И напоминать о хирурге тоже.

Ящик готов. Чари уложена. Перевязал веревкой, чтобы нести.

Прибрана комната. Молчаливые поминки.

На следующий день закопали в дальнем углу сада, у забора. Голова жестоко болела. Не оперировал.

Осталось немного сказать о Чари. Но это — самое горькое: «история болезни», как говорят врачи.

Лида взяла собаку для себя при нашем с дочкой неодобрении.

— Бери, если хочешь, но нам с ней возиться некогда.

— Ладно, буду сама.

Удивлялся про себя: зачем ей? Прожили до того почти тридцать лет, и не было разговоров ни о какой живности. Она — врач, прислуги не было никогда, хозяйство. Времени всегда не хватало.

Теперь, через восемь лет, понимаю: тоска по душевной теплоте. Дочь выросла, муж занят своей хирургией и идеями.

Как-то в начале мая привела изящную молоденькую барышню. Именно так можно определить доberman-пинчера женского пола в возрасте семи месяцев. Очень они красивы.

Жена прочитала книжки, собрала информацию — надо гулять два часа, правильно кормить. Все соблюдала — отрывала время от сна. Одна.

Не скажу, что я так уж сразу растаял. Собака как собака. По

молодости, бывало, намочит на полу, но быстро всему научилась. Сгрызла только одну пару обуви.

Лишь с августа я стал с ней гулять — когда Лида бывала занята. Так мы познакомились поближе: взрывной характер!

К осени уже сошлись короче, ко мне перешли утренние прогулки и часть вечерних. Из-за нее я стал бегать, чтобы рационально использовать время. Польза.

Красивая была собака, поджарая, собранная. Ни разу не болела.

Лида пыталась ее водить «на учење», но ничего не получилось: «сидеть», «лежать», «стоять», «место» — знала, но выполняла, только когда считала нужным. Разумная!

Мы не хотели щенят. Боялись большой возни. Это была первая ошибка. Нет, не ошибка — эгоизм. С природой не следует шутить. Но это я понял только теперь. В общем, я недосмотрел, и она согрешила. Думали, обойдется, но через три недели стали набухать соски. Тревожились: пожилая — и первые роды. У женщин в таких случаях бывают трудности. Звонил ветеринару, акушеру в сельхозакадемию. Он успокоил: «Ничего, родит! А нет — поможем». И мы успокоились.

23 февраля в институте должно было быть заседание, в три часа.

В одиннадцать Лида звонит: «Роды начались, приезжай срочно». Помчался на такси. Но собака спокойно лежала на подстилке. (На чистой белой подстилке — хозяйка ведь бывший хирург!) Только шумно дышала.

Далее у меня подробно все записано, но пусть останется в черновике: я знаю, как тягостно читать жалостливые подробности о страданиях детей и животных. Чари не смогла родить. Родовые схватки были слабые, и через сутки я ее оперировал дома. Нужно бы отправить в лечебницу, но боялись, что наша избалованная собака не вынесет незнакомой обстановки. Попросить акушера приехать домой постеснялся. Скажут: «Блажь!» А может быть — просто самонадеянность? В свое время оперировал на собаках, даже пересадку сердца делал, а тут — подумаешь, живот разрезать, вынуть щенков...

Все было сделано как надо, кроме... Опытный анестезиолог не смогла ввести трубку в трахею, когда Чари уже была парализована релаксантами. Несколько минут она не дышала, пока сам не вмешался. Эти минуты и стали роковыми. Сделали операцию, щенки были мертвые, казалось, что собака нормально

проснулась, все были рады. Лида даже стол накрыла. Ночь бессонная, как и полагалось, а наутро выяснилось, что Чари не может глотать, не может встать... Видимо, кислородное голодание во время задержки с дыханием сказалось на мозге. Было очень досадно, потому что такой сложный наркоз через трубку в трахею совсем не нужен, но анестезиолог привыкла к нему при грудных операциях, а я побоялся вмешиваться. У людей такие мозговые осложнения чаще проходят благополучно, а тут — нет.

Мы провели тяжелые бессонные четверо суток рядом со своей любимицей. Она была очень беспокойна, все порывалась встать и не могла, валилась на бок и только жалобно смотрела и дышала тяжело, со свистом. Развилась пневмония. Лечили антибиотиками. Не помогло.

В каждом углу квартиры и на улице виделась она мне в разных позах...

«Мы любим не собаку, а собак. Поэтому, когда умрет любимая, скорее берите другую» — эту фразу я прочитал у одного автора. Всем знакомым было заказано искать щенка добермана женского пола. Через неделю уже была Чари-вторая, месяц от роду. Мы очень ее любим, но первую забыть не можем. Ее фотография лежит у меня на столе под стеклом.

24

Больше ничего запоминающегося в 1979 году не произошло. То есть у меня есть разрозненные записи в дневнике, но там одни неприятности и смерти — переписывать не хочется. Скажу разве что об одном событии: закончился мой срок в Верховном Совете. Предстояли перевыборы, меня это не беспокоило, сколько можно? И оказалось, что довольно. Приехал в клинику первый секретарь обкома Ботвин и извиняющимся тоном сказал примерно так:

— Народ вас очень благодарит. Но нужно дать поработать и другим.

Что мне отвечать?

— Да-да, давно уже пора переизбрать, семнадцать лет... — Хотел сказать «служу народу», но — устоял от банальности. Хотя по-честному служил.

А может, вред ему принес? Что голосовал? Может, и так. Не сопротивлялся — значит, одобрял политику. В том числе и танки в Праге. Хотя что-то не припоминаю, спрашивал ли Вер-

ховный Совет по этой части. Чудак — а если бы спросили? Проголосовал бы против?

В общем, обрадовался, что отстали наконец.

Еще одно событие — для самоутверждения и для пользы людям. Вышла книга «Раздумья о здоровье». Много лекций прочитал на эту тему. Людмила Даниловна Антонюк — мой редактор «Мыслей» в «Молодой гвардии» — попросила выступить в издательстве, а потом и «Раздумья» написать. Сделал это быстро. Напечатали в «Науке и жизни». Затем в журнале «Физкультура и спорт». Скоро вышла и отдельным изданием. Набрался тираж под шесть миллионов.

Огромная была почта! Без преувеличения — мешок писем. Точнее — бумажный мешок, которым почта пользуется. Конечно, читать я их не читал, немислимо при моей жизни.

С 1980 года регулярно вел дневник. Самые интересные мысли вошли в «Книгу о счастье и несчастьях». Она издавалась несколько раз. Счастья в ней — маловато, зато историй болезни и покойников — сверх меры. Не хочу пересказывать...

В 1980 году сделали 2100 операций, 611 — с АИКом.

Перелистнем календарь на 1981 год.

«Продолжение следует»... Все то же: операции, осложнения, смерти. Волны: то лучше, то хуже. Мучают мозговые осложнения, даже прозвали «наш синдром». Это значит — больной после АИКа еле-еле просыпается, но через несколько часов снова «загружает» и уже окончательно теряет сознание. Не знаем — отчего. Наркоз? Попадание воздуха из АИКа? Из сердца, когда запускаем его в работу? Причем одинаково у всех хирургов.

Зимой умер Юлик Березов. Приезжал на похороны: его кремировали. Осталась Марго в тяжелом положении: двое маленьких внуков, ненадежный муж у Наташи, пенсия ничтожная. На поминках были друзья. Не верилось в смерть, казалось, вот сейчас Юлик придет и будет заправлять компанией...

Тут же вскоре умерла Наталья Федоровна в Ярославле. Ездил на похороны. Сестра Маруся — в страшном горе: с теткой они прожили вместе почти полвека. Всё смерти и смерти...

В середине лета — событие: Лида купила дачу.

Да-да... Купила. Приобретаем профессорский жирок. Мне дача не нужна, природы достаточно, когда с Чари ходим в Ботанический сад, благо, он рядом. К земле уж точно не тянет.

Но не сопротивлялся. Володя тещу поддерживал.

Как искали, где смотрели — не касался. Денег было доста-

точно: жили скромно, академия приплачивала, советские издатели платили.

В июле «вывезли Амосова на смотрины».

Клавдиево, обычный поселок при станции, не дачный, даже колхоз есть. Продает отставной майор, который там жил постоянно, но постарел и запросился в город. Дом зимний, три комнаты, сад с яблонями. Участок 11 соток, примыкает к лесу. Подвал — как блиндаж, с бетонным перекрытием и колодцем внутри, можно ядерную бомбежку пережить. Над подвалом — еще не достроенная часть дома. Больше всего понравилась мастерская: старик был дотошный — слесарь, столяр. Инструментов — вагон. Давно мечтал вспомнить школьные годы — помастерить. В общем, усадьба. От электрички — 20 минут быстрой ходьбы.

Привезли, показали, яблок попробовал: собственные!

Посмотрел — и не ездил до осени. Пока Лида не попросила приехать траву покосить: ей нужно было землю удобрять под яблонями, да и под огородик.

Взял косу, точило. Больше сорока лет не держал, а руки все вспомнили — так славно покосил.

Понравилось, и пробудился интерес. Вокруг поселка — большой лес (вспомнилась практика, когда позорно сбежал из леса).

За зиму закончили пристройку, и вообще получилось — черт те что — пять комнат! Две веранды. Уборная, душевая с бочкой на крыше, сарай, ну и самое важное — мастерская, причем с запасом досок разного калибра.

В комиссионном магазине прикупили мебель, к той, что осталась от майора.

К лету 1982 года я уже «созрел» для дачи.

Собаке дача очень даже полезна... Решили взять ее с собой на воскресенье. Поводок, пошли к вокзалу... Ну, до чего же они дошлые, эти животные, просто поражаюсь. Только повернули с бульвара Шевченко к вокзалу — стоп! Села и ни с места: «Не хочу». Как ни уговаривали, колбасу давали — нет и нет. Народ собрался, смеются, что Амосов с собакой справиться не может. — Черт с тобой, пошли домой!

Нет проблем, с удовольствием.

На следующее воскресенье попросили Сашу, племянника, — у него машина. Так ведь и тут учуяла намерения. Заманили в машину обманным путем — на приманку. Всю дорогу визжала и лаяла.

Но в лесу — понравилось. В другой раз поехала с удовольствием. Но только на машине.

Так в начале июня состоялось переселение.

А между тем хирургия загоняла в угол. Просто не было житья. Внезапные остановки сердца в реанимации. Не просыпаются — «наш синдром». Заклинило клапан, чуть не умер. Нагноенные раны — сепсис. Кровотечения... «джентльменский набор» осложнений.

Весной в Москве состоялся Всемирный конгресс кардиологов, Чазов его отлично провел. Была представлена и хирургия, хотя и не первый класс. Приехал Шумвей, тот самый, из Стенфорда. Он представил много наблюдений, и смертность — такая, как у нас при клапанах, — 16 процентов. Больше того — пяти больным пересадили «комплекс» — сердце вместе с легкими. Умерли двое.

Не дождался конца конгресса, уехал домой. Оперировать. По две в день, восемь в неделю: протезирование двух клапанов, после комиссуротомии, сложные реконструкции сердца при врожденных пороках...

Чуда не произошло. Истрадался донельзя. Достала хирургия...

25

В последнюю пятницу июля объявил на конференции:

— Ухожу в отпуск, Кнышову передаю всю власть.

Про себя решил: ухожу совсем! Но сказать побоялся — вдруг не выдержу, опозорюсь?

Да-да, так и решил. Кибернетика, модели разума, психики, общества... Дневник обработаю для печати. Выговорюсь.

Раз в неделю буду ездить в город, проводить семинары в Институте кибернетики, почту забирать. Книжки покупать. Визиты срочные делать. Конечно, в клинику буду заходить тоже, но не дальше кабинета.

Так начались эти три месяца, наверное, самые счастливые.

Был при деле. Рано утром бегали с Чари по лесу, далеко, привольно. Думал не о больных, а о высоких материях. Потом делал гимнастику, обливался водой в душевой загородке. Тут Лида вставала, и вместе завтракали на веранде... «Свободу» слушал, в селе это лучше получалось. Телевизор имелся, но работал плохо.

Потом часа три интеллектуальной работы: мудрствование над моделями общества. На них ушел весь отпуск. У профессора Терещенко добыл американские статистические справочники с массой полезной информации, вполне пригодной для моделей.

О Валерии Ивановиче Терещенко стоит сказать особо, он был замечен не только в Киеве, но и в Союзе. Приехал из Штатов, где был уже профессором-экономистом. Приехал, как когда-то в Архангельск щитовой монтер Захарин: помочь строить социализм. Помощь никто не принял: «они» там сами все знают. Но лекции Валентина Ивановича слушали с удовольствием в самых высших инстанциях. Лектор он был замечательный и прочитал где-то свыше тысячи лекций. Я, между прочим, по количеству прочитанных лекций был после него на втором месте — тоже к тысяче подобрался. Кроме того, Валентин Иванович был еще и йог! Сорок лет каждое утро садился в позы. Это меня тоже заинтересовало, хотя и не убедило. Он действительно был здоровым стариком, но после семидесяти пяти лет ноги ходили плохо, и ко времени нашего знакомства — восемьдесят лет — он почти не мог ходить по улице. Так я убедился, что одних поз мало, нужны динамические нагрузки.

Наконец после обеда начиналась самая интересная работа: в мастерской. Целое лето я строгал, сверлил, точил, свинчивал, клеивал. Массу всяких приспособлений наделал: скамеек, табуреток, диван в сад, полки в кухню, стол. Не так чтобы очень качественно, но прочно. Еще дрова пилил, поскольку бывало холодно и печки топили.

Вечером — вторая прогулка с Чари. Вот уж кому было раздолье в лесу! Доберманы — «бегучие» собаки, в городах их не отпускают с поводка, поскольку непредсказуемы.

Однажды она увлеклась погоней за каким-то зверем и убежала. Мы с Лидой искали допоздна, обошли километров пять лесных дорог, легли спать около полуночи в тоске: пропала собака! Конечно, мне досталось: недоглядел!

Спали урывками. И вдруг слышим — скулит... Было часа три ночи, сколько она пробежала километров, куда убежала — неизвестно, но лапы распухли, стоять не может, голову не держит — лежа кормили и «до ветру» на руках выносили. Однако через два дня оправилась.

В клинику заходил, но оперировать не хотелось. Надо отдать должное — меня и не донимали просьбами. Только замечал осуждающие взгляды. Не реагировал.

В Институте кибернетики проходили семинары, было интересно. С того момента, как перешли в новый корпус и пошла «интенсификация» хирургии (по Горбачеву), я от ребят в отделе изрядно оторвался и теперь пытаюсь догнать. К сожалению, социология ребят не интересовала. Но над искусственным интеллектом Куссуль и компания работали очень плодотворно.

Катя и Володя приезжали по выходным, но ночевать оставались редко: свои интересы. Оба были заняты диссертациями.

Электричка меня не раздражала. «Туда» всегда сидел и читал, «обратно» — полдороги стоял. Но терпел.

И вот пришел сентябрь. Утром темно, мы с Чари бегали позднее. Холодные дожди перепали. Бабьего лета не дождалось, в начале октября переехали в город. Думалось: «Что стану делать?»

Зачем-то нужно было в Москву, ехал в поезде вместе с Патонем. Он решительно не одобрил моих намерений относительно кибернетики.

— Да вы с ума сошли! Разве можно бросать операции! Что вам даст кибернетика? Там больше слов, чем дела.

Вижу: некуда Амосову податься. Модели общества никому не нужны. Искусственный интеллект — такой, каким я его вижу, — в сфере мечтаний. Помощники норовят как-то приземлить идею...

Вот и пришел обратно в клинику.

Из дневника

7 февраля 1983 года

Не хотел оперировать, сопротивлялся. Но... человек запряжен, трудно выскочить из оглоблей и хомута. Со всех сторон начали давить... сверху и снизу: «Права не имеешь, пока можешь... Как это, клиника Амосова — без Амосова». Больные приходят: «На вас вся надежда». Старые сотрудники смотрят с укором.

Пришлось отступить: один операционный день, одна операция из отделения Бендета. Не вступать в повседневные мелочи руководства клиникой. Только приглядывать и советовать.

Так и живу. Не хорошо и не плохо. Больные — все тяжелые, повторное протезирование клапанов.

Одной операции показалось мало, стал делать по две. Потом — по три. Домой прихожу поздно вечером. Перерыв не

сказался на операционной технике. Ошибок не делаю, оперирую быстро. Но осложнений достаточно, и летнего отпуска, покоя — как не бывало.

Грустно все это.

Больше ничего не скажу о жизни. Подхожу к границе нового этапа. Впереди наука для удовольствия, написание новых книг и созерцание.

Когда это писал, казалось, все решено. А прооперируешь троих больных — и на следующее утро, если все хорошо, начинает брать сомнение: «Может быть, еще повременить с этим новым этапом?»

Завтра три операции.

26

Да, политика: что-то я совсем о ней не писал. А между тем в верхах шли большие перемены. Сначала умер Брежнев — осенью 1982 года. Пришел Андропов: КГБ у власти. Но почему-то никто не испугался новых посадок. Многим нравился порядок; который стали наводить партийные начальники. Анекдоты пошли, как ловят в магазинах в рабочее время прогульщиков.

Подумать только: секретарь ЦК писал стихи! «Где это видано, где это слыхано?» Правда, таланты не афишировались, но стихи просочились: вполне приличные. И вообще у меня сложилось благоприятное впечатление об Андропове. Хотя вся политика его протекала в прежнем русле: «Коммунизм во всем мире».

Героический человек: пошел на секретарство, будучи на почечном диализе. Возможно, он действительно хотел усовершенствовать социализм, придать ему хотя бы порядочность... Однако я остановлюсь: нет материалов для трезвой оценки. Теперь социализм так клюют, что объективная истина о нем исчезла.

...В 1983 году решили рано ехать на дачу, прямо в апреле. Очень ранняя весна была в том году — уже в марте по воскресеньям ездил работать: делал теплицу для огурцов и помидоров.

Потянуло к земле? Нет — техническая задача: было арматурное железо, хотелось его использовать.

Лида, конечно, активно готовилась к «посевной» на своих маленьких грядках. А больше — на цветниках.

И вдруг... Всегда так бывает — «вдруг».

В воскресный день вдруг приехал Виктор Заворотный — наш главврач. И даже больше чем главврач — имеет связи в «сферах».

Я глаза выпучил: никто ко мне на дачу не ездил, не принято. Заявляет буквально следующее:

— Вас на завтра Щербицкий на два часа приглашает. По вопросу об институте.

Вопрос — старый. Я отделяться от «тубиков» не хотел, директорство Мамолат давно предлагал — отказывался. Особенно теперь, когда «на сторону», на науку, поглядывал. Однако под давлением нашей клинической общественности уже год, как возбудили ходатайство о создании Института сердечной хирургии. Возбудили — и на том застыло. Решает Москва, а там был запрет на новые институты: слишком много расплодилось...

Дальше состоялся ругательный разговор с Виктором, но куда денешься? Ситуация — как с депутатством: все уже решено, нужно идти.

В понедельник провел утренние дела, передал операцию, направился в ЦК.

Пропуск уже заказан. На главном этаже (не помню, каком) общий лифт не останавливается, стоит страж, проверяет паспорта... Нет, в те времена не ошупывали, как теперь, и тем более не было этих самых «дверей» с электроникой, что даже ключи усекает.

Пришел за 10 минут, поговорил с помощником. Владимир Васильевич Щербицкий появился точно.

Разговор в подробностях забыл, и в дневнике не записано, но ключевые фразы помню:

— Хотите институт?

— Да, очень нужен...

Дальше назвал цифры — сколько больных можно спасти, особенно детей, а уж со стенокардией — море. (Начальники часто страдают коронарами, но этого я не говорил.)

Недолго продолжался прием: все ясно. Доверял. Обещал ускорить в Москве.

Со Щербицким я был знаком с 1965 года, он прочитал «Мысли и сердце» и подошел ко мне с комплиментами на заседании Верховного Совета.

Поспешил в институт. Тяжесть с души спала. Судьба решила за меня: будет институт — будет директор: только Кнышов, надо настаивать. Я мешать не стану, спокойно отойду от дел. Тем более что зарплату получаю в Институте кибернетики еще с 1970 года.

Обдумывал по дороге: доложить министру А.Е. Романенко, поздравить Геннадия, сообщить сотрудникам.

Приехал и все так и сделал. Гена явной радости не выказал. Романенко приветствовал, спросил мнение о директоре.

— Только Кнышов. Никого больше!

Он не возражал.

С тем и уехал на дачу... Народу пока не объявлял, ждал решения. Но и тайны не делал. Ни об институте, ни о директоре, которого предлагал...

Прошло несколько дней: много разговоров. На душе довольно смутно. Вроде — «да» и в то же время в чем-то «нет».

В воскресенье — телефонный звонок. (Телефон на дачу проткнули под предлогом срочных консультаций.)

— Министр просит утром в понедельник.

Поехал, ни о чем не беспокоясь. Уже переварил «новые реалии», как теперь бы сказали.

Опять вспоминаю разговор (общий смысл):

— Владимир Васильевич (чиновник никогда не назовет по фамилии!) спросил, назначил ли директора. Ответил: «Кнышов». А он как взорвется: «Я для Амосова институт создаю, а вы кого назначили!» Я сказал, что Амосов не хочет. Он и слушать не стал. Придется вам поработать директором, сколько сможете...

Ну, куда мне было деваться? Ходил, просил, а теперь — упираться?

Так и стал директором. Пришлось Гену разочаровать:

— Да ты не беспокойся: мне же семьдесят в этом году!

Он сказал положенные слова, что так будет лучше. Хорошо их произнес.

Приказ из Москвы прислали через одну-две недели, но все уже засустились.

Разумеется, я воспринял все серьезно: не временно, а пока хватит сил.

Задача какая! Только подумать!

Высокое начальство республики поддерживает, здания есть, народ хороший, больных много, по домам и больницам ждут помощи.

Вечером уже планы обдумывал. Главное — операции. Сколько? Полагаю, что 4000, а потом и все 5000. С АИКом из них — до 2000. Года через три, раньше не успеть «отмобилизовать» терапевтов и больных. Для этого — немедленно разослать

памятки по всем больницам и районным поликлиникам. Такой опыт уже был...

В прошлом, 1982 году провели всего 2000 операций и 600 — с АИКом. Много нужно потрудиться. Понадобятся новые сотрудники, но немного — народ явно не загружен. Вот только зарплаты у врачей малы...

«Тронная» речь директора ничего нового не содержала: «давай, давай!» Больше операций, выше дисциплина асептики в реанимации. Все внимание — тяжелым больным. Лозунги известны. Прибавилось: «Честь института», «Держать первое место в Союзе». Геннадий остается заместителем. Навести порядок в расходовании медикаментов. Проблема эта существовала: лимита, который выдавал тубинститут, хватало только на две-три недели. Назначил комиссию. Пересмотрели назначения лекарств, подсчитали потребность, оказалось: разбазаривают. Или даже — воруют. Дал новые нормы для каждого отделения. Предупредил старших сестер: дело подсудное.

Что вы думаете? Проблема решилась за месяц. Оказалось, что денег на лекарства дают достаточно.

Конечно, было много хозяйственной работы. «Выбить» штаты, набрать работников, наладить учет имущества и денег. Отличная бухгалтерша пришла к нам. Для директора бухгалтер — каменная стена.

Директорство не тяготило: продолжал делать прежнюю работу. Единственное, чем не приходилось заниматься раньше, так это ходить по начальству. Но и теперь не утруждал себя. Однако с Юрой Паничкиным все же ходили в Совмин и в Госплан, просить денег на оборудование. Не многого добились. Хотя все принимали отлично. Министерство относилось идеально. Лариса Николаевна Кирик очень многим помогла — в дальнейшем, на рубеже «перестройки».

А какую грандиозную конференцию закатили к моему дню рождения! Гости приехали со всего Союза. Научная программа была не столь богата, но чести мне выдали — сверх меры! Конференцию проводили в Доме кино, зал — человек на семьсот, места все заняты, до перерыва даже стояли. Две стопы папок с адресами закрывали председателя. Потом их использовали лет десять, когда кому-нибудь нужно было семидесятилетие праздновать. Масса подарков... нет, дорогих не было, так, кустарные поделки, стихи. Но халат и тубетейку узбеки на меня надели.

В ресторане был ужин. Не помню, где взяли деньги, тогда еще не было спонсоров. Не исключаю, что с гостей тоже брали.

Зато дома Лида выложилась, как могла: пригласили человек двадцать, самых-самых, и только иногородних:

Да, чуть не забыл: орден Октябрьской Революции выдали.

Еще деталь: накануне празднования, когда многие гости уже приехали, устроил показательные операции: целых три с АИКом. Когда закончил в четыре часа, в кабинете уже ждал министр с адресом и цветами. Московские гости на операции были, но, конечно, весь день не выстояли. Увы! Хвалебных отзывов не произнесли. Говорили совсем другое:

— На черта тебе это было нужно?!

Не пронял я гостей операциями. А жаль. Старался показать, что еще не старик. Да и в самом деле — отлично себя чувствовал. Для справки: все трое больных прошли без осложнений.

27

1984 год прошел в трудах по становлению института. То есть клиника работала как обычно, но притирались хозяйственные службы, подбирался штат. Достроили общежитие для сестер, начали надстройку четвертого этажа над старым корпусом — жадность обуяла директора: больше коек, больше операций...

Из дневника

3 февраля 1985 года. Воскресенье, утро

Больше месяца не садился за машинку. Не до того было. Жизнь покачнулась и чуть было не опрокинулась. Сейчас выравнивается.

У Лиды случился инсульт.

7 января, в понедельник, была операция — тяжелый аортальный клапан. Прошла хорошо, попил чаю, собрался домой, благодушный. Решил позвонить, Лиду предупредить — она это любит.

Ответил женский голос, сначала не признал. Катя.

— С мамой плохо.

Приехал. Застал врачей. Лида лежит с закрытыми глазами, в сознании:

— Не могу головой пошевелить, все кружится.

Слабым голосом, но рассказала. Ходила за покупками. Еще с утра было головокружение. (Несколькими днями раньше действительно жаловалась, собиралась к невропатологу. Я вяло говорил: «Сходи». Не верил. Не сходила.) С трудом добралась домой, открыла дверь и упала. Когда очнулась, на четвереньках доползла до телефона и дозвонилась Кате. Потом так же добралась до дивана, так же открывала дверь дочке. Вызвали врача. Мне позвонить Лида не разрешила:

— У папы сложная операция!

После всех консультаций — инсульт. Нетяжелый, с поражением вестибулярной зоны, поэтому такое сильное головокружение.

Врачи настаивали на госпитализации, но Лида просила:

— Не отдавайте меня в больницу!

Мы и не собирались.

Назначили массу лекарств, даже капельные вливания. На мой взгляд, зря. Осилили только одно, вен совершенно нет.

Прошел месяц жизни с лежачей больной.

Теперь уже почти все позади. Репетиция закончилась. Катя и Володя в пятницу вернулись на свою квартиру. Лида на кухне уже борщ варит. Вчера выводили на улицу.

Весной поехали на дачу.

В институте появилась «Волга», теперь шофер меня встречал и провожал до электрички. За все пять лет директорства только один раз приезжали за мной на дачу.

Вот какой идейный директор. Каждый прочитает и скажет:

— Ну и дурак.

Может быть. Но так уж устроен. В клинике, в вестибюле, куда приходят больные, висело объявление: «Родственников и больных прошу не делать подарки персоналу, кроме цветов. Амосов». (Сняли его уже после моего ухода, при «перестройке».)

Не думаю, что строго выполняли наказ, приносили конфеты и коньяки, но — с опаской и нечасто. Мне лично — никогда. Но когда приходили сказать «спасибо» прежние больные — им уже ничего не надо, разве что совет, — запрета не слушались.

В Киеве таким порядкам никто не подражал: подарки процветали. И деньги тоже брали. Впрочем, и за своих я головой не поручусь, но если было, так очень редко. За все время одного только уличили — предложил ему убраться.

Умер Иван Парфенович Дедков. Соратник и друг. Он уже давно ушел в онкологию, занял кафедру, побыл даже заместителем директора института. Потом перессорился с начальниками и подчиненными, карьера пошла вниз. В 1968 году перенес инфаркт, после чего были осложнения: расстройство кровообращения, аневризма и блокада сердца; вшили стимулятор, потом развился гнойный плеврит. Но работу не бросал и даже с дренажом делал операции. Был первоклассным хирургом.

Остановка сердца случилась дома. Анна Васильевна и дочка Таня (она у нас работает) по очереди делали массаж сердца и дышали «рот в рот», пока приехала «скорая помощь» и дефибрировали сердце.

К нам привезли на искусственном дыхании. Ночь удалось продержаться, но остановки сердца повторялись, и к утру все закончилось.

Панихида была в Институте усовершенствования, там, где кафедрой заведовал он лет двадцать. Народу пришло мало. Будто бы плохо объявляли. Обидно было за Ваню: тысячи людей спас от рака, а к могиле пошел почти в одиночестве. Подумалось: так и со мной будет.

Ах, Амосов, не мелочись! Не за благодарности оперируешь и спасаешь, для удовлетворения. Но такова психика — все делается для удовольствия: еда, слава, даже «добрые дела». Различны только потребности: кому что ценнее.

Еще: получил письмо из Ленинграда от своего сокурсника — умерла Галя, от инсульта на почве гипертонии. Недельку пролежала в реанимации, но спасти не смогли. Разошлись сорок пять лет назад, вспоминал редко. Виделись два раза. Но все же в памяти и даже в чувствах маленькое место занимала. Знал, что где-то живет женщина, часть моей молодости, что при желании можно встретиться и вспомнить. А теперь там — пустота.

Жалко Галю. Сколько у нее было счастья в жизни? Едва ли много. Но каждому — свое.

Из дневника

В конце октября был съезд хирургов Украины в Симферополе. Довольно скучный. Московские профессора к нам уже не ездят. Своими именами блеснуть не можем. Урологи, травматологи, нейрохирурги отделились начисто, да и кардиохирургам делать нечего. Мы прозевали даже доклад заявить. Приехал я,

чтобы поглядеть на старых друзей: хирурги — лучшие из врачей! Может, потому, что ближе к смертям? Лиду прихватил, чтобы Старый Крым провела.

Давно мы сюда не ездили. Тут для нас почти молодость — приезжали к родным каждый год. Сначала в пятидесятых на старом «Москвиче», потом на «Победе», потом на «Волге». А вот пятнадцать лет уже нет машины, и бываем здесь от случая к случаю.

Ничего, старики (двоюродная сестра Катя и ее муж Федя) держатся, только боятся умереть один раньше другого.

Так хорошо было пройти по их садику, вдохнуть особый запах, посидеть на веранде за обедом из знакомых блюд, выпить самодельного вина «изабелла» (меньше, чем раньше, но еще прилично), послушать местные новости. (Стало пошатывать от дороги и вина. Вот тебе и «не поддавайся».)

Приятно расслабиться от постоянного напряжения последних двух лет. Во вторник — день отъезда. Поезд в 15.30. Думал: вошью обычный митральный клапан, управлюсь без спешки. Оказалось гораздо хуже, потребовалось протезировать еще и трехстворку. Страшное напряжение. Парню — жить да жить, а тут давление низкое... Едва успел захватить за Лидой и уже с вокзала дозвонился: вывезли в реанимацию, слава Богу. Но проснулся ли? Однако из Крыма не пытался звонить. Все равно не помочь. Будь, что будет. Отключимся. И сейчас не звоню. Боюсь.

(Только что получил письмо: сестра Катя умерла 17 апреля 1998 года.)

1 ноября 1984 года. Четверг, после обеда

Жить все-таки можно. Вчера две операции — пять часов напряжения (сращения, узкая аорта). Ощущение: «могу». Но воздух откуда-то попадал, датчик щелкал. Снова и снова пережимал арту, прокачивал кровь через легкие, пока не прекратилось.

Бегом с горы домой. Обед в семь часов, три часа ожидания рапорта. «Проснулся? Точно?» Радость. Телефильм с Банионисом. Чари забралась на руки, такая дылда. Сон без таблеток, но операция прокручивалась всю ночь, как в кино... Сегодня хорошо бегалось после усталости. Капуста, кофе — райская еда... Солнце. Последние осенние краски в Ботаническом саду, свое место в трамвае, английский детектив. Конференция, обход в реанимации, больные все хорошие.

Чем тебе не жизнь, Амосов?

Может быть, она никогда не кончится?

Человек знает про смерть. Может вообразить картину. Но его глубинное «я» все равно не верит в небытие.

Индиру Ганди убили... Запад говорит, что пример показали русские революционеры-народники и эсеры.

8 декабря 1984 года. Суббота, утро

Так вот, о возрасте. За неделю сделал пять операций, в среду три подряд с АИКом, как в день юбилея. Сделал наперекор судьбе, потому что с понедельника начались жестокие сердечные перебои. Не знаю отчего. Неля сняла ЭКГ, сказала: «Блокада ножки, узловой ритм, групповые экстрасистолы». Возможен полный блок с частотой до тридцати ударов в минуту и даже внезапная остановка сердца.

Другой бы слег, а я оперировал и «руководил». Кому доказывал? Только себе: вот какой герой.

Трезво решил: не стоит суетиться, лечиться, менять образ жизни. Аритмия пройдет сама. А нет — так внезапная смерть, самая лучшая. Давно тренирую свой разум на запасной вариант: «Все — суета сует». Плохо, что бегать стало тяжелее, пошатывается по утрам.

Вчера были домашние гости — традиционный ежегодный прием. Довольно весело, если не пропускать разговоры через интеллектуальные фильтры. Опять же — хорошие люди, как и в клинике.

11 декабря 1984 года. Вторник, день

У меня отпуск. На два дня, больше не могу. Думал немножко успокоить свое сердце, но не получилось. Чертова аритмия мешает думать и писать. Странное ощущение беспокойства в груди. Вот экстрасистола — бухает, как колокол, ударяет под ребрами. Вот трепыхаются частые-частые удары — не исключено, что это желудочковая тахикардия, нехорошая вещь. Я будто вижу свое сердце. Как оно судорожно вздрагивает при экстрасистоле, как замирает после нее, как беспорядочно трепещет, словно пойманная птица. Сколько раз видел эти фокусы на операциях и дрожал: «Сейчас зафибрирует!» Тогда я массирую, сжимаю между ладонями, пока ребята подключат дефибриллятор. Но сейчас я почему-то не пугаюсь, хотя дефибрировать меня некому. А чего бояться? Все равно изменить нельзя. В лечение не верю.

11 марта 1985 года. Понедельник

Умер Черненко. Что-то нам не везет с вождями в последнее время.

Даже в дневниках у нас не принято писать про высшие сферы. Нет, дело не в том, что «не принято». Писать не хочется! Совсем недавно показывали его на избирательном участке: вытащили несчастного чуть ли не на последнем издыхании. Даже не нужно доктором быть, чтобы увидеть — не жилец. Сердечно-легочная недостаточность в предпоследней стадии. Зачем было выбирать такого? И ему — зачем идти?

Брось, Амосов, тайн Московского двора тебе не постичь.

Когда Андропов занял кресло, страна немножко ожила. Появилась надежда на порядок. Даже свежие мысли мелькнули в журнале «Коммунист» по части идеологии. Но... Тоже больной человек, ненадолго хватило. Наше медицинское любопытство не удовлетворили. Историю болезни не опубликовали. Стороной доходило, что хроническая почечная недостаточность его доконала. А вот о болезни Ленина даже подробное описание данных вскрытия было опубликовано. Я сам читал.

Почему президиум тогда избрал Черненко, неизвестно. Но сонное царство снова опустилось на нашу страну. Все вернулось к брежневским порядкам.

Посмотрим, что теперь будет. По секрету, только для дневника — больших надежд не питаю.

Ну да ладно. У нас есть свои дела. Лишь бы не мешали.

13 марта 1985 года. Среда

Все разговоры — о новом генсеке Горбачеве. Кто такой, откуда взялся? Яша Бендет у нас большой политик и меня просвещает, когда прихожу смотреть больных в их отделении. Говорят, что уже и раньше котировался, но «происками» был выдвинут Черненко. А теперь будто справедливость восторжествовала. Посмотрим. По крайней мере, не старик и физиономия симпатичная. Но что-то после стольких лет болота плохо верится.

16 марта 1985 года. Суббота, утро

Снова смерть.

В четверг оперировал молодую женщину. Бодрую. Красивую. Худую, но неистощенную. Даже еще работала в детском садике. Не верилось, что с такой болезнью можно сохранить форму, телесную и духовную.

Сердце ужасное: раза в четыре больше нормального. Печень до пупка, мочегонные три раза в неделю. Из родных — одна сестра, немного постарше, интеллигентная.

Конечно, следовало отказать. «Умыть руки». Но не удержался от искушения, велел обследовать. Оказалось: недостаточность митрального и аортального клапанов. Очень мощный левый желудочек — делает работу раза в три больше нормы. К тому же еще гигантское левое предсердие. Нужно протезировать оба клапана и делать пластическое уменьшение предсердия.

Вот тут и думай.

Риск? Очень большой, 50 процентов. Около того. Пластика предсердия и два новых клапана. Все вместе потянет на 2—2,5 часа перфузии.

Без операции? Два-три года страданий. Нарастающая декомпенсация, больница. Известно, как там смотрят на хронических безнадежных больных. А дома — одна. У сестры своя семья, достаток маленький. При удаче — будет жизнеспособна и трудоспособна. (Недавно приходил мужчина с искусственным клапаном, девятнадцать лет назад вшили. Еще и служит.)

«Трудно быть Богом» — так назвал статью обо мне журналист О. Мороз в «Литературке». Я и не хочу: «Богу — Богово!» Но что делать?

И сестре рассказал все, и больной, но только без цифр смертности. Предупредил:

— Очень опасно. Ни советовать, ни отказать не могу. Решайте сами.

Решилась, конечно, куда деться. И я бы решился на ее месте. Уже писал, как противно, когда не могу выбежать дистанцию — не хватает дыхания. А если такое чувствуешь, когда идешь шагом?

Довольно долго готовили, лечили. Да и я готовился, знал, что будет тяжело. У меня в этом месяце умер только один больной от абсцесса легких. Оперировал его еще в середине февраля. Значит, была база спокойствия. И вообще, в этом году уверенности прибавилось.

В четверг оперировали. Сережа, Олег Ищенко (новый молодой врач, очень сноровистый), Любочка Веселовская, Витя Максименко и Валера Литвиненко. Команда первоклассная.

Трудности возникли с самого начала: оказалась запаянной полость перикарда. При гигантском сердце, при необходимости его охлаждения льдом это очень плохо. Спайки можно разде-

лить, но как спастись от кровотечения? Минут сорок лишней работы потребовало.

Подключились, пустили машину, охладили до 25 градусов. Рассек аорту, сделал кардиоплегию. Вскрыл левое предсердие. Довольно быстро вшил оба клапана. Остался самый трудный этап: пластика, уменьшение в объеме левого предсердия. Когда была недостаточность, в нем кровь завихрялась, а теперь могут образовываться сгустки. Сделал. Зашил сердце. Дальше — нормальное окончание перфузии с удалением воздуха, нагреванием, дефибрилляцией. Машина работала 160 минут. Приемлемо, по нашим теперешним стандартам. (Страшное напряжение — эти часы перфузии. Понять может лишь тот, кто делал сам.)

Очень боялись кровотечения — спайки, долгая операция. Но Валера выгнал много мочи, обеспечил свежайшей кровью — это дало свертываемость. Спаслись. Вывезли из операционной с малыми дозами сердечных средств.

Начался новый этап переживаний. Закончился он только сейчас, когда позвонили: «Ночью умерла».

Нет, тревоги еще не закончились. Что покажет вскрытие? Вдруг откроется какая-нибудь ошибка?

18 марта 1985 года. Понедельник, вечер

Раздавленный и несчастный. Голова болит. Давление 180.

20 марта 1985 года. Среда

На конференции прозектор докладывал вскрытие и показал сердце. Хотя я уже знал о результатах, но все равно — скверно.

Ошибка. Больше трех месяцев оперировал безукоризненно, казалось, что никогда уже не ошибусь. И вот пожалуйста. Неплотно зашит разрез межпредсердной перегородки — щель 3 x 30 миллиметров. Значения для работы сердца не должно бы иметь, но все же. Записал себе 1/2. Так называются у нас ошибки, не вызвавшие, но способствовавшие смерти.

Вот и сижу, грешник. Бог давал мне авансы: дерись, ругайся, требуй — снижай смертность. Но будь сам без греха. И я не удержался.

Теперь со страхом смотрю в завтрашний день: жду возмездия. Предстоят две операции. Как тяжело это право: решать о жизни и смерти.

28 апреля 1985 года. Воскресенье, утро

Конечно, я не только оперирую, директорствую и плачу над смертями. Я еще читаю, думаю, даже разговариваю о политике. На прошлой неделе был Пленум ЦК. Теперь небось будет называться «исторический апрельский», поскольку первый при новом секретаре. И пойдут опять перепевы: «в свете решений», «в речи на апрельском Пленуме», «как сказал на Пленуме товарищ Горбачев»... И обязательно с добавлением имени-отчества. Сколько я уже слышал этих «исторических»...

Нет, не будем ворчать. Доклад прослушал с интересом. Может, и появится живая струя: «ускорение на базе научно-технического прогресса...», «достижение нового состояния советского общества...»

7 мая 1985 года. Вторник, утро

Широко идет празднование сорокалетия Победы. 4 мая Щербицкий вручал ордена Отечественной войны группе ветеранов, и мне в том числе. Сказали, чтобы на торжество все награды недели. Первый и, наверное, последний раз цеплял их. Много было хлопот, пока мы их с Лидой разыскали, пока дырки в пиджаке проколол. Набралось почти двадцать. И оказывается — зря. Некоторые пришли с одной звездочкой.

Нужно выдавливать из себя раба.

9 мая 1985 года. День Победы

Посмотрел парад на Красной площади и у нас. Трогательно шли ветераны, остальное — обычно.

Вчера слушали и смотрели торжество во Дворце съездов. Отличный доклад Горбачева. Приятно было слушать — и содержание, и форма. Сталин назван тоже один раз: в роли руководителя партии, а не военачальника. Рано еще судить, как новый вождь повернет историю.

Одно несомненно: огромная авангардная и организаторская роль партии (и Сталина, конечно), и не столько в самих боях (ошибок, то есть смертей, было много), сколько в эвакуации и развертывании промышленности. Это почти непостижимо: наш потенциал после отступления 1941 года был вдвое меньше, чем у немцев, а к концу войны вооружения производили уже в два-три раза больше. При том, что немцы и работать умеют, и порядок знают. У меня впечатление: войну выиграли не генералы, а тыл.

Сейчас много говорится о всеобщем энтузиазме и массовом героизме. Не знаю. На фронте экзальтации не было. Патриотизм есть биологическое качество — «территориальный императив». Животное защищает свою территорию от захватчика, не щадя жизни. Также и народ, когда он должным образом организованный, ощущает себя как единое целое и защищает свой двор, не щадя живота. Я слышал несчетные рассказы раненых о боях. Явного героизма было мало. Но было более ценное: «Надо — значит, надо!» Немца нужно выгнать, приходится рисковать жизнью.

25 июля 1985 года. Четверг, утро

Отпуск. Нужно попробовать, как живется на свободе. Поискать другие точки опоры. Понаблюдать за собой. Тем более что от хирургии жизни все равно нет. Даже не хочу вспоминать.

Пока директор, нужно расширить два узких места. Без меня им будет трудно. Первое: пристройка к поликлинике, там страшная теснота. Везут детишек со всей Украины. Хотелось бы построить самим, нанять шабашников, чтобы побыстрее закончить. Хотя и с нарушением правил. Поэтому ищу деньги и подрядчиков. Второе — нужен еще один аппарат «Элема» для Юры Паничкина. Это миллион в валюте. Союзный министр обещает только в 1987 году. Слишком долго.

После обхода сделали ЭКГ. Частота — 52. Появились периоды полного блока. Теперь уже нет сомнений: век придется доживать со стимулятором. Имею моральное право отказаться от директорства и хирургии: «герой, но обстоятельства сильнее». Геройство мое простое: дать в институте еще лишние сотни операций, то есть жизней. Не знаю, почему они мне нужны, ведь на четвертом этаже моего мышления известно, что «все — суета».

(Амосов, не притворяйся! Ты все про себя знаешь: цена тебе невысока. Небось тщеславие движет?)

Пойду в отпуск на восемь дней, а там посмотрим.

16 октября 1985 года. Среда

Изучаю политические документы. Проект устава и программы меня не интересует: я — беспартийный. Но планы экономического обновления страны — это мое. Не зря же двадцать лет собираю сводки ЦСУ и пятилетние планы. Давно уже убедился: объявят на съезде цифры, что нужно ждать на последний год, а когда он проходит, то результат гораздо ниже. Но пятилетка

оказывается выполнена с превышением. Это называется — корректировка планов. При нашей системе информации никто не пытается сравнивать планы и результат. Трудящиеся поверят на слово. Я, однако, слежу: никогда планы не выполняются. Особенно если данные исчислены в тоннах и штуках. Когда рубли, дело темное, цены растут, хотя никто этого не признает.

Так вот, планы на двенадцатую пятилетку и до 2000 года меня сильно смущают. Чтобы за пятнадцать лет удвоить объем производства, нужно иметь среднегодовой прирост 6,5 процента. Эта цифра совершенно недостижимая. Подозреваю, что снова действует прежний принцип, когда подхалимы на лету ловят желания вождя и тут же под них подстраиваются.

Главным звеном цепи, за которое тянуть, намечается машиностроение. И это правильно. Только это быстро не делается, обновление машин. Еще нет тех конструкторов, которые чертежи нарисуют, нет материалов, нет станков. Все запущенно и старо.

Это же мне говорят знакомые директора. Приятно очень, конечно, надеяться на ускорение, но уже столько в прошлом было разочарований!

Все так, а самочувствие плохое. На ЭКГ — полный блок. Частота — 38—40. Главная беда — повысилось кровяное давление. Уже доходит до 180. Это значит — все, деваться некуда. Уже с лета не бегаю, только хожу. Не помогает. В книгах об этом написано: нужен стимулятор. Но год нужно доработать.

30 декабря 1985 года. Понедельник, вечер

«Свободен, слава Богу! Свободен, наконец-то свободен» — это написано на могиле Мартина Лютера Кинга в Вашингтоне. Сам видел. Конечно, нахальство мне такое говорить по поводу болезней и отпуска.

Отходил полчаса по коридору, перемежая с гимнастикой. Есть ощущение в мышцах, давление понизилось, и захотелось освободиться от информации.

Сегодня был годовой отчет. Два с половиной часа говорил, показал более двадцати таблиц. О блоке или стрессах не вспоминал.

— День покаяния и отпущения грехов! И день надежд: очистились и больше не согрешим...

Таким было начало доклада. Только надежд у меня почти никаких нет... В августе 1984 года были. Я составил и размно-

жил «Инструкцию по ведению больных после операции». Последние четыре месяца того года были приличные, и впереди результаты ожидалось еще лучше.

Однако этого не произошло. Смертность 5,2 процента — это одна из самых низких за нашу историю, но по операциям с АИКом — 16, а нужно по крайней мере 12—13 процентов.

Что хорошо, так это закрытые операции. При приобретенных пороках сердца вообще получили один процент смертности почти на полторы тысячи больных. При врожденных, правда, выше — около двух процентов, но тоже хорошо. Именно они, эти цифры, и помогли снизить общий процент до вполне приличного уровня.

Но я недоволен и постарался внушить это чувство всем.

Еще вчера передал Геннадия дела. Сказал о своем намерении уходить с директорства.

Администрация — Мирослав, Алла и Света — приходили поздравить с Новым годом и упрасивали, чтобы возвращался. Не обнадежил их.

Кибернетики тоже поздравили, рассказали о своих делах: очень надеются «журавля в небе поймать...» в следующей пятилетке. Подумалось из песни: «Не для меня придет весна...» Приглашали зайти в отдел, отпраздновать безалкогольно Новый год. Сослался на болезни.

Зашел в реанимацию, взглянул на безнадежных детей. Сказал, чтобы вечером докладывали Геннадия. Простился.

14 января 1986 года. Вторник, утро

Удивительно мало осталось такого, что было бы жалко потерять. Сладкое напряжение операций? Но смертность, видимо, снизить уже не смогу. Так, как сейчас? Нет, не хочу. Хотя и тяжести были две недели отпуска, но полное отключение от реанимации компенсировало головные боли.

Только в романах побеждают герои. В жизни, как правило, их часто ожидают поражения. Так и я уйду побитым.

Недавно кубинцы сердце пересадили, до этого — чехи, поляки. У нас в стране — ноль. Наверное, в этом есть и моя доля вины.

И вообще, не могу больше переносить смерти. Не могу! Значит, хирургию, самое сильное, что было в жизни, уже не жалко.

Что еще?

Творчество. Модели общества не довести до достоверности. Если бы и довел (невероятно!), не доказать. Заниматься этим буду. Книги тоже буду писать, их читают.

И это суета. Не жаль.

Люди? Сотрудники, друзья, родные? Давно наблюдаю реакцию окружающих на смерть. За редким исключением, все быстро успокаиваются.

Что еще осталось пожалеть? Красоту? Восходы и закаты? Хорошую книгу? Да, большое удовольствие. Но будем честны: оно уже значительно поблекло за последнее десятилетие.

Вот какой получается расклад.

Думаю, что спокойствие было бы при мне даже при смертельном риске, а не то что при вшивании кардиостимулятора. Поэтому изучил инструкции к стимулятору и выбрал режим, который нужно мне запрограммировать. Вполне возможно, что от улучшения кровообращения некоторые взгляды могут измениться. Посмотрим.

26 января 1986 года. Воскресенье, утро

Итак, в пятницу вернулись. Нужно начинать новую жизнь, существование со стимулятором.

Сначала — короткая сводка, как все было.

В Вильнюс приехали в три часа ночи. В шесть утра были уже в «люксе» гостиницы в Каунасе. В два часа дня приехал Юргис Юозович Бредикис и забрал нас с Катей в больницу. Отделение у него на шестьдесят коек. Нормальное отделение, нормальная палата на три кровати, без санузла. Видно, что ни для какого начальства условия не создавались, как и в нашем учреждении.

Переодели в нормальное (однако новое) больничное одеяние. Юргис Юозович меня послушал, посмотрел анализы, ЭКГ, рентгеновский снимок — я все привез с собой. Операция назначена на следующее утро. Скоро пришла красивая девушка со шприцем антибиотика.

— Куда будете колоть?

— В задницу.

Сказано было с очаровательной улыбкой. Она литовка и просто не знает нашего слова «ягодица».

Лег в позу и воспринял... Хирург должен владеть собой.

Никаких новых мыслей в первую в жизни больничную ночь не возникло. Катя подсакивала в своей постели при малейшем

моем шевелении. (Если откровенно, то ее присутствие было для меня совершенно лишним. Но любовь близких нужно уважать.)

Утром — еще укол. Уборная (хирурги знают, как это важно!). И повезли.

Состояние чувств определяю словом, которое уже называл, — «спокойствие». На операционном столе довольно удобно. Операция вроде бы несложная, но требует опыта. Как и всякая, впрочем.

Стимулятор — это овальная металлическая коробочка 5×4×0,8 сантиметра, внутри содержит литиево-йодную батарею и микропроцессор с программой генерации импульсов. В сердце, в правый желудочек, они проводятся через электрод — это две проводочки в общей изоляции. Важнейшее дело для контакта, чтобы конец зацепился за внутреннюю поверхность желудочка.

Стимулятор вшили под кожу ниже левой ключицы, а электрод провели в сердце через яремную и верхнюю полую вены. Я даже не заметил, когда участились сердечные сокращения. Раны зашили, сняли простыню и сделали наклейки. Анестезия местная. Ни боли, ни страха не испытал. Поблагодарил, и поехали в палату.

Ходить разрешили в первый же вечер, и мы с Катей отшагали по коридорам два километра. Со следующего утра добавилась моя гимнастика. Но с осторожностью.

2 марта 1986 года. Воскресенье, утро

Во вторник открылся съезд партии. К сожалению, не удалось послушать Горбачева с самого начала — не было минутки, только вечером подключился.

Время сейчас интересное. Все читают газеты, и такие попадают перлы, каких в жизни не видел. К примеру, 22 февраля в «Правде» была статья «Очищение».

Горбачев снимал иных «зубров» и даже в прессе многих оскандалил. Все очень, очень здорово. Появилась надежда на истинное очищение нашего общества.

Однако скепсиса тоже достаточно. Много уже слышали и видели. Например, знакомый мотив: заставить лодырей работать; не хотят работать — тогда им не платить. Пусть сильные и честные зарабатывают сколько могут. Притом дать им товары. «Дуже примно», — как говорят украинцы. Только как это воплотить? Привыкли нянчиться с бездельниками, больше всего

боимся: выгонишь, а вдруг с голода помрет? Поэтому сначала его надо трудоустроить, а потом выгонять. Нонсенс!

Еще одно. Горбачеву принадлежат слова: «борьба за социальную справедливость». Звучит, конечно, странновато, если учесть, что почти семьдесят лет назад ради этого буржуев ликвидировали. Но правда превыше. Даже горькая.

8 марта 1986 года. Суббота, утро

И вот — радость! Из 128 оценок личных и деловых качеств при закрытом анкетировании я получил только четыре минуса. Чуть больше трех процентов. Это четвертый опрос с 1976 года, и так мало еще никогда не было. Растрогался чуть не до слез (старички сентиментальны...).

2 августа 1986 года. Суббота, день

Наконец напечатали сообщение от Политбюро о Чернобыле. Как я и подозревал, причина аварии — халатная работа эксплуатационников. В журнале «В мире науки» (в переводах с английского) показаны новые конструкции безопасных реакторов. Дорогие, но придется и нашим думать, поскольку необходимо создать достойную атома «защиту от дураков». Разговоры о радиации постепенно стихают. Особенно после того, как американец — ученый Гейл — приехал в Киев с двумя детьми и их показали по телевизору. (Вот сколь мало доверие к нашей информации.)

5 ноября 1986 года. Среда, день

Занимаюсь историей. Такие, например, перлы. Будто бы писал Аристотель о тиранах (из Б. Рассела — «История западной философии»):

«Чтобы удержать власть, нужно следующее: 1. Не позволять возвышаться достойным. Даже казнить. 2. Запретить совместные обеды, а также диспуты, образование, даже литературу. 3. Держать общественную жизнь под контролем. 4. Иметь сыщиков. 5. Сеять раздоры среди подданных. 6. Давать обещания лучшей жизни. 7. Держать граждан занятыми: строить общественные здания. 8. Дать права рабам и женщинам, хотя бы для того, чтобы иметь осведомителей. 9. Вести войны, чтобы народ нуждался в руководителях».

Ну, каково? 2300 лет назад сказано, и все последующие тираны соблюдали. Гитлер и Сталин сами изобрели, едва ли они читали Аристотеля.

31 декабря 1986 года. Среда

Вот цифры: операций с АИКом — как и в прошлом году — 1002. «Выиграли» только «черной субботой» — сделали пять операций. Всех больных, кому показано, прооперировали. И даже пока счастливо. Тяжелых больных («кандидатов») в реанимации только двое, но и те с большими надеждами. Поэтому все родственники в вестибюле спокойные, если не сказать — радостные. И для всех нас праздник будет праздником. По общему количеству операций недобрали много: триста. Но тут уж виноват Чернобыль. До мая шли с опережением прошлого года на эти самые триста операций, а после аварии как отрезало; особенно мало было детишек. Операции с АИКом выполнили главным образом за счет тяжелых больных, приезжавших издалека на протезирование клапанов.

Одно приятное дело. На прошлой неделе кибернетики сдавали трехлетнюю, очень ответственную тему. Из Москвы приехала представительная комиссия. Сдача прошла блестяще. Какие дифирамбы! Правда, я сам к этой работе имею лишь то отношение, что она построена на моих идеях. Но факт остается: меня считают законным руководителем этого коллектива. И не только начальство, а сами ребята. Намечены большие планы, только берись, условия будут... Вот так-то.

Смотри, какой выбор перспектив!

Вспомним, что было год назад: пульс 36—40, давление 220, головные боли. Бегать не мог. Сделал 31 декабря отчет на конференции и ушел. Как считал — навсегда. Кое-кому даже сказал тогда об этом.

17 января 1987 года. Суббота, утро

10-го был отчет за год (1986-й). Показатели чуть хуже 1985 года. В лидеры вышел Леня Ситар. В декабре он прооперировал тридцать девять клапанов, семнадцать тяжелых, без единой смерти. Похвалил. На втором месте Вася Урсуленко, на третьем — Миша Зиньковский, в конце, примерно одинаково, — мы с Геннадием. Мои показатели испорчены сомнением. Оно нахлынуло после выздоровления. Семь больных не следовало брать: непомерно тяжелые, безнадежные. Все и умерли... Теперь собираюсь быть осторожным.

4 мая 1987 года. Понедельник

Нужно записать мини-дневник за месяц.

Сегодня был отчет. Апрель — хорош.

Другие события. Ездил в Москву и в Ярославль к сестре. Пять дней отсутствовал. В «Останкино» записывали мою встречу с «народом» (организовал С.Б. Шенкман). Были интересные вопросы: о «перестройке» (нужно задействовать страх, кроме пряника), о гласности (нужно открыть прошлое, хотя бы назвать следователей, без этого нет гарантии перемен). Об этике (вернуть заповеди Моисея и даже Нагорную проповедь). О новом мышлении (неизбежны компромиссы, внутри — с частными интересами, вовне — с капиталистами). Разбросал много шпилек в адрес властей. Предполагаю, что все это вырежут, оставят одну физкультуру и медицину. А может, и всю передачу перечеркнут. Теперь с цензурой так неопределенно, что никто уже не знает, что можно, чего нельзя...

7 июня 1987 года. Воскресенье, день

Социальные события. Хлопочем о хозрасчете. Был в министерстве — просил денег на ремонт общежития, а Лариса Николаевна Кирик, глава министерских финансов, подсказала эту федоровскую идею. Я на хозрасчет давно целюсь, но был уверен, что у министерства нет денег, чтобы платить за повышение производительности. Оказалось, могут найти... Тут же я отправился в ЦК и получил всяческое одобрение. Им тоже нужно выдавать «инициативы» к Пленуму.

На следующее утро представил мысль на конференцию. Народ вроде бы загорелся. И не только возможностью подработать, самой идеей. «Социалистическое медицинское учреждение нового типа» — так называется эксперимент. В ЦК сказали, что слово «хозрасчет» — негуманно: жизни оцениваются, а не чурки. Пожалуйста.

В прошлое воскресенье напечатал докладную записку для начальства — в ЦК и в министерство, а также проект устава. Во вторник отнесли. Дважды уже прочитали в коллективе и на стенку повесили, чтобы обсудить могли.

Суть проста: подсчитали себестоимость операций с искусственным кровообращением и закрытых. Теперь можно заключить договор с министерством, чтобы нам платили не по смете и штатам, а за число операций. В институте будет самоуправление — Совет трудового коллектива, он распределит заработки.

4 июля 1987 года. Суббота, день

Еще месяц пролетел.

Большие дела затеваются в институте: переход на хозрасчет. Кажется, начальство сдастся и разрешит. Ходил по инстанциям, приглашал корреспондента «Известий». Было всеобщее (тайное) голосование: 76 процентов высказались за эксперимент.

10 октября 1987 года. Суббота

По Украинскому телевидению полчаса показывали наш институт в связи с «перестройкой», а больше — мою персону. Целое лето мелькаю на экране: сначала встреча с народом в «Останкино», потом «Прожектор перестройки», теперь — это. Стыдно. (А в то же время и приятно.) Одно скажу: никакой фальши не было, все правда. Но слишком много. Впрочем, мое тщеславие вполне контролируемо. Не знаю, какая будет жизнь без операций и общения, а без славы точно проживем.

Летали с Лидой в Ленинград. Там была маленькая сессия АМН, говорили о медицинской кибернетике, был мой доклад. Удался.

Прочитал лекцию в Центральной лектории Ленинграда. (Лет десять-двенадцать назад я у них выступал, и не раз.) Подошли старые друзья из очень дальних пластов биографии. Пришла Валя Шобырева, шуфельная старушка. Школьная любовь без взаимности. Пришел Пашка Прокопьев, сменный механик с Архангельской электростанции. Совсем сюрприз: пришла Лида Смольская, из ППГ. Вторично вышла замуж на старости лет, довольна.

14 ноября 1987 года. Суббота, день

Выступал с лекцией в Доме кино: «В поисках идеала». Пользуясь гласностью, не стеснялся в выражениях, но пересказывать долго и скучно.

23 января 1988 года. Суббота, утро

Вчера делал отчет за год. Думаю, что наше учреждение — одно из немногих, что идут в ногу с партией. В самом деле: операций — 4400 против 3500 в прошлом году. Операций с АИКом — 1560 против 1000. Смертность общая — 4,6 процента, а было — 6,2. То же при АИКах — соответственно 11,2 и 16,8 процента.

Гласность — полная. Демократия — еще не вся. Совет трудового коллектива пока дальше распределения денег не идет, но я их активизирую. Скоро будут перевыборы всех заведующих и меня. Зарботки повысились весьма значительно с января: у специалистов ведущих профессий (хирурги, реаниматоры, анестезиологи, перфузиологи) приблизительно на 50 процентов, у остальных — на 25—30 процентов.

Мне Совет тоже предлагает платить, но я гордо отказываюсь. Вполне искренне. За удовольствие нужно самому доплачивать, а не что-то получать.

Да, чуть не забыл, мои личные результаты: 185 операций, 150 — клапаны, остальные — межпредсердные и межжелудочковые дефекты перегородок. Общая смертность — 11,2 процента. Это самый лучший год в моей кардиохирургической биографии. И вообще, самое бы время поставить точку. Так нет — жадность: давай пять тысяч операций, две тысячи — с АИКом. Слаб человек!

3 июля 1988 года. Воскресенье

Главное событие — XIX партконференция. Вот уж такого точно не помню. По телевизору показали в натуре. Много было интересного, но пересказывать не стану. Чего стоит один Кобайдзе (директор объединения из города Иваново): «Если министр мышей не ловит, за что завод будет ему деньги отчислять?» Не привыкли мы к такой фамильярности. Наш Чазов тоже неличеприятно медицину показал, а Ягодин — педагогику, Моргун — экологию. Однако общий тон начальства — и в тезисах, и в резолюциях — бодренький: все идет хорошо, хотя имеются недостатки и перелом в экономике не наступил. Абалкин когда заикнулся, что не так хозяйничаем, на него зашикали... Главный герой — Ельцин, с его недавней историей выдворения из Политбюро. На меня не произвел впечатления. Но сам факт публичной полемики с Лигачевым... Фразу «Борис, ты не прав» повторяют все мальчишки.

Такое впечатление, что Михаил Сергеевич планомерно разворачивает демократию. Вот только в экономике пока провал.

6 декабря 1988 года. Вторник

Вот он и пришел — последний день.

Давно я его ждал со страхом и надеждой. Скинуть ношу ответственности за чужие жизни. И погрузиться в последние радо-

сти — информация и творчество без перспектив. В ожидании конца.

Разговоров об отставке не вел. Виду не подавал. Работал как всегда, будто впереди у меня — вечность. Оперировал два-три раза в неделю. Правда, избегал двухклапанных протезирований и повторных вмешательств. Но не всегда это удавалось, когда приходили мои бывшие больные. Не хотел просить кого-нибудь, признать, что сдаюсь.

Утро было обыкновенное. Не холодно. Побегали с Чари. За завтраком помолчали: Лида чувствовала торжественность дня.

В день отчета обход бывает до конференции. Да, чуть не забыл: Тимур Золоев снимает обо мне кино. Называется — «Двадцать лет спустя». Первая картина была в 1970 году — «Николай Амосов», имела успех, теперь ему понадобилось повторить. Отказать ему не смог: когда-то он поработал на мою славу. Пишу к тому, что Тимур попросил заснять торжественный день, и киношники встретили меня в реанимации.

Внешне этот обход ничем не выделялся. Строгий будничный ритуал с остановками у каждого больного, с разбором тяжелых. Про себя думал: «Никто и не подозревает, что это — последний директорский обход. То есть пока нового директора не выберут, еще буду приходить, но уже в другом статусе...»

Особенно грустно стало в детской палате. Один только ребенок тяжелый, остальные все благополучные. Двое трех-четырёх-летних сидели в кроватках, как грибочки: серьезные, белогловые. Сюда я больше приходить не буду. Горько было на душе: не довел я дело до уровня, не обеспечил жизни вот этим — маленьким, невинным и беззащитным... Да, надо уходить. Может быть, будущий директор наладит.

И была другая горькая мысль: «Ухожу побитый!» Нет, не грешен в том, чтобы позлорадствовать: «И другие не добьются». Хочу, хочу, чтобы добились! Детишки эти, что помирали от нашего недостаточного искусства, вопиют. Пускай потом скажут, что «Амосов не смог, а мы — без него...». Пускай! Только бы добились!

«Зал был полон» — так обычно говорят в торжественных случаях. Так и было. Может быть, чувствовали товарищи, что семьдесят пять — это нечто особое. Может, догадывались о моих намерениях, только виду не показывали, не спрашивали. Громоздкая старомодная кинокамера была нацелена на сцену. На столе ваза, полная гвоздик. Подумалось: «Небось их семьде-

сят пять?» И еще: только бы не расплакаться. Вспомнил, как совсем молодым, еще не было сорока, прощался с больницей в Брянске и пустил слезу. А теперь... Ладно. Держаться. Нельзя быть смешным.

Поздравлений, слава Богу, не было. Молодцы.

Нормальная утренняя конференция, много раз описывал. Операции на сегодня. Прооперированные вчера. Доклад ответственного дежурного. Вскрытый на этот раз не было. Повезло, чтобы не напоминать юбиляру: «Memento mori!»

Потом обычный отчет за ноябрь и за одиннадцать месяцев. Не буду приводить цифры, уже не нужно. Не ухудшили результаты.

Подумалось: «А может, Амосов, не надо?» Пусть все идет, как шло. Все-таки каждый год был прогресс, прибавлялись сотни спасенных жизней. И еще крутился в голове дуэт из сцены дуэли: «Не засмеяться ли...» Ну нет! Нет!

Речь моя записана у киношников на пленку точно.

— Ну что же, ребята, пришло время нам прощаться. Сегодня последний день моего директорства. (В этот момент зал «охнул», как пишется в романах. Даже какие-то возгласы раздались, не помню.) Конечно, подожду, пока выберете нового, но надеюсь, это будет скоро... Жалко с вами расставаться, прямо до слез. Тридцать шесть лет — большой срок. Но... больше нет моих сил переносить людские страдания и смерти. Душевных сил нет. Оперировать бы мог и даже еще буду понемногу. На голову тоже не жалею...

Тут снова маленькая пауза...

— Бесплезно мне, друзья мои, дальше сидеть директором. Хотя и не жду, что у вас произойдут большие революции в хирургических делах при новом директоре. Но вдруг?

Тут снова нечленораздельные заверения... Пауза.

— Не надо заверений, не надо. Вы же знаете меня. Я не смогу сделать поворот к лучшим результатам. Нет для этого времени впереди, да, наверное, уже нет и энергии. А может, нет и ума.

— Вы еще лучше молодого...

— Нет, не лучше. Семьдесят пять лет — это возраст. Я очень вам всем благодарен. Бывал груб, несправедлив. Небось нет ни одного, кому бы не попадало подчас... Одно скажу: никогда не примешивались личные отношения. Ругался только за дело, только за больных. Но каюсь: всегда избегал близкой

дружбы с вами. Страдал от этого — хорошие люди. Когда-то на войне и в Брянске убедился: чтобы быть руководителем в большой хирургии, чтобы требовать дело — дружить нельзя... Так уж люди созданы.

Снова возгласы:

— Останьтесь, останьтесь, хоть на год...

— Нет, не останусь. Уже два года я ждал этого дня с нетерпением и много раз проигрывал в душе проводы. Вот видите — чуть не плачу... Поработали мы все, в общем, не так уж плохо. Слышали отчет: пятьдесят две тысячи прооперированных сердечных больных. Правда, шесть процентов умерли. Но остальные — то ушли живыми. Дети остались здоровыми, учатся, работают уже. Взрослые с ревматизмом прожили лишние десять, пятнадцать, двадцать лет. Конечно, мы могли бы и лучше работать, именно это меня гнетет. Но лучше я организовать не смог. И еще одно, мы сохранили честь. Смею думать, что не ошибаюсь. Удержались от этой заразы — подарков и взяток, что захлестывают медицину. И за это вам спасибо — всем!

«Многие плакали» — таков штамп, но что сделаешь, если, таки да, плакали. (Кинооператоры снимали.) Но сам я держался.

— Не могу не сказать о будущем. О вашем будущем, потому что у меня его уже нет, то есть, конечно, я буду делать науку, напишу книгу. Но это все не то... Поэтому — о вас. Об институте.

Директора будете выбирать сами. Не спрашивайте у меня совета: я действительно не знаю, кто лучше из тех, кого вы знаете. К демократии вы уже привыкли, по ней и действуйте. Для этого я добивался хозрасчета и самоуправления, чтобы при любом директоре не пропал коллектив. Нет, не то говорю, чтобы не пострадали больные. Конечно, нужно двигаться вперед. Вы все знаете — куда. Сотни раз говорили. Еще раз спасибо вам всем, товарищи. Простите, если кого обидел понапрасну... Это все.

И сел. Нет, слезы удержал...

С десяток секунд все сидели подавленные. Потом вышел Гриша Квачук, председатель профкома, заведующий отделением стимуляторов. Не мог угадать, что он скажет. А сказал очень хорошо. Примерно так:

— Позвольте мне начать издавека... В сорок первом году было мне восемь лет. Отец уходил на войну. Мама, маленькая

сестренка и я провожали его у ворот. Мама плакала, а я не понимал — отчего. Но вот отец обнял мать, сестренку, меня, вскинул котомку и пошел из села, к околице, где ждала подвода с товарищами. Они поехали. И тут я понял, что отец уходит совсем, что происходит большое несчастье... Помню, заревел и рванул догонять телегу... Но они уже далеко. Больше мы его не видели. Убит... Так и сейчас, простите меня за чувствительность. Хочется удержать и сказать, как нашкодившие школьники: «Николай Михайлович! Простите нас, мы больше не будем. Не уходите...»

Вот такая была речь. Никто в Грише лирика не предполагал: такой спокойный, положительный, рациональный. Тут уж у меня, чувствую, глаза увлажняются. Но вовремя себя придалвил...

Опять же — «многие плакали»...

— Спасибо, Гриша. Растрогал ты меня. Однако решение мое твердо. Уходить нужно вовремя... Спасибо еще раз всем.

И пошел со сцены.

Кто-то навесил мне на шею здоровенную бляху — медаль отлили в честь юбилея. И еще показали на стене несколько остромных шаржей и стихов — собственное творчество сотрудников.

После операций, в три часа, «был сервирован чай». Без выпивки, к сожалению, но с тостами, под виноградный сок. Душевно прошло.

Грустный день. Очень грустный.

Ладно, уже двенадцать. Два часа печатаю. Спать пора. Завтра начнется новая жизнь. С другими чувствами.

На этом самое время сделать долгий перерыв в записках. Может быть, и насовсем.

(Ах, Амосов! Не хитри, хотя бы сам с собой: не веришь ты в конец жизни!)

Так закончился дневник. Дальше буду писать по памяти и отрывочным заметкам в записных книжках, в которые заносил всякие мысли по науке.

В декабре состоялись выборы директора. Никого не предлагал: пусть сами думают. Были два кандидата — Кнышов и Зиньковский. По-честному, не знал, который из них лучше.

Выбрали Геннадия, с преимуществом в треть голосов.

Отчет за год еще делал сам: 1860 операций с АИКом, 13 процентов смертность, около 4900 всех операций... С этими циф-

рами сдал институт. По ним будут сравнивать новую «династию» со старой.

Решил, что буду ходить в институт два раза в неделю, только на операции, конференции посещать не стану. В управление институтом вмешиваться не буду: «кто едет, тот и правит». Советы давать — если попросят. Или при явной опасности и глупостях. К счастью, такого и не случилось. Геннадий вполне справлялся. Были «роптания», недовольства, но неосновательные. Темпы работы немного замедлились, но в этом виновата «перестройка». Производство снизилось всюду.

28

Не успел приспособиться к новому порядку жизни — найти занятия, как захватили новации. В стране началась выборная кампания.

В конце декабря пришел Витя Заворотный, наш главврач, и сказал примерно следующее:

— Вы теперь освободились... Что, если мы выдвинем вас в народные депутаты?

Вот какой он, Витя — второй раз меняет мою судьбу. Потом я пытался выяснить — кто подал эту идею? Два автора претендуют: Яша Бендет и Миша Хинченко, приятель из райкома. Не суть важно, предложил — Витя.

Сначала я руками замахал:

— Зачем мне!

А потом подумал: новое время наступает, новые возможности будут у депутата. «Можно людям помочь» — высокопарно звучит, да? Но так и было. Две идеи требовали вмешательства: улучшение медицины и физкультура в школах. Уверен, что через нее можно улучшить здоровье детей. По медицине тоже были конкретные замыслы: хозрасчет, контроль качества работы и квалификации врачей, новая форма истории болезни.

Все вместе: новое поле деятельности. Не иссякли еще силы, но с операциями скоро придется заканчивать. Возраст даст о себе знать, хирургия — работа ручная. Наконец, просто надо заполнить вакуум...

В общем, согласился.

Закрутилась избирательная кампания. Создали штаб — с теми же инициаторами и с привлечением молодых, вроде Олега Ищенко, сына нашего дружка-генерала. Пожалуй, главным

организатором был Миша, все-таки райкомовский опыт. Правда, у партии был свой официальный кандидат — машинист тепловоза, но Миша работал на меня. Не помню, откуда взялся избирательный закон, но по нему полагалось половину депутатов выбрать от граждан, а вторую — от общественных организаций, по разнарядке. Это значит — партия, профсоюзы и много других сообществ. Выдвижение кандидатов от граждан проходило в две ступени: сначала выдвигают организации, потом отбирают по большинству голосов на совещании округа.

Кандидату полагались «встречи с избирателями». Это значит — выступать на собраниях, излагать свою программу или вообще говорить что хочешь: важно понравиться.

У меня сохранился лист с портретом, биографией и программой, которые клеили на стены. Ее содержание интересно: По медицине — ликвидировать 4-е управление, ввести хозрасчет и, конечно, увеличить финансы. По экологии главное — открыть информацию и усилить контроль за атомными станциями. По экономике — сократить расходы на оборону, на космос, на помощь другим странам. Не повышать цены. Передавать в аренду убыточные предприятия: намек на изменение формы собственности. Туда же — разрешить фермерство, однако при хозрасчетных колхозах. Отдельный раздел по социальной справедливости: ликвидировать привилегии, ввести прогрессивный налог на недвижимость и доходы. Помогать самым бедным. И вообще, восстановить гражданские права в полном объеме.

Капитализм и многопартийную демократию программа не объявляет, но подходы к ним намечает. По тем временам — хорошо. А уже в речах я все называл своими именами, не боялся.

Сами выборы эмоций не вызвали. Прошел в первом туре: «за» проголосовали более 60 процентов избирателей. На другой день вручили временное удостоверение. Мы это уже проходили.

На операции ходил исправно — дважды в неделю. В десять вечера по привычке глядел на часы: ждал доклада дежурных... Без малого сорок лет ждал... Теперь — свободен. Легких больных для своих операций не подбирал, но самых тяжелых избегал. Поэтому хирургические страсти ослабели... Прибавило ли это счастья? Нет, не прибавило.

На дачу весной не поехали: 10 мая Катя родила дочь. Назвали Анной. Началась новая семейная жизнь. Молодые вернулись жить к нам: нужна постоянная помощь бабушки. Чари отошла на задний план, чувствовала себя смущенно, и я за нее пережи-

вал. Из осторожности стали ее держать на поводке, пока я не забирал ее к себе в комнату, когда домой приходил.

К маленькой Анюте глубоких дедовских чувств пока не испытывал.

После выборов я сделал большую глупость: согласился на выдвижение в Верховный Совет. Его выбирали как постоянный парламент: из двух с половиной тысяч народных депутатов. Думал: работать — так работать! Не пять дней в году, как в старые времена. Но не ожидал, что придется заседать непрерывно.

Первый съезд народных депутатов — это было историческое событие на путях демократии... А может, и наоборот — в деградации великой державы, Советского Союза. С него начался и распад «соцлагеря».

Цвет интеллекта был представлен на съезде. Наука и творческие союзы вложили лепту, спасибо партии (читай — Горбачеву), что им дали места... Полстраницы займут фамилии знаменитостей, если перечислять.

Все пошло по прежнему пути... Отъезд из Киева — два вагона СВ отданы «под депутатов». В Москве — в депутатской комнате уже все расписано: кто в какую гостиницу. Привезут на машинах, постоишь в очереди, дадут номер. Затем оставляешь вещи и едешь на регистрацию в Георгиевский зал, в Кремль. Там выдадут временное удостоверение — карточку. Ее следует поднимать при голосовании (электроника появилась позднее). Выдадут и деньги, суточные, не шикарные — как раз хватало на еду и гостиницу. Еще — какие-нибудь бумаги и регламент, повестку дня, не помню точно.

Но казус со мной случился: телевизионщик сунул в лицо микрофон:

— Что вы ожидаете от съезда?

— Ничего не ожидаю!

Этот маленький диалог показали в тот вечер из «Останкино», и потом меня на улице останавливали граждане и пытались выспросить, почему такой пессимизм.

А он и в самом деле имел место: не верил в большой прогресс. Уже были сведения — члены партии составили 90 процентов участников съезда.

Не скрою, я был заметным депутатом: несколько раз показывали по ТВ, а многие еще помнили «Мысли и сердце» и «Раздумья о здоровье» в «Науке и жизни».

К тому же меня посадили в первом ряду, почти напротив

трибуны. Снова я видел перед собой президиум, но уже в другом варианте — без Политбюро. Сидели представители республик — и не только начальники, но и деятели культуры.

Очень сумбурные воспоминания о съезде. С одной стороны — демократия, говорят почти свободно. С другой — мощная партия давит, хочет все «держат и не пушат». А Горбачев маневрирует, но с симпатией к демократам. Однако кроме председателя действует «агрессивно-послушное большинство» — такой придумали удачный термин для тех, кто «захлопывал» ораторов вроде Сахарова.

Слушать выступления было очень интересно. Разве сравнишь со старыми временами?... Бормотанием...

Где это видано, чтобы выступила Сажи Умалатова и предложила отвести кандидатуру Горбачева — Генерального секретаря ЦК! — на пост президента страны? И ведь ничего, не посадили и даже не шельмовали. Правда, это было уже на третьем съезде. На первом мы выбрали Горбачева по старинке — Председателем Верховного Совета.

С этим тоже был фокус: некто Оболенский выдвинул свою кандидатуру в конкуренты. А ведь голосовали... набрал сколько-то голосов...

Съезд длился пятнадцать дней, вдвое дольше, чем было назначено. Массу времени заняли всевозможные избрания — президиума, председателя, заместителя, комиссий (по разным поводам), парламента из двух палат, Совета Министров, каких-то важных контрольных чиновников...

Главным героем съезда был Сахаров. Он открыл и закрыл прения. Выступал семь раз! Признаться, поднадоел — не только этому «большинству», но и вполне благонастроенным к нему депутатам. Одно из выступлений было просто неудачным. Говорили об Афганистане, многое порицали... Но Сахаров просто оскорбил армию, а значит, и народ, когда заявил, что окруженных моджахедами бойцов расстреливали с самолетов, чтобы они не сдались в плен. Я прошел войну, уверен — такого быть не могло. По ошибке обстрелять своих — да, бывало, но не специально. Неудивительно, что зал буквально взорвался негодованием, а депутат Чернопысский — герой Афгана, без двух ног — буквально отхлестал Сахарова жесткими словами. Все другие выступления Андрея Дмитриевича были по делу. Именно это отношение к нему и разделило съезд на «прогрессистов» — примерно треть, и «рenegатов» — остальных. В последнем выступ-

лении, уже перед самым закрытием, Сахаров представил Проект декрета о власти — очень демократический. Но его уже не обсуждали — не было времени и желания...

Когда Сахаров умер, во время следующего зимнего съезда, то его похороны вылились в настоящую демонстрацию любви и уважения. Противники уже молчали...

Из демократов запомнились историк Афанасьев, экономисты Шмелев и Попов, а также несколько деятелей от искусства, но фамилии выпали из памяти. Из националов — Ландсбергис, от Литвы.

Прошли выборы в Верховный Совет — тайное голосование затянулось до полуночи. Проформа: кандидатов уже республики выбрали. Но — нет единогласия. Некоторые получили до 20 процентов голосов «против».

Литовцы устроили демарш — покинули зал в знак протеста, но не вспомню повода. Кажется, требовали обнародовать и отменить пакт Молотова—Риббентропа. Они уже сейчас требовали верховенства республиканских законов над союзными. Славное «большинство» очень шумело, возмущалось нахальством. Пакт не отменили. Не пришло еще время.

Громкие дебаты развернулись и вокруг шестой статьи Конституции о главенстве в державе партии коммунистов. Отменить ее — значит разрешить многопартийность. Это удалось, хотя серьезных партий пока не видно. Оппозиция уже тогда появилась: так называемая «межрегиональная группа». Даже в нее записывали. Я сходил однажды на заседание, но не вдохновился. В лидеры выдвигался Ельцин. Впрочем, может быть, это было позднее. Ельцин тогда отлично «смотрелся», как теперь говорят.

Конечно, было много разговоров об экономике. Появился термин «социалистический рынок». Все — государственное, но рыночные взаимоотношения. Нечто подобное давно существовало на Западе, правда, с большой долей частных фирм.

Выбрали нового премьера — Рыжкова. Он сделал доклад о планах развития. Есть записи, да что их пересказывать — сколько еще после этого было планов!

Лучше всех высказался Чингиз Айтматов. Примерно так:

— Чего искать? Давай шведский социализм!

С того момента и пошел гулять этот термин. Никто не вник. В Швеции — капитализм, поскольку 80 процентов частного предпринимательства. Но налоги большие, и за счет них соци-

альные блага: поголовные пенсии, бесплатная медицина и образование. И много еще хорошего.

В общей дискуссии высказывались кто во что горазд.

Гдлян и Иванов разоблачали расхитителей: незадолго перед тем они раскрыли дело об «узбекском золоте» — грандиозное, как писали в прессе, воровство, в котором республиканские боссы были замешаны и даже посажены. Гдлян угрожал документами о причастности самых-самых из Москвы. Но так и не предъявил их... Потом было много разоблачений относительно их методов следствия. Коллеги-воры слезы проливали о невинных узбеках, секретарях обкомов. Я и до сих пор понять не могу, сколько там было правды.

Доброжелатели меня подбивали выступить, зная мои ораторские таланты и «протестантские» наклонности. Но я воздержался. Наверное, смелости не хватило. Да и о чем? Для сотрясения основ я был не готов, а медицину критиковать на фоне основных проблем — капитализма и демократии — было как-то неловко.

Творческая интеллигенция была настроена на свободу и демократию, против засилья партии, хотя на социалистическую экономику посягать пока не решалась.

В общем, дали народу пар выпустить. Тут еще подвернулся апрельский скандал в Тбилиси: грузины самостоятельность стали требовать, а молоденькие солдаты стали разгонять демонстрантов саперными лопатками и «черемухой». Погибло около двадцати человек. Было будто бы проведено независимое патологоанатомическое исследование трупов. Желаящим раздали брошюру. Я попытался разобраться как доктор. От механической травмы погибли всего два-три человека, остальные — от отека легких. Сложилось впечатление, что эти глупые солдаты просто прыскали «черемуху» прямо в рот при драке. Опыта еще не было, никто им не объяснил, что нельзя прямо в горло совать распылитель. Долго разбирали: был ли приказ из Москвы, или это распоряжение республиканского секретаря, а может, генерал Родионов проявил инициативу.

Выбрали Верховный Совет. Еще некоторое время шли параллельные заседания; шел съезд, и по очереди работали Совет Союза и Совет Национальностей. Я был в Совете Союза, опять сидел в первом ряду, соседом был профсоюзный вождь из Днепропетровска... Хороший человек, но тем для разговоров — мало.

Что-то мне здесь сразу не понравилось. Не то чтобы меня не интересовали проблемы, нет, просто было много пустой болтовни... И председатель — Лукьянов — был противен. Потом был Примаков, он теперь премьер-министр.

Быт. Вставал в шесть утра, бегал вокруг гостиницы, вызывая удивление у служебного персонала. Делал свою тысячу движений. Завтракал тем, что было в холодильнике плюс чай: понемногу, чтобы не растолстеть, — весов нет. В перерыве, в полдень, ходил по кремлевскому садику, иногда заходил в буфет. Газеты покупал, но читать на заседаниях перед кинокамерами стеснялся. Обедать стремглав бежал в гостиницу, там был депутатский зал, и еще успевал вздремнуть полчаса. По вечерам ходил в гости к Березовым, Бочаровым, Манучаровой. Или читал, смотрел телевизор. Домой звонил небось через день: знал беспокойную жену. Марусе в Ярославль — раз в неделю. Еще летал в Архангельск на встречу: пятьдесят лет после окончания института.

Такой режим оставался на все «московское сидение», разве что по гостям реже стал ходить — боялся надоесть, да и почитать нужно. Еще: редактировал вторую часть «Книги о счастье и несчастьях». С депутатами вне заседаний не общался.

29

Посменная работа оставила время для библиотеки. Она от старого Верховного Совета осталась, довольно приличная. Ходил также в закрытую библиотеку при Институте марксизма-ленинизма, ту, которая возле Пушкинского музея. Депутату выдавали иностранную политическую литературу.

Так за полгода значительно пополнил багаж. Главное направление — сравнение капитализма и социализма. Все та же любимая моя тема — «оптимальное общество».

Именно на заседаниях Верховного Совета я пересмотрел свои взгляды, которые излагал в статье об идеалах, которую напечатала «Литературная газета» в 1988 году.

Сидел с записной книжкой и мудрил над схемами и статистикой.

На заседаниях Верховного Совета начался для меня новый виток науки. Опишу его очень кратко, поскольку дело специальное, не для беллетристики.

Схемы моделей общества делал еще на даче, в 1982 году.

Тогда же представлял себе порядок цифр, чтобы наполнить схемы конкретным содержанием.

Стояли две задачи. Первая — выяснить, как живут граждане, что думают по гражданским вопросам, то есть их убеждения.

Вторая — прояснить, насколько возможно, биологическую природу человека и качества личности. Поскольку у меня нет ни сотрудников, ни аппарата, ни денег, но есть популярность, я придумал метод: опрос граждан через газеты. По науке это называется «экспертные оценки».

Для первой задачи необходим большой опрос всех подряд. Джана Манучарова познакомила меня с журналистом из «Недели», он интересовался социальными проблемами и был готов помочь. Звали его Коган Александр Евсеевич.

Для опроса нужна анкета. Проект ее я сочинил, сидя на заседаниях: большой опросник, сорок пунктов, с подпунктами. Обратный адрес дал на свой институт, в Киев. «Неделя» анкету эту напечатала. Пришли письма, их было очень много, почти пять тысяч. Обработку анкет организовал все тот же Миша Зинченко, еще был аспирант по кибернетике, одессит. Дело сделали за два месяца. Сведения устарели, не буду приводить цифры. Суть такова: народ беден, недоволен, властям не доверяет, особенно — местным, для приличной жизни хотели бы увеличить доход в три-четыре раза, но работу прибавить — на 30—50 процентов... Напрямую не спрашивал — за социализм или капитализм, газета на это не пошла, но частное предпринимательство и демократию приветствовало большинство. То есть сдвиг влево — несомненен. По результатам анкетирования написал статью, ее напечатали осенью...

Вторая задача была гораздо сложнее... Странно звучит, но не нашел я в литературе количественных данных по природе человека. Даже — в западной, я книг по психологии на английском языке много привез за предыдущие годы. Одни перечисления качеств — человек такой, сякой. Но в модель это не поставишь, нужны хотя бы приблизительные цифры. Своя гипотеза о человеке у меня была...

С «Литературной газетой» у меня была дружба — напечатали четыре статьи, каждая на полосу... Согласились опубликовать анкету по природе человека. Газета имела тираж около двух миллионов. Рассчитывал среди тех, кто ответит на анкету, отобрать несколько сот человек, интеллигентов, имеющих суждение о человеке. Контингент — психологи, педагоги, врачи, ученые...

В адрес редакции пришло 2,5 тысячи ответов, передали мне. В Киеве их обработали.

Второй заход «на человека» сделал мой ученик и почти друг, с учетом разницы в годах, Вася Кольченко. Он — врач, но тяготел к педагогике. Составили с ним анкету для учителей, чтобы прислали сведения об учениках: оценки характеров, способностей, склонностей, условий жизни, возрастной динамики. «Учительская газета» напечатала. Тоже много ответов прислали, а в них сведения о нескольких тысячах школьников разных классов.

И что же получилось? Очень коротко: эгоизма в человеке больше, чем альтруизма. По силе характера — по трудоспособности — сильных 10 процентов, средних — 70, слабых — 20. Соотношение силы сильного к силе слабого — 3:1. Воспитуемость — на 1/4. Это к вопросу, насколько можно изменить врожденные приоритеты потребностей. К примеру: переделать жадного на доброго. Оказалось, не очень-то можно... Обучаемость, слава Богу, много больше. Среднеумных можно делать из дураков, если рано приступить к обучению. Существует потребность в правде и справедливости.

Все. На этом тему науки закончу. Пока.

30

Нас распустили в августе. Тут я и узнал, почем фунт лиха...

Прежде всего я выступил с отчетом о съезде перед избирателями. В зале райсовета собралось человек пятьсот... Доклад этот я тут же переписал в статью для «Литературной газеты». Она и сейчас мне кажется интересной и верной.

Но не в ней дело — статья почти научная и для меня привычная.

Дело в реакции публики. Граждане сильно повзрослели с момента, как ходили на предвыборные собрания. Экономика страны заметно ухудшилась, товары стали исчезать, цены — повышаться. И конечно, встал национальный вопрос. Идея социализма и единого Союза затрещала по швам. Все это вылилось в вопросы, реплики и открытые... не то чтобы требования, народ меня уважал за хирургию, но настоятельные рекомендации... Впрочем, довольно беспомощные. Это называлось: просыпаются гражданские чувства и притязания на свободу.

Другое, и самое неприятное: приемы избирателей. В общем-то, дело привычное, но раньше несчастные люди допекали каж-

дый понедельник, а теперь приемы участились в несколько раз. Записывались по двадцать и даже по тридцать посетителей на день. И характер бесед изменился: прежде просили помочь, а теперь... слово «требую» еще не произносилось, но «настойчиво прошу» звучало сплошь и рядом. Расширился и объем требований. Шли уже не только бесквартирные; но и такие, что требовали «улучшения»... Кроме того, права качали! О гражданских правах слышались: давай хороший труд, социальную защиту, начальники плохие и так далее...

Понял я, что попал впросак. «Заполнением вакуума» после ухода не отделаешься.

Но были еще надежды осчастливить общество, так сказать, «в целом» — по своей программе, через школы и медицину. Ради этого можно было и потерпеть.

Вторая половина августа: отпуск.

Дома все крутится около Анютки, поэтому мы с Чари отправились на дачу одни. То есть Лида приезжала раз в неделю, еду приготовит и уедет. Быт меня не затруднял, но прежней атмосферы покоя и удовольствия уже не было. Зато было время для науки...

Верховный Совет собрался в сентябре. И очень скоро он мне смертельно опротивел. Было странное ощущение: вроде бы законодатели работают, правительство правит, а страна катится в пропасть. Например, очень дотошно разбирали экономические программы и планы. Явлинский с участием академика Шаталова предложил свою программу «500 дней», чтобы перейти на рыночную экономику. Рыжков с Абалкиным и командой программу эту не приняли, предложили свою. А дефицит в экономике рос как снежный ком. Военная промышленность гнала пушки и самолеты, уже заведомо не нужные... Все требовали льгот: повышения оплаты труда, увеличения отпусков, освобождения от налогов. То есть денег. Рыжков выходил и говорил: «Денег нет». Настаивали: «Изыскать!» Через день — тот же Рыжков: «Мы подсчитали и изыскали...»

Летом разразился первый социальный взрыв: забастовали шахтеры Кузбасса. Общественность приветствовала, и даже Горбачев чуть ли не одобрял. Снова — льготы, деньги. А производительность труда угольщиков по сравнению со Штатами была в пять раз меньше.

Государственная дисциплина шла под откос: заводы выполняли те заказы, которые выгодны. Экологи собирали митинги и

закрывали производства, даже лекарств. Через совместные предприятия выкачивались наличные деньги. Товары исчезали, цены повышались.

Хорошо сказал Абалкин: «Мы хотим жить, как в Америке, а работать, как в Союзе».

Запомнилась еще деталь: предложение по составу нового правительства. Прочитал список — человек сорок. Только у троих нашел фамилии, не оканчивающиеся на «ов», то есть все русские. Разве так можно при демократии, когда русских — только половина населения Союза?

Два раза все-таки выступал: когда утверждали Чазова в министры и против вооружений... Вполне разбирался во всех делах, но видел безнадежность и отсутствие ума у правителей, поэтому не хотелось участвовать.

Просидел в Верховном Совете осень и решил, что хватит. Нужно удирать. Если не совсем, то хотя бы «частично», чтобы ездить домой, оперировать...

«Помогло» сердце. Еще летом заметил, что появились экстрасистолы, то есть «внеочередные» сокращения на фоне ритмичной работы стимулятора. Они пока не мешали жить, бегалось хорошо. Но — могли помешать и немного пугали.

Обратился в Кардиологический центр, к Чазову. Повесили через плечо «Холтер», аппарат, записывающий ЭКГ целые сутки, позволяющий сосчитать экстрасистолы. Усиленно занимался гимнастикой и бегал. Когда сняли аппарат, насобиралось свыше двух тысяч нарушений. Это — не катастрофа, назначили лекарства (я их не пил), но самое главное — выдали справку: «освободить от заседаний».

Представил ее Примакову, и он разрешил «посещать по возможности», до частичной ротации Верховного Совета осенью 1990 года, на съезде.

Что и требовалось доказать.

Большую часть времени стал проводить дома. Оперировал почти каждую неделю. Но и в Москву ездил часто: позаниматься в библиотеке, даже посидеть «в охотку» на заседании. Попутно — обойти друзей, потрепаться на всякие темы.

Статьи с анализом материалов анкет напечатали в газетах и в журналах. Революции в науках они не вызвали... Издательство «Наука» даже книгу заказало, я ее написал, но они надули, не напечатали. Оправдывались: «наступил кризис». Впрочем, идеи и тексты потом пригодились...

В одну из таких моих отлучек в Москву усыпили Чари (младшую). Заболела еще в конце лета: появилась опухоль на животе. Володя, зять, ее удалил, это был рак молочной железы, уже с метастазами. Они стали быстро расти и...

Боже мой! Как она страдала... Накапливалась жидкость в брюшной полости. Не могла лежать — все стояла, потом падала от усталости и снова подхватывалась от одышки и болей. Ела мало, уже не лаяла на проходящих, только смотрела неопишимо жалостливо. Упрекающим взглядом.

Зная мою любовь к собаке, меня не спрашивали, усыпили и похоронили в мое отсутствие. А у меня осталась заноза в сердце: пусть бы пожила до естественной смерти... Знаю, что неправ, не случайно существует понятие «эвтаназии». Правда, по собственной просьбе безнадежного больного. Но Чари же не просила! А как она могла просить? Взгляд и страдания говорили достаточно. Но — кто знает, что у нее было в душе?

«Мы любим не собаку, а собак». Да, это так, но я уже больше не хочу. Море удовольствия, которое доставили две Чари за восемнадцать лет общения, не в силах покрыть боль и переживания, связанные с их смертью.

Лучше я отойду в сторону — от счастья и несчастий!

У нас была Анюта. Она быстро росла... Не успели оглянуться, уже манеж поставили на кухне, чтобы бабушка могла следить, не отрываясь от дел. А как изумительно она улыбалась! Но тут же менялось настроение, сердилась и не так плакала, как была кулачком по ободку манежа. Я не осмеливался брать ее на руки, пока была совсем маленькая, а как подросла чуть-чуть — снова испытал биологическое чувство от прикосновения ребенка. Совершенно специфическое чувство...

Прошла зима 1989—1990 года. Прошли выборы народных депутатов союзных республик.

Из Верховного Совета меня вывели только через год при ротации, летом 1990 года, на втором съезде. Тогда же выбирали Президента — нам понадобилось другое название. Разумеется, выбрали Горбачева — не ста процентами, как раньше, но достаточным числом голосов. Потом — вице-президента, этакого дерьмового представителя профсоюзов — Янаева, сумевшего опустить скабрзную шутку с трибуны по поводу своего здоровья: «Жена не жалуется». Совершенно плоская аппаратная фигура.

В 1990 году начались кампании за суверенитеты союзных республик. Местным вождям-коммунистам очень хотелось са-

мим править. Больше всех — Ельцину. На Украине, соответственно, робко зашевелились националисты, однако еще под коммунистами. Тоже собрался съезд, избрали председателя — Кравчука.

Летом я еще иногда ходил на заседания. Помню, что одновременно заседал и Съезд депутатов России. Все наблюдали за баталиями по выборам председателя. Со скрипом прошел Ельцин.

Между тем положение в экономике ухудшалось. Ограничения на торговлю были отменены, и появились «челноки». Все подземные переходы были забиты торговым людом, как во времена блаженной памяти нэпа. Соответственно исчезали товары в магазинах. Даже в Москве. Слово «дефицит» стало модным. Всякий дефицит — товарный, бюджетный. Почти на четверть не хватало денег правительству, и они были «заимствованы в Государственном банке». Попросту — напечатаны...

Еще поздней осенью 1989 года я сделал попытку выполнить свою программу: помочь школе и медицине.

Моим компаньоном снова стал Вася Кольченко, тот, который собирал анкеты от учителей. Он нашел школу, где можно было попробовать новую систему оздоровления ребят. Я познакомился с директрисой — отзывчивая, понимает проблему. Разработали типовой урок физкультуры, чтобы давал хорошую мышечную нагрузку. Обещали увеличить число часов, подойти к ежедневному уроку. Учителя-физкультурники восприняли довольно кисло. Как же иначе: нужно работать. Родители отреагировали так же: дети могут простудиться, если будут бегать на улице. Даже мои выступления перед ними не возымели действия. Соответственно провалились и беседы в гороно.

В Минздраве заместитель министра, мой старый знакомый еще по хозрасчету, тоже «приветствовал начинания» (наш, советский термин!). Они сводились пока к минимуму: ввести истории болезни нашего типа. Я пригласил хирурга Леню Заверного и терапевта Людю Сидорову, очень толковых доцентов, и с ними мы разработали документацию, пригодную для больниц разного профиля. Очень хорошие истории, уж я толк знаю, опыт применения — двадцать лет.

Не буду перечислять злоключения: ничего не вышло. Главврачи больниц не захотели ломать голову, министерство не заставило. Немного позднее я напечатал статью об историях в «Медицинской газете», с предложением выслать образец. Специаль-

но напечатали несколько сот экземпляров для рассылки. Действительно, десятка три писем с запросами пришли, отправили им образцы... И — все!

Такое впечатление — бьешь, как в подушку...

Если бы мне было не семьдесят пять, а хотя бы полсотни лет, то еще бы поборолся, а тут... «Да гори все ясным огнем!»

Система так закаменела, что потеряла способность воспринимать что-то новое.

31

Тут подоспели события большого масштаба, они все собой заслонили. Михаил Сергеевич пытался составить Союзный договор с республиками, чтобы и свободы им прибавить, и целостность страны сохранить. В Огареве заседали комиссии, наверное, несколько месяцев. Будто бы к лету 1991 года согласовали...

Уехал Горбачев в Форос, в отпуск.

Грянул ГКЧП!

Утром я услышал по радио обращение этих деятелей к народу. Оно сбивало с ног: переворот! Я бы, может, не вспомнил всего, что говорилось, но, к счастью, сохранил «Известия» за 20 августа.

Тезисы обращения. В стране кризис экономики и власти. Распад связей, падение производства, инфляция, разгул дикого рынка, республики разбегаются, Союз вот-вот распадется, соглашение республики не признают... Нужны экстренные меры!

Реализация «чрезвычайки»: запрет на партии, организации, всякие собрания, цензура СМИ; госконтроль над экономикой: монополия внешней торговли, цены, зарплаты, собственность. Далее: охрана объектов — читай: войска в городе. Но... все опирается на Конституцию. Действительно, какой-то Закон о чрезвычайном положении принимался, но это — по объявлению от Верховного Совета! Хитрец Лукьянов подтвердил в газете, что страна в бедственном положении и договориться с республиками не удастся... То есть военный переворот — в лучших традициях банановых республик... Или Октября 1917-го.

По ТВ показали пресс-конференцию ГКЧПистов, Янаева с дрожащими руками, а потом запустили «Лебединое озеро». Но «Свобода» передала подробности: в Москве танки, большинство

республиканских властей поддержало путчистов, Украина -- выжидает...

Что делает народ в таких ситуациях? Бежит в магазины запа- сать продукты. Их и так было в обрез, даже в Киеве, а тут — быстро размели макароны, крупу, соль, консервы. Я тоже «со- вок», советовал Лиде прикупить хлебца для сухарей...

К счастью, все разрешилось за два дня. «Слабаками» оказа- лись наши «силовики». Ельцин у Белого дома влез на танк и пе- реломил ситуацию. Правда, москвичи потом рассказывали, что никакого массового протеста не было и многие ждали наведения порядка.

Но так или иначе, на следующий день «Свобода» передала, что танки уходят, а путчисты на машинах направились во Внуко- во.

Они действительно поехали на переговоры к Горбачеву. Мы даже теперь не знаем толком, что они хотели. Во всяком слу- чае, вслед за ними поехали «верные» военные — арестовывать. Не знаем и истинное отношение Горбачева к идее путча. Слухи ходили разные, повторять не буду.

Я прикидывал ГКЧП на ситуацию сегодняшнего дня, когда народ исстрадался под демократией и хочет порядка: небось под- держали бы...

Унизительным было возвращение Горбачева в Москву. Все его объяснения о блокаде Фороса звучали не очень убедительно на фоне героя Ельцина. А как он унижал Михаила Сергеевича на Съезде депутатов России... Фактически была сделана заявка на самостоятельность.

Вскоре после путча собрали Съезд народных депутатов Со- юза. На нем пытались что-то склеить, но уже явно без надеж- ды. Разделение республик фактически состоялось до Беловеж- ской Пуши.

Формально Верховный Совет и народные депутаты еще суще- ствовали до Нового года. Во всяком случае, зарплату — 100 или 150 — по почте пересылали. Я даже не помню, проводил ли я приемы избирателей. По-моему, всех переадресовывал на рес- публиканских депутатов.

В декабре 1991 года распад Союза оформился в Беловежской Пуше. Моя позиция: умом — одобрял, а сердце — болело. Корни мои — в России.

Вслед за событиями в Беловежской Пуше пошла «шоковая терапия» Гайдара. Пропали сбережения. У нас они были значи-

тельные — тысяч сорок. Насобиралось за тридцать лет от академии, но особенно — от гонораров, все-таки книги издавали раз сто...

К этому времени относятся мои высказывания по вопросам независимости Украины. Да, высказывался «за». Давал интервью и писал статьи в газеты. Причины: есть народ, есть язык, есть культура. Россия действительно угнетала украинцев. Советы — нет, не угнетали, это — ложь. Украинскому языку периодически даже давали преимущества. Но слишком много было русских среди украинского народа и слишком велико преимущество русской культуры и особенно науки «по-русски», хотя и переводной на три четверти. Поэтому было трудно конкурировать. Уверен, что гены у обоих народов одинаковые, хотя разница традиций играет роль в определении национальных типов.

Не скрою, когда поднялся национализм, хотелось уехать в Россию. Да поздновато уже менять жизнь. Здесь живу «в климате» уважения и симпатии, здесь пятьдесят тысяч наших бывших больных, сотни учеников. Наконец, в моей семье «этнический русский», как теперь называют, я один. У Лиды даже фамилия Денисенко, корни — на Полтавщине. У Кати русского в генах — половина, но родилась уже в Киеве. Муж Володя — украинец... Не говоря об Анюте. Россия для нее — зарубежье.

32

Еще в начале декабря 1991 года прозвенел второй звонок над головой Лиды.

Готовилась встречать гостей к именинам, как всегда волновалась и хлопотала сверх меры... Я обычно боялся этого дня — бывали «трения» безо всякой моей вины... На этот раз отделались легко: головокружение, слабость в левой руке и ноге. Прием сорвался, и мозговые явления прошли. Случай связали с повышением давления. Пролежала неделю.

Под Новый год невралгические расстройства повторились.

Но все это были только «цветочки». Лида быстро поправилась, работала по дому, нянчила внучку, периодически ссорилась с дочкой. Давление повышалось, но не сильно.

Так подошла весна 1992 года. Анютка уже большая, но на дачу не едем — родители боятся радиации: моя пропаганда не действует. В июле молодая семья отправилась в отпуск на юг. Лида уехала на дачу, я ездил туда периодически.

И вот — случилось. Это был второй страшный день в моей жизни после аварии в камере.

День — 14 августа 1992 года.

Часов в шесть вечера Лида пришла домой и тут же свалилась...

Уложил на диван. Быстро-быстро начали нарастать явления сердечной слабости. Задыхается, мечется:

— Умираю!

Беру запястье, а пульс с трудом прощупывается. И самое главное — редкий, как было у меня при блоке. Сосчитал: 38—40. Измерил давление — еле тянет на 60. Холодный пот...

Беспокойство катастрофически нарастает: вижу — умирает моя Лида. Вот так, на глазах начинает затихать, и сознание путается... Потом опять возбуждение, одышка... И опять это страшное:

— Умираю!

А у меня ничего нет, чтобы усилить сердечную деятельность. Скорее набрал телефон «Скорой», они приехали через пять минут — станция расположена в квартале от нас. Приехали всей командой: врач, фельдшер и санитар.

Видят, что дело плохо, начали искать вену для вливания, попасть не могут — вены у Лиды отвратительные. Хорошо, что имели таблетки новодрина. Положили под язык, и действие было магическое — через пять минут стала затихать, появился пульс, участился сначала до 80, потом и выше — 100. Кровяное давление пошло вверх, даже больше, чем нужно.

На глазах, за полчаса, смерть далеко отступила. Лида задремала...

Сейчас мне очень стыдно: хотел написать фамилию врача — симпатичная немолодая женщина, — кинулся искать и не нашел. А помню, что записывал. Тогда еще хотелось отблагодарить, чем только могу. Но знаю, от меня денег не возьмут, стыдно даже предлагать в обмен на жизнь. Взял свои книги — толстый том «Повести», надписал, подарил... И фельдшеру — тоже, он студент-медик.

В тот же вечер позвонил Саше Моисееву — наш бывший реаниматор, ушел в лекарственный бизнес, очень знающий. Разобрали с ним. Оказывается, я виноват. У Лиды плохое сердце, мерцательная аритмия, для лечения ей назначили дигиталис, она пила его долго, а я не проконтролировал пульс. Наступила передозировка, что и вызвало резкое урежение частоты и сердечную слабость.

Вполне могла умереть. Никогда не забуду ощущения, как уходит из жизни самый дорогой человек, а я ничего не могу сделать для спасения. С тех пор держу дома лекарства...

Но несчастья с Лидой на этом не закончились...

В том же месяце произошло еще одно событие, важнейшее для меня: сделал последнюю операцию, протезирование клапана. Больная умерла через месяц от инфекции. Хирург в таких случаях виноват меньше всех, но поди докажи... Родственники смотрели с укором: это все решило. Не имею права перед родственниками. Умрет больной, я не виноват, но скажут: «Куда ему — старик!» И правильно скажут. Хотя четыре предыдущих года делал примерно по сорок—пятьдесят операций, одни только клапаны, явных ошибок не было, смертность не превышала среднеинститутскую.

Прекращение операций прошло незаметно, поскольку решение пришло без драмы — как бывает, когда пациент умирает на столе... На конференции не объявлял, но и не скрывал:

— Конец моей хирургии!

Перестал смотреть больных, кроме тех, которые приходили ко мне лично или за которых просили сотрудники.

Сразу почувствовал: теперь — старик. Перешел во второй сорт... Даже не пытаюсь казаться мэтром. Спросят мнение — скажу. Не спросят — промолчу.

Слава Богу, что Геннадий хорошо руководил институтом: производство шло. Приезжали из других республик. Теперь не едут, боятся, что нужно платить.

Занятия для души были: написал статью «Мое мировоззрение». Ее напечатали в престижном журнале «Вопросы философии», а приятель Вадим Владиславович Коган, строитель-предприниматель, издал брошюрой. Я ее разослал в несколько библиотек. Это значит — тщеславие еще тлеет. В последующие годы уже не рассылал. Притязания уменьшились...

В тот злополучный год умер Мамолат. 81 год. Суждение под докторски: желудочное кровотечение на фоне относительного здоровья. Только настроение было плохое, хотел умереть. Прожил деятельную жизнь, поставил рекорд: 45 лет директорства в тубинституте. Всеми уважаем и многими любим. Наша дружба была искренняя, но не очень близкая. Как-то не случилось подойти ближе.

Примерно тогда же умер Олег Константинович Антонов. По-

сещал его несколько раз перед смертью, но быстрого конца не ожидал. На похоронах было очень много народа.

Все больше удовольствия мне доставляла Анюта. Нельзя просто определить: «чудная девочка». Очень неровная. То ласковая, как обнимет и расцелует — все отдашь! А то обозлится, наговорит резкостей, убежит и язык покажет. Я учил ее буквам, не очень успешно. Много читали книг. Наблюдал за становлением психики, «моделировал интеллект». Бабушка совершенно не чаёт в ней души — раба навек!

33

1993 год начался с несчастий. Снова — Лида. 18 февраля почувствовала слабость в левой руке, она продолжалась следующие дни. Режим в постели плохо соблюдала — возникали срочные дела.

И вот случился инсульт.

День. Я сижу, занимаюсь. Анюта с няней гуляют. Пришел на кухню, а Лида лежит на полу в странной позе, без движения. Сознание есть, но говорить не может, язык заплетается. Половина тела парализована. Уложил удобнее на полу, дал лекарства. Когда пришли родные — перенесли на диван. Вызвали невропатолога. Несомненно: инсульт. Но — небольшой. Уже через несколько часов начало «отпускать»: сначала прорезалась речь, хотя и смазанная. Часов через шесть появились движения в руках. В течение нескольких дней все восстановилось. Держали в постели до 7 марта. Докторша рекомендовала положить в больницу, но с этим тянули до лета. Очень жаловалась на боли в левой ноге. Была депрессия. Тяжелая обстановка дома.

Положили в больницу, в 4-е управление. Стыдно было обращаться: в программе ратовал, чтобы закрыть. Сам открепился и перешел в поликлинику ученых... Но ничего из моего демарша не вышло: не закрыли, никто не последовал за мной, а все демократы толпой кинулись туда с чадами и домочадцами. Академики всегда состояли. Я и раньше не пользовался поликлиникой, только зубы лечил. И теперь бы не обратился, но где уж тут одиноко стоять в позе, когда Лида заболела... Пришлось снова переписаться.

В неврологическом отделении, в Феофании, никакой роскоши, даже лекарства пришлось прикупать, но врачи — хорошие. Правда, улучшения не наступило, и даже там перенесла

приступ головокружения, упала... Левая нога очень болела, ходила с большим трудом. Тяжелый инвалид. С психологическими накладками...

В октябре 1993 года все внимание было к России. События недавние, описывать не буду. Факт, что парламент в Белом доме расстреляли из танков и больше сотни людей погибло. Хасбулатов, Руцкой и Макашов — люди противные, и я затрудняюсь сказать, кто больше виноват — Ельцин или они. Пример фокусов самоорганизации в социологии: общество, как и психику, может «занести» — и до упора, до катастрофы.

На наших украинских делах эти события не сказались: страна в тяжелом экономическом кризисе. Зарплату в академии задерживают месяцами. Пришлось перейти на довольствие в родной институт. Так хотелось отказаться от всяких зарплат, потому что практическими делами не отрабатываю, но куда денешься? На пенсию не прожить...

В том же году усилиями академика Александра Федоровича Возианова была создана новая Академия медицинских наук Украины. Были выборы, меня выдвинули в президиум. Я легонько отказывался — по старости, но решительности не проявил. Думал: все-таки «при деле». Были выборы новых членов: Геннадия Кнышова выбрали академиком. Я поддерживал.

В октябре 1993 года Валера Залевский заменил мне стимулятор. Первый служил семь лет, последние полгода работал плохо: не давал ускорения на нагрузку. В связи с этим были трудности — тяжело бегать, приступы стенокардии.

Новый импортный стимулятор стоил около пяти тысяч долларов. Денег после «шока» не было совсем. В институте — тоже пусто, да и стыдно их разорять. В министерстве и академии — та же картина. Но мир ко мне добрый. Нашелся совсем незнакомый почитатель, журналист Сергей Буковский, обратился к своим немецким коллегам, и те прислали мне стимулятор.

Но и это еще не все. В Москве живет и работает Вадим Васильевич Архипов, ведает международной фирмой «Интермедикс», производящей первоклассные стимуляторы. Так вот: прислал для меня аппарат. Его и вшили. Первый пошел на благое дело — поставили мальчику, у которого возник блок после операции. Немцам об этом сообщили, фото мальчика переслали.

Операцию описывать нечего: одну ночь проспал в кабинете у Бендета. Весь день и вечер принимал гостей, и все выпивали за мое здоровье. Я — тоже, но в меру. Скрыл от Лиды, когда шел

на операцию, она обиделась. Вот так оборачиваются благие намерения...

6 декабря 1993 года праздновали юбилей. Разумеется, не то положение, но все же — было заседание в академии. От Президента Л.М. Кравчука получил «Почетный знак», от некоторых организаций — адреса.

Растрогали учителя из Череповца. Из школы, где учился когда-то, приехали три человека, привезли северные немудреные подарки — даже сувенирный бочоночек вологодского масла.

Банкет тоже был, как говорят, вполне приличный. Директор спонсоров привлек...

Нет, не получил удовольствия от юбилея. Самочувствие было неважное... старость догоняет! Лида нездорова... Нога у нее болела, ходила с большим трудом, спала плохо... Какое уж тут настроение? Соответственно — и мое.

Володя, зять, положил Лиду в свое отделение. Он работал в институте Шалимова, оперировал коронарных больных и делал массу других операций. Сам Саша уже не директорствовал, но институт все называли «Шалимовский».

Обследовали сосуды, обнаружили закупорку левой бедренной артерии.

18 января 1994 года профессор Дрюк Николай Федорович сделал операцию: удалил старые тромбы и расширил просвет бедренной артерии за счет пластики венной... Кровоснабжение ноги сразу же улучшилось, боли уменьшились, больная «свет увидела». Великое дело — хирургия!

Но это еще не все. Стало ясно, что в артерии «подсыпали» сгустки из сердца. Уже писал, что оно было нездорово, с мерцательной аритмией, от которой когда-то дигоксин давали и чуть не уморили. Теперь обнаружили новую нашу ошибку: по последним научным данным, при мерцательной аритмии полагается постоянно, на всю жизнь давать лекарства, уменьшающие свертываемость крови. Они препятствуют образованию сгустков, а следовательно — и закупорку сосудов. Вот откуда были инсульты! Всем больным с клапанами мы даем такие лекарства. Без них инсульты бывают очень часто. Так с тех пор Лида и принимает эти таблетки. Свертываемость проверяется раз в три месяца, она должна снижаться на одну треть или на половину. С тех пор прошло четыре года...

«Все под Богом ходим!» Ни один опытный врач не осмелится сказать, что вылечил окончательно...

Вот и хвастай после этого: я — опытный врач. Дважды чуть не уморил собственную — любимую — жену. Поневоле подумаешь: наверное, Бог меня до сих пор любит.

34

Последние четыре года я назову так: экспериментальная жизнь.

Уже перед восьмидесятилетием почувствовал, что старею. Стало тяжело ходить, шатало, нападала слабость, хотя я продолжал свою физкультуру — 2,5 километра трусцой и гимнастику — тысяча движений.

Опечалился, но придумал гипотезу: когда человек перестает работать, он детренируется, и это ускоряет старение. Чтобы разорвать порочный круг, необходимо сильно увеличить физическую нагрузку. Предполагал остановить старение и даже на какое-то время омолодиться.

Знал, что сердце неполноценное: увеличено почти в два раза, двенадцать лет живу со стимулятором, есть маленький аортальный порок и бывает стенокардия. Риск? Да, потому и назвал «эксперимент».

В первый год моему эксперименту сопутствовала большая реклама: результаты печатались в газетах, о них говорили по ТВ.

Прошло почти четыре года. Прежде чем их описывать и что-нибудь прогнозировать, скажу немножко о теориях старения.

Оно так запрограммировано в генах, и все другие факторы — второстепенны и добавочны. Академик В.В. Фролькис, геронтолог и теоретик, создатель геннорегуляторной теории, говорит, что существуют «гены старения». Они включаются в пожилом возрасте и формируют специфические белки, избирательно тормозящие функции клеток и даже ведущие к болезням — атеросклерозу, раку, диабету.

Так что же, старение — рок, судьба? Все мои идеи с экспериментом — ерунда? Нет. Старость — это уменьшение функций, дееспособности в широком смысле слова. Они определяются генами, но и... самой функцией! Закон тренировки существует. Вопрос в том, насколько можно повлиять тренировкой, чтобы удержать функцию органа на той границе, ниже которой начинается патология, болезнь.

В начале эксперимента я определил такие нагрузки: 5 — 6 километров бега, гимнастика — полторы тысячи движений с

гантелями по 5 килограмм и еще тысяча — без гантелей. Вхождение в новый режим заняло три месяца и прошло без осложнений.

Идеи эксперимента я доложил в нашем клубе, которым руководит мой друг и соратник по замыслам Борис Николаевич Машиновский, член-корреспондент национальной Академии наук. Клуб посещают человек пятнадцать — двадцать любознательных ученых, не буду перечислять всех, отмечу лишь наиболее близких мне: Володя Николаев, Сережа Азаров, Алексей Григорьевич Ивахненко, Олег Кришталь (он, между прочим, не только академик-физиолог, но еще и отличный писатель).

Весь 1994 год ходил в институт раз в неделю, и только пешком. Как обычно, приходили посетители, больные — бывшие и новые, просто люди, жаждущие побеседовать на общие темы.

Работа института протекала в сложных условиях: денег Академия медицинских наук давала мало, больным приходилось покупать лекарства, клапаны, стимуляторы. Так было во всем здравоохранении, в академии еще получше — благодаря президенту Возианову.

В тот год я написал книгу «Разум, человек, общество, будущее». По частям она печаталась в журнале «Вестник Академии наук», там мне протезировала Галина Павловна Торжевская, редактор и старая знакомая. Потом нашелся издатель — В.П. Красников, напечатал, выдал мне двести экземпляров, чтобы дарить.

Спустя полгода после начала эксперимента я омолодился. Нет, юношей не стал, но к семидесяти годам вернулся. Бегал шесть километров, быстро ходил, не шатался. Понизилось кровяное давление, исчезла стенокардия. В это время я написал брошюру «Эксперимент». Ее издал тот же Красников, а отрывки печатали во многих газетах и еженедельниках.

И вот тут меня «занесло»: я потерял бдительность.

Число упражнений с гантелями увеличил до трех тысяч и даже стал пробовать десять килограмм. Вообще чувствовал себя отлично. Хвастал! Интервью давал. Я понимал, что самочувствие сильно зависит от психики: человек убедил себя — и доволен. Но эйфория не может держаться долго. Поэтому, когда после года упражнений рентгено снимок сердца показал некоторое увеличение размеров, внимания не обратил: «Натренировалась — и увеличилось!»

В 1995 году институт работал, скажем, прилично. Очень

много сотрудников побывали за границей и даже поработали по несколько месяцев в лучших клиниках. Освоили, через украинскую диаспору, не только Штаты, Канаду и Европу, но и Австралию.

Двинулись вперед молодые таланты — Илья Емец и Вася Лазаришинец. Первый еще успел поассистировать мне, а второй — уже совсем новая генерация. Геннадий вовремя дал им ход — выделил самостоятельные небольшие отделения с собственной реанимацией.

Несомненно, эти ребята сдвинули проблему маленьких детей, которую я не мог решить в течение всей своей карьеры. Они не только делали прежние, обычные операции — они освоили те, которые у нас никогда не получались. И притом на совсем маленьких детишках. Раньше все они были обречены. Конечно, сначала смертность при таких вмешательствах была высоковата, но постепенно она снижалась до приемлемых цифр. К сожалению, через это приходится проходить.

Зимой 1995 года наши дети переехали в собственную квартиру. К счастью, неподалеку от нас, в одном квартале. Лиде стало полегче.

Анюта пошла в школу. Родители нашли платную школу, возили девочку на машине, как богатую. Отец совершенно таял от дочки и был готов на любые жертвы. Катя оказалась более строгой мамой. Кто бы мог подумать?

Училась хорошо, но бабушке очень хотелось руководить и проверять. На этой почве бывали стычки... Мои отношения с внучкой были безоблачны: встречи и прощания обязательно с поцелуями. Плюс к этому — разговоры, истории из жизни, — последний человек, которому пока интересно... Еще чтение Библии для детей: внедрить Нагорную проповедь и привить понятие греха.

Весной 1996 года при обследовании оказалось, что сердце еще больше увеличилось и ухудшилась функция. Пришлось отступить: сократил пробежки до двух километров. Но гимнастику не изменил. Решил обследовать сердце каждые полгода, не полагаясь на хорошее самочувствие.

Работа за компьютером между тем продолжалась, и очень интенсивно: написал новую книгу «Преодоление старости». Идею и название предложил опять же старый друг Шенкман Стив Борисович. Он же издал книгу в Москве.

Однако осенью 1996 года при обследовании нашли новое уве-

личение сердца и снижение функции. Вернулись приступы стенокардии, хотя и легкие. Сдался и перестал бегать, заменил ходьбой. Расстроился.

Но тут же и несчастья... Хотя как считать... Умерла Маруся. Стариковская травма: сломала шейку бедра. Храбрые ярославские хирурги девяностолетней старухе заменили сустав металлическим протезом. Но не спасли, умерла на седьмой день. Ее жизнь в последние годы была ужасна. С трудом передвигалась по квартире, постоянно что-нибудь болело. По хозяйству помогала подруга, которой она завещала квартиру. Очень хорошая женщина, дружили они с 1937 года...

Вот так разрываются внешние связи: сначала Борис — Ленинград, потом Москва — Аркаша, Манучарова. В Херсоне умерла Вера Лысова, хирург, друг нашего дома.

С 1992 года я не выезжаю из Киева, не хочется. Тоже признак старости.

В институт ходил раз в неделю и был доволен работой. Но... уже не своей. Поэтому от половины зарплаты почетного директора отказался: «не обрабатываю».

День рождения в институте отметили просто грандиозно, другого слова не подберу. Сначала на утренней конференции сказал приветствие Кнышов, потом двинул речь я — рассказал о проблемах страны и своих теоретических изысканиях. (Смешно звучит, правда?) Потом целый день приходили представители всех отделений, приносили цветы и даже подарки («мелочь, но приятно»!). И выпивали по рюмочке... Все закончилось большим застольем. Я соблюдал осторожность в еде и питии, но все равно — очень устал... По лестнице поднимался с помощью. Цветы в квартире стояли полмесяца...

35

Год 1997-й начался с напасти: образовалась двусторонняя грыжа. Сгоряча хотел сразу оперироваться, но тут первые новогодние дни, Рождество... Холода перетерпел, и боли отпустили. До сих пор терплю. Но ходить стало тяжелее. Думал от грыжи, а оказалось — от старости. Правда, все внутренние органы, кроме сердца, здоровы.

Видали вы, как ходят старики? Малыми шажками, с усилием, лицо напряженное, спина согнута, голову повернуть бояться — шатнет!

Вот и я становлюсь таким же. Самому противно.

С весны 1997 года трудности в ходьбе нарастали катастрофически. Ощущения такие, как после большого похода: в тазу и в бедрах тяжесть, ноги не идут, переступаю как на ходулях. Однако я пересиливал себя и час в день ходил.

Итак: старость настигла. Другие ее прелести могут появиться в любой день. Уверенности, что физкультура их остановит, уже нет. Тогда зачем теперь так убиваться?

Нет, не мог остановиться! Привык к идее. Кажется, если перестану «ломаться» — впаду в маразм. Поэтому подыскивал доводы «за». Во-первых, я хорошо себя чувствую, пока не хожу, пока сижу за компьютером. Голова работает отлично. Во-вторых, гимнастику делаю без затруднений. В-третьих, выступаю в печати со статьями о связи гимнастики с процессом замедления старения. Пишут, помогает. И уж точно нигде не сказано, что вредит. А между тем многие мои друзья если не говорят, то думают: «Перебрал старик!»

Но, может, уменьшить нагрузки? Вернуться к тысяче движений, которые делал в течение сорока лет, без всяких гантелей? Ходьбу сохранить, пока ноги переступают.

Нет! Гантели мне не в тягость. Время тоже не экономяю — все равно радио слушаю и новости смотрю, так даже лучше с упражнениями, чем впустую сидеть. Да и для каких таких великих дел экономить время? Поезд уже ушел... Идея дороже.

Поэтому все оставалось по-старому: гимнастика два часа, с гантелями, плюс ходьба один час...

Но произошла катастрофа: 22 сентября заболел зуб. Его удалили. Уже дома возникла сильнейшая боль. Значит — стресс. Когда пошел на прогулку, обнаружилось, что идти не могу из-за сильной одышки. Пришлось сесть на скамейку через полквартала. На лестнице останавливался дважды. Острая сердечная недостаточность. Скомпенсировал лекарствами только через неделю.

Стало ясно, что трудности, испытываемые при ходьбе, не только от старости, но и от сердца. Боль нарушила хрупкое равновесие. Мои домашние доктора давно предупреждали. Не верил. Теперь самоуверенность сильно поколебалась: омоложение через физкультуру не состоялось, а больное сердце ограничивает преодоление старости.

Но... не мог я совсем сдаться, опуститься до полной пассивности: лег, сел, снова лег... Боюсь, что поглупею, что старость

скует тело окончательно, да и сердце не вылечится, а ослабнет. Раз воля к риску еще осталась, то нужно искать компромисс — тренироваться столько, чтобы не увеличить патологию сердца, и в то же время сопротивляться старению. Пришлось склониться перед медициной: принимал лекарства.

Гимнастику сократил до четырех тысяч движений, с гантелями — одна треть, темп медленный, амплитуда — меньше. Одышки не допускаю. Полчаса хожу по коридору, полчаса — по улице. Тут не обходится без нитроглицерина — две-три таблетки в день. Если на заседание или в гости схожу — это стресс, и по лестнице потом поднимаюсь с трудом.

Такой режим соблюдаю с октября 1997 года. Долго ли продержусь — не знаю. Сердце на рентгене — большое.

Именины отпраздновали по тому же ритуалу, как и раньше, — пышно и всем институтом. Описывать уже не стоит.

Не знаю, как доживу до следующих...

Деятельность в институте протекает как и в предыдущие годы. Но, увы, меня уже привозят на машине...

Институт, мне кажется, адаптировался к «новым реалиям» (ох уж эти новые штампы! я их использую в ироническом смысле, они мне противны). Создали строгую систему: зарплату обеспечивает академия, а больные оплачивают лечение — медикаменты, клапаны, оксигенаторы, ЭКСы. Это получается по старому очень дорого — до 500 долларов, а по сравнению с Москвой — в пять раз дешевле, со Штатами — в тридцать раз... Две трети пациентов находят помощь в своих организациях, одна треть — платит из своих личных сбережений. Кажется, откуда взять средства при тотальном обеднении населения? Но... оно не тотальное. Если 27 процентов семей имеют автомобили, которые стоят 5—10 тысяч долларов, то по крайней мере половина семей может найти 500 «баксов», чтобы заплатить за спасение жизни ребенка. Другое дело, что остается нерешенной проблема благотворительности, чтобы оперировать самого бедного, не имеющего ни денег, ни связи с организациями...

Геннадий сделал отличный отчет. Несомненно, директор «состоялся». 1997 год ознаменовался определенными успехами: число операций с АИКом достигло 1550, а смертность при них составила 9 процентов. Такая цифра при мне была немыслима. А если учесть, что стали делать много совершенно новых (для нас) операций и оперировать даже грудных детишек, то успехи просто замечательные... Вроде бы это зачеркивает мою преж-

нюю работу и должно бы привести к комплексу неполноценности... Но нет, наоборот. Смерти столь ужасны, что я искренне рад успехам моих бывших... хотел написать «учеников», и остановился. Лучше — соратников.

В моей общественной деятельности в прошлом, 1997 году был всплеск активности. Совместно с Борисом Николаевичем Малиновским и его верными помощницами — Верой Борисовной Бигдан и Тamarой Ивановной Малашок — мы провернули огромную работу: социологический опрос, через газеты, граждан Украины. Получили 10 тысяч ответов. Фонд Сороса подкинул 2000 долларов на обработку, и вот имеем интересные результаты. Вся работа была суммирована в книге «Идеология для Украины».

Самые общие выводы. В массе своей народ беден, недоволен жизнью, не доверяет властям, жаждет перемен, но надеется на улучшение. Пожилые, самые бедные и необразованные, смотрят назад — на социализм, на возврат к Союзу. Молодые и более обеспеченные настроены на капитализм, на интеграцию в Европу. Резко возросло неравенство, в частности, намечается скромный средний класс: почти треть ответивших имеют автомобиль, собственную квартиру или дом, участок земли. Преувеличивать не буду: влияния на общество эта работа не оказала. Но я был «при деле». Как и сейчас, когда пишу эти воспоминания...

Еще несколько слов об обстоятельствах жизни.

Лида, слава Богу, последние два года чувствовала себя прилично. Анюта учится в четвертом классе: на пятерки. Почти Молодежь? Те преуспевают в своих карьерных делах.

Осталось подвести итоги эксперимента. Хотя он затормозился и исход сомнителен, но часто ли вообще эксперименты бывают совсем удачными? Просто о неудачных не сообщают, а иногда и привирают...

Вопрос: укоротил я себе жизнь или продлил? Скажу откровенно: не знаю. Но точно — улучшил. И не жалею. Старческие нарушения начались четыре года назад, и без эксперимента было бы хуже. Наверное.

Вернемся к делу.

Большие нагрузки несомненно полезны. Два года чувствовал себя хорошо, моложе стал лет на десять. Все внутренние органы, кроме сердца, и теперь служат отлично. Об этом говорят анализы, отсутствие заболеваний и постоянство функций.

Я не рассчитывал на значительное омоложение, больше —

на замедление старения. Думаю, что надежды оправдались. Если бы сердце было здоровое (и был бы сам разумный!), мог бы продержаться до девяноста лет... Правда, «гены старости» коварны и очень индивидуальны — один старик и в девяносто лет герой, а другой — и в семьдесят уже развалюха...

Трудно сказать, как долго можно держать под контролем двигательную сферу. Скованность, шаткая походка и дрожание — это реальности старческого возраста, хотя и с большим разбросом. Невропатологи предложили средство: попробовал — не помогло. Наоборот, здоровое сердце и физкультура должны бы сохранить резервы надолго.

Самое страшное для ученого — это ослабление памяти, потеря способности к творчеству. Эта перспектива меня беспокоит больше, чем трудности при ходьбе. В конце концов, до смерти можно и в кресле дожить. Сидят же безногие. А вот без мыслей — не согласен: это последнее, что остается. На них рассчитывал повлиять через гимнастику: упражнения — это адреналин. Он тонизирует мозг.

Получил ли я доказательства активации мышления? Трудно сказать с уверенностью, но скорее «да», чем «нет». Судите сами. За три последних года я написал три брошюры и четыре книги: «Здоровье», «Общество: оптимальность и разумность», «Преодоление старости», «Мое мировоззрение», «Идеология для Украины» и т. д. Кроме того, сделал несколько докладов в двух академиях, давал очень много интервью.

Во всяком случае, от эксперимента у меня осталось самое главное — уверенность в будущем. Жил, не оглядываясь на возраст: хотя и без операций, без лекций, без институтской текучки, но с интересом.

Теперь будущее сократилось. Но работа продолжается: мои темы неисчерпаемы, а остановка — смерти подобна...

Да и надежда не потеряна: может быть, удастся скомпенсировать сердце. Природа могущественна.

Так и живу...

36

Воспоминания пишутся о прошлом. Но я нарушил традицию и довел их до настоящего времени, до своего восьмидесятипятилетия. Сделаю даже больше: ревизию обстановки и прогноз на будущее. «Воспоминания о будущем»...

Попробую написать в том же ключе: о себе, об окружении, об идеях...

Восемьдесят пять лет — возраст солидный. Просматривая отложенные в памяти биографии, редко встречаю, чтобы сочиняли что-нибудь толковое в эти годы. Я попытаюсь, «ебж» — если буду жив, как писал Толстой в дневниках.

Сколько буду жить? Точно — не скажу, но вероятности известны и довольно жестки. Обманываться не нужно. Например, бывает такое: последние месяцы много работал над этой рукописью и снова полегчало, стал быстрее ходить. Обрадовался, но случился прокол. Был большой психологический стресс, острая речь в академии, но... Как говорили, хорошая. Однако — ценой адреналина. Потом спешил в Дом ученых на семинар, и тоже — для «спорного» выступления в клубе. Опоздывал, очень торопился, по лестнице поднялся с большим трудом, вбежал и... повалился: обморок. Такое, скажу вам, было приятное ощущение! И последняя мысль: «Умирать не страшно...»

Ничего не произошло, кроме переполоха с вызовом «скорой помощи». Отошел через пятнадцать минут, выступление на семинаре было удачным: «заседание продолжается!..»

Но случай побудил оглянуться вокруг: полно, Амосов, будь реалистом!

Когда начинал эксперимент, изучал демографическую статистику: длительность предстоящей жизни для восьмидесятилетнего мужчины — шесть с половиной лет. Из них — четыре с половиной я уже прожил... Правда, статистика хитрая: доживешь до срока, смотришь — тебе дают премию — отсрочку. Восьмидесятипятилетнему старику разрешается прожить еще три с половиной года и даже девяностолетнему отпускается еще полтора.

Для меня особый интерес представляет «популяция» академиков. По справочнику Академии наук Украины за 1993 год я насчитал семнадцать членов академии старше восьмидесяти пяти лет, через четыре года, в новом справочнике (1997), из них осталось семь (то есть переживших восьмидесятидевятителетие, а трое даже чуть-чуть перевалило за девяносто). И это из четырех сотен членов.

Когда в начале 1994 года стал таскать гири и удвоил бег, рассчитывал поломать статистику старения. И поломал бы, если бы не сердце. Теперь уже ясно: оно меня доконает.

Вот и получается -- опущено около грех лет (мало), да и то плохих...

Исходя из этого, и нужно строить планы на дальнейшую деятельность... Чтобы людям быть не в тягость, да и для себя получить максимум возможного душевного комфорта.

Первый вопрос — здоровье, то есть сердце и старость. Несомненно, будет хуже. Такое счастье редко кому выпадает: живешь — хорошо, пришел срок — раз, и умер! Обычно путь к смерти лежит через болезни и страдания.

Динамика симптомов такова, что через год-полтора не смогу выходить на улицу, а под занавес стану лежачим больным. Гимнастику буду делать до последней возможности, вижу в этом условие умственного труда. Но объем придется сокращать. Впереди смена стимулятора, не исключена и операция на аортальном клапане и коронарных артериях. Очень боюсь нарастания одышки... Уже мерещится баллон с кислородом у кровати и даже больничная палата...

Соответственно с этим будут меняться обстоятельства, отношения и деятельность.

Попробую разложить по полочкам.

Ближнее окружение. Все идет нормально. Внучка учится хорошо, дочь и зять успешно работают. Самая главная среди нас — Лида. Отягчена болезнями, но последние пару-тройку лет скомпенсировалась. На ней держится наша маленькая семейная ячейка. Даже сам удивляюсь, как после полувека совместной жизни брак приходит к истинной гармонии отношений... Если бы так шло с самого начала, сколько бы счастья было сэкономлено!

Служба: обязанностей просто нет. Хожу в институт два-три раза в месяц, больше для общения, чем для дела. Отвечаю на письма. Обращаются прежние пациенты. Сотрудники рассказывают о своих делах и заграничных впечатлениях. Даю консультации, хотя нужда в них минимальная: без меня всё знают. Приходят «чайники», чтобы выпустить пар, с бредовыми научными идеями, касающимися всего на свете. Я их терпеливо выслушиваю, поскольку и сам такой...

Институт не разоряю: получаю полставки, компенсация за 25 лет работы «на общественных началах».

Присутствую на отчетах, на конференциях, руковожу ученым советом, где защищают диссертации по сердечной хирургии.

Еще: состою членом президиума Медицинской академии, бываю на заседаниях. Выступаю редко.

От такой службы можно отказаться в любой момент, никто и не заметит.

Общественная работа: до сих пор в большом фаворе у газетчиков и телевизионщиков. За год выходит более десятка статей и интервью, даже в российских газетах и журналах. Темы самые разные.

Еще: пишу книги. Не очень активно, но регулярно. Только что донецкий «Сталкер» переиздал «Мысли и сердце», обещал напечатать «Мое мировоззрение» — переделанный и расширенный вариант статьи в «Вопросах философии» за 1992 год. Есть планы на книгу «Разум и психика». Знаю, что книги не читают, пишу для себя. И дальше буду писать, даже в постели: компьютер на колени — и пошел! Пару десятков экземпляров на ксероксе отпечатаю для друзей и библиотек — смотришь, вроде и «при деле».

Личные занятия, надеюсь, до конца останутся со мной. Чтение: научные книги, воспоминания, редко — романы, а больше — газеты. Радио слушаю. Телевизор смотрю только под гимнастику: новости плюс один фильм в неделю, не больше. Убийства, голые девицы и реклама активно раздражают, но приходится мириться. Информационный голод испытываю, сил нет ходить в библиотеку, а «Интернет» уже не осилю: стар, да и денег мало.

По общению тоскую. Но уже меньше, чем пять лет назад. Пока еще хожу на заседания клуба, изредка приходят друзья и бывшие помощники. Ведем интеллектуальные беседы. Боюсь, что общение уменьшится... Выводы: польза семье и обществу от меня невелика, если сравнить с прежней деятельностью, но и ущерба пока еще нет. Надеюсь удержать баланс подольше.

Иллюстрация к сказанному: совсем недавно умер академик Сергей Михайлович Гершензон — один из могокан, устоявших против Лысенко. Он прожил девяносто два года, последние лет пять сидел в кресле: что-то было со здоровьем. Но продолжал упорно работать. Почти в одиночестве, ученики редко его навещали. После восьмидесяти пяти лет написал очень информативную книгу по истории советской генетики, ее напечатали. В девяносто лет перевел с английского роман Томаса Гарди, звонил мне с просьбой подсказать — где бы издать... Я ему не помог —

сам в постоянных поисках, кто возьмет печатать. Не в этом дело: интеллект работал до самой смерти. И это — без всякого эксперимента. Правда, я замечал, после восьмидесяти он уже плоховато ходил. Но сердце было здоровое.

Боюсь, что многие прочитают эти страницы и пожалеют:

— После такой активной жизни... Несчастный старик!

Впечатление неверное. Больших страданий пока не испытывал, острое счастье бывает редко, а средний уровень душевного комфорта (УДК) остался почти прежним. Все идет по моим моделям психики: УДК — от удовлетворения потребностей. Они изменились. Одни исчезли совсем (секс), другие — уменьшились с возрастом (лидерство, тщеславие). Значимость третьих понизилась в результате адаптации к бессилию, к новым условиям жизни. Примеры — удовольствие от движений, от общения. Резкое сокращение будущего ограничило запросы на науку: уже не хватает времени на исследования, приходится обходиться литературой. Плохо переношу только стеснение свободы передвижения: не могу ходить, как раньше, и лестницы одолевать. (Да, за последний год узнал еще одну, самую, оказалось, важную потребность: дышать! Это когда сердце работает плохо и даже лежать не могу, задыхаюсь. Приму нитроглицерин, посижу, отойду — и опять живой, мысли зашевелились.)

Счастье моей жизни не стоит преувеличивать — достаточно прочитать дневники с хирургическими страстями.

Из всех биологических потребностей остались любопытство, творчество, чуть-чуть общения и совсем немножко тщеславия.

Еще один компонент УДК со знаком плюс: могу жить по убеждениям. Не нужно лгать и кривить душой. Старость извиняет непротивление злу, царящему в обществе: могу отойти в сторону, мне восемьдесят пять лет. Вполне понимаю аморальность этой позиции, но изменить уже не могу. Все, что мог отдать, — отдал. Взамен ничего не хочу...

В общем, со счастьем все в порядке... Удовольствий мало, но и больших неприятностей пока нет. Они еще впереди.

Так что? Осталась серенькая растительная жизнь?

Ни в коем случае! Мое счастье со мной — оно в мышлении и в поиске истины. Правда, без надежды найти ее, но это не главное: важно искать. (Понимаю, что это звучит очень претенциозно, но не могу найти скромного слова.)

Конечно, здесь невозможно писать об идеях, что обдумываю. Ограничусь самыми краткими выводами.

Основа всего мировоззрения: цепочка изменений материи, вызванных неустойчивостью ее частиц, в режиме самоорганизации. Этапы такие: первичный взрыв — элементарные частицы — атомы — молекулы — неорганическая эволюция (минералы) — органические молекулы. Биологическая эволюция — ДНК-клетки — организмы — виды — человек разумный. Социальная эволюция. Техническая эволюция — Искусственный Интеллект — Космический Разум. Может быть, это — Бог? На каких-то далеких галактиках уже достигли этого уровня — Вселенского Разума, — и он уже управляет нами, направляя к всеобщему благу? Я не верю в эту идею, но исследовать нужно.

Частные идеи.

Остаюсь материалистом: всякая сложность миров, живого и неживого, а также идей выражается в структурах и сигналах. Они создаются в процессе самоорганизации материальных элементов, которым присуще главное качество: неустойчивость, потенциал изменений. Никакой духовности нет, есть только реальные и нереальные модели. Необъяснимые явления, «чудеса», видимо, существуют, но на жизнь людей влияют мало, главным образом через психику. Прогресс идет мимо этого, на материальных основах.

В мышлении и разуме нет ничего таинственного: они воспроизводимы техническими средствами, хотя и очень сложны. Нужно время.

«Человек биологический» — стадное животное, наделенное творческим разумом.

«Человек общественный» — продукт биологии и творчества, породивших общество — самостоятельную систему с коллективным разумом. Общество оказывает обратное влияние на своих членов. Его интенсивность пропорциональна научно-техническому прогрессу, однако пока еще биология превалирует в поведении людей.

Идеология и государство создаются в результате творчества идей, но оптимум отрабатывается через отбор, в котором опять же участвуют биология человека и НТП. Последний является определяющим фактором, действующим через экономику и информатику.

В мире идет закономерный процесс созревания цивилизации. Он выражается в росте богатства, образования, демократии, в уменьшении неравенства, сохранении природы, улучшении здоровья, ограничении рождаемости, повышении мора-

ли. Результатом этих процессов будет устойчивое равновесие человека и природы. К сожалению, созревание идет неравномерно, сопровождается противоречиями между странами и даже угрозой для реализации созревания в планетарном масштабе...

Все, что перечислил, очень интересно. Занимает мои мысли. Эти проблемы неисчерпаемы. Нечего рассчитывать, что я смогу «внести вклад». Возможностей нет, да и ума мало. Для меня это лишь объект мышления и деятельности: если не исследовать, то хотя бы писать для любопытных, чтобы сохранить ощущение пользы людям. Привык так жить.

Отдельная тема: познание человека. Одновременно это познание самого себя в системе связей с природой и обществом. Или: «управление счастьем». Каждый человек стремится к этому всю жизнь. Скажу несколько слов о последнем этапе.

Смерть: оптимизация конца. Минимум страданий и отрешение от мира.

Результаты раздумий об этом последнем этапе таковы. Хорошо бы поверить в Бога: тогда смерти нет. Но — не могу. Остаётся привыкнуть к мысли о смерти и планомерно сокращать потребности, чтобы в самом конце незаметно (с кислородом) отключилась последняя: дышать. Тем более, что природа и медицина под занавес могут помочь.

По поводу природы: много раз расспрашивал больных после реанимации; оказывается, когда падает кровяное давление, то исчезают чувства. Сознание есть, но ничего не страшно и ничего не жаль. Однако и речи нет ни о какой «жизни после смерти», как пишет Моуди. Просто исчезнет сознание — и все. Но через пять — десять минут врачи могут еще оживить, только тогда и можно вспомнить процесс умирания.

Медицина имеет средства, чтобы уменьшить физические и психические страдания.

Так что умирать не страшно, если хорошо подготовиться. Тем более, когда все программы выполнены, все, что было можно, сделано, а что не сделано — уже безвозвратно.

На этом я закончу книгу. Приношу извинения за литературный слог и избыток медицины. Кто захочет, может и пропустить, пожалуй. Просто мне хотелось записать нашу историю для своих соратников и друзей...

Всем им, поименованным и пропущенным, говорю: спасибо! Вы сотворили мою жизнь больше, чем я сделал ее сам.

Послесловие

Так я предполагал закончить книгу. Но жизнь оказалась сложнее. В середине мая наступило драматическое ухудшение состояния сердца. Резко усилилась одышка, участились приступы стенокардии. Ночью они не дают спать лежа, часами приходится сидеть с лекарствами, пока успокоится сердце. Ходить по улице почти перестал.

Вплотную встал вопрос об операции: нужно протезировать аортальный клапан и делать аортокоронарное шунтирование. Если учесть возраст и наличие стимулятора, то операция весьма трудная и опасная. Но — возможная. Здоровым она меня не сделает, но улучшение обещает.

Дело уже решенное: собираюсь ехать за границу. Хотелось бы у себя в институте, но при такой комбинации сложностей у нас еще не оперировали. Предполагаем с дочкой и с Толей Руденко ехать в Германию. Сейчас идет оформление документов и поиски денег на оплату операции.

Конечно, переживания, скажем, «имеют место», но описывать их я не стану.

Так или иначе, конечный результат нового поворота жизни читателям сообщим: или сам, или редактор.

ЭКСПЕРИМЕНТ ЗАКОНЧЕН, ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

1

Я закончил книгу воспоминаний «Послесловием» накануне отъезда на операцию. За текстом слышится явственное: нет желания жить. *Так* жить. Об операции я серьезно не думал даже в последний год, когда сердце снова увеличилось в размерах, стали нарастать одышка и стенокардия. Я все еще себя успокаивал: по данным УЗИ (эхокардиография) перепад давлений на аортальном клапане не возрастал, оставаясь в пределах 40 мм р.с., «фракция изгнания», то есть процент объема выталкиваемой при систоле крови, остался постоянным (38—40 процентов). Все эти важнейшие показатели держались уже четыре года. Они не вязались с увеличением объема сердца, но ни я, ни наши институтские специалисты разобраться в этом явлении и связать его с ухудшением состояния не смогли. Не хватало квалификации. Впрочем, я слишком давил их своим авторитетом.

Так я и тянул, постепенно сокращая нагрузки и увеличивая дозы нитроглицерина. А в последние месяцы еще и книгу очень хотелось дописать.

Положение изменилось в середине мая 1998 года; полгода не дотянул до пяти лет эксперимента. Во-первых, состояние стало быстро ухудшаться. Во-вторых, Толя Руденко (нет, Анатолий Викторович, доктор медицинских наук, отличный хирург) 12 мая целый час рассказывал о своей трехмесячной командировке в Германию, в клинику Корфера в маленьком городке Бед-Оэнхаузен, недалеко от Дюссельдорфа. Именно ему я объяснил поездкой в Германию на операцию.

Толя описывал просто чудеса: оперируют в любом возрасте, настоящая фабрика обновления сердец, организованная с немецкой тщательностью и точностью. Операции, разумеется, платные — 40—50 тысяч марок.

Я восхитился, но даже не подумал: «Вот бы мне!» Ехать так далеко... Денег нет... Чужие люди... Да и стоит ли хлопотать? Поживу еще с годик... Правда, в последнее время разные знаме-

нитости часто ездят оперировать сердце в Германию, Израиль или Штаты. Большинство — удачно, но смерти тоже были. Да и люди ездили не такие же старые... В нашем институте тоже никто не высказал идеи «поехать Амосову в Германию»...

Так бы это и забылось, да тут включилась моя дочь, Катя. Правда, уже не Катя, а Екатерина Николаевна, профессор, зав. кафедрой терапии в мединституте, притом — кардиолог. Все говорят, очень энергичная... Она и Володя Мишалов, зять, тоже доктор наук, дружат с Руденко.

Катя завелась сразу. Пришла к Кнышову, он собрал заведующих отделениями, и решили: ехать немедленно.

Отправили факс Корферу, поговорили с ним по телефону и через день получили официальное разрешение: приезжайте, стоимость операции 44 тысячи марок.

Началась сложная и срочная работа: Катя, Володя, Кнышов и его штат. Академия медицинских наук, включая президента Александра Федоровича Возианова. Нужно быстро организовать заграничные паспорта, немецкие визы, билеты и... дойч марки. По телефону договорились с Корфером, что «примут в кредит», но это на несколько дней...

Своих денег у меня было около 6 тысяч долларов — накоплены за пять лет на случай смены стимулятора, ценой большой экономии, а также гонораров, стипендии от Сороса. Этих денег хватит разве что на дорожные и квартирные расходы. Конечно, у нас есть большая квартира, ее можно продать и купить маленькую, но на это нужно много времени.

Впрочем, никто этого вопроса не поднимал, горздрав взял оплату операции на себя, как оплачивает клапаны и оксигенаторы нашим городским неимущим больным. Спасибо Валентину Григорьевичу Бедному. Правительство разрешило такую сумму. И ему спасибо. Вполне могли отказать... Многим нужны операции за границей...

Хлопоты с оформлением были огромные, я сам бы их не осилил, махнул бы рукой... Говорили, правда, что всё «инстанции», включая немецкое посольство, отнеслись благожелательно... Так или иначе, в понедельник 25 мая все было готово: паспорта, визы, разрешение на деньги для расходов, билеты на самолет австрийских авиалиний. По телефону договорились с Корфером зарезервировать место в клинике.

На Лиду было страшно смотреть... Сдерживалась изо всех сил, чтобы не плакать при мне. Собрала минимальный багаж:

гигиена, белье, не стану перечислять — немного. Катя и Толя собрали свои чемоданы тоже экономно, по весу. Главным эмиссаром в Киеве — добывание, оформление денег и перевод их в Германию на счет клиники, связь по телефону — оставался Володя. Вместе с Лидой они еще должны были «пасти» Анюту...

С того момента, как все решилось в понедельник 25 мая, на меня нашло какое-то странное равнодушие. Было только мучительно жалко Лиду. Все, что я мог сделать в жизни, было сделано, и, кроме Лиды, я уже никому (если надолго и по-серьезному) был не нужен.

Сама смерть от операции меня не пугала, я знал, что это самая лучшая смерть — не проснуться. Конечно, я знал и то, что умереть так просто в такой клинике не дадут, будут трудности с умиранием, страдания, но об этом старался не думать. Все время вертелся мотив совсем из другой оперы: «...и если нужно в землю лечь — так это только раз...»

Конечно, многие нас провожали в аэропорту в Борисполе: родные, институтские. Анюту поцеловал... Всем был благодарен за теплые слова.

В связи с волнениями (адреналин!), сердце работало плохо, ходил по аэропорту с трудом, периодически принимал нитроглицерин... Контрольные инстанции в Борисполе, по знакомству, прошли легко, простились, и вот мы уже сидим на жестких стульях в ожидании посадки в самолет. Катя заказала такой билет, что на протяжении всего путешествия меня должны были возить в коляске, как полного инвалида. Это очень пригодились, потому что по ступенькам я уже ходить не мог.

Путь предстоял довольно сложный: пересадка в Вене, прибытие в Ганновер и дальше — на машине, которую заказал для нас Саша Когосов (он работает в Германии), до самой клиники.

Вот уж покатали меня на коляске! Бравые такие ребята, возили быстро, а территория венского аэропорта огромная... Мыслей в голове не было. Сидел, смотрел по сторонам, односложно отвечал, когда спрашивали.

Я уже писал как-то, что человек живет одновременно в нескольких концентрических мирах, каждый из которых существует сам по себе, но отражается в мыслях и чувствах, приятных и неприятных, в «кругах» его психики.

Самый узкий мир — собственное тело, органы, боли, дыхание, позывы.

Второй круг, пошире, — люди и предметы, замкнутые на

меня, на ощущения, со своими отношениями ко мне. В основном это семья и друзья.

Третий круг — люди и предметы из сферы трудовой деятельности и периодических соприкосновений. У них свое прошлое, мысли, действия, отношения между собой.

Еще дальше четвертый круг — общество, массы и фигуры, их характеристики, отношения, мое место в нем.

Наконец, последний круг — мир информации и идей, беспредельный по широте и глубине, с собственными дорожками в нем.

Удельный вес каждого «мира» в мыслях очень разный: от ничтожного до всепоглощающего. Зависит он от типа личности, образованности, а главное — от «включенности» в процессы того или иного круга. Круги расположены концентрически. Каждый имеет свою «толщину» — по значимости в мышлении данного человека. Но не только в этом, есть еще важное — субъективная окраска переживаний: от розовых — приятные, до черных — мучительные.

От этого зависит мое отношение к «кругу» — от переживаний радостных до пронзительно страдальческих, затмевающих всю чувственную и мыслительную сферы без остатка, — исключаящее переключения на другие «круги». Особенно сильным может быть телесно-неприятное чувство, страдания крайней степени. Тут уж другим мирам не остается места совсем.

Понимаю, что я нарисовал сложную конструкцию, но, как мне кажется, она позволяет определить состояние разума индивида: вовлеченность в «круги» и суммарный уровень душевного комфорта (УДК). От некоторого счастья до уничтожающего страдания.

Продолжу, однако, историю... Бойкости в изложении не будет: сил еще нет для интенсивных чувств... Пишу обо всем этом, потому что недавний опыт имеет прямое отношение ко всей прожитой жизни, дает ей другую подсветку... Постараюсь не быть многословным...

...Итак, вечером 26 мая мы проехали 60 километров по сельской Германии и достигли цели. Городок Бед-Оэнхаузен, совсем маленький, с одно-двухэтажными домами. Да, маленький городок, но 5000 операций в год на открытом сердце!..

Остановились перед подъездом двухэтажного дома, скрытого темнотой и зеленью... Подъехала женщина с коляской, и меня снова повезли по коридорам.

Палата на две кровати и туалетная комната с прозрачной душевой кабинкой... Все предельно чисто, ничего лишнего. Одна кровать занята: семидесятилетнему мужчине семь дней назад протезировали клапан и наложили два шунта... Наутро должен выписаться. По виду — трудящийся человек. Вещички уже собрал.

Медсестра уложила меня в постель. Приятно после дороги. Поспать бы... Но вскоре пришел врач (женщина), и начались расспросы о моей болезни. Катя отлично говорит по-английски, чуть-чуть по-немецки. У Толи хуже английский, но лучше немецкий — совсем недавно он прожил здесь три месяца.

Дома я заготовил выписку из истории болезни, с результатами анализов, ее перевели на английский, но врач не стала в нее вникать, а спрашивала по своему вопроснику не очень много, но все важное. Не помню точно, но, кажется, уже вечером взяли кровь на некоторые анализы.

Сообщили план: завтра (в среду) — обследование, на четверг нет плана — шеф в отъезде, а он собирается оперировать сам. Операция — в пятницу.

Было уже за полночь, когда закончили разговоры. Катя и Толя пошли искать ночлег... Толя уже знал, как и где: чтобы близко и недорого.

А я лег спать. Сестра принесла таблетку. Страх не было — программа запущена. Любой конец меня устраивал.

Вся среда прошла в обследованиях. Понял, что значит немецкая организация и работа. Здание клиники двухэтажное, не так чтобы очень большое, но сложной конфигурации. Меня возили на коляске, с поворотами, с подъемами на лифтах... Смотрел по сторонам: на стенах современные картины, очень хорошие, насколько могу судить.

Коридоры в меру широкие, перемежаются холлами. Кабинеты с аппаратурой небольшие. Сами аппараты не поражают, подобное есть и у нас, может быть, чуть похуже.

Зато поражает персонал. Все люди или идут быстрыми шагами, или что-то делают. Но не сидят и не болтают. На каждого больного разработан порядок следования по кабинетам. Расчет по минутам, хотя и без спешки. Конвейер. Персонал, судя по лицам, многонациональный. Не только сестры, но и врачи. И даже высшего ранга — старшие хирурги.

Больных не много и не мало: у некоторых кабинетов сидят в колясках в коротких очередях. В холлах читают журналы... Пациенты в основном пожилые, хотя не старше пятидесяти — се-

мидесяти лет. Культурного вида, как и полагается европейцам. Разговаривают очень тихо.

Меня возили по кабинетам до и после обеда. Несколько раз брали кровь для различных анализов. Не буду описывать схему обследования, такая же и у нас, только здесь немного шире и, несомненно, тщательнее. Но у нас на это уходит неделя или больше, а здесь — один день.

Катя и Толя ходили за мной, разговаривали с врачами, в основном по-английски. Я пытался вникнуть, потом доспрашивал у Кати. Большого любопытства не проявлял. Странное равнодушие не покидало... Когда делали кардиокоронарографию, то мне удалось даже увидеть на экране монитора и свои коронарные артерии. Сужение аортального клапана было настолько резким, что не удалось провести через него зонд из аорты в левый желудочек.

Обследование выявило очень тяжелое поражение сердца: миокарда коронаров, особенно аортального клапана. Катя все время боялась, что откажут в операции из-за тяжести. Так, отверстие клапана всего 5 миллиметров, огромный кальциноз. Сократимость миокарда низкая, фракция выброса менее 30 процентов. Правда, сужение коронаров терпимое, только две артерии необходимо шунтировать.

В целом — поражение четвертой степени, но еще не пятой, при которой уже категорически нельзя оперировать.

Вопрос об операции меня тоже беспокоил, но как-то глухо. Риска я не боялся: лучше умереть здесь, чем тяжело угасать дома. Этот вопрос я рассматривал применительно к страданиям Лиды и Кати: пусть лучше привезут в гробу. У них не будет времени для переживаний. Однако тогда я еще не представлял себе меры возможных страданий здесь: думал, что дома тоже можно умереть тихо и мирно. Я только теоретически знал, что нужно большое счастье для легкой смерти, и смутно надеялся, что мне повезет.

Среда закончилась: обследование завершено, операция опасна, но возможна. Дело за профессором Корфером: он хотел оперировать сам, но вернется только к пятнице.

Катя от меня не отходила, показывая образец дочерней любви, организованности и... силы. Мне было ясно, что именно ее энергии я обязан выпавшему шансу на спасение. Конечно, все другие тоже были «за» и хотели помочь, но камень инерции сдвинула именно Катя. Могла бы и не ехать сама, Геннадий по-

слал бы кого-нибудь в помощь Толе. Тем более что на ее кафедре шли госэкзамены и отпроситься было непросто... Почти три недели потом она не отходила от меня, спала в палате...

Четверг предполагался спокойным: почти все обследовано... Врачи приходили, смотрели, я лежал в постели и тяжело дышал. Нет, не испытывал сильных чувств: что будет, то и будет.

Но около полудня Катя сообщила, что врачи находят мое состояние угрожающим. Ждать еще сутки — опасно. Спрашивают: не возражаю ли я, чтобы экстренно прооперировал ближайший заместитель Корфера? Пусть делают, как найдут нужным.

Начали готовить для срочной операции. Ввели лекарства — это называется премедикация. Я задремал, как и должно быть.

На каждом столе хирург делает три операции, они заранее расписаны. Для меня место нашли в третью очередь, это примерно в три-четыре часа.

Однако уже семь часов, а меня не берут. Я лежу в забытьи, но мои сопровождающие беспокоятся. Разбудили меня, пришел доктор и сообщил, что в ходе дневных операций возникли осложнения и они затягиваются еще на несколько часов. И хотя в этой клинике оперируют круглые сутки, однако им не хотелось бы после дневных осложнений... Не лучше ли все же подождать до утра, тем более что приедет шеф? За мной будут наблюдать, и операционная готова в любой час...

Мне было все равно, но Катя и Толя решили отложить до утра, и я спокойно проспал ночь после лекарств.

Утром, в семь часов, в сопровождении свиты пришел Корфер.

У меня нет таланта описать его так, чтобы передать мощь этого человека. Конечно, вертятся всякие слова из романов о немцах, но их всегда применяют по другому назначению, и поэтому их не хочется использовать.

Одно скажу: вот таким должен быть хирург! Крупный мужчина средних лет с оптимизмом на лице, крепким рукопожатием, бодрыми, убеждающими словами.

Коротко обсудили вопрос о типе клапана: механический (пластинка из специального сплава) или биологический — из живой ткани, не знаю, из чего теперь делают... У меня против них было старое, двадцатилетней давности предубеждение (пробовали, неудачно), но Корфер легко меня переубедил:

— Теперь другие клапаны! Пять лет стопроцентной гарантии и сколько-то лет дольше этого срока... Всем пожилым людям вшиваем биологические протезы...

— Значит, так и мне...

Мелькнули мысли: пять лет... Зачем они тебе? Старость клапан не остановит... Но умирание может облегчить!

Пожал мне руку, приободрил... А я и так вполне бодрый. От операции, судя по всему, не умру, а там — как повезет... От одышки должны спасти...

Скоро меня положили на каталку и повезли...

Саму операцию я, конечно, не помню. Один укол, провадился и проснулся, когда Толя окликнул:

— Уже все сделано!

Первая мысль и слова были:

— Не может быть!

Я и теперь не вспомню: была ли удалена уже трубка из гортани? Наверное, была, потому что уже говорил и не помню дыхания через трубку и самой процедуры удаления.

Как хирург я не переставал удивляться: какой класс!

Потом Толя мне рассказал об операции — он ассистировал, все видел и многое шупал пальцами... Оперировали три часа, заменили аортальный клапан, он был в ужасном состоянии, исковерканный отложениями кальция костной плотности, со сложным отверстием, 15—20 квадратных миллиметров площади. Процесс очень старый, предполагают, что началось когда-то с септического эндокардита. (Я в этом усомнился — не было у меня периода длительной лихорадки, которая полагается эндокардиту. Впрочем, все бывает в медицине.) Будто бы это показывал микроскоп... Отверстие, видимо, все время уменьшалось в размерах, но я не вник в этот процесс и пропустил время. Не посмел спросить, что влияло на прогрессирование порока. От чего? От нагрузок? От основного воспалительного процесса?

А, какая разница! Продолжение эксперимента придется планировать заново... Вот только зачем? Старикам после восьмидесяти он явно не нужен, а уж после восьмидесяти пяти... О Боге нужно будет думать! Но увы! Бога в душе все равно не нашел...

Корфер зашел в палату в тот же вечер: все такой же, излучающий оптимизм и уверенность. Не помню его слов, но знаю, что отвечать на них можно было только одно:

— Все в порядке! Спасибо!

Меня поместили в реанимацию, в двухместную палату, как всех. При огромном потоке операций в реанимации оперированных держат недолго: один — три дня. Потом переводят в то клиническое отделение, в которое меня поместили вначале.

Боже мой! Сколькими проводами и трубочками было окутано мое тело. Не буду перечислять, да многих и не помню. Все вместе это называется знакомым словом «мониторинг». Кроме непрерывного отслеживания несколько раз брали кровь для разных исследований.

Палату обслуживали две сестры, очень симпатичные и культурные. Периодически заходили врачи, видимо, разных специальностей, я так и не понял, кто есть кто. Катя и Толя почти все время сидели около меня, по очереди или вместе, чем, похоже, раздражали персонал... Объясняться с сестрами было трудно, они плохо понимали английский. Выручал Толя. Катя тоже делала успехи в немецком.

Ничего существенно неприятного за первый день не запомнил. Но один факт в последующем оказался очень важным: удалили катетер из мочевого пузыря, и я должен был мочиться в утку. Она висела в проволочной сетке на прикроватном столике (запомнил ее на всю оставшуюся жизнь). На столике же стояли бутылка с минеральной водой и стаканчик, который периодически наполняли. Питье не ограничивали. Я даже не знаю, учитывали ли воду и мочу. На ночь дали таблетку, и я немного поспал...

Мысли были замкнуты пределами «первого мира» — телесными ощущениями и людьми, что двигались перед глазами.

Не очень хорошо помню дни в реанимации. Главная забота — помочиться в утку, выбрать позу, чтобы меньше болело, впрочем, болело вполне терпимо... Но заметил, что дышать стало легче, чем дома, а стенокардия исчезла совершенно.

Трижды в день приносили пищу, однако аппетита не было, и я почти ничего не ел. На сидячей каталке возили на исследования, я не вникал, «что и как». Чувство равнодушия к жизни не покидало меня, и профессиональные интересы «третьего мира» не возникали... «Отключись и терпи». Тем более что рядом есть страховка — Катя... Но разговоров с ней тоже не помню.

Корфер со свитой делал обход каждый день и, в полном смысле слова, излучал уверенность. Я сравнивал его с самим собой в прошлом: «Нет, Амосов, тебе было далеко...»

Из уважения к коллеге меня держали в палате интенсивного наблюдения на день дольше. Потом снимали часть проводов и трубочек и перевели в отделение с менее строгим режимом...

Вот в нем в последующие два или три дня и разыгралась драма страдания в моем «первом (телесном) мире», самая сильная

за всю мою жизнь. Я даже думал: «Может быть, Бог есть, и это он наказывает меня за грехи перед больными?»

У меня нет дара описывать страдания... Поэтому я лишь перечислю факты. При всем моем глубочайшем уважении к клинике, они все же допустили ошибку: очень быстро удалили катетер и не проверили потом, работает ли мочевого пузырь. А он работал очень плохо, не опорожнялся, несмотря на частое мочеиспускание с одновременными ложными позывами. Наверное, все произошло в связи со старческой простатой... В результате пузырь переполнился свыше меры, вызывал жестокие позывы, и все — без результата. А рези внизу живота нестерпимые... Да что говорить! Неиспытавшему — не понять. И не дай Бог испытать...

На третий день мучений, когда не удалось вызвать сестру и не было Кати, я встал, схватил с полки монитор (ящик в 20 см) и двинулся к окну... Не знаю, чего я хотел, но потерял сознание и очнулся уже на кровати, когда вокруг хлопотали сестры. Получил множественные ушибы, огромный кровоподтек вокруг глаза, травму бедра, которая отозвалась спустя две недели...

Самое главное, что проблемы не решились: никто не догадался доискаться до причины... Все были убеждены, что это проявление цистита (воспаления мочевого пузыря), который нередко встречается как осложнение после разных операций и проявляется как раз частыми мочеиспусканиями.

Я уже не мог вставать на каждый позыв, и мне привязали... смешно сказать: памперс! Да, тот самый, реклама которого раздражала на телеэкране, только большой, для взрослых... Но тут — похвастаю! — я наконец сам догадался пощупать живот. Все сразу стало ясно: резко перерастянутый мочевого пузырь. (Амосов! не обвиняй других в незнании или невнимании! Ты — академик-хирург, должен был определить это в самом начале, нет, ты по-глупому терпел три дня. Идиот.)

Теперь уж я поднял тревогу. Катя вызвала врача. Дежурный пытался поставить катетер, неудачно, еще несколько часов страданий, пока не пришел консультант-уролог. Запомнилось: вошел бравый мужчина с волевым лицом. Не снимая спортивной куртки, пощупал живот. Расстегнул сумку, достал катетер в стерильной упаковке, ловко надел резиновые перчатки... Я оглянуться не успел, как катетер уже был в мочевом пузыре и... потекла в утку живительная(!) струя мочи.

Наверное, благородных читателей шокирует мой натурализм,

но теперь ведь и не такое пишут. Это всего лишь иллюстрация к медицине. Небось и с нашими пациентами такое случалось не раз.

Во всяком случае, с этого момента жизнь повернулась ко мне другой стороной... Единственное желание — «умереть немедленно» — нет, не исчезло, но как-то поблекло. Да, умереть, но можно еще и подождать, посмотреть, как будет работать отремонтированное сердце... Конечно, я знал, что немедленного выздоровления не будет, нужна долгая адаптация. Один из врачей сказал Кате, что реабилитация длится от трех до шести месяцев. А тут еще перспектива операции на простате. Уролог сказал, что нужно ждать восемь недель... Нет, будущее печально... Но уж очень неприятно было умирать, задыхаясь... Этого-то, может быть, и не случится: вшит клапан диаметром 22 миллиметра вместо пяти, сократимость миокарда еще приличная...

Но пока сплю с кислородом — дышать тяжело.

Не буду описывать последующие дни до отъезда домой. Ничего драматического не происходило. Толя уехал, так как у него кончалась виза. Все заботы легли на Катю. Освободилась соседняя кровать, но лишь через несколько дней Кате разрешили ею пользоваться. До того ютилась на кресле и стульях. Ни за что не хотела уходить на квартиру, не слушалась меня... Такая удивительная у нас дочь...

Методист по физкультуре, очень милая женщина, учила меня ходить по коридору. Ноги совсем не слушались, мышцы атрофировались...

Корфер заходил почти каждый день, ободрял... Я подарил ему две свои книжки, изданные когда-то в ГДР большим тиражом, «Мысли и сердце» и «Книгу о счастье и несчастье». Попросил дать печатные материалы о клинике, пообещал использовать их в публикациях. На следующий день принесли целую пачку.

Понемножку «второй и третий миры» входили в круг внимания и мыслей. Стал интересоваться окружающим, организацией работы. Это второе, после реанимации, отделение не было столь привилегированным, но обслуживание все равно отличное. В любое время можно вызвать сестру, а через нее и врача. Объем измерений уменьшился, но монитор на полке все равно показывал ЭКГ, частоту пульса и что-то еще, не вспомню. Всегда можно было измерить главный показатель — насыщение

крови кислородом. Однако учет водного баланса велся нестро-го. Через день брали анализы крови... Возили на рентген. Правда, никто не слушал легкие и сердце, как это принято у нас... Сестры в палате не сидели: сделала дело — и ушла на свой пост в коридоре. Вся организация была рассчитана на несколько дней перед выпиской: домой или в реабилитационный центр, развернутый в городе. Там с выздоравливающими много занимались; Толя бывал, рассказывал.

17 июня, через девятнадцать дней после операции, мы отбыли домой... Конечно, если бы не осложнения и не мое все-таки привилегированное положение (стоившее дополнительных денег), можно было выехать на десять дней раньше. Или перейти для реабилитации в другое учреждение, подешевле. .

Обратная дорога ничем не отличалась от предыдущей, кроме одного: я уже не собирался умирать немедленно... Не скажу, что воспылал жгучим желанием жить и омолаживаться: опыт страдания отложился в душе, а границы жизни и возможностей обозначились четче. Но все же: куда спешить? Миры науки, общества снова замаячили впереди, отодвинув миры тела и ближайшего окружения...

Нас встречали родные и сотрудники, полные оптимизма и надежд на мое быстрое выздоровление... Вопрос о том, где мне лечиться — в институте или дома, решил я очень категорично: только дома. Геннадий Васильевич предлагал самые лучшие условия, и уже была подготовлена палата, но она меня не прельстила. Собственная постель и уход Лиды после трехнедельного пребывания в больнице представлялись мне просто раем... Тем более что директор назначил для круглосуточного дежурства трех врачей — Валентину Власовну Полуянову, Наталью Владимировну Воробьеву и Люсю Шеремет (она меня простит, что не знаю отчества, — это моя бывшая операционная сестра). Все они мне лично были милы, и я им благодарен от всей души... А Валя даже осталась моим личным, прикрепленным врачом и тратит на меня каждый день лишние два часа сверх рабочих... Ее забота для меня просто бесценна...

Началась домашняя жизнь. Не буду описывать все ее перипетии. Их, к сожалению, было много, и они еще далеки от окончания.

После первой недели благополучия, когда я уже тренировался в ходьбе по коридору квартиры (снова мне говорят, что «слишком!»), начались странные осложнения. Например, кро-

воизлияние (гематома) в область левого тазобедренного сустава, видимо, на месте ушиба при падении... Боли были такие, что ступить на ногу совершенно не мог, и меня снова возили в институт на коляске, чтобы сделать рентгено снимки сердца, легких и даже сустава. Леня Ситар делал прокол правой плевры и откачал 300 миллилитров жидкости. К сожалению, всю удалить не решился, да и я тоже боялся... Жидкость осталась и мешала дышать. Затем повысилась температура, самочувствие резко ухудшилось, две недели получал антибиотики — без всякого эффекта... И так далее...

Очередная поездка в институт для обследования, вместо оптимизма принесла огорчение. Жидкости в плевре значительно прибавилось, Леня откачал еще целый литр. Еще хуже с сердцем: оно снова увеличилось. Снова было коллективное обсуждение и изменение тактики лечения. Описывать не буду — медицинские детали...

Однако в последующие два месяца состояние улучшилось, и я полностью восстановил прежний образ жизни. Нет, лучше, чем прежний, — уже нет одышки и стенокардии!

Но настроения написать настоящее послесловие к книге, чтобы подвергнуть ревизии все сказанное ранее, еще нет. И уж тем более нет желаний исправлять прежние высказывания: написана книга о жизни, ее не переделаешь.

И все же я сделаю несколько замечаний к прежним идеям, а может быть, и к самой прожитой жизни.

Прежде всего — по поводу «эксперимента по омоложению», моего последнего увлечения. Нет, не отказываюсь от идеи удлинить активную жизнь через физические упражнения. Но... дозировку нагрузок для стариков следует пересмотреть. Я ориентировался на образ жизни обезьян... Но они же не доживают до человеческой старости! Вывод: нагрузки нужно с возрастом уменьшать. Например, после семидесяти нужно быстро ходить, а не бегать, гимнастика — не более часа в день... Гантели? Да, 2—3 килограмма очень полезны, 100—200 движений из общего числа, что составляет примерно 2000... Важнейшее условие эксперимента для стариков — здоровое сердце и нормальное кровяное давление. Это требование не так легко выполнить, врачи и пациенты склонны преувеличивать болезни. Здоровое сердце — это, как минимум, когда оно не увеличено в размерах и отсутствуют признаки пороков и стенокардии. Тогда более сильные нагрузки переносимы и после семидесяти лет, но едва ли они

удлинят жизнь. Что ж, на то и эксперимент, чтобы определиться...

Разумеется, я нарушил основное правило медицины: при аортальных пороках особенно нельзя нагружаться. И уж тем более упорствовать, когда сердце начало увеличиваться в размерах. Стыдно для кардиохирурга, но от правды отступать не буду. Хотя прогрессирование аортального стеноза со временем — закономерный процесс, но упражнения были явно во вред. Всю жизнь я увлекался, и нередко — до глупостей!.. В одном совесть моя чиста: увлечения не распространялись на лечение больных. Канон «не навреди!» не нарушал. Ну а что было бы со мной, если бы не экспериментировал? Наверное, пришел бы к тому же самому, но позже на несколько лет. А вот работала бы голова — не уверен. Так что все правильно. Только нужно было ехать на операцию года два назад, а не теперь. Материализм мой выдержал испытание физическим страданием. К Богу не обратился, а как бы он был нужен!

Казалось, всегда сочувствовал переживаниям больных, но теперь вижу: мало. Физические боли могут довести до самоубийства, а мелочи больничной жизни могут быть очень мучительными... К сожалению, это открытие для меня запоздало. В сущности, я прожил жизнь, не испытав физических болей, поэтому не мог «всею кожей» почувствовать состояние пациентов.

Отношения к людям на работе: к подчиненным, начальникам — не менял бы и теперь. Не всегда можно удержаться, чтобы не обидеть человека несправедливо, но всегда можно попросить прощения. Для этого нужно главное: не ставить себя выше людей. Я старался. Наверное, не всегда получалось.

О морали: лучше Заповедей ничего не придумано. Они не Богом даны, а отработаны историей человеческих отношений. Но как же трудно их исполнять в век НТП при заданной биологической природе человека! Природе очень эгоистической.

О политике, однако, высказываться не буду... Этот «мир», как и мир науки, еще требует многих раздумий... Нет, конечно, я не рассчитываю высказать в будущем какие-то потрясающие истины, просто буду думать об этом, мне интересно.

Кажется, я уже отошел от «мира тела», хотя некоторая неопределенность будущего остается... Сейчас нахожусь в «мире отношений» с семьей, с товарищами, уже смотрю новости по телевидению, слушаю «Свободу» и читаю газеты. Начинаю заглядывать на «мир идей» и думаю о новой книге... Такая уж вы-

работалась привычка — использовать каждую минуту покоя от тела все для того же, главного: думания, творчества.

Может быть, кому-то покажется странным, но пережитое в связи с операцией не прибавило мне желания жить. Наоборот.

Поэтому что загадывать? К сожалению, иногда появляются новые осложнения, и в любой момент, случись что-нибудь в самом низшем моем телесном мире, я снова захочу только одного: умереть немедленно!

Впрочем, молодым и здоровым не нужно пугаться таких фраз: это прерогатива больных стариков, когда биологическая сила жизни уже иссякла и живет только разум. Но он не может побороть физические страдания. Это преодоление тоже доступно только молодым.

Поэтому, господа читатели, не бойтесь жизни! Вот только для меня теперь стало сомнительным — стоит ли вообще доживать до глубокой старости...

Понимаю, что это заключение к книге преждевременно, но книжку нужно закончить хотя бы так: на ноте сомнительного оптимизма. Мне все же хочется увидеть ее напечатанной... А главное — продолжить свои научные занятия.

Кроме того, я столько раз давал интервью и позволял журналистам писать от себя о своем эксперименте в газетах и журналах, что просто обязан сказать их читателям: «Мой эксперимент закончен!» Совесть моя перед ними чиста: я не призывал стариков следовать своему примеру и предупреждал о неясности будущего. Но все же некоторые воспринимали мои советы чересчур категорично...

2

Время летит стремительно. Рукопись была закончена в конце августа 1998 года: очень хотелось увидеть книгу к юбилею — 6 декабря мне исполнялось 85 лет. И вот прошло семь месяцев! Положение со здоровьем определилось уже летом: ясно, что не умру. Однако настроение оставалось довольно кислым, все время мучили мелкие неполадки. Я бодрился, физкультуру делал со дня возвращения домой, увеличил гимнастику до — 2000 движений, но без гантелей. Из-за слабости отходил медленно, всего полкилометра, хотя сердце работало хорошо. Думал, что уже и не раскучусь.

В то время я и написал: «Эксперимент окончен!»

Врачи назначали лекарства, но принимал, что считал подходящим. Верил только в физкультуру: постепенно наращивал упражнения и увеличивал дистанцию для ходьбы.

Исследование в ноябре, через полгода после операции, показало заметное уменьшение размеров сердца, значит, можно увеличивать нагрузки. К февралю созрел для гантелей, к марту дошел до 2500 движений, 1000 — с гантелями. Ходил в институт, а это пять километров в гору. Бегаю 15 минут по своему коридору, опять поднимаюсь по лестнице через две ступеньки.

Снова почувствовал себя здоровым.

Так что, господа присяжные заседатели, эксперимент продолжается! Отыгрываем пессимизм обратно. Ограничения для стариков отменяются.

Не следует преувеличивать мою эйфорию: все мое остается при мне. Стимулятор, клапан, рассчитанный на пять лет, немолотимое движение старости.

Но чего мне бояться? «Механику» можно поменять еще раз, если удастся сохранить силы и ясность ума («омолодиться?»). Тем более, что для этой процедуры уже есть опыт: «умирать не страшно», а смерть может быть даже желанной...

Я не обманываю себя. Моя жизнь нужна разве что жене. А пока два раза в месяц хожу в институт — приходят прежние пациенты, поговорю с друзьями... Примерно раз в неделю случаются заседания в двух академиях, где состою. Правда, если перестану ходить, то никто и не заметит отсутствия...

Разумеется, я напишу еще две-три книги на свои прежние темы (одну, между прочим, «Мое мировоззрение» издали к юбилею). Новым в книгах будет приложение принципа самоорганизации к живым системам — разуму, человеку, обществу. Именно она, самоорганизация, определяет затяжной кризис постсоветских стран и рост преступности... Но не буду вдаваться в детали... Революции в науке мои будущие книги точно не сделают, но думать над ними — интересно. Даже когда будущее, для которого мы живем, суживается до пяти лет...

Жизнь все-таки неплохая штука.

На этой бодрой ноте я и закончу.

10 марта 1999

העמותה לקליטת עליה בחיפה

רח'י ל. פרץ 20 חיפה 33041

ספרייה
4464

428
מס

| | |
|-----|--|
| 5 | Вместо предисловия |
| 6 | Родня. Мама |
| 23 | Детство. Юность |
| 50 | Архангельск |
| 61 | Любовь |
| 75 | Студенческие годы |
| 103 | Война |
| 209 | Конец ППГ. Москва. Брянск |
| 254 | Киев |
| 413 | Эксперимент закончен, жизнь продолжается |

Николай Михайлович Амосов Голоса времен

РЕДАКТОР
Е.Д. Шубина
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
С.А. Виноградова
ТЕХНОЛОГ
М.С. Белоусова
КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА ОБЛОЖКИ И БЛОКА ИЛЛЮСТРАЦИЙ
С.Б. Мжельский
ОПЕРАТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ
А.В. Волков
П. КОРРЕКТОРЫ
В.А. Жечков, С.Ф. Лисовский

Оптовая торговля:

Эксклюзивный дистрибьютор издательства «Клуб 36'6»
г. Москва, Рязанский пер., д. 3, этаж 3
Тел./факс: (095) 265-13-05, 267-29-69 267-28-33, 261-24-90
E-mail: club 36 6@aha.ru

Фирменный магазин «36'6 — Книжный двор»:

(мелкооптовая и розничная торговля)
Проезд: Рязанский пер., д. 3
(рядом с м. «Комсомольская» и «Красные ворота»)
Тел.: (095) 265-86-56, 265-81-93
Тел.: 523-92-63, 523-25-56 Факс: 523-11-10

Книжная лавка «У Сытина»:

125008, Москва, пр-д Черепановых, д. 56
Тел.: (095) 156-86-70. Факс: (095) 154-30-40
Интернет: <http://www.kvest.com/mainmenu.htm>
Электронная почта: sylin@aha.ru или info@kvest.com

Информацию о наших книгах

- можно получить в сети Интернет по адресам:
- www.guelman.ru/slava (Современная Русская Литература);
 - www.russ.ru (Русский Журнал);
 - www.litera.ru (Литера);
 - www.gazeta.ru (Газета Ру);

Издательская лицензия

№ 065676
от 13 февраля 1998 года.
Подписано в печать
23.06.99.
Формат 60 × 90/16.
Гарнитура Таймс.
Печать офсетная.
Объем 27 печ. л.
Тираж 7 000 экз.
Изд. № 837.
Заказ № 2556.

Издательство «ВАГРИУС»

129090, Москва, ул. Троицкая, 7/1
Интернет/Home page —
<http://www.vagrius.com>
Электронная почта (E-Mail) —
vagrius@vagrius.com

Отпечатано с готовых диапозитивов
в Государственном
ордена Октябрьской Революции,
ордена Трудового Красного Знамени
Московском предприятии
«Первая Образцовая типография»
Государственного комитета Российской
Федерации по печати.
113054, Москва, Валовая, 28.

OCR Давид Типтеевский, август 2021 г., Найфа

В СЕРИИ

*Мой 20
век*

ВЫШЛИ КНИГИ

Ирина Архипова
МУЗЫКА ЖИЗНИ

Григорий Бакланов
ЖИЗНЬ, ПОДАРЕННАЯ ДВАЖДЫ

Брижит Бардо
ИНИЦИАЛЫ Б.Б.

Георгий Бурков
ХРОНИКА СЕРДЦА

Константин Ваншенкин
ПИСАТЕЛЬСКИЙ КЛУБ

Евгений Весник
ДАРЮ, ЧТО ПОМНЮ

Андрей Вознесенский
НА ВИРТУАЛЬНОМ ВЕТРУ

Егор Гайдар
ДНИ ПОРАЖЕНИЙ И ПОБЕД

Марлен Дитрих
АЗБУКА МОЕЙ ЖИЗНИ

Татьяна Доронина
ДНЕВНИК АКТРИСЫ

Евгений Евтушенко
ВОЛЧИЙ ПАСПОРТ

Лазарь Каганович
ПАМЯТНЫЕ ЗАПИСКИ

Клаудиа Кардинале
МНЕ ПОВЕЗЛО

Валентин Катаев
ТРАВА ЗАБВЕНЬЯ

Василий Катанян
ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИДОЛАМ

Михаил Козаков
АКТЕРСКАЯ КНИГА

Алексей Козлов
«КОЗЕЛ НА САКСЕ»

Муслим Магомаев
ЛЮБОВЬ МОЯ – МЕЛОДИЯ

Анатолий Марленгоф
«БЕССМЕРТНАЯ ТРИЛОГИЯ»

Андре Моруа
МЕМУАРЫ

Родион Нахапетов
ВЛЮБЛЕННЫЙ

Юрий Никулин
ПОЧТИ СЕРЬЕЗНО...

Татьяна Окуневская
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Юрий Олеша
КНИГА ПРОЩАНИЯ

Лучано Паваротти
МОЙ МИР

Анатолий Рыбаков
РОМАН-ВОСПОМИНАНИЕ

Эльдар Рязанов
НЕПОДВЕДЕННЫЕ ИТОГИ

Юрий Сенкевич
ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ

Лидия Смирнова
МОЯ ЛЮБОВЬ

Микаэл Таривердиев
Я ПРОСТО ЖИВУ

Олег Трояновский
ЧЕРЕЗ ГОДЫ И РАССТОЯНИЯ

Леонид Утесов
СПАСИБО, СЕРДЦЕ!

Вячеслав Фетисов
ОВЕРТАЙМ

Милош Форман
КРУГОВОРОТ

Кэтрин Хепберн
Я. ИСТОРИИ ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ

Никита Хрущев
ВОСПОМИНАНИЯ

Ольга Чехова
МОИ ЧАСЫ ИДУТ ИНАЧЕ

Федор Шаляпин
МАСКА И ДУША

ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ

Жоржи Амаду
КАБОТАЖНОЕ ПЛАВАНИЕ

Игорь Кио
ИЛЛЮЗИИ БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ

Агата Кристи
АВТОБИОГРАФИЯ

Карл Густав Маннергейм
МЕМУАРЫ

Анастас Микоян
ТАК БЫЛО

Вацлав Нижинский
ЧУВСТВО

Константин Станиславский
МОЯ ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ

Чарльз Чаплин
МОЯ БИОГРАФИЯ

Феномен академика
Николая Михайловича Амосова (родился
в 1913 году)
широко известен.

Кардиохирург,
спасший жизнь многим людям
и создавший целое направление
в этой области медицины.
ученый, автор работ
по медицинской и биологической
кибернетике, создатель собственной
теории здоровья и долголетия,
оригинальный писатель
(повесть "Мысли и сердце", переведенная
на тридцать языков, "Записки военного
хирурга",
"Записки из будущего"),
он и теперь сохраняет
завидную творческую активность.

Николай Амосов

Голоса времен



Мой 20 век

Николай Амосов

Голоса времен Николай Амосов

Мой 20 век

"Эта книга — познание самого себя.
Кем был, как менялся, что осталось..."

Так скромно автор определяет
задачу своих мемуаров,
хотя имеет полное право
на более высокую оценку
столь долгой и яркой жизни.
Воспоминания Н. М. Амосова —
пронзительная, очень личная исповедь
и в то же время

объемный портрет эпохи:
" война, надежды шестидесятых,
медицинские открытия, потрясшие мир,
снова надежды и разочарования
уже конца восьмидесятых,
встречи, "голоса" и живые портреты
современников — выдающихся хирургов
С. С. Юдина, А. Н. Бакулева,
А. А. Вишневского, академика Сахарова,
политиков и деятелей культуры.


ВАГРИУС


ВАГРИУС

ISBN 5-7027-6



9 7785702 705


ВАГРИУС